

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

2

---

1960

# Н(О)ВЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVI

№ 2

Февраль, 1960 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

|   | Стр. |
|---|------|
| АЛЕКСАНДР БЕК — Несколько дней, повесть   | 3    |
| РИММА КАЗАКОВА — Песня. Кто б нас ни заменил... Мы станем скупее на чувства... Стихи  | 45   |
| НАТАЛЬЯ ДАВЫДОВА — Любовь инженера Изотова, роман. Продолжение  | 49   |
| С. ГАЛКИН — Из новых стихов. Перевели с еврейского Вера Потапова, С. Маршак, А. Ахматова, Ю. Нейман, М. Петровых, И. Гуревич  | 77   |
| С. МАРШАК — В начале жизни. Страницы воспоминаний. Окончание  | 81   |
| КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Армейская юность. Короткие заметки   | 140  |
| <b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>   |      |
| ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ — Личная собственность   | 175  |
| <b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>   |      |
| Б. ЯКОВЛЕВ — Новый Ленинский сборник  | 204  |
| А. МАРКИН — Слово берет энергетика  | 212  |
| <b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>   |      |
| М. КУЗНЕЦОВ — О путях развития современного романа  | 227  |
| <b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>  |      |
| <i>Литература и искусство</i>   |      |
| Е. Старикова. Новые рассказы В. Пановой.— И. Соколов-Микитов. В тихом краю.— Н. Дикушина. Записные книжки А. Фадеева.— Юрий Полетика. Об одном известном приключенческом романе.— Ал. Богуславский. Школа драматургов.— И. Г. Вместо рецензии.                        | 251  |
| <i>Политика и наука</i>   |      |
| Профессор М. Баскин. Великий борец против ревизионизма.— Полковник Н. Денисов. На первом плане — человек.— Л. Лазарев. Незабываемый сорок первый...— А. Хавин. Мысли по поводу одного ежегодника.— Кандидат философских наук А. Ракилов. Бывшие священники о религии. | 268  |
| КОРОТКО О КНИГАХ  | 281  |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ   | 286  |

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Москва



---

АЛЕКСАНДР БЕК

★

## НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

*Повесть \**

Синченко, коня!

1

— **И** а чем мы поставили большую точку? — спросил Момыш-Улы.  
— Вот, Баурджан, посмотрите.

На фанерный ящик, служивший тут, в блиндаже, столом, я положил свою тетрадь, черновик повести.

В последней главе говорилось о марше батальона, прорвавшегося из тылов противника, затем о беседе в домике на окраине Волоколамска — беседе генерала Ивана Васильевича Панфилова с командиром батальона старшим лейтенантом Момыш-Улы.

Придвинув раскрытую тетрадь к керосиновой лампе, свет которой едва достигал углов всаженного в землю сруба из неободранных еловых бревен, Момыш-Улы склонился над моими записями.

Прошло уже несколько месяцев со дня нашего знакомства. За эти месяцы Момыш-Улы похудел; тени во впадинах лица были густо-темными; в белках не по-монгольски больших, широких глаз проступила желчь — сказалось напряжение войны. Освещенный лампой, его резко очерченный профиль казался похожим, как и в первую встречу, на профиль индейца, памятный по детским книгам.

Склонившись над тетрадью, он не горбился. Время от времени быстрым движением узкой, худощавой кисти он откидывал прочитанную страницу. Порой пальцы касались черных, как тушь, волос, что упрямо поднимались, лишь только рука оставляла их. Вот он потянулся к лежавшему на ящике серебряному портсигару, взял папиросу и повертел ее над лампой, подсушивая табак. Закурив, продолжал читать без единого замечания, без слова. Вот наконец он захлопнул тетрадь. Я ждал, что же он скажет, но Момыш-Улы молчал.

— Это было двадцать шестого октября, — напомнил я.

— Да, — произнес он. — Двадцать шестое октября... Одиннадцатый день битвы под Москвой...

Все, кто вместе с Момыш-Улы обитал в блиндаже, уже спали под шинелями на грубо сколоченных, устланных хвоей нарах. Лишь мы двое бодрствовали, чтобы записать историю батальона, сражавшегося под Москвой.

Момыш-Улы курил. Затянувшись, он смотрел на меркнувший огонек папиросы.

---

\* Повесть «Несколько дней» является продолжением книги «Волоколамское шоссе».

— Приступим,— сказал он,— к новой повести. Но помните наше условие.

— Какое?

— Ваше божество — правда!

Он угрожающе на меня взглянул. Я покосился на его шашку, прилоненную к стене, сдержал вздох, достал новую тетрадь, взял карандаш — обе мои руки, которые Баурджан Момыш-Улы обещал одну за другой отрубить, если в книге, написанной по его рассказу, я совру, были, к счастью, еще целы.

Раскрытая свежая тетрадь, свежая, нетронутая страница ожидали слов. Момыш-Улы приступил к повествованию.

## 2

— Из домика, где жил Панфилов,— начал он,— я вышел около двух часов дня. Лил дождь, глухо урчали пушки, пахло гарью.

Под навесом крыльца я приостановился. Разгуливался ветер; все выбоины, ямки были затянуты лужами; неслись мутные потоки; темная вода вскипала пузырями под дождем. Непогода, видимо, зарядила надолго. В тех местах, где довелось нам воевать, такие дожди называют «мокрыми». Странное название: мокрые дожди. Хорошо, что бойцы моего батальона проведут эту ночьку под крышей, помойются, попарятся в домашних баньках, отдохнут.

Плотнее нахлобучив ушанку, я сошел с крыльца. Дождь захлестал по лицу, по шапке, по ватной стеганке, уже было просохшей, пока я сидел у генерала.

— Товарищ комбат, вот плащ-палатка!

Передо мной мой коновод Синченко. Вы с ним знакомы. Смысленный и простодушный, смугловатый, сероглазый Синченко родился в одной из русских деревень Казахстана, провел детство на коне, подобно казахским ребятишкам, и свободно говорил по-казахски. После выпавших нам испытаний и этот здоровяк спал с тела; румянец, обычно игравший во всю щеку, удержался лишь на выступивших скулах. Однако серые глаза глядели на меня из-под намокшей ушанки задорно и весело.

Я накинул на плечи темно-зеленую прорезиненную ткань, на ней мгновенно появились черные штрихи дождя.

— Где штаб батальона? — спросил я.

— Вон там, товарищ комбат... Вторая улочка направо.

— Ясно. Дойду сам. А ты давай бегом! Передай, чтобы вызвали ко мне, в штаб батальона, всех командиров рот и политруков.

— Все уже собраны. Ждут в штабе, товарищ комбат.

— Кто приказал?

— Лейтенант Рахимов.

Синченко вдруг улыбнулся.

— Почему улыбаешься? Что-нибудь знаешь?

— Знаю. Батальон в резерве. Будем сутки отдыхать и...

— И что еще? Чего осекся?

— И генерал нами доволен.

— Солдатский телефон?

— Точно, товарищ комбат.

Я не поддержал этой темы.

— Боеприпасы нам доставлены?

— Привезли, товарищ комбат. И продукты привезли. И пять ящиков водки. Говорят, генерал приказал выдать нам сегодня двойную порцию.

— Не по этому ли случаю собрались командиры?

— Да... — Синченко снова улыбается. — Командиры думают, что вы сегодня устроите званый обед.

- Обед? Кому это взбрело?
- Политрук Бозжанов сам взялся готовить.
- При твоём участии?
- Точно, товарищ комбат.
- Вот всыплю вам обоим. Велю нарвать крапивы и...

Синченко знает: сейчас моя суровость напускная. Он лукаво поглядывает на меня.

3

У входа в нештукатуренный рубленый дом, где разместился штаб батальона, — оттуда, из раскрытой форточки, уже выбегали черные шнуры полевого телефона — дежурил часовой. Его залубеневшая, намокшая до черноты плащ-палатка не помешала ловко отдать мне честь — по-ефрейторски, на караул. Я узнал курносого малорослого Гаркушу, ездового пулеметной двуколки.

— Здравствуй, Гаркуша... Не дремлешь?

Гаркуша на весь батальон славился всякими проделками, хотя попался редко. Бойцы любили его за то, что он никогда не изменял духу товарищества, не робел ни под обстрелом, ни перед начальством, ему легко прощали разные уловки, к которым он прибегал, чтобы облегчить свое солдатское житье-бытьё.

— Что вы, товарищ комбат! — смело отвечает он. — Напрасно вы обо мне так...

Мне сейчас особенно нравится маленький, ловкий ездовой. Капюшон его плащ-палатки откинут. Мне хорошо видно его плутоватое лицо, по которому скатываются дождевые струйки.

— Ладно, Гаркуша... Потерпи... Сменишься — согреешься.

— Изнутри? — тотчас спрашивает он.

Я делаю вид, что не слышу этого удалого вопроса, и вхожу в дом.

4

Миновав сени, распахнув дверь, ведущую вовнутрь, я остановился на пороге.

Любопытное зрелище предстало мне. Все в комнате спали. Ожидая меня, вызванные в штаб Рахимовым командиры и политруки рот, истомленные многими днями боев и последним ночным маршем, прилегли и, наконец, тотчас уснули. Первым, видимо, лег командир роты Панюков — во всяком случае, ему принадлежало лучшее место: он растянулся у стены на голых досках единственной в комнате кровати. Самый молодой и самый быстрый среди командиров рот, он успел побриться и сменить гимнастерку.

Впрочем, выбриты, кажется, все. В спертom, несмотря на раскрытую форточку, воздухе слышен не только блиндажный запах портянок, но и душок одеколona. Должно быть, поблизости обнаружен военторг, и командиры понаведывались туда.

Рядом с Панюковым на краю кровати примостился политрук той же роты Дордия. Он без гимнастерки, в одной голубой трикотажной майке. Вероятно, попросил кого-нибудь — не моего ли Синченко? — подшить ему свежий подворотничок (сам Дордия не имел никаких способностей по этой части) и, не дождавшись, уснул.

Остальные расположились на полу на разостланных шинелях, подложив в изголовье противогазные сумки. Командир третьей роты Филимонов, обычно отличавшийся здоровым кирпично-красным цветом угловатого лица, побледнел во сне. Землисто-бледным казалось и смуглое острое лицо Рахимова. А щеки Бозжанова пылали. Он, политрук расформированной пулеметной роты, спал, свернувшись калачиком, и посапывал, как мла-

денец. Неторопливый, основательный инструктор пропаганды Толстунов разулся, прежде чем уснуть, и повесил по солдатскому обычаю сырые портянки на голенища сапог.

Вдоль порога, на самом неподходящем месте, лежал командир второй роты Заев. Он сунул под голову кулак, не снял стеганки и развязавшейся ушанки. Единственный из всех, он не потрудился сбрить темно-рыжую щетину, колючую даже на взгляд.

Прикорнул, привалившись к стенке, и боец-связист Ткачук. У его ног — полевой телефонный аппарат. Телефонная трубка выпала из руки на пол.

Не решаясь кого-либо разбудить, я достал папиросу и закурил.

— Назад! На месте уюкошу! — вдруг спросонья закричал Заев. Открыв глаза, он увидел меня и удивленно заморгал.

— Заев, на кого ты так?

— На этих... на окруженцев, товарищ комбат. Опять чуть не разбежались...

Я засмеялся. Лишь тут Заев окончательно проснулся. Вскочив, он вытянулся, отдал честь и неожиданно гаркнул:

— Встать! Смирно! Господа офицеры!

Я проговорил:

— Ну, Заев, отмочил... Хоть стой, хоть падай...

Почему Заеву вздумалось прокричать «господа офицеры», этого, наверное, он бы и сам не объяснил.

Сейчас он стоял передо мной в непросохшем ватнике, из-под которого выглядывал подол гимнастерки, в покрытых грязью сапогах, в мокрой ушанке. Уши ее торчали вверх и вместе с завязками свисали в обе стороны. Его лицо с выпирающими скулами, с провалами у висков и на щеках, с утиным носом никто не назвал бы пригожим. Иногда мне думалось, что в свои тридцать лет Заев еще не вполне сформировался, что какие-то гаечки в нем, как говорится, не подтянуты. И все же он был мне втайне мил: долговязый, нескладный, стремительный во всем — в походке, в решениях, даже в чудачествах. Он казался мне похожим на знаменитого некогда Пата. Помните ли вы этого всегда серьезного киноактера-комика, длинного, как жердь, неизменно совершавшего что-либо невпопад, игравшего в паре с толстяком-коротышкой Паташоном? Не раз после какой-нибудь выходки Заева я думал: «Пат! Форменный Пат!»

Показав на его измызганные сапоги, на нелепо расхлестанную шапку, я приказал:

— Приведи себя в порядок.

— Есть, товарищ комбат, привести себя в порядок.

Он сдернул шапку, посмотрел на нее и сунул за пояс, за кобуру пистолета. Потом вынул из кармана длинный складной нож — Заев почему-то называл его «боцманским», — раскрыл, отщепил лучину от валявшегося на полу полена и принялся соскребать грязь с сапог.

## 5

Пробужденные возгласом Заева, командиры быстро поднялись, собрали разбросанные по полу шинели. Лишь Толстунов не спешил. Умело наverting портянки, он наблюдал за происходившим.

— Ну-с, господа офицеры, — сказал я, — для чего пожаловали? Рахимов, зачем собрал командиров?

Рахимов стоял навытяжку, руки по швам, но эта поза у него, альпиниста, инструктора горного спорта, казалась как бы вольной, свободной. Он доложил, что получен приказ, согласно которому батальон передан в резерв командира дивизии. Затем сообщил о прибытии боеприпасов и пр. довольствия.

— Я вызвал, товарищ комбат, — продолжал он, — к вашему приходу

командиров рот и политруков. Чрезвычайных происшествий в батальоне не было. В данное время батальон отдыхает.

— Почему отдыхает? — спросил я. — А чистка оружия? Дордия! Ты тут со всеми удобствами расположился. Даже изволил скинуть гимнастерку... В твоей роте оружие бойцы чистили?..

Дордия вспыхнул. В его наружности была редкая особенность: светло-русый, даже белобрысый, он от грузина отца унаследовал черные глаза. Сейчас у него покраснел даже лоб. Покраснела и шея в вырезе голубой трикотажной майки, облегавшей несильные плечи.

— Кажется, — запинаясь, проговорил он. — Кажется, чистили... Это командир роты... Я не знаю, товарищ комбат.

Дордия обычно робел, получая замечания. В батальоне он считался мямлей. В эту минуту ему, видимо, было трудно не отвести, не опустить взгляд. Однако он превозмог себя: черные глаза глядели прямо на меня.

— Нет, Дордия... Командир командиром, а оружие бойца — это также и твоё дело. Но хорошо, что сказал правду. А что скажет командир роты?

Я посмотрел на Панюкова. Подтянут, к заправочке не придерешься. Выпрямившись, чуть вскинув черноволосую голову, он доложил:

— Приказано вычистить, товарищ комбат.

— А проверено ли?

— У меня проверено, — пробурчал Заев.

Вероятно, я одернул бы его, но тут вмешался еще один голос.

— Комбат, — улыбаясь, сказал Толстунов. — Оставь ты хоть на сегодня приструнивать.

6

Толстунов был единственным человеком в батальоне, кто называл меня попросту «комбат». По званию он был на одну ступень выше меня. Я, старший лейтенант, носил три «кубика» в петлицах, Толстунов — «шпалу». Он числился в должности инструктора пропаганды при штабе полка: его «шпала» означала звание старшего политрука.

Натянув сапоги, он продолжал сидеть на своей разостланной шинели.

— Комбат, — повторил он, — я прошел по ротам. Все в порядке. Бойцы на квартирах, баранина в котлах, курево выдано. Оружие вычистят. Командиры взводов в этом спуску не дадут. А мы собрались потому, что ты пригласил нас обедать. Так каждому и было сказано: «Комбат приглашает обедать». Ну и угощай!

Я опять оглядел присутствующих. Все они выдержали боевой искус, выдержали пробу, проверку огнем. Так по крайней мере мне тогда казалось.

На круглом молодом лице Бозжанова, моего сородича казаха, я уловил улыбку. Он косился на дверь, что вела в другую комнату. Оттуда выглядывала раздумавшаяся физиономия Синченко. Они — Бозжанов и Синченко — были друзьями. Бозжанов постоянно подкармливал корочкой хлеба, а порой и сахаром наших верховых лошадей, особенно мою Лысанку. Синченко позволял ему, улучив удобный часок, проехаться, проскакать верхом. Бозжанов не умел скрывать этих маленьких тайн. Его узкие блестящие глаза все выдавали. Легко было разгадать и сейчас, почему он переглядывается с Синченко: за дверью, видимо, ждало угощение, приготовленное не без участия их обоих — коновода и политрука, любителя постряпать и покушать.

Встретив мой взгляд, Синченко мигом прикрыл дверь. Бозжанов потупился, но продолжал улыбаться. Что же, Бозжанчик, ты, пожалуй, придумал неплохо.

За окном стучал дождь, порой долетал рокот орудий, а мы справляли особенный день — дневку батальона. Много улыбок повстречал я в этой комнате. Чувствовалось, командиры принесли с собой и улыбку солдата,



разувшегося наконец около печки, закурившего в тепле папиросу или толстую самокрутку махорки.

Я спросил:

— Бозжанов, а бишбармак к обеду будет?

Бишбармак — наше национальное казахское блюдо.

— Нет, товарищ комбат, — весело ответил Бозжанов. — Будет плов из барашка.

Он чмокнул губами, и все рассмеялись.

— Разрешите, — молвил Рахимов, скупым жестом указывая на заветную дверь.

— Уже разрешил! — вмешался Толстунов. — Разве не видишь? Товарищи, комбат вас просит.

И первым направился к двери.

— Подожди, Толстунов, — сказал я. — Сначала, товарищи, следует выполнить одно распоряжение генерала. Садитесь. Можно курить.

— Куда же садиться? — буркнул Заев.

Никого не спрашивая, он вышел в сени, принес на плече скамейку и поставил или, вернее, сбросил на пол.

Дом, видимо, был недавно покинут хозяевами. Из комнаты еще не исчезло тепло чьей-то чужой жизни. На подоконнике сиротливо лежала забытая кукла.

Я хотел заговорить, но раздался писк полевого телефона. Комиссар полка вызывал к телефону старшего политрука Толстунова.

— Наверное, сейчас влетит, — громко вздохнул тот. — Давно бы надо явиться, доложить.

Он взял трубку.

— Слушаю, товарищ комиссар... Через десять минут выхожу. Прошу разрешить десять минут.

В мембране заклокотали сердитые звуки — по-видимому, Толстунов получал взбучку.

— Есть! Есть! — отчеканивал политрук. — Слушаюсь, товарищ комиссар! Есть, товарищ комиссар, немедленно.

Клохтанье в мембране стало более спокойным, поутихло. И вдруг Толстунов совсем просто сказал в трубку:

— Ну разреши, Петр Васильевич. Единственный раз собрались по-человечески. Пришел комбат от генерала. Что? Да, может быть, трахнем по единой. Не беспокойся. Все будут ходить по струнке, у него не забалуешь. Позволь, Петр Васильевич... Четверть часа? Есть, выйду через четверть часа. Благодарю, товарищ комиссар.

Отдав трубку телефонисту, Толстунов отогнул обшлаг, посмотрел на часы.

— Сколько? — спросил кто-то.

— Четырнадцать сорок... Еще часа два светлого времени.

В дни оборонительных боев у нас вошло в привычку выделять светлое время, прикидывать, долго ли до сумерек. Противник наносил удары в разные часы, но всегда засветло. Каждые сумерки значили, что в этой битве, где мы стояли против численно сильнеего врага, имевшего к тому же и превосходство в танках, нами вырван у него, выигран еще день.

В комнате стало очень тихо. В молчании мы ловили ухом вдруг сразу участвовавшее далекое бабаханье пушек. Наверное, шла атака танков.

— Слушайте меня! — обратился я к собравшимся. — Наш батальон — в резерве командира дивизии.

Кратко передав разговор с генералом, то, как пытливо он выспрашивал о подробностях боев, я сообщил приказание Панфилова: сегодня же при-  
слать ему для представления к награде список отличившихся.

— Это немалое дело, немалая честь,— продолжал я.— Надо поименно назвать героев батальона. Подумайте, товарищи, взвесьте. Через час к этому вернемся, спрошу у вас списки достойных. А теперь... Больше морить голодом я вас не буду. И Толстунова без обеда никуда не выпущу, наш дом не опозорю. Бозжанов, командуй. Приглашай.

7

Бозжанов не без торжественности открыл дверь в другую комнату.

Нет, не скатертью был накрыт наш званый стол. В покинутый хозяевами дом с нами вошел блиндажный быт. На столе были разостланы газеты. Копченая сухая колбаса, нарезанная крупными кусками, лежала грудями прямо на газете. Стояли вскрытые, с отогнутыми крышками, банки мясных консервов. Соленые огурцы были поданы к столу в котелке. Обещанный Бозжановым плов еще готовился в кухне, где владычествовал наш старик повар Вахитов. Посуда была сборной: разнокалиберные кружки и граненые дешевые стаканы. Бутылки без меня поставить не решились.

— Бозжанов, где водка? — спросил я.

Он без запинки ответил:

— Под столом.

Вокруг рассмеялись. Я разрешил налить по полстакана.

— Мало! — пробурчал Заев.

Он придвинул к себе жестяную кружку, подмигнул Бозжанову. Тот наливал под возгласы, под шутки. Потом спросил:

— Товарищи, кто же скажет тост?

Тотчас откликнулся, поднял стакан Панюков. В батальоне он считался мастаком по части тостов. Не раздумывая, он возгласил:

— Мир держится верностью друзей! Выпьем, товарищи, за дружбу! За боевую дружбу!

Тост был встречен одобрительно. Однако мне он показался избитым. Хотелось каких-то иных, берущих за сердце слов. Впрочем, ладно, обойдемся этим. Но раздался голос Заева:

— Товарищ комбат, разрешите дополнить!

Я кивнул. Непросохшая ушанка торчала теперь у Заева за поясом. Наголо стриженная шишковатая голова была обнажена. Из-под сильно выступающих надбровных дуг Заев оглядел застолье. Улыбка, как это бывает у людей чистой души, вдруг сделала нашего Пата привлекательным. Он поднял кружку.

— Товарищи, выпьем за винтовочку!

— За винтовочку? — переспросил Толстунов.

— Ага,— подтвердил Заев.— За ту самую...

Желая пояснить свой тост, он вдруг взмахнул кулаком и мрачно пропел, или, вернее, проговорил нараспев, речитативом:

Иного нет у нас пути,  
В руках у нас вин-тов-ка!

Это были слова знакомой всем нам песни, будто всплывшей из времен нашего детства, из первых годов революции.

Тост понравился. Мы выпили.

8

Наскоро прожевав кусок колбасы, с сожалением глянув в сторону кухни, где доспевал плов, Толстунов выбрался из-за стола и, проговорив: «Извини, комбат. Я пошел. А то влетит от комиссара», — покинул комнату.

Всем было налито еще по полстакана. Нашлась кружка и для Синченко.

Я поднялся, намереваясь произнести здравицу, но неожиданно дежурный телефонист тронул меня за плечо.

— Товарищ комбат, вас к телефону. Штаб дивизии.

Я взял трубку. За столом смолкли.

— Слушаю,— проговорил я.

— Момыш-Улы?

— Я.

— Говорит Дорфман. Передаю приказание командира дивизии: поднять батальон по тревоге и немедленно выступать в район штаба дивизии. Потом двинетесь дальше.

— С артиллерией?

— Да, со всеми боевыми средствами.

— Есть, товарищ капитан. Понятно.

— Лично вы, товарищ Момыш-Улы, немедленно к генералу.

Видимо, что-то стряслось. Капитан Дорфман говорил сдержанно, но явно не случайно дважды повторил «немедленно». Вот и конец нашему обеду, нашей дневке.

— Синченко, коня!

Этот возглас, столь знакомый моему штабу, почти всегда означал тревожную минуту.

— Товарищи, слушайте приказ.

Все встали. Я продолжал:

— Командир дивизии приказал: поднять батальон по тревоге. Я вызван в штаб дивизии. Без меня колонну поведет лейтенант Рахимов. Расходитесь по ротам! Поднимайте, выстраивайте людей.

Отворилась дверь. Повар Вахитов торжественно внес кастрюлю с дымящимся пловом. Присутствующие постарались не заметить этого. Заев крикнул:

— А ну, выпьем по второй!

Не теряя времени, он опрокинул свою кружку в рот. Потом, с хрустом жуя огурец, первым зашагал к двери. На ходу он нахлобучил ушанку. Незавязанные уши опять торчали вверх, тесемки по-прежнему свисали в обе стороны.

Я крикнул:

— Заев, завяжи тесемки!

— Есть, товарищ комбат, завязать тесемки!

## В штабе дивизии

### 1

Несколько оседланных коней мокли под дождем у каменного дома, где помещался штаб дивизии. Я осадил Лысанку. От ее сырой шерсти поднимался пар. По лужам, по месиву незамощенных переулков она в несколько минут домчала меня сюда, на асфальт Волоколамского шоссе, пересекающего город.

До сумерек оставалось больше часа, но непрекращающийся обложной дождь, исчерна-серое низкое небо делали день мрачным. Сквозь не зашторенное еще окно был виден свет — в штабе горело электричество. Невдалеке, по той же улице, виднелся домик, где жил генерал Панфилов. Меж раскрытых ставен тускло поблескивали стекла — Панфилов, вероятно, ушел в штаб.

Сегодня я уже побывал у генерала в этом домике. Вкратце напомним: мой батальон, отрезанный от дивизии, несколько суток не подававший о себе вестей, залповым огнем проложил дорогу сквозь немецкое расположение, пришел в Волоколамск. Генерал увидел из окна нашу батальонную

колонну и тут же послал адъютанта, вызвал меня к себе. Двумя руками, по-казахски (прожив в Средней Азии много лет, Панфилов знал наши казахские обычаи), он жал мне руку.

— Как вы пробились? Много людей потеряли?

По телефону Панфилов распорядился накормить батальон, проследить, как бойцы устроятся на отдых.

— И вы, товарищ Момыш-Улы, пожалуйста к столу. Закусите, потом будете докладывать.

Докладывая, я делал пометки на карте генерала. Она, эта карта, запечатлела историю боев дивизии. Противник рвался к Волоколамску. Темно-синие стрелы, обозначающие напор, наступление немцев, уже почти коснулись сооружений и путей станции Волоколамск.

— Вот наш путь. В этом месте, товарищ генерал, мы пригвоздили немецкую колонну.

— Постойте... Когда это было? В котором часу? Теперь мне кое-что проясняется.

Он поделился со мной своими мыслями. Лишь теперь ему стало понятно, почему в какой-то момент, двое суток назад, он, управляя напряженным боем, почувствовал, как вдруг ослабел нажим врага, вдруг вздохнулось легче. Тогда, в этот час, далеко от Волоколамска, далеко от своих, вступили в дело наши пушки, наш батальон, отрезанный у скрещения дорог. Колонны врага были рассечены, главная дорога преграждена, удар смягчен — немцам на некоторое время нечем было наращивать наступление, нечем подпирать.

— Вы поднесли немцам сюрприз, — говорил Панфилов. — С такими сюрпризами они уже встречаются не раз. И платят за них дорого, теряют кровь, наступательную силу. И, наверное, не знают, что ваш сюрприз был лишь случайностью...

Еще некоторое время он выспрашивал меня, затем сказал:

— А насчет вашего батальона вот что... Свой резерв я послал туда, где сейчас нам тяжеленько. Ваш батальон заменит его, станет моим резервом. Будем надеяться, что смогу дать вам сутки на отдых. Вы меня поняли?

— Да, товарищ генерал.

— А теперь идите, отдохайте.

Закрывая за собой дверь, я еще раз увидел генерала. Маленький, сутуловатый, с загорелой морщинистой шеей, он машинально поглаживал рукой, вернее одним лишь большим пальцем, выпуклое стеклышко часов.

2

«Будем надеяться, что смогу дать вам сутки на отдых». Но прошло лишь два с половиной часа, как я покинул домик генерала, и вот я вновь вызван к нему. Что же стряслось?

Мимо меня в штаб пробежал офицер, разбрызгивая высокими начиненными сапогами грязь и воду. В этой нервной поспешности, какой я никогда раньше не встречал в штабе Панфилова, чувствовалась напряженность момента.

Пушечный рокот почему-то стих. Над городом будто нависла тишина.

На серой, несколько тяжеловатой кобыле подскочил Синченко, сттавший на полсотни шагов. Я спрыгнул, бросил ему повод и, принуждая себя быть неторопливым, погладил теплый храп Лысанки, успокаивая не то ее, не то себя. Довольная, она повела на меня влажным большим глазом.

У входа дорсгу преградил часовой. Был вызван дежурный по штабу.

— Доложите,— сказал я.— Старший лейтенант Момыш-Улы. Явился согласно...

Дежурный прервал:

— Да, да... Вас ждет генерал. Идемте со мной.

## 3

В двух передних комнатах стояли и сидели штабные командиры, некоторые в шинелях, в снаряжении, готовые тотчас отправиться по поручениям. Я знал почти всех еще с Алма-Аты, с дней формирования дивизии,— некоторое время я работал тогда в штабе.

На столах были установлены три или четыре телефона; по двум аппаратам разговаривали. Топилась печь. Напротив раскрытой печной дверцы, вытянув ноги к огню, сидел долговязый полковник, начальник артиллерии дивизии. На днях мне довелось видеть в бинокль, как он шел с отходящими орудиями. Над людьми, над пушками и порой между ними пролетали сотни трассирующих пуль, а он, старый полковник, потомственный военный, приостановился, посмотрел назад, достал и раскрыл портсигар, взял папиросу, зажег спичку, закурил, проделал все это с нарочитым спокойствием, остановил одну пушку, приказал огрызнуться.

Теперь он сидел в плетеном кресле перед огнем, откинувшись, удобно вытянув ноги, подставив жару и руки — красноватые, с длинными, чуть узловатыми в суставах пальцами. Близ него, у телефона артиллерийской связи, расположились штабники-артиллеристы.

Полковник окликнул меня:

— Момыш-Улы?! С батальоном?

— Да, товарищ полковник.

— Дело... Ну, иди, иди...

В другой комнате разговаривал по телефону капитан Дорфман. Моложавый, всегда бодрый и приветливый, он и теперь улыбнулся мне глазами. Перед ним лежала карта, испещренная красными и темно-синими значками.

— А в роще наши? — допытывался у кого-то Дорфман.— Да, да, в квадратной роще? Уцепились пулеметчики? По-видимому? Так посылайте же разведку, связь... Пугевую будку удержали?

Не прерывая разговора, Дорфман указал мне рукой на притворенную дверь. Жест означал: «Проходите». Я все-таки помедлил, не решаясь войти к генералу без доклада.

Поглядывая на эту же дверь, словно кого-то ожидая, по комнате ходил начальник политотдела дивизии полковой комиссар Голушко — в шапке, в шинели, стянутой ремнем. Обычно жизнерадостный, шумливый, в эту минуту он не смог встретить меня шуткой.

— Батальон? Резерв генерала? — отрывисто спросил он.

— Да.

— Идите к нему!

## 4

Так случилось, что, открыв дверь, я уловил фразу, которая явно не предназначалась для моего уха:

— Позор! А мы вам доверяли...

В тот же миг я увидел Панфилова. Лицо его было угрюмым. Тяжелые слова, которые я случайно услышал, относились к нему.

Неподалеку стоял грузноватый человек в мерлушковой военной шапке, что носили генералы, в кожаном черном пальто без знаков различия.

— Товарищ генерал...— обратился я к Панфилову.

— Товарищ Момыш-Улы,—остановил меня Панфилов.— Здесь генерал-лейтенант Звягин, заместитель командующего армией.

Повернувшись, я встал лицом к человеку в кожаном пальто.

— Товарищ генерал-лейтенант! Разрешите обратиться к командиру дивизии. Командир батальона старший лейтенант Момыш-Улы.

— Что за партизанщина? — поморщился тот.— Почему шашка?

Я ответил:

— Я артиллерист и до сих пор не переаттестован. Ношу шашку по уставу.

Звягин неодобрительно покачал головой, неодобрительно взглянул на Панфилова.

— Почему вы завели такой порядок, что командир батальона является непосредственно к вам, командиру дивизии?

Панфилов покраснел. На его очень смуглой коже с морщинками у глаз, с глубокими складками около рта румянец проступил темными пятнами. Мы знали эту черточку Панфилова: когда нервничал, то этак, пятнами, краснел. Впрочем, это быстро проходило.

У Звягина, несомненно, имелись основания для упрека. За Панфиловым действительно водился такой грех: обычно он держал себя столь не по-начальнически, столь явно избегал чинопочитания, что, случалось, к нему обращались, вопреки уставу, не только командиры батальонов, но и взводные и даже солдаты, которых он не умел или не хотел оборвать.

Теперь он объяснил, что я командую его резервным батальоном. Хрипловатый голос Панфилова звучал тихо. Казалось, Панфилов чувствует себя в чем-то виноватым, теряется перед начальником.

— А, командир резерва...— сказал Звягин.— Сколько штыков?

Я доложил:

— Шестьсот штыков, четыре станковых пулемета, четыре орудия.

Желтоватое, немного отечное лицо Звягина просветлело. Я вдруг заметил, что у него крупные свежие губы, которые раньше были словно сжаты.

— Обстреляны? В боях бывали?

— Да,— кратко ответил я.

Вмешался Панфилов. Пятна исчезли с его загорелых щек. Он в нескольких словах рассказал о батальоне, о том, как мы, отрезанные немцами, в свою очередь перехватили скрещение дорог в тылу у них и на сутки пригвоздили к месту рвущихся в Волоколамск и в Москву гитлеровцев.

— Он действовал там не по приказанию,— продолжал Панфилов, глядя на меня.

В его маленьких глазах, прорезанных чуть вкось, чуть по-монгольски, я уловил не только встревоженность, смятение, но и напряжение мысли. Ему, вероятно, хотелось что-то уяснить себе, поразмышлять вслух. Рука потянулась к черным с проседью, стриженным по-солдатски, под машинку, волосам — в затруднительных случаях Панфилов любил поскрести затылок,— но, спохватившись, он опустил руку.

— Действовал не по приказанию,— повторил Панфилов.— Собственно говоря, у него был другой приказ: отходить, присоединяться к дивизии. А он остановился, захватил узел дорог. Беспорядок? Конечно, беспорядок... Но все-таки... Все-таки вот он каков, этот партизан с шашкой.

Со знакомой мне легкой улыбкой Панфилов жестом как бы представил меня. Ему явно хотелось обрести свой обычный, простой, нередко мутливый тон. Но улыбка лишь мелькнула. Лицо опять стало расстроенным, угрюмым, постаревшим. Брови — очень заметные, черные, без еди-

ной седой нити, как бы изломанные под прямым углом — опять насупились.

Однако Звягин уже смягчился.

— А, вот каков! — произнес он. — Казах?

— Да.

— Хорошо.

Я ожидал, что Звягин продолжит: «Хорошо, что батальоном командует казах». Такого рода одобрения мне доводилось выслушивать от русских — они не понимали, что этим походя, не думая, задевают мою национальную гордость. Однако Звягин в этом, видимо, был чуток.

— Хорошо, — повторил он. — Сейчас генерал поставит вам задачу. Я скажу немного. Противник прорвал на правом фланге фронт дивизии. Вам придется контратаковать в темноте, отбросить немцев, восстановить рубеж и закрепиться. Закрепитесь и не отходить. Ясно, товарищ командир батальона?

— Ясно, товарищ генерал-лейтенант, — сказал я.

— Сегодня, завтра, — продолжал Звягин, — решающие дни битвы за Москву. Противник измотан, обескровлен, он делает последние усилия, мы можем и должны остановить его здесь. Можем и должны, пусть даже всем нам, всему политическому и командному составу, пришлось бы с винтовками отправиться на поле боя. Позор, что мы все еще отходим! Позор, что мы позволили опять прорвать линию дивизии.

Панфилов стоял, немного опустив голову, сутулясь.

В упорных, жестоких боях, длившихся с шестнадцатого октября, немцы дважды или трижды прорывали оборонительные рубежи дивизии; казалось, фронт крошился; но наши боевые части, даже разрозненные, изолированные, продолжали драться, нападали, удерживали дороги, перед прорвавшимися немцами опять появлялись роты, батареи, батальоны; фронт снова смыкался.

А сейчас вновь рассечена наша оборона, сейчас Панфилову пришлось выслушать упрек: «Позор, что мы позволили опять прорвать линию дивизии».

Казалось, в этот час был смят не только фронт, были смяты и мысли Панфилова.

## 5

— Ставьте задачу, генерал, — произнес Звягин. — Не буду вам мешать.

Он начал прохаживаться по комнате, заложив руки за спину. Панфилов открыл дверь.

— Товарищ Дорфман, попрошу вас с картой.

Звягин негромко пробурчал:

— «Попрошу»... Не «попрошу», а «идите сюда с картой».

Панфилов промолчал. Опять проступили темные пятна румянца. Потупясь, он вновь слегка наклонил голову. Теперь это движение показало мне упрямым.

В свое время меня изумляла мягкая, как бы вовсе не военная, не властная манера Панфилова, его склонность советоваться, раздумывать вслух. К подчиненным он тоже обращался как-то не по-военному: «Товарищ Момыш-Улы», «товарищ Дорфман». У него был несильный голос с хрипотцой застарелого курильщика, он не любил, не позволял, чтобы перед ним тянулись, и словно не умел разговаривать повелительно. Мы скоро привыкли к этому. Однако теперь я словно увидел Панфилова глазами Звягина.

Да, наш генерал был невзрачен с виду, особенно в эту минуту. Маленький, сутуловатый, с впалой грудью, с глубокими морщинами на

худой шее, он, несомненно, выглядел совсем не молодежато, выглядел «заштатным генералом», как однажды в шутку сам себя назвал. И, конечно, со стороны нелегко было понять, как же он мог управлять дивизией, подчинять своему приказу, своей воле несколько тысяч человек...

Быстро вошел Дорфман с большой черной папкой.

— Попрошу к свету, к столу.— пригласил Панфилов.— И вас, товарищ Момыш-Улы, попрошу сюда.

Он упрямо повторил свое «попрошу». Звягин промолчал. Он тоже подошел к столу. Дорфман развернул папку. Перед нами лежала оперативная карта штаба дивизии.

Думается, мне никогда не забыть этой карты. По ней походила резинка, счищая синие и красные карандашные линии. В разных местах была несколько стерта и печать, особенно вдоль оси главного удара немцев, вдоль шоссе, ведущего в Волоколамск с юга. Там в отчаянных боях положение менялось иногда по два-три раза на день. Нанесенная красным карандашом теперешняя линия дивизии, выгнувшаяся дугой или полупетлей вокруг Волоколамска, была в двух местах разорвана — на юге и на севере. Обстановка на юге мало изменилась с того часа, как она была обозначена на карте, к которой еще днем в своем домике подвел меня Панфилов. Разорванные, разрозненные красные звенья, или, вернее, звеньшки, кое-где со значками пулеметов и пушек и сейчас еще жили, противостояли рвущимся в наши тылы немцам.

Но на правом, северном, фланге дивизии произошло, видимо, нечто неожиданное, страшное. Там зиял пролом в несколько километров по фронту. На карте эту брешь пронзила широкая синяя стрела с раздвоенным жалом. Раздвоенное острие было нанесено пунктиром, означающим, что движение противника в этих направлениях установлено не точными данными, а изображено предположительно. Между немцами, прорвавшимися севернее города, и самим городом не было никакой преграды, никаких наших заслонов, лишь в садах у городской черты краснели в двух или трех пунктах значки зенитных пушек.

Признаюсь, меня охватила тревога. Быть может, немцы, не встречая сопротивления, уже идут сюда, к штабу Панфилова, к Волоколамску?

Указывая взглядом на этот пролом, Панфилов спросил:

— Ну-с, товарищ Дорфман, какие у вас новые сведения?

Ответ был неутешителен:

— Связь, товарищ генерал, не восстановлена.

В эту минуту вошел дежурный по штабу.

6

— Товарищ генерал-лейтенант,— обратился он,— разрешите доложить.

Звягин кивнул. Дежурный сообщил, что по вызову Звягина прибыл майор Кондратьев, командир сводного полка. Недавно я слышал, что такой полк был сформирован в Волоколамске и занял участок обороны где-то по соседству с нашей дивизией.

— Кондратьев? Где он? — спросил Звягин.

— Здесь. В той комнате.

Тяжеловатыми, твердыми шагами Звягин направился к двери, распахнул ее и, не затворив, прошел дальше. Панфилов последовал за ним.

Сперва я не следил за начавшимся там разговором. Невнятно доносились лишь слова прибывшего. Казалось, он в чем-то оправдывается. И вдруг на весь дом прогремел голос Звягина:

— Перепугались?



Я приблизился к раскрытой двери. Перед Звягиным стоял худощавый, красноликий, явно взволнованный майор в мокрой, заляпанной грязью шинели. Через всю щеку, от виска к подбородку, пролегла вспухшая царапина. Держа руки по швам, вытянувшись, Кондратьев молчал. На щеке, возле царапины, ходил желвак.

Тем же громовым голосом Звягин продолжал:

— Кто позволил отойти без приказа?

В комнате было очень тихо. Прервав работу, стояли штабные командиры. В противоположную дверь заглядывали штабники-артиллеристы. Каждое слово явственно раздавалось в тишине.

Звягин ждал ответа. Кондратьев молчал. Ухо уловило тяжелое, учащенное дыхание Звягина.

— Отвечайте! — крикнул он. — Вам известен приказ о категорическом запрещении самовольного отхода с занимаемых позиций?

Кондратьев сглотнул, выпирающий острый кадык поднялся и скользнул вниз.

— Я был вынужден, — выговорил он.

— Бежать?

Опять минута молчания.

— Всем нам приказано, — вновь заговорил Звягин, явно обращаясь не только к Кондратьеву, — приказано: теперь, в решающие дни битвы за Москву, самовольное оставление позиции равносильно предательству и измене Родине! Вы поступили, как предатель...

— Что же я мог, если...

— Молчать! — загремел голос Звягина. — Оружие на стол!

Майор побледнел. Вспухшая царапина, смутно темневшая на красноватой коже, вдруг резко обозначилась, выделилась багровой полосой. Точно кто-то хлестнул его по лицу. Оглянувшись, будто ища участия, майор снял поясной ремень с пристегнутой кобурой пистолета и положил на стол.

Звягин неумолимо продолжал:

— Арестовать! Предать суду! Судить сегодня же... Завтра объявим приказом по армии... Увести!

Молодой лейтенант, комендант штаба дивизии, хмуро произнес:

— Пошли...

Кондратьев двинулся первым, комендант за ним. В тишине по-прежнему отчетливо слышалось тяжелое дыхание Звягина. Он повернулся к Панфилову.

— Генерал, я возьму у вас на время нескольких политработников и штабных командиров. Поедем в этот полк. Поможем собрать тех, кто разбежался, сколотим и поведем в контратаку.

— Звоните к себе, — приказал Звягин начальнику политотдела. — Пусть ваши работники садятся на коней. Сейчас выезжаем.

Через несколько минут, захватив приготовленную для него свежую карту с обстановкой, Звягин покинул штаб дивизии.

В комнату, где я все еще находился, вернулся Панфилов. Сюда же вошел долговязый артиллерийский полковник. Несколько по-домашнему, даже как бы бравируя небрежностью тона, он бросил:

— Контратака... Слезы, а не контратака...

Панфилов резко обернулся.

— Не понадобится ли вам платочек? — спросил он.

Такова была манера Панфилова. Он не вспыхнул, не закричал: «Вы забываетесь!» или «Вы распустили нюни!», не прибег к громким словам, а ограничился ироническим вопросом.

Полковник понял иронию, выпрямился, опустил руки по швам.

— Разрешите идти? — произнес он.

— Идите, — ответил Панфилов.

Мы остались с Панфиловым вдвоем. Снаружи кто-то закрыл ставни. Панфилов посмотрел на карту, лежавшую на его столе, прошелся по комнате. И неожиданно сказал:

— Вас удивляет беспорядок? Да, беспорядка много, товарищ Момыш-Улы.

Потом, следуя каким-то своим мыслям, он спросил:

— Вы читали, товарищ Момыш-Улы, военные работы Энгельса?

— Нет, товарищ генерал.

— Советую прочесть... Кажется, именно у Энгельса в одном месте говорится, что в военном деле случается и так: беспорядок есть новый порядок.

Ему, вероятно, хотелось походить, поразмыслить вслух. Но он вынул карманные часы, отстегнул, положил на стол.

— Идите-ка сюда, товарищ Момыш-Улы... К карте.

8

Минуту-другую Панфилов молча смотрел на карту. Синяя стрела, устремленная к городу с севера, по-прежнему была намечена легким пунктиром. Как сообщил Дорфман, связь с полком, на участке которого прорвались немцы, все еще не была восстановлена. Двигается ли оттуда противник? Серьезная ли это опасность? Или лишь демонстративный обманный удар, рассчитанный на отвлечение резерва? Имеет ли право Панфилов послать туда, в неизвестность, в ночь, свой последний резервный батальон? И имеет ли право не посылать, если линия обороны прорвана, если путь к городу открыт?

На столе тикали карманные часы. Время шло. Следовало решать.

— Вот, товарищ Момыш-Улы, линия укреплений под Волоколамском, — обратился ко мне Панфилов.

Тупым концом карандаша он очертил северный отрезок Волоколамского укрепленного района, заранее, еще до прибытия дивизии, подготовленного оборонительного рубежа по рекам Лама и Гродня.

— Но здесь вы не закрепляетесь, — продолжал Панфилов. — Видите, тот берег господствует... Обвод сделан по шаблону: река — значит, бери карандаш, проводи линию...

Кажется, я уже как-то говорил об одном жесте, свойственном Панфилову в минуты колебаний, неясности в мыслях, — в такие минуты он произвольно слегка растопыривал пальцы. Вот и сейчас он повертел в воздухе растопыренной пятерней, вероятно даже не заметив этого.

— Ваша задача, — сказал он, — пройти на тот берег, занять вот эти высоты, деревню Ивановку и задержать противника. Если же столкнетесь с ним раньше, вступайте во встречный бой. Понятно?

— Понятно, товарищ генерал.

— Идите... В штабе возьмите листы карты.

— Есть, товарищ генерал.

Глядя в глаза Панфилову, я произнес «есть!», а сам подумал: «Ты не уверен, ты колеблешься, не знаешь, на что решиться. Зачем же посылаешь меня?» Впервые за все время, что мне довелось общаться с Панфиловым, он вызвал во мне досаду.

Как сказано, я смотрел прямо в глаза генералу. И вдруг, словно разгадав мои мысли, он добавил:

— Я сомнезаюсь, я колеблюсь, товарищ Момыш-Улы. У меня нет решения, но нет и времени.

В один миг неприязнь к Панфилову превратилась в нежность, в любовь. Ведь он правдив, честен со мной, он не разыгрывает передо мной непогрешимого.

— Признаться,— продолжал он,— я подумывал поручить вам вести бой в городе. Подумывал: после того как мы измотаем противника здесь,— Панфилов показал карандашом рубежи боев с главной группировкой немцев,— я поручу вам оборону в самом городе. Может быть, выдержать характер, не посылать вас?

Панфилов живо посмотрел на меня, даже подался ко мне, явно ожидая моих слов, моего совета. Но что я мог посоветовать генералу?

— Что там творится,— вновь заговорил он, касаясь карандашом пролома на севере,— я не знаю. Возможно, вам придется принимать решения самому. Смело это делайте, я вам доверяю. Возможно, вдогонку еще что-нибудь сообщу. Ну, товарищ Момыш-Улы...— Он протянул мне руку, крепко пожал мою.— Верю вам, товарищ Момыш-Улы. Чести вы никогда не потеряете.

— Никогда! — твердо ответил я.

Я уже повернулся, чтобы идти, однако Панфилов задержал меня.

— Еще одно: не пренебрегайте осторожностью. Пусть сперва авангард ввяжется. Вы ориентируетесь — и со своими главными силами бочком, бочком... Глядишь, выбьете без больших потерь. Вы меня поняли?

— Понял, товарищ генерал.

— Ну, идите, идите... До свидания.

В его глазах я уловил ласку и встревоженность.

## Батальон во тьме

### 1

Выйдя из штаба, я мигом разыскал взглядом Лысанку. Ее даже в сумерках не спутаешь с другими лошадьми: на лбу большая белая пролысина, на сухих, тонких ногах белые чулки до колен. Гнедая, она сейчас под дождем казалась черной.

Синченко караулил меня. Держа в поводу Лысанку и свою Сивку, он быстро зашагал мне навстречу.

Вскоре мы подскакали к батальону, расположившемуся в стороне от шоссе, в боковой улице. Я издали увидел черневшие на мостовой оружейные запряжки, двуколки с пулеметами, обозные повозки, кухни на колесах. В ожидании меня батальон расположился на привал. Неясными группами в потяжелевших на дожде шинелях бойцы тесно сгрудились на ступеньках крылец или притулились у заборов. Далеко пролегла россыпь красных точек тлеющего курева, разгорающихся при затяжках.

Город был темен, тих, в окнах — ни огонька. Лишь на станции не унимался пожар. Небо там смутно багровело.

### 2

Меня узнали издали. Рахимов скомандовал:

— Встать! Смирно!

Я крикнул:

— Отставить! Вольно!

Рахимов доложил, что один дом он занял для штабной работы, подтянул туда взвод связи. Мой немногословный, незаметный начштаба всегда был предусмотрителен. Всякий раз, когда я видел Рахимова, я без расспросов знал: почти бесшумно, почти невидимо для ненаметан-

ного глаза четко действует управление батальоном. Вручив Рахимову свернутые в трубку листы топографической карты, которые Синченко заботливо завернул в плащ-палатку, я приказал:

— Передать по колонне: командира третьей роты ко мне!

Рахимов проводил меня к дому, облюбованному им для штаба. Тотчас туда же подбежал Филимонов.

— Товарищ комбат, по вашему приказанию явился!

— Рахимов, дай Филимонову карту. Держи, Ефим Ефимович. Разворачивай.

Здесь же, на крыльце, укрывшись от дождя под кровелькой, мы рассмотрели свежий, еще без привычных глазу сгибов, квадрат карты. Рахимов направил на нее сноп лучей карманного фонарика. Я показал Филимонову деревню Иванково.

— Видишь? Сюда подходит колонна противника, прорвавшегося на правом фланге. Силы его не выяснены. Задача батальона: преградить путь к городу. Ты, Ефим Ефимыч, пойдешь головной заставой. Твоя задача — прийти в Иванково раньше немцев, вязаться в дело, навязать им бой, притянуть к себе. А потом я с главными силами ударю с фланга или с тыла. Отдаю тебе половину огневых средств — два пулемета, два орудия. Если встретишь немцев ближе, оседлай дорогу, не уступай ее. Связь пока будем держать через связных. Понял, Ефимыч?

— Понял, товарищ комбат... Упрусь — и ни шагу назад.

— Нет. Можешь поиграть с ним. Можешь немного отойти. Втягивай его. Но держи поводья.

— Лучше я упрусь, товарищ комбат, на одном месте.

Военные хитрости были Филимонову не по нутру. Он привык выполнять точные, вполне ясные ему приказы.

— Ладно,— сказал я,— упрись. Потом все будет видней. Ну, поднимай людей и отрывайся. Я выступлю через двадцать минут. Маршируй ходко, по-суворовски.

Сбежав с крыльца, Филимонов зычно прокричал:

— Третья рота, становись!

Прозвучали повторные команды: «Первый взвод, становись!», «Второй взвод, становись!»...

На фоне низкого зарева вырисовалась черная поросль штыков. Рота построилась. Я подошел к Филимонову.

— Командирам и бойцам задачу растолкуешь на ходу. Выступай! Не теряй времени.

Быстро засунув под ремень полы шинели, Филимонов, заправский ходок, встал во главе роты. Раздалась его команда: «Марш!» Рота двинулась. Два орудия, две двуколки с пулеметами тронулись за ней.

3

Отправив головную походную заставу, я зашагал к штабу. Хотелось курить. Но в карманах папирос не оказалось.

— Синченко!

— Я, товарищ комбат.

— Дай пачку «Беломора».

В тот же миг передо мной выросла невысокая фигура с винтовкой.

— Товарищ комбат, закурить не угостите?

Я разглядел лукавую физиономию Гаркуши.

— А, боец Гаркуша... Что за вольности?

— Почуял дымок, товарищ комбат.

-- Ишь ты... Я еще не закурил, а Гаркуша уже дым почуял.

— Не зеваю, товарищ комбат. Меня еще родитель обучал: пока рохля разуваается, расторопный выпарится.

Несколько бойцов уже присоединились к Гаркуше, обступили меня. Поговорка была встречена смешком. Синченко подал мне пачку «Беломора». Я надорвал ее, протянул бойцам.

— Закуривайте.

Разумеется, никто не отказался. Гаркуша сумел, как я заметил, ухватить сразу две папиросы. Затем он же, несмотря на ветер и дождь, ловко зажег спичку, поднес мне огоньку.

Я пошел в штаб. Там меня ждали созванные Рахимовым командиры и политруки. Я объяснил обстановку, объявил задачу батальона.

— Ступайте, товарищи, к бойцам,— сказал я.— Растолкуйте: нам предстоит встречный бой, бой ночью, в темноте. Драться придется на близком расстоянии. Дело будет решать бросок гранаты, штык. Выступим через пятнадцать минут. Пообедаем на марше. Сделаем привал за чертой города. Вопросов нет? Идите.

## 4

Вскоре бойцы были выстроены.

Медленно проезжая вдоль строя, я в полутьме различал знакомые лица.

Вот вторая рота, самая немногочисленная, потрепанная в славной контратаке под селом Навлянским. Вспомнился вскинутый в замахе огромный приклад ручного пулемета, что, как дубину, поднял над собой ринувшийся на врага Толстунов. Вспомнился его яростный зов: «Коммунары!»

Жаль, нет сейчас с нами Толстунова. Почти одновременно с ним поднялся в атаку Заев — они повели за собой роту. Тогда Заев был ранен, но отказался идти в медпункт. Вот он, Семен Заев, стоит на правом фланге, ссутулившийся, длинный, несуразный. На пояском ремне висит пистолет в кобуре, ручка другого пистолета — парабеллума, взятого в Навлянском у застреленного немца, — торчит из-за пазухи шинели. Шапка низко нахлобучена, ее уши наконец подвязаны.

А вот молодое лицо Ползунова. Не пряча от дождя шею в воротник, он смотрит доверчиво, серьезно. Сегодня наш генерал услышал от меня о том, как этот юноша солдат, сжав ручку противотанковой гранаты, следил ясными глазами за надвигавшимися черными коробками, с ходу стрелявшими в нас. И о тяжело раненном командире второй роты Севрюкове, о герою лейтенанте Донских, о Брудном, который получил тогда урок мужества. Вот он стоит со своим взводом разведки, маленький смуглый Брудный. А вот пулеметная двуколка. Рядом пулеметный расчет: очкастый, слегка вытянувший ко мне длинную шею Мурин, саженьный, возвышающийся над строем бывший грузчик Галлиулин и невысокий Блоха с белесыми, неразличимыми в сумерках бровями.

Что им сказать, моим солдатам, перед новым боем?

Остановив коня, я обратился к строю:

— Товарищи! Нам хотели дать отдохнуть, но не пришлось. Нельзя отдыхать, пока враг под Москвой. Мы идем в бой, идем вперед вопреки всем трудностям. В будущем станут допытываться: что же это за люди, которые боролись под Москвой с такой отвагой? Ответим им теперь: это советские люди, защищающие свою Родину!

Выдержав паузу, я приказал:

— Рахимов, ведите батальон.

5

Роты шагали по проселку, меся грязь. Позади, выделенные заревом, чернели купола церквей, башни колоколен. Вскоре их затянула мгла.

Усилился ветер. Но дождь стал утихать. Утихла и пальба. Не слышно даже одиночных винтовочных выстрелов. Казалось, все замерло под Волоколамском.

Однако мы, идущие сейчас в неизвестность, в темноту, мы знаем: впереди линия обороны прорвана; сбегающиеся с севера к Волоколамску проселки, по одному из которых мы шагаем, уже не прикрыты нашими войсками; где-то во мгле перед нами противник.

Лысанка легко, точно не по вязкой грязи, шла подо мной сбоку колонны. Задумавшись, я грузно сидел в седле. И вдруг услышал позади топот коней. На миг топот смолк. Донесся торопливый вопрос:

— Где командир батальона?

И чей-то ответ:

— Впереди.

Минуту спустя меня нагнал майор из штаба дивизии в сопровождении двух бойцов.

— Фу ты... Далеконько вы ушли,— обратился он ко мне.— Придется поворачивать. Привез вам, товарищ старший лейтенант, новый приказ. Командуйте батальону: стой!

— В чем дело? Почему?

Отъехав вместе со мной в сторону, майор объяснил: удалось наконец восстановить связь с штабом полка, на участке которого прорвались немцы. Мой батальон по приказу генерала поступает в оперативное подчинение командиру этого полка, подполковнику Хрымову. Мне приказано: изменить маршрут батальона, идти не в Иванково, а в Тимково. Задача: занять Тимково, Тимковскую гору и держаться там.

Я спросил:

— А почему так, товарищ майор?

— Не знаю... Мое дело передать вам приказание.

— Вы сами говорили с Хрымовым?

— Нет. Говорил начальник штаба.

— Могли бы у него спросить.

Майор был задет.

— Не имею обыкновения задавать вопросы старшим начальникам.

Я не сдержался:

— Напрасно.

И, четко козырнув майору, крикнул:

— Синченко!

— Я, товарищ комбат!

— Передай Рахимову: остановить батальон!

— Слушаюсь, товарищ комбат.

Обернувшись к майору, я вновь козырнул:

— До свидания, товарищ майор.

Он сухо ответил:

— До свидания... Поворачивайте скорее.

6

Приказав сделать привал, я вызвал к себе командиров.

Солдаты присели у дороги на мокрую, побитую заморозками траву. Жадно закурили, пряча огоньки самокруток. Заметно похолодало. Не прекращался мелкий, будто сеющий сквозь сито, дождь. Эту изморось подхватывал, хлестал ею по шинелям, по плащ-палаткам, по ушанкам злой северный ветер.

Рахимов опять, как и на улице Волоколамска, павел луч карманного фонарика на прямоугольник карты, просвечивающий сквозь прозрачную крышку планшета. Я сообщил командирам о новом приказе: повернуть на Тимково, занять эту деревню, удерживать Тимковскую гору, господствующую, как показывала карта, над Волоколамском. Объяснив задачу, я приказал:

— Рахимов, дай Бозжанову коня. Бозжанов, гони к Филимонову, передай, чтобы возвращался.

Кажется, я уже говорил, что Бозжанов, как и многие мои сородичи казахи, любил верховую езду. Не часто ему выпадал на войне случай вложить ногу в стремя, натянуть повод. Поэтому даже теперь, в эту тревожную минуту, он доволен поручением. Его молодое, широкое, обрызганное дождем лицо серьезно. Но ответ весел, быстр:

— Слушаюсь, товарищ комбат!

Тон Бозжанова вызывает улыбки. В ответах фонарика я вижу: улыбается Дордия, зябко втянувший под дождем голову в плечи, улыбается сдержанный Рахимов. Я велю:

— Выполняй!

Откозырнув, Бозжанов поворачивается, шагает во тьму. Вот уже видна только его спина — надежная, немного наклоненная вперед, будто тоже, как и весь он, устремленная к цели. «Стрела!» — приходит на ум нужное слово. Я продолжаю распоряжаться:

— Панюков!

Командир первой роты Панюков — тот, что за нашим прерванным, несостоявшимся обедом возгласил тост за дружбу, — делает шаг вперед, четко, каблук к каблуку, несмотря на грязь, приставляет ногу. Поясной ремень туго стягивает хорошо пригнанную сейчас мокрую шинель. Багровый полусвет, отблеск далекого пожарища, смутно озаряет его художавое лицо.

— Панюков! — говорю я. — Корми людей. Через пятнадцать минут выступай как головная походная застава. Займи Тимково. Видишь? — Я показываю Тимково на карте. Панюков сверяется со своей картой. — Закрепляйся там. Потом я подойду со всеми силами.

— Товарищ комбат, а где противник?

— Черт его знает... Будем надеяться, даст знать о себе.

Тут подает голос Дордия:

— Товарищ комбат, разрешите.

— Ну...

— Товарищ комбат, — неуверенно говорит он. — Может быть, лучше подождем утра?

Не решаясь вслух поддержать политрука, Панюков вопросительно и, как я улавливаю, с тайной надеждой смотрит на меня. Отрезаю:

— Что за разговоры? Приказано поворачивать на Тимково — значит, рассуждать нечего. Иди в Тимково! Занимай деревню! Понял, Панюков?

— Да, товарищ комбат.

— Отдаю тебе всю артиллерию, имеющуюся в наличии... Ну, корми людей. Сейчас Селезнев подгонит сюда кухни. Селезнев, ко мне!

Передо мной вытягивается Селезнев:

— Слушаю вас, товарищ комбат.

— Селезнев, давай-ка сюда кухни.

Смутно различаю лицо Селезнева. Кажется, он растерян. Да, так оно и есть. Слышу ответ:

— Кухонь нет, товарищ комбат.

— То есть как это нет? Куда же они делись?

— Майор из штаба дивизии приказал: весь обоз направить назад в город, идти налегке.

— Весь обоз? И ты отправил?  
 — Да, товарищ комбат. Исполнил все бегом.  
 Я не могу удержаться от ругани.  
 — Ведь ты, бестолочь, знал, что люди не ели. Почему не доложил мне?  
 Селезнев молчит. Я кричу:  
 — Черт тебя возьми! Шагай в Волоколамск! Привези хоть сухарей! Без сухарей не появляйся!

. 7

— Придется, Панюков,— проговорил я,— идти наголодке... Может быть, у немцев разживемся чем-нибудь... Выстраивай роту, веди.  
 Панюков повелительно кричит во тьму:  
 — Свяжной, ко мне!  
 Тотчас появляется маленький татарин Муратов.  
 — Я!  
 — Пойдем!

Ступая по чавкающей грязи, Панюков зашагал к своей роте. Я смотрел ему вслед. Все вроде бы сделано; приказание отдано; подчиненный ответил «слушаюсь», отправился выполнять. Но смотри на его плечи, смотри на его спину: что они скажут? Мне вдруг почудилось: спина Панюкова, всегда статная, выпрямленная, сейчас понурая, неуверенная. Это мгновенное впечатление словно ударило меня. Подмывало крикнуть: «Стой, ты не пойдешь!» Но я тут же себя одернул. Видимо, развинтились нервы. Бестолковщина, потемки, неизвестность играют со мной шутки.

Вот еще одна спина — маленького скорохода, связанного Муратова. Он преданно шагает рядом с командиром. И, наконец, третья спина — плохо видящего в темноте, нетвердо ставящего ногу политрука Дордия.

Да, шалят нервы. И что-то неможется, знобит. Черт возьми, этого еще не хватало — захворать! Нет, не поддамся, справлюсь.

Слышу команды, шум строящейся роты, потом тяжелые, мерные шаги. Рота Панюкова ушла.

Я остался в поле с ротой Заева.

8

Ко мне подошел Заев. Из-за пазухи его шинели по-прежнему торчит ручка парабеллума.

— Товарищ комбат, стеганка небось промокла. Шинель вам не мешало бы надеть.

— Потерпим. Глядишь, и другие не распустят нюни.

— Никто и не распускает,— хрипло бурчит Заев.— Поколе у нас такой комбат.

— Поколе...— иронически повторяю я.— Прибереги любезности до другого раза. Лучше пойдем промнемся.

Некоторое время мы с Заевым молча прохаживаемся по дороге, отдаляемся от сидящих по гребешкам канавы, спиной к ветру, бойцов. Простуженным басом Заев угрюмо говорит:

— Нескладица! Гоняют вперед, назад... Батальон разорвали на три части... Кавардак!

В словах Заева, словно в отражении, я узнаю собственные мысли. И потому резко обрываю:

— Об этом, товарищ лейтенант, вашего мнения я не спрашивал.

Заев хмуро отвечает:

— Есть!

Мы возвращаемся, подходим к бойцам. Ко мне опять смело подскакивает Гаркуша.



- Товарищ комбат, разрешите развести костерик... Согреть душу.
- Костров разводить нельзя. Будем греться куревом.
- Папиросок, товарищ комбат, нет.
- Что же, закуривай...

Вынув пачку «Беломора», угощаю Гаркушу папиросой. Тотчас вокруг собираются бойцы. Из-за плеч Гаркуши тянет длинную шею Мурин. Он тоже угощается из моей пачки. Я спрашиваю:

— Как, Мурин, не раскис?

Мурин отвечает:

— Выдублены... Эта дубка не раскиснет...

Ого, какие слова усвоил Мурин, бывший аспирант консерватории. Дубка... Знал ли он раньше, до армии, это словечко?

Вторая рота... Любимая, самая крепкая, гнавшая немцев, не принявших вызова на рукопашку... Вторая рота... К ней в жару незабываемой первой атаки прикипело сердце комбата...

Я, разумеется, знал наизусть пункт устава, требующий постоянного личного общения командира с подчиненными. Не всегда это общение мне легко давалось. Однако сейчас вовсе не только пункт устава движет мной.

— Сегодня, товарищи, я побывал у генерала,— негромко произношу я.

Те, кто меня слушает, сдвигаются теснее. С мокрой земли поднимаются, подходят еще и еще бойцы.

— Генерал Панфилов велел мне,— продолжаю я,— передать привет лейтенанту Брудному... Брудный, где ты?

— Здесь, товарищ комбат.

Толпа расступается, я смутно различаю легкого на ногу, худощавого Брудного. Сейчас он замер, не шелохнется. Недавно я его казнил перед строем, казнил не пулей, а бесчестьем.

Я чувствую, Брудный ждет еще каких-то моих слов. И вместе с тем не хочет их, стесняется.

Я говорю:

— Собирался представить тебя, Брудный, к награде, но видишь... Придется еще раз стукнуть немцев, чтобы дали спокойно написать.

Брудный молчит. Незримый ток доносит ко мне его волнение. Справившись с собой, он бойко отвечает:

— Обеспечим, товарищ комбат.

Ответ нравится, бойцы смеются. Ну, хватит с тебя, Брудный. Я продолжаю:

— И тебе, Ползунов, привет от генерала. Слышишь?

Из темноты раздается:

— Служу Советскому Союзу, товарищ комбат.

— Я, товарищ комбат, взял его в пулеметчики,— вмешивается без разрешения Заев.— Ничего, парень способный. Сам его учу.

Не хочется кого-либо подтягивать в такую минуту, но существует закон командира, его крест: никогда не спускай!

— Следовало бы, товарищ лейтенант,— говорю я Заеву,— сперва обратиться ко мне: «Разрешите сказать...»

— Виноват,— бурчит Заев.

— Хвалит тебя, Ползунов, командир роты. Зря он не скажет. Но не возгордись. А то велю нарвать крапивы...

Бойцы встречают смехом знакомую шутку.

Солдатский смех всегда отраден. Усталые, давно не евшие, закинутые сюда, под дождь, в темное поле, в неизвестность, они сами, не ведая того, учат душевной стойкости меня, своего комбата.

Побыв с бойцами еще немного, я снова зашагал по расползающейся под ногами вязкой грязи, вдоль немногих оставшихся у меня запряжек.

Вон темнеет напитавшийся дождевой влагой брезентовый верх широкой санитарной фуры. Где-то тут я сейчас, наверное, увижу нашего батальонного врача, капитана медицинской службы Беленкова. Иногда, пожалуй, в нервной обстановке боя я был к нему несправедлив, не раз, точно хлыстом, огревал резким словом за суету, за боязливость. Надо бы теперь как-то поправить, возместить обиду, уловить в полутьме улыбку и на его длинном, всегда бледноватом лице.

Задний борт фуры опущен. На краю деревянного настила тесно сидят, свесив ноги, несколько санинструкторов и пожилой фельдшер Киреев, все еще, вопреки испытаниям и лишениям, не потерявший грузности.

— Киреев, ты?

Санитары соскакивают. Слезает, побряхтывая, Киреев.

— Сиди, сиди,— говорю я.

Но старый фельдшер не позволяет себе этого. Тяжело прыгнув, он говорит:

— Дремлем... Извиняюсь, товарищ комбат.

— Чего извиняешься? Когда же и подремать, как не теперь? Где доктор?

— Спит,— вполголоса, боясь потревожить сон врача, отвечает Киреев.— Постелили ему, товарищ комбат, в фуру. Уснул тут на спокойе. Будить?

— Не надо... Разбудят без нас.

И вдруг, словно в подтверждение моих слов, где-то вдалеке — там, куда ушла рота Панюкова,— глухо затрещали винтовочные выстрелы. Потом застрекотал пулемет.

Черт возьми, там уже бой! А роты Филимонова нет! И Бозжанов будто сгинул!

От санитарной фуры я быстро направился к роте. Синченко уже шел навстречу мне с лошадьми. Одним махом вскочив в седло, я подрысил к стоящим на дороге Рахимову и Заеву.

— Заев! Поднимай роту! Рахимов, веди колонну на Тимково! Синченко, за мной!

Не теряя больше ни минуты, не оглядываясь, я погнал Лысанку на звук выстрелов, туда, где вступила в бой рота Панюкова.

## Ночь

### 1

Вдвоем — я впереди, Синченко следом — мы скачем впотьмах. Почти не требовалось сверяться с картой, чтобы держаться пути, которым прошла рота Панюкова. На развилке, на скрещении дорог, мы поворачиваем на выстрелы. Ориентиром, служит и колея, продавленная в грязи тяжелыми колесами пушек. В какой-то миг в небе завиднелись ракеты, будто замирающие в высоте, источающие далекий, бледный свет. У Панюкова не было ракет. Это немцы освещают местность.

Дорога пошла вниз. Дождевая вода тут уже не застаивается в рыгвинах, колеях и канавах, а бежит под уклон. Чем ниже в ложбину, тем темнее, отсюда уже не видно ракет, их заслонил гребень горы. Лишь край зарева все еще мутнеет над нами. Можно разглядеть раскинувшиеся вдоль дороги домики и палисадники. Никто нас не окликает, только твякают собаки. На минутку сбоку открывается прогалина, далекий раз-

дол: в небе вырисовываются черные ветки, оголенные ранними морозами. Глаз схватывает, фиксирует каждую подробность — отсюда уже близка черта, где идет бой.

Вскоре Лысанка настороженно замедляет шаг. Слышен шум несущейся где-то внизу воды. Еще минуго-другую длится спуск. Лысанка останавливается. Перед нами ручей, вздувшийся от долгого дождя. На карте этот ручей обозначен тонкой голубой волосинкой. В сухую погоду его, наверное, можно перейти, не черпнув голенищами. А сейчас вот он каков! Поток пенится, клоочет у хлипких деревянных устоев, поддерживающих узкий, почерневший, почти неразличимый настил. Пушки не пройдут по этому хлипкому мостку. Где же переправлялись запряжки? Не ожидая вопросов, остроглазый Синченко находит колею, показывает мне. По следу пушек направляю Лысанку. Она выносит меня через обдающий брызгами шумный водоскат на другой берег. Взбунтовавшаяся быстрая вода смывает грязь с белых чулок Лысанки, они чуть светлеют в потемках. Моя легкая лошадка и крупная, сильная Сивка, которую, слышу, нахлестывает Синченко, взбираются по крутизне, по вязкой черной грязи.

Внезапно из мглы раздается окрик:

— Кто это? Стой!

Узнаю голос командира батареи лейтенанта Кутаренко. И он уже узнал Лысанку.

— Товарищ комбат, вы?

— Кутаренко, ты почему здесь? Где твои орудия?

— Застряли, товарищ комбат... Вот поглядите.

Он указывает вперед. Я шевелю повод, трогаюсь и почти тотчас на-талкиваюсь на завязшие пушки. Различаю очертания павшего коня. Другие кони понуро стоят, выбившись из сил. Артиллеристы притулились к пушкам.

Кутаренко докладывает:

— Как переправились, товарищ комбат, так и засели... Вытаскивали вместе с пехотой орудия на руках, но время уходило, и пехота пошла дальше.

На высоте, за невидимым отсюда гребнем, стучат два или три пулемета. По звуку определяю: немецкие. Доносятся редкие глухие разрывы мин. Это опять-таки немцы бьют из минометов. У нас с собой минометов нет. Я спрашиваю:

— Отсюда не сможем стрелять?

— Нет, товарищ комбат. Чертовски круто. Слишком велик угол.

— Вот что, Кутаренко... Подойдет Филимонов, тебя вытащим. А Заев пусть не задерживается. Передай ему, чтобы скорей вел роту вверх.

Пришпорив Лысанку, кричу:

— Синченко, за мной!

И гоню в гору.

## 2

Оскользясь, приседая на круп, с усилием вытаскивая копыта, Лысанка одолевает подъем. Ладонью я похлопываю по шее славную лошадку. Влажная шерсть горяча, над ней вьется парок.

Вверху, на фоне белесого смутного мерцания, обозначился гребень. Затем взгляду открылись обрезанные гребнем траектории взлетающих, вспыхивающих в выси ракет. Нагоняю нескольких бойцов, бредущих в гору.

— Кто такие? Стой!

— Свои, товарищ комбат.

— Как фамилия? Какой роты?

— Боец Березанский, товарищ комбат. Из первой роты.

Березанского в роте звали стариком. Он вечно покашливал табачным засахарелым кашлем с хрипотцой, с отхаркиванием. Пожалуй, единственный среди бойцов он носил усы, длинные, слегка свисающие, прокуренные над губой, а на концах светлые, пшеничные. Нередко он раздражал меня медлительностью. Вот и сейчас еле плетется.

— Куда идете? Где командир роты?

— Не знаем. Сами ищем. Потерялись, товарищ комбат.

Про себя чертыхнувшись, проезжаю дальше. Дождь перестал, но с горы по-прежнему бежит вода, Лысанка наконец взяла подъем. Сразу набросился, резнул по лицу, по рукам колючий, леденящий ветер.

Ясно: немцы раньше нас пришли сюда, овладели высотой, заняли деревню. Вон на бугре в свете ракет смутно видны крыши. Оттуда, из деревни, вылетают светлячки трассирующих пуль, взвиваются ракеты. А где же наш огонь? Улавливаю лишь разрозненные винтовочные выстрелы.

Оглядываясь по сторонам, оборачиваюсь назад. Черт возьми, мы взобрались выше зарева! Гаснущее, блеклое, оно розовеет вдалеке, никнет к земле. Виден и очаг пожара, похожий отсюда на догорающую грудку угля. Это станция Волоколамск. Там пролегает рубеж нашей обороны. Несколько левее — город, сейчас скрытый тьмой. Где-то на восточной окраине штаб Панфилова.

Здесь, на юру, на ветру, прохватывающем до костей, я вдруг почувствовал себя брошенным. В мыслях воззвал к Панфилову: «Товарищ генерал, батальон разъединен, разорван на несколько частей; пушки завязли; обоз со всеми средствами управления, средствами связи ушел в Волоколамск; мы опоздали, немцы раньше нас захватили высоту; как поступить, что делать, товарищ генерал?»

Нет, Баурджан, генерал не ответит. Не жди! Но ведь он тебе сказал: «Я вам доверяю». Чего же ты расхныкался? У тебя есть приказ: «Занять Тимково!» Так к черту меланхолию! Занимай! Исполни приказ!

### 3

Без дороги, полем, меня медленно несет Лысанка. В стороне различаю стог, направляю туда лошадь.

— Эй, кто-нибудь тут есть?

— Мы, товарищ комбат.

— Почему вы здесь? Где командир взвода?

— Не знаем, товарищ комбат.

Неподалеку с характерной красной вспышкой рвегся в грязи мина. Я спрыгиваю с седла.

— Синченко, укрывай коней.

— Вы куда, товарищ комбат?

— Похожу здесь, разберусь.

Иду отыскивать Панюкова. Поеживаясь от острого ветра, тащусь по вспаханному полю. Сапоги сразу становятся пудовыми, их будто присасывает, хочет сдернуть липкая земля. Тут же по полю слоняются бойцы, потерявшие своих командиров. Где же, где же Панюков? Рота, черт возьми, развалилась, распалась в этой грязище!

Неожиданно слышу крепкое русское ругательство. Голос энергичный, повелительный.

— Ложись! Ложись цепью, кому я говорю!

— Куда же тут ложиться? В грязь?

— Ложись! Не теснитесь в кучу! Всех одной миной перебьет! Рассыпайся в цепь!

Приказание снова уснащается ругательством. Чей же это грубый, властный голос? В первую минуту не могу определить, не узнаю. Неведомый мне командир продолжает:

— Джильбаев! Проценко! Собирайте сюда людей!

— Есть, товарищ политрук, собирать людей!

Политрук? Кто же такой? Неужели мешковатый Дордия? Нет, не его тон, не его голос. Слышу новую команду:

— Глушков!

— Я!

— Будешь пока командовать взводом. Первый взвод — к Глушкову! Принимай вправо! Да не теснитесь же!

И снова крепкое словцо. Нет, от застенчивого, легко краснеющего Дордия я не слыхивал таких слов. И вдруг тот же голос совсем другим тоном произносит:

— Муратов, моей шапки ты не видишь?

— Не вижу, товарищ политрук.

— Давай-ка поищи. Где-то я ее посеял.

Я ахнул. Это же все-таки он — неловкий близорукий Дордия! Умудрился потерять шапку. Но откуда же у него взялись властность и энергия? Каким чудом за один час он так переменялся?

Я подошел ближе. В неживом свете медленно ниспадающей ракеты увидел белобрысого политрука. Свирепый ветер, словно гребешком, зачесал назад, поднял торчком его коротко подстриженные волосы.

— Дордия, где командир роты?

— Не знаю, товарищ комбат. Не мог его найти.

— Принимай командование ротой.

— Есть! Я уже принял, товарищ комбат.

Позади шлепнулась, разорвалась с глухим треском мина. Мы с Дордия легли. Под упором локтей расступилось противное месиво расквашенной, вспаханной земли.

В поле там и сям возникают красные вспышки нечастых разрывов. Из мглы появляется Муратов, подает политруку его ушанку. Я спрашиваю:

— Муратов, почему потерял командира роты? Как это случилось?

Маленький связной отвечает:

— Я держался, товарищ комбат, рядом с политруком. Шли все время вместе: лейтенант, политрук и я. Потом вдруг туда-сюда — командира роты нет... Должно, ушел вперед. А мы отстали.

Трогающая душу вера в своего командира звучит в словах Муратова. И я верю Панюкову. Конечно, не обращая внимания на отставших, он вырвался вперед с горсткой бойцов, залег где-то около деревни.

Надевая ушанку, Дордия притрагивается к своим встопорщившимся волосам.

— Подмораживает, товарищ комбат. Колется! — восклицает он.

Да, ветер еще полует. Дордия вновь посылает бойцов собирать разбредшихся. Но сходятся туго. Пока всего тридцать — сорок человек стянулись к Дордия.

Лежа, я наблюдаю за огнем противника. Хлопки мин по-прежнему редки — по-видимому, действуют всего два или три миномета. Прочерчивая ночь цветными хлыстиками, из деревни вылетает веер трассирующих пуль. Можно проследить, как свирепый ветер слегка скашивает лет пули. Пушек у противника нет. Вероятно, перед нами головная походная застава немцев, такая же примерно, какую и я выслал сюда под началом Панюкова. Осветительные ракеты противник расходует скупо, бережливо: взбрасывает по две, по три, выжидая, пока они, медленно падающие, не потемнеют, не погаснут. Порой взлетают и цветные сиг-

нальные ракеты: вероятно, немцы сигнализируют, что встретились, столкнулись с нами, вызывают подкрепления. Возможно, к ним уже спешит подмога. Надо бы скорее атаковать, подавить огонь врага, сблизиться на бросок гранаты, вышибить немцев из деревни, пока их силы невелики. Но с кем атаковать? Еще не собрана, не сошлась к Дордия хотя бы половина роты. Заев, Заев, поспедай! Эх, как сейчас ты нужен!

Кто-то, запыхавшись, подбегает. Еще не веря себе, узнаю сутулую фигуру, размах длинных рук, оттопыренную пазуху шинсли.

— Заев! — кричу я.

Тяжело дыша, Заев докладывает:

— Привел роту, товарищ комбат!

— Пулеметы с тобой?

— Втащили, товарищ комбат... А орудия оставил у Кутаренко.

— Ладно, Семен... Надо вышибать немцев из деревни.

— Вышибем, товарищ комбат! — простуженным басом отвечает Заев.

Некоторое время молчу. Заев ждет приказа. Что ему сказать? В эти минуты, когда надобно принимать решение, отдавать боевой приказ, тысячи мыслей, тысячи противоречий роятся, борются в душе. Панфилов напутствовал меня: «Ударьте бочком, бочком... Глядишь, и выбьете без больших потерь...» Но если послать роту Заева в обход, я потеряю время. Из Тимкова опять взметнулась серия сигнальных ракет. Несомненно, немцы призывают, торопят подмогу. Отложишь атаку на два-три часа — столько времени Заеву потребуется, чтобы обойти Тимково, — а противник меж тем подбросит туда новые силы, артиллерию, всякие прочие огневые средства. Как же поступить? Что приказать? Опять вспомнился Панфилов: «Я колеблюсь, товарищ Момыш-Улы, у меня нет решения, но нет и времени...» Нет времени! Это, будто тисками, сдавливает голову, сжимает грудь. Я приказываю Заеву:

— Развертывай роту! Открывай огонь! И веди вышибать. Сближайся перебежками. Доберемся на бросок гранаты и гранатой вышибем!

— Понятно, товарищ комбат!

— Отсюда тебя поддержит Дордия. Дордия, слышишь? Как только поднимется вторая рота, поднимай и своих в атаку. Ну, Заев, действуй! Быстрей, быстрей! Смотри не распускай вожжи!

— Не распушу! У меня не забалуешь...

Заев тяжело бежит по грязи к своей невидимой отсюда роте.

4

Я пошел вслед Заеву. Вот положение: у меня нет ни светосигнальной, ни телефонной связи. Как управлять боем? Хоть бегай сам от командира к командиру.

Из тьмы слышны негромкие слова приказаний, слышю чавканье сапог — встрая рота принимает боевой порядок, рассыпается в цепь перед атакой. Немцы, видимо, заметили подошедшую роту — часто и близко зашлепали мины. Кто-то вскрикнул, застонал.

Шагая, замечаю идущую навстречу пару: грузноватый фельдшер Кирсез поддерживает, почти тащит на себе раненого, ворчливо и ласково приговаривая:

— Ты ходи, ходи ножками-то... Не ложись, браток. Ходи, ходи ножками.

Опять слышу чей-то вскрик. Добираюсь к Заеву. Опустившись на одно колено, он прилаживает ручной пулемет. Через голову перекинут белый жгут, сделанный, как можно догадаться, из бинта. На эту перевязь Заев укладывает дуло ручного пулемета, примеривается. Я говорю:

— Заев, кого ждешь? Теряешь без толку людей. Веди!

Он вскакивает. Дуло пулемета удобно покоится на белеющей лямке. Массивный приклад плотно прижат к животу.

— Слушать меня! — хрипло орет Заев. — Вперед!

Стреляя на ходу, он бежит к деревне.

Мгновенно поднялась вся цепь. Я определил это не столько глазом, сколько чутьем командира.

Пронзая ночь огоньками выстрелов, трещат наши винтовки. Шагаю по топкому полю вслед за ротой, вижу, как перебегают бойцы. Некоторые стреляют лежа, другие — с колена, опять поднимаются, продвигаются вперед. Пробегают пулеметчики; огромный Галлиулин, согнувшись, вскинул на плечи тело пулемета, Мурин тащит треногу, Блоха нагружен лентами. Вот они останавливаются, быстро крепят пулемет, бьют длинными очередями. В ответ немцы усиливают пальбу. Мины рвутся чаще. Ракеты висят над полем, источая бледный свет, в котором мы кажемся призраками, не отбрасывающими тени.

И вдруг наш огонь будто сам собой затихает. Понимаю, вижу воочию причину. При близких хлопках мин бойцы плюхаются, втискиваются в грязь. Погодя, они живо поднимаются, вскидывают винтовки, но это уже лишь тяжелые палки с примкнутыми штыками, а не огнестрельное оружие. Ствол в грязи, затвор в грязи! Стрелять нельзя! Оборвалась и стукотня ручного пулемета, с которым пошел на немцев Заев. Загрязнился, перестал действовать и пулемет Блохи.

Грязь подавила наш огонь, все пулеметы и винтовки постепенно отказали.

Прижимаясь к липкой, холодной земле, там и сям залегли бойцы. Я продолжал мрачно шагать. Ко мне подошел растерянный, понурившийся Заев.

— Вот, товарищ комбат, какая вещь, — невнятно буркнул он.

На его груди по-прежнему болталась лямка, почерневшая от грязи. Ручной пулемет прикладом назад, наподобие дубины, был перекинут через плечо. Я приказал выносить с поля боя пулеметы, идти с ними в племхоз, расположенный неподалеку, под горой, вычистить, смазать и вернуть.

— Людей где-нибудь укрой. Но спать не давай, пока не вычистят винтовки. Выставь охранение. Понятно?

Заев выпрямился. Приказание вернуло ему целеустремленность и энергию.

— Ага! — просипел он. — Можно выполнять?

— Выполняй.

Заев и тут не обошелся без чудачества. Четко проделывая приемы, он взял ручной пулемет на караул, постоял так, словно отдавая честь, затем канул во мглу.

## 5

Вскоре все затихло на поле под Тимковым. Мы не стреляли. Прекратили огонь и немцы. Ракеты взметывались все реже. Потом воцарилась тьма. Ни выстрела, ни проблеска, ни крика. Улеглось и зарево дальнего пожара.

Тишина. Лишь воет, свистит ветер. Я промок до нитки. Холодно. Дрожу. Зубы выбивают дробь. Думаю о Панюкове. Где он? Наверное, впереди. Надо его найти.

Беру по компасу азимут на запад, иду полем к деревне, скрытой тьмой. Сапоги продавливают подмерзшую корочку, оставляя глубокий след, куда тотчас набегают вода. Твердеют, замерзают мокрые штаны,

мокрая стеганка. Коченею, бьет озноб, с одеревеневших губ в такт дрожи все время слетает: «У-у-у...»

Прошел сквозь охранение второй роты. Люди тоже дрожат, лягают зубами. Никто не обратился ко мне, ни о чем не спросил. И я ничего не сказал. Все понятно без слов: ужасная ночь!

Я долго шагал полем. Со мной ни адъютанта, ни связного: все разосланы в разные стороны. Синченко остался с лошадьми. Иду, в темноте вдруг споткнулся обо что-то мягкое, чуть не упал. Дотрагиваюсь: убитый. Наверное, из первой роты. Значит, наши где-то здесь. Броском, под командой Панюкова, добрались сюда. Закоченевшими пальцами продолжаю ощупывать труп. Нашариваю узкий погон. Немец? Да, немец. Где же я, в немецком расположении, что ли? А может быть, Панюков перебил здесь немцев, закрепился на высоте? Медленно тащусь дальше. И вдруг шаги. Справа идет человек, слева — другой. Дрожь, что трясла меня, мгновенно прекратилась. С двух сторон приближаются ко мне. Возможно, немцы. Возможно, идут с двух сторон на захват. Вынул пистолет. Зарядил, пуля в стволе, с курка снят предохранитель. Шагаю вперед, будто не обращая внимания. Если окликнут по-немецки, буду стрелять в упор. Подошли. Постояли. Я прошагал мимо. Никто не промолвил ни слова. Боялись в темноте открыть себя. Таки разминулись.

Где же Панюков, где его бойцы? Ничего не выяснил. Повернул назад.

Шагаю, шагаю к своим. Сапоги по-прежнему увязают в размытой дождем пахоте, выдираю их с усилием. Поглядываю на светящиеся стрелки часов: уже пора бы мне дойти. Не миновал ли я наши посты? Продолжаю шагать. Чувствую, что начался склон. Черт возьми! Куда же меня занесло? Неужели заплутался, потерял свой батальон? Эта мысль вдруг стиснула горло, мне не хватило дыхания. Потерял свой батальон! Проплутаю всю ночь, окажусь к свету на отшибе...

6

Блуждаю в отчаянии. Наконец судьба надо мной смилостивилась. Натыкаюсь в темноте на сарай. Изнутри доносятся голоса. Прислушиваюсь. Русский говор, наши. Вот проем ворот. Вхожу. Люди сидят, лежат в соломе.

— Кто идет?

— А вы кто?

Выяснилось, что в сарае собралось человек тридцать, почти целый взвод из роты Панюкова. Среди них двое раненых. Здесь же обретается и командир взвода младший лейтенант Агейкин. Он встал передо мной навытяжку. Я посветил фонариком. На шапке, на шинели Агейкина белели приставшие соломинки.

— Агейкин, где командир роты?

— Не знаю, товарищ комбат. Потеряли.

— С политруком связался?

— Не знаю, где он, товарищ комбат.

— Конечно, пока валяешься в соломе, ничего не будешь знать. Посылай двух бойцов к политруку. Я растолкую, где его найти.

У меня еще хватает сил на разговор с бойцами, которых Агейкин посылает к Дордия. Приказываю им:

— Сообщите, что нахожусь здесь.

И тяжело опускаюсь на солому, почти падаю мешком. Что со мной? Неужели теряю волю? Неужели болен? Дрожу. Озноб колотит все сильнее. Тепла ждать неоткуда. Сквозь щели со свистом врывается ветер. Надо бы снять сапоги, вылить из них воду, выжать портянки, пе-



реобуться, но нет сил. Закрываю глаза, сжимаю руками плечи, чтобы унять дрожь. Много часов во рту не было ни крошки, но есть не хочется. Хочется лишь одного: тепла, тепла.

Наверное, какое-то время я пролежал в полузабытыи. Меня возвращает к действительности голос Рахимова.

— Комбат здесь?

— Рахимов, ты? Иди сюда.

С души спадает тяжесть. Появился точный, исполнительный Рахимов — значит, появится все: связь, штаб, порядок. Нет, на этот раз так не случилось.

— Где Филимонов?

— Еще не подошел, товарищ комбат.

— Панюков?

— Неизвестно. Не отыскался.

— Как первая рота?

— Командует политрук Дордия. Почти всех собрал. Люди повзводно находятся в сараях.

— Как с телефонной связью? Повозки не пришли?

— Нет, товарищ комбат.

— Соседи есть?

— Не выяснил. Послал людей выяснить.

Я молчу. Пытаюсь скрыть сотрясающий меня озноб.

Рахимов спрашивает:

— Заболели, товарищ комбат?

— Ступай распоряжайся.

Постояв с минуту, он бесшумно поворачивается; бесшумно уходит.

## 7

Снова дрожу, лежа на соломе. Такого пронизывающего, мучительного холода я еще никогда не испытывал. Мерзнут ноги, руки, уши, лицо, мерзнет все внутри. Мыслями завладевает мечта о лихорадке, о лихорадочном жаре. Лежать так и дрожать, пока лоб, лицо, все не запылают жаром.

Наконец я забываюсь, перестаю различать, где явь, где бред. В бреду вижу телефонный аппарат, прижимаю к уху трубку, связываюсь с Панфиловым.

— Товарищ генерал, дошел до Тимкова. Оно уже занято противником. Ничего сейчас не могу сделать.

— Это не беда, товарищ Момыш-Улы. Берегите людей. Утром поведете в бой.

— Оружие не стреляет, товарищ генерал. Грязь лишила нас оружия.

— Ничего, почистите... Сейчас позаботьтесь о людях, товарищ Момыш-Улы. Пусть поспят.

— Я сам хочу спать.

— Нельзя, товарищ Момыш-Улы. Нельзя вам спать.

Неотвязно чудились эти слова: «Нельзя вам спать, товарищ Момыш-Улы». Но я не мог встать. Дрожал и бредил. В полусне услышал, как опять кто-то вошел в сарай. И не один, а трое или четверо. С кем-то перекинулись словами, сели на солому, стали разуваться. Слышу побряхтывание, незлобную, вполголоса, ругань, стариковский кашель, отхаркивание, плевок.

Кашель мне знаком. С усилием шевелю губами.

— Березанский?

Долго нет ответа. Ну и медлителен же, черт побери! Сначала он крикает, вздыхает — в этом вздохе чувствуется откровенная досада: опять-де напсролся на комбата, — потом произносит:

— Я...

Молчу... Ведь он, этот непроторенный усатый солдат, давно мог бы забраться куда-нибудь в тепло, притулиться к любому омету, а он ходил, шлепал всю ночь, искал своих, пока не добрался в свой взвод, в этот сарай.

Снова забываюсь. Мигунами ощущаю блаженство. Пришел желанный жар. Но и в бреду, в лихорадке неотвязно мучит мысль о бойцах, о батальоне. Как мы встретим утро, что станет с нами, если я не встану, не перемогусь? Но подняться не могу... Сквозь дрему чувствую: меня бережно укрывают шинелью. Пытаюсь открыть глаза. Надо мной кто-то склонился; ощущаю чистое, как у юноши, дыхание, поднимаю руку, касаюсь стриженных жестковатых волос, узнаю Бозжанова.

— Бозжанов, где третья рота?

— Подходит, товарищ комбат.

— Ладно... Иди к Засву, в племхоз. Помогите там наладить пулеметы.

— Слушаюсь, иду.

Опять утрачиваю ощущение действительности, ощущение времени. В какой-то миг послышался мерный, убаюкивающий звук: кони жуют сено. Пролетел, как мне показалось, еще миг. Чьи-то сильные заботливые руки стаскивают с меня сапог. Спрашиваю:

— Бозжанов, почему ты еще здесь?

Нет, я ошибся. Бозжанов отвечает мне голосом Синченко:

— Это, товарищ комбат, я...

Он сдергивает мои сапоги, разбухшие, неподатливые, протирает мои голые ледышки-ноги чем-то сухим, приятным, ловко обертывает свежими портянками, потом возится с флягой, протягивает стакан. В нос ударяет запах спирта. Я залпом выпиваю. Водка вышибает слезу, приятно обжигает. Синченко укрывает меня еще одной шинелью. Не удовлетворившись этим, он без стеснения переворачивает меня, словно малого ребенка, чтобы подоткнуть края шинели. Я говорю:

— Хватит! Убирайся!

Но он все-таки укутывает меня. Потом удовлетворенно произносит:

— Теперь добре... Чего бы еще, товарищ комбат, вам?

— Чаю! Чаю, горячего, как в аду!

Мысленно усмехаюсь. Какой тут чай?!

Но прошли минуты, а может быть, и часы, и я слышу:

— Вот, товарищ комбат, горячий...

Когда я вновь открыл глаза, ночь уже минула. Сквозь неплотно припертые ворота, сквозь щели в стенах пробивался мутный свет. Никого, кроме меня и Синченко, уже не было в сарае. Коновод с довольной улыбкой протягивал мне стакан и поместительный термос, ярко раскрашенный оранжевым и синим.

— Где раздобыл?

— У доктора, товарищ комбат. Слетал на Сивке в санитарный взвод. Разрешите, товарищ комбат, я вам налью.

Охватив обеими ладонями стакан, я с удовольствием, медленными глотками, попивал теплый сладкий чай.

— Где разместился санвзвод?

— Около нашего штаба... В племхозе, товарищ комбат. В тепле.

— Раненых много?

— Человек двадцать... Тяжелых, кажись, нет. Все пошли сами, своим ходом, в тыл.

— Где Филимонов? Подошел?

— Подошел, товарищ комбат... Роту оставил пока на той стороне, в поселке.

— Панюков объявился?

— Нет, пропал.

Я поставил опорожненный стакан.

— Давай папиросы.

— Вот, товарищ комбат, закуривайте. Только знайте: осталось всего две пачки. Очень-то не угощайте, не шикуйте, а то проугощаемся.

— Ладно. Надоел со своими поучениями.

Зажигаю папиросу. С первой же затяжки понимаю: болезнь не покинула меня. Табачный дым противен, горечью осел во рту. Продолжаю спрашивать:

— Куда отсюда ушли люди?

— К политруку Дордия. Он еще ночью вызвал всех занимать позицию.

— Так... Давай сапоги.

Натянув сапоги, все еще сырые, я встал, потянулся. Ломило суставы. Слабость звала снова лечь. Ничего, превозмогу! Оправил на себе измятую за ночь одежду, туго стянул ремень.

— Куда, товарищ комбат? В штаб?

— Нет, сначала к Дордия. Осмотрю рубеж.

Утренняя муть незаметно посветлела. Ветер прекратился. Было тихо. Трудная ночь ушла в минувшее. Зачинался новый боевой день — двадцать седьмое октября тысяча девятьсот сорок первого года.

### Утренний туман

#### 1

Поле было застлано реденьким туманом, замутнявшим позднюю октябрьскую зорьку. За ночь подморозило. Лужи были затянуты пленкой белесого льда, трескающегося, крошащегося под сапогами. Однако под ледяной корочкой грязь не затвердела, ее еще не схватил морозец. Черт возьми, опять грязь не позволит нам стрелять. Как же быть?

Шагая к Дордия, я вдруг буквально наткнулся на ответ. В тумане я увидел наш передний край, фронт роты, которой теперь командовал Дордия. Бойцы лежали в неглубоких окопах на втиснутых туда, умятых охапках соломы. Светлая, чистая желтизна соломы прикрыла грязь вокруг окопчиков, легла на брустверы. Для маскировки солома была растружена и на всем поле, насколько хватал взгляд. Все это совершилось без меня, без моего приказа, ночью, когда я, сваленный с ног, продрогший, сдавший недомоганию, метался, бредил в сарае. Теперь, пользуясь краткой передышкой в ратном нескончаемом труде, бойцы все как один спят. Около каждого бойца покоится на соломе винтовка. Блестит темная сталь смазанных затворов. В изголовьях гранатные и противогазные сумки, тонкие вещевые мешки. Здесь же, под руками, и остальное нехитрое хозяйство солдата: его верная заступница малая саперная лопата, патроны в брезентовых подсумках.

Мне навстречу торопливо идет Дордия. Еще издали он прикладывает руку к ушанке, отдавая честь; проделывает это неловко, как и прежде. Я невольно всматриваюсь: вижу рябинки на бледноватой, почти не принимающей загара коже, светлые негустые ресницы. Однако что-то в Дордия и внешне изменилось. Выпуклые черные глаза устремлены прямо на меня, в них не таятся обычного смущения.

— Товарищ комбат, рота находится в боевых порядках. Оружие у всех в полной готовности. Бойцам и командирам я позволил спать.

Дордия докладывает, не всегда соблюдая уставные термины, но говорит четко, не запинаясь, не мнется. Он сообщает потери. Кроме убитых и раненых, несколько человек пропали без вести. В их числе командир роты Панюков. Я спрашиваю:

— Кто это надумал натащить сюда соломы?

Неожиданно для меня самого мой голос звучит резко. Никак, черт возьми, не умею, не могу найти мягких ноток. Дордия воспринимает мою резкость как неодобрение. Его щеки, шея, лоб мгновенно розовеют. Однако, не опуская глаз, он внятно отвечает:

— Я приказал, товарищ комбат.

— Хорошо,— кратко говорю я.

Дордия снова вспыхивает — теперь от похвалы.

Мы идем вдоль набитых соломой окопов, где жадно — не подберу другого слова — спят солдаты. Оглядывая рубеж, я нет-нет да и взглядываю на Дордия. Какая все-таки сила заставила его, неловкого, шупленького, мешковатого, собрать вокруг себя потерявшую командира, расплзающуюся роту?

Хорошо бы поговорить об этом с самим Дордия. Нет, не время и не место. Когда-нибудь найдется подходящий час.

Туман все больше редел. Где-то вдалеке прогремел пушечный выстрел. Еще один, еще... Там и сям, справа и слева, заурчали пушки. Наконец и над нами, ввинчиваясь в воздух, прошелестел снаряд, разорвался в отдалении.

— Бризантный,— определяю я.— Подтянули артиллерию.

В вышине опять гудит снаряд, с треском лопаются позади нас. Немцы повели из Тимкова методический огонь, стали бить по площади, не видя цели.

— Вот, Дордия, и побудка,— говорю я.

2

Пройдя с Дордия на фланг роты, где находилось выложенное соломой пулеметное гнездо, я кликнул Синченку, который следовал за мной с лошадьми, сел на Лысанку, велел коноводу:

— Теперь в штаб... Показывай, куда ехать.

Мой штаб расположился под горой, в поместительном длинном сарае, сложенном из дикого камня. Неподалеку виднелись подобные же каменные длинные строения, ранее служившие конюшнями и разными службами племхоза.

У входа в штаб, где дежурил часовой, мирно жевала сено впряженная в двуколку низкорослая, крепкая белая лошадка из породы уральских маштачков. В дремавшем на двуколке солдате в очках я узнал Мурина.

— Мурин, почему здесь околачиваешься?

Мурин вскинулся спросонья, попытался встать, маштачок по-своему истолковал его движение, нехотя шагнул, колеса стонулись. Мурин качнулся, вцепился в борт и, крича «тпру!», путаясь в полах шинели, кос-как слез наземь. Почувствовав наконец под ногами твердь, он вытянулся, как подобает солдату.

— Промучились всю ночь с пулеметом, товарищ комбат. Так и не отладили. Теперь взялся сам командир роты.

— А где пулеметчики, твои товарищи? Залегли спать?

— Роят укрытие, товарищ комбат... Но только...

— Что еще? Что только?

Ворот шинели не закрывал тонкой, вытянутой шеи Мурина. Одна дужка его очков была сломана и скреплена проволокой.

— Ругать не будете?

— Не буду. Говори.

— Устоим ли тут, товарищ комбат?

Не решившись продолжать, Мурин покосился на белую лошадку, на двуколку, с которой только что едва не сверзился. Этим своим взглядом он как бы произнес: «Шаткая позиция».

Э-э, вот, значит, каковы сейчас солдатские думки в батальоне! А разве я сам думаю иначе? Но мои тягостные мысли — моя тайна. Я ответил: — Кто тебе сказал, что мы собираемся тут стоять, пока нас не огреют обухом? Постараемся огреть сами.

Я соскочил с Лысанки, кинул повод Синченко и мимо часового прошел в дверь сарая, в штаб.

## 3

В сарае, видимо, недавно столярили. На земляном полу валялись не успевшие потемнеть завитки стружек. Легкий смоляной дух струганой сосны еще не был заглушен запахом махорки, сырых сапог и шинелей. У стены белело несколько готовых неокрашенных оконных рам, две были повалены, их никто уже не трудился поднять, по ним ходили, на свежей древесине отпечатались следы сапог.

Возле двери сидели и лежали солдаты взвода связи. Командир этого взвода, молодой, почти юноша, младший лейтенант Тимошин, которого я всегда привык видеть на ногах, всегда за делом, теперь сидел, привалясь к стене, праздно сложив руки. Он первый вскочил, как только я вошел. Я поискал взглядом коробку полевого телефона — ее не было. Я сразу понял: обозные повозки еще не прибыли из Волоколамска. Опять мысленно выругался, вспомнив майора.

Из глубины сарая прозвучала негромкая команда Рахимова:

— Встать! Смирно!

Я прошел к нему.

Сложенный посреди сарая невысокий штабель досок был превращен в наш штабной стол. На нем лежали два склеенных листа топографической карты, остро очиненные карандаши Рахимова, его полевая книжка. На верстаке у одного из окон разместился разнятый на части пулемет. Сборкой занимались Божжанов и Заев. Оба сейчас вытянулись передо мной. Заев был без шинели, без шапки; на его слегка вдавленном лбу темнело пятно смазки, кисти длинных рук черно лоснились, вымазанные маслом. Пальцы стоявшего рядом Божжанова тоже чернели, как от ваксы. Я знал: у него и у Заева имелось общее пристрастие — хлебом не корми, дай повозиться с огнестрельным оружием, особенно с неведомым, трофейным или, вот как сейчас, с нашим отказавшим пулеметом, дай разыскать загвоздку, довести до ума-разума, отладить заупрямившийся механизм.

— Вольно! — сказал я.

Заев и Божжанов тотчас повернулись к пулемету.

— Разрешите доложить, — произнес Рахимов.

— Докладывайте.

На карте Рахимов успел обозначить обстановку, аккуратно проштриховал линию, где мы окопались. Застрявшие ночью пушки были уже выволочены на гору, заняли огневые позиции под прикрытием гребня. Рота Филимонова, доложил далее Рахимов, пришла перед рассветом, разместилась в поселке на той стороне ручья.

— Филимонову я приказал, — сообщил Рахимов, — дать людям четыре часа поспать, потом двигаться сюда.

Он вопросительно посмотрел на меня, ожидая одобрения, но я ничего не сказал, не отвел взгляда от карты. Рукой Рахимова там были намечены фланги соседних частей — разрыв между ними, нашими соседями справа и слева, равнялся приблизительно шести километрам. Нам, резервному батальону Панфилова, выпало на долю заградить, затянуть эту брешь. Конечно, двумя ротами мы ее не затянули. Наши фланги были голыми, открытыми. С обеих сторон, справа и слева, зияли пустоты шириной в полтора-два километра. Фронт дивизии здесь оставался порванным. Противнику не потребуется много времени, чтобы обнаружить, засечь эти

пустоты и врезаться, проникнуть туда, обтекая наши фланги. Как же восстановить порванную линию? Еще растянуть, еще ослабить нашу и без того растянутую цепь? Тяжело на душе. «Устоим ли тут, товарищ комбат?» — вспомнились слова Мурина.

У окна на верстаке Заев и Божжанов по-прежнему занимались пулеметом. Оттуда доносились стук, шуршание, порой сиплое бурканье Заева, тщетно пытающегося говорить шепотом. Он, видимо, опять ляпнул какую-то шутку-несуразицу. Божжанов фыркнул. Я раздраженно обернулся.

Заев, как ни в чем не бывало, осторожными, почти нежными движениями, каких было трудно ожидать от его костлявых больших рук, поворачивал насаженную на стерженек сжатую пружину, устанавливал ее в нужном положении. Это положение он отыскивал, осязал подушечками загрубелых пальцев. Глубоко сидящие глаза были зажмурены. Я не без удивления заметил, что его угловатое, с провалами у висков и на щеках лицо выглядело в эту минуту красивым. Отнюдь не принадлежа к замкнутым или хотя бы сдержанным натурам, Заев обычно немедленно выкладывает вслух все, что взбредет на ум, шевельнется в душе. У нашего народа, у казахов, сложена о таких людях поговорка: откроет рот, желудок видно. Сейчас в его лице без труда читалось упоение делом, удовлетворение мастера-умельца. Уйдя в работу, ничего кругом не замечая, он машинально облизал потрескавшиеся сухие губы, улыбнулся. Дело, видно, ладилось.

Я опять обратился к карте, стал слушать Рахимова.

— Пока я приказал командирам рот, — проговорил Рахимов и опять вопросительно глянул на меня, — приказал: укреплять рубеж, приготовиться к отражению атаки.

Я так и оставил без ответа его немой вопрос. У меня не было ясности в мыслях, не было решения. Немцы из Тимкова не часто постреливали; снаряды и мины порой рвались совсем поблизости. Доходили и глухие раскаты издалека.

4

У верстака все еще слышался невнятный басок Заева, сдавленный смехок, шушуканье. Я наконец не выдержал:

— Заев!

— Угу...

— Что за «угу»? Как отвечаешь старшему?

— Слушаю вас, товарищ комбат.

— Разболтался... Болтать сюда пришел... Долго еще будешь копать?

— Осталась, товарищ комбат, самая малость. Последний, как говорится, мазок кисти. Через пяток минут машинка заработает.

Действительно, несколько минут спустя он наскоро отер стружками руки, взвалил на плечо поблескивающее стальное тулово, крикнул и, широко шагая, пошел к двери. Опять он пренебрег воинским тактом, не обратил ко мне, прежде чем выйти. Божжанов поспешил выговорить:

— Разрешите опробовать, товарищ комбат.

Я молча кивнул. Божжанов бегом обогнал Заева, распахнул дверь. Вскоре вышел на улицу и я.

Стоя спиной к сараю и не замечая меня, Заев разносил Мурина:

— Долго ли еще будешь копать? Разболтался! Живей! Одна нога здесь, другая там!

Я усмехнулся, узнав некоторые свои выражения, свои интонации. Божжанов глазами указал другу на меня. Обернувшись, Заев буркнул:

— Не даю, товарищ комбат, потачки.

Будто не чувствуя холода, промозглого тумана, сырости, он стоял в гимнастерке с непокрытой головой, держа на плече пудовую тяжесть пулемета.

Мурин наконец притащил и расставил треногу. Еще минута — и пулемет установлен, закреплен. Божжанов вставил ленту. Заев лег плашмя на прихваченную морозом землю, раздвинул, как полагается пулеметчику — первому номеру, свои длинные ноги и... пулемет застрочил, замелькали полускрытые наддульником острия пламени.

— Хорош! — просипел Заев и легко вскочил.

Затем он разбил каблуком ледок на ближайшей луже, зачерпнул воды и грязи, принялся соскребать с рук въевшуюся смазку. Быстро покончив с умыванием, вытерев руки весьма примитивным способом — проволочив их под мышками, — Заев побежал в сарай за оставленным там ватником и шапкой.

Божжанов и Мурин погрузили пулемет в двуколку.

Выбежавший из сарая Заев с размаху кинул ногу за борт, схватил вожжи и погнался рысью белую лошадку-крепыша.

## Волоколамск пал

### 1

Этот день, двадцать седьмое октября, запомнился мне отдельными картинками.

...Еду верхом по косогору. В седле сижу грузно, понуро. Моя подавленность передается и Лысанке. Осторожно ступая по скользкой, белеющей инеем траве, она, как и я, повесила голову.

Шальные мины ложатся там и сям. Вот сзади что-то трахнуло. Лысанка скакнула, идущая следом Сивка с моим коноводом в седле, тоже ша-рахнулась.

Кричу:

— Синченко, жив?

— Живой.

...Снова едем молча. Я снова прислушиваюсь к немецкой музыке, преддверию дня. Черт возьми, здесь, на горе, на пяточке, мы в огненном кольце! Внизу, где, скрытый туманом, лежит Волоколамск, ухают пушки — много десятков, а возможно, и сотни стволов. По обеим сторонам Тимковской кручи тоже бьют пушки.

А мы, две окопавшиеся на горе роты и рота Филимонова в тылу, — мы одиноки среди этого охватившего нас кольцом огня. Мы лишены связи, оторваны от своей дивизии.

Но тотчас вспыхивает другая мысль: нет, мы не оторваны, это всюду бьются с врагом наши, всюду отвечают огнем на огонь.

Выпрямись в седле, Баурджан! Противник хочет тебя утратить, смять еще до боя твою душу — значит, твое дело сохранить разум, холодный светлый разум.

### 2

Копыта Лысанки простучали по настилу мостка. Следом зацокали подковы Сивки. После ночного паводка ручей утихомирился, лишь темные следы на устоях-бревнах, кое-где покрытые прозрачной наледью, свидетельствуют, как бутовала вода.

Стежкой, проложенной меж огородов, добираюсь в поселок. Роте, поспавшей несколько часов после ночного марша, уже скомандован подъем. За палисадником у колодца умываются бойцы. Кому-то прямо из ведра льют на спину воду; человек выпрямляется, с покрасневшей мускулистой груди скатываются струйки; узнаю Курбатова.

Подъезжаю к дому, занятому командиром роты. Филимонов выбегает мне навстречу. После недавнего бритья поблескивает его загорелая кожа.

Я спешиваюсь. Филимонов докладывает:

— Товарищ комбат, третья рота...

— Ладно... Пойдем к тебе, Ефим Ефимыч, потолкуем.

В комнате жарко топится печь. Хочется поудобнее сесть, привалиться к стенке, закрыть на минуту глаза. Не разрешаю себе этого.

— Садись, Филимонов. Доставай карту.

Показываю, помечаю на карте позиции батальона, наши оголенные фланги, широкие, в полтора-два километра, бреши в линии фронта, отделяющие нас от соседей и никем не прикрытые.

Филимонов, насупясь, слушает. Следовало бы ввести его в мои командирские помыслы, планы. Но никаких планов у меня все еще нет.

— Пока выбирайся из поселка,— говорю я.— Растяни роту по гребню. Окопайся.

В этот миг с горы докатываются частые выстрелы орудий. Мы оба настораживаемся. Да, там заговорили наши пушки. Повели беглый огонь. Доносится и клекот пулеметов. Филимонов смотрит на меня выжидающе.

— Располагай роту по берегу, по гребешку,— повторяю я.— Загни фланги, посматривай на все четыре стороны. Дело разыгрывается. Немцы могут появиться здесь внезапно, стукнуть тебя врасплох.

— Понятно, товарищ комбат.

Филимонов встает, переминается с ноги на ногу.

— Что еще у тебя?

— Да все то же... Люди-то не евши.

— Пусть стреляют, чтобы не думать о желудке. Выбери ориентиры и пристреляй все перед фронтом роты.

Наверху наши пушки продолжают пальбу. Что-то серьезное творится там. Душу сосет тревога.

— Будь каждую минуту начеку... Понятно?

— Понятно, товарищ комбат. Не побежим.

— Но гляди, не начни в суматохе палить по своим.— И я повторяю то, что говорил себе: — Сохраняй выдержку, разум. Втолкуй бойцам: без команды не стрелять. Не торопись спускать курок, выдерживай.

Наверху гремят и гремят наши орудия. Ну, теперь туда!

Во дворе наготове стоит с лошадьми Синченко. Вскакиваю в седло. Подмывает пустить Лысанку во весь дух. Нет, нельзя вносить смятение в души солдат. И, нарочно придерживая коня, с виду спокойный, я рысцей еду по улице.

Опять копыта простучали по мостку. Лишь теперь посылаю Лысанку. Вскачь, вскачь по крутизне!

3

Наверху туман уже рассеялся. Небо еще было затянуто блесой хмарью, но склон горы уже ясно просматривался.

Подскакиваю к глинистому оползню. Здесь, на гребешке, оборудован наблюдательный пункт артиллеристов.

Склоняясь к полевому телефону (у артиллеристов имелась собственная телефонная связь), стоит, жадно курая, разгоряченный Кутаренко.



Шинель измазана глиной, крапинки глины усеивают лицо. Прервав разговор по телефону, он кричит:

— Дали им жару, отбили, товарищ комбат!

Опустив по швам руки — они не слушаются, ему хочется жестикулировать, — Кутаренко докладывает. Немцы пошли в атаку против роты Дордия. Бойцы резанули их огнем. Немцы начали обходить фланг. Огонь наших пушек заградил им путь. Немцы откатились.

Я переспрашиваю:

— Наш фланг обнаружили?

— Обнаружили, товарищ комбат.

В эту минуту будто кто-то раздергивает мутноватую занавесь, закрывающую небо. В один миг воздух становится прозрачным. Вдали завиднелись влажные крыши, купола. Будто очнувшись, понимаю: это Волоколамск. Здесь мы преграждаем к нему путь. Сегодня мы будем драться за него. Собери силы, сохрани ясную голову, комбат.

Блестит полоса черного мокрого асфальта, пролегающая через город. Это шоссе, Волоколамское шоссе, напрямик ведущее к Москве.

...В небе появились самолеты, черные силуэты немецких бомбардировщиков.

Они идут волнами к Волоколамску. В разных концах города застучали наши зенитки. Красноватые разрывы в вышине почти не заметны в свете солнца, бьющего прямо в глаза.

Стоя подле меня, Синченко вслух считает самолеты:

— Тридцать четыре... тридцать пять... тридцать шесть...

Доносятся тяжелые, глухие удары сброшенных бомб. Над крышами там и сям взметнулись, поволочились по ветру темные дымы. Улицы пустынные, лишь на дальней окраине куда-то уходят вскачь запряжки. У железнодорожной станции артиллерийская стрельба поутихла. Что это значит? Как это понимать?

...Тянутся минуты бездействия... Полулежа, выслушиваю донесения связанных. Противник по-прежнему обстреливает реденькую цепь батальона, но уже не пытается нас атаковать. Прибежавший от Дордия Муратов оживленно тараторит. Борюсь с лихорадкой, с трудом заставляю себя вслушиваться. Вдруг Муратов осекается. Странно расширившиеся его глаза устремлены на Волоколамск. Вскикиваю, смотрю туда же.

#### 4

По асфальту, насквозь пересекающему город, ползут, как бы не торопясь, на малой скорости, два танка, ползут в ту сторону, где расположен штаб Панфилова.

Из орудия вырывается дымок. Танк палит по городу. Неужели это немцы? Неужели они ворвались в Волоколамск?

Быстро подношу к глазам бинокль, отчетливо вижу фашистские белые кресты на черной броне.

Я знаю: в городе нет наших войск. Мой батальон, что лежит сейчас в окопах на горе и под горой, был единственным резервом Панфилова. Теперь немцы захватывают улицу за улицей, а мы — шестьсот бойцов с пулеметами и пушками — остались в стороне.

...Лежу, томлюсь бездействием, текут и текут мысли.

Для чего я живу? Ради чего воюю? Ради чего готов умереть на этой размытой дождями земле Подмосковья? Сын далеких-далеких степей, сын Казахстана, азиат — ради чего я дерусь здесь за Москву, защищаю эту землю, где никогда не ступала нога моего отца, моего деда и прадеда? Дерусь со страстью, какой ранее не знавал, какую ни одна возлюбленная не могла бы во мне возбудить. Откуда она, эга страсть?

Казахи говорят: человек счастлив там, где ему верят, где его любят.

Вспоминаю казахскую поговорку: лучше быть в своем роду подметкой, чем в чужом роду султаном. Советская страна для меня свой род, своя неоглядная Родина. В любом ее краю я испытываю счастье равенства, счастье свободы.

Я, казах, гордящийся своим степным народом, его преданиями, песней, историей, теперь гордо ношу звание офицера Красной Армии, командую батальоном советских солдат — русских, украинцев, казахов.

Мои солдаты, обязанные беспрекословно исполнять каждый мой приказ, все же равные мне люди. Я для них не барин, не человек господствующего класса. Наши дети бегают вместе в школу, наши отцы живут бок о бок, делят лишения и горе тяжелой години.

У нас нет господ! Как бы иной хорошо ни одевался, в какой бы завидной машине он ни ездил, мое чувство равенства, мои достоинство и гордость равного не ущемлены, хотя я иду пешком. И господином я никого не назову.

Вот почему я дерусь под Москвой, на этой земле, где не ступала нога моего отца, моего деда и прадеда! Вот почему мы любим советскую Родину! Мы! Не только себя я разумею.

Но почему же, почему же мы сейчас в стороне? Ненавистны эти минуты, эти часы бездействия.

5

Яростный крик внезапно прерывает мои мысли.

— Огневая! Огневая!

Залегший на гребне Кутаренко орет во всю мощь легких, будто хочет попросту голосом, а не по телефону докричаться до пушек.

— Огневая! Лейтенанта Обушкова! Скорей!

Я вскакиваю.

— Что там, Кутаренко?

— Немцы, товарищ комбат... Человек сто.

— Где?

— Справа, товарищ комбат. В логу. Огневая! Что же вы там? Где лейтенант? Обушков, ты? Немцы идут вниз ложком. Да, да, этот самый лог...

Он встревоженно называет ориентиры, координаты цели, кричит:

— Зарядить и доложить!

Я ищу в бинокль проникших в незащищенную полосу немцев. Вот они. Грязно-зеленые шинели почти сливаются с цветом пожухлой осенней травы. Идут по солнышку, словно на прогулку. Впереди молодой офицер в одном кителе. Он шагает без фуражки, держит ее в руке, подставляя солнцу светловолосую голову. Минует куст шиповника, он отламывает на ходу веточку, вставляет ее себе в петлицу. Еще бы! Нынче у немцев день удачи: ворвались в Волоколамск...

За офицером вольным строем, вольным шагом быстро следуют солдаты. Им легко идти под горку; автоматы и винтовки закинута за плечи; нами они пренебрегают; знают: мы их не достанем пулей.

Углубляясь в неприкрытый промежуток, они беспрепятственно идут, идут нам в тыл... А наши пушки все еще молчат.

— Скорее! Скорее!

Это кричит Кутаренко. Это же про себя повторяю и я...

Наконец-то два пушечных выстрела ударяют по барабанной перепонке. В логу, сбочь шагающих немцев, встают два земляных взброса.

Ну, теперь мы заставим их лечь! Теперь их остановим! Заговорили все четыре наши пушки. Немцы бросаются в стороны, разбегаются, ложатся... Вижу: офицер оборачивается к своим солдатам, что-то выкрикивает и,

призывно махая фуражкой, бежит вперед по травянистому склону. За ним, выскальзывая из-под обстрела, устремляются солдаты.

Мы, обороняющиеся, прикованы к своим позициям. А нападающему предоставлен выбор: он наносит удар там, где считает выгодным, выбирает направление. Но и у нас, обороняющихся, есть свои преимущества. Противник не знает местности, не знает глубины, лежащей за моим передним краем, руководствуется только картой. А мне известны и подступы, и своя позиция, и рельеф за ней. Обороняясь малыми силами против больших, я беру себе в союзники рельеф, заставляю и землю воевать.

Командую огнем, подправляю наводку. Наши снаряды опять наступают немцев. Они сворачивают в извилину, едва заметную отсюда, скрываются из виду, скрываются от нашего огня.

Ну, Филимонов, держись! Сейчас они вынесутся прямо на тебя! Держись, Ефим Ефимыч!

...С разных сторон доносятся звуки огневого боя, гремящего вблизи и вдалеке.

Ухо ловит, различает, сортирует эти звуки, и в то же время мне, как ни странно, кажется, что все вокруг замерло, затихло. В этой кажущейся тишине я жду не дождусь выстрелов внизу, в ложине, куда бегом повернули немцы. Неужели они застигнут Филимонова врасплох? Неужели сомнут роту?

Застрочил пулемет. Нет, это не внизу, это на фланге роты Заева. Наверное, и там немцы обтекают нас.

А в ложине тихо...

И вдруг там будто кто-то огромными руками разорвал полотняную ткань. Это треск винтовочного залпа, единого выстрела из сотни винтовок — треск, которого я жаждал, который мое ухо не спутает ни с каким иным.

Еще раз внизу протрещал залп. Мне чудится: я слышу вопли заматававшихся, наступаемых пулями немцев. Вот вам Волоколамск, вот вам день удачи!

Внизу уже застучали наши пулеметы, защелкали винтовочные выстрелы враздробь.

Безмолвно я взываю к бойцам: не щадите врагов! Пусть ни один из них не останется в живых! Пусть заплатят нам за Волоколамск!

## 6

Снова прикладываю к глазам бинокль, опять бросаю взгляд на Волоколамск.

По улицам уже разъезжают, переваливаются на ухабах длинные, не схожие с нашими, немецкие грузовики. Шмыгают и едва различимые, защитной окраски, легковые машины.

На окраине, в той стороне, где находился штаб Панфилова, еще длится бой. Там рывкают орудия гитлеровских танков, пощелкивают наши противотанковые пушки, стучат, будто колотушкой, крупнокалиберные пулеметы.

Мелькает догадка: не удержав Волоколамска, Панфилов цепко обороняется на краю города, не уступает шоссе, выигрывает минуты, часы, чтобы искромсанная, рассеченная дивизия успела перестроиться, сомкнуться, создать новый фронт за Волоколамском.

Мне ясна моя задача: не давать немцам ходу, не давать противнику наращивать свой напор на горстку наших войск, что закрыли горловину шоссе на выходе из города, отнимать у немцев время, помогать, помогать замыслу Панфилова.

...Побывав у себя в штабе, спускаюсь в ложину. Ручей еще не виден, а

Лысанка уже упирается, вертит головой, пытается повернуть в сторону. Тверже держу повод, успокаиваю лошадку. Мне известна ее слабость: Лысанка быстра, вынослива, послушна, уже привычна к выстрелам, но она не выносит запаха крови. Почувяв его, она всякий раз — вот как и в эту минуту — волнуется, рвется ускакать.

Спускаюсь ниже. Невольно осаживаю коня. Росший по топкому берегу кустарник сплошь порублен пулями. Всюду простерты настигнутые смертью на бегу тела людей в зеленоватых шинелях. Там и сям видны извилистые алые дорожки крови, сбегающей в ручей.

Теперь и я, моим человеческим грубым обонянием, ощущаю тяжелый запах крови.

Толстоногая крупная Сивка, на которой восседает Синченко, невозмутимо стоит сзади, а Лысанка беспокоится, рвет повод. Медленно еду среди трупов. Лицом к небу лежит светловолосый юный немец. Офицерская фуражка с вышитым серебряной канителью гербом откатилась под уклон. Веточка шиповника с несколькими красными бусинками-ягодами еще держится в петлице. На высоком смертно побелевшем лбу виднеется пятнышко — входное отверстие пули.

В мое сердце не прокрадывается жалость. Всем вам, кто вступил на нашу землю, чтобы нас поработить, мы оплатим пулей, истреблением!

Медленно проезжая среди трупов, поглаживая встопорщившуюся гриву Лысанки, я начинаю понимать: нам помогла случайность. Она превратила эту топкую лощину в огневую ловушку для врагов.

Складочка местности, рытвина, случайно оказавшаяся под боком у немцев, накрытых огнем наших пушек, вывела их сюда под кинжальный огонь, под винтовочные залпы роты Филимонова.

Что для этого сделал я, комбат?

Ничего. Или почти ничего. Лишь сказал Филимонову: «Пристреляй все перед фронтом роты. Пусть люди стреляют, чтобы не думать о жлудке».

Разве умом я одержал здесь победу? Нет, просто повезло... Повезло, и мы поднесли немцам сюрприз.

«Сюрприз»... Это слово употребил Панфилов, разговаривая со мной в своем домике, в своей временной обители на краю Волоколамска. «С такими сюрпризами противник уже встречается не раз, — сказал наш генерал. — И платит за них кровью». Да, отборная гитлеровская армия, подступившая к Москве, теряет и теряет силы.

Вспомнились наши бои на дорогах, наши залпы из засад, наш марш по трупам сквозь оцепеневшую немецкую автоколонну. А разве один наш батальон дерется под Москвой? Разве одна эта лощина напитана кровью врага?

7

Еще два или три часа боя. Немцы дубасят по нашим окопам. Приказываю Заеву сменить позицию, отойти за ручей, прикрыть нас со стороны Волоколамска.

Бойцы роты Заева скатываются с крутояра, минуют лощину, перемаывают вброд через ручей, добегают до загородного кладбища, залегают там среди могильных холмиков.

...Справа и слева от нашего выгнувшегося дугой батальона тоже подыхает бой.

В стороне от города торчит среди полей длинное каменное здание сельскохозяйственного техникума. Нижний этаж скрыт неровностями местности: виднеются лишь провалы верхних окон, крыша. Над ней то и дело тяжело взлетает клубящаяся красноватая пыль. Немцы всажива

ют в здание снаряд за снарядом, крошат кирпичную кладку, но наши вцепились в этот каменный редут, бьют под его защитой из пулеметов и пушек, полосуя винтовочным огнем.

Мы знаем, там обороняется полк Хрымова. Нас разделяет промежуток шириной немного больше километра. В этот промежуток и в другие брешки постепенно пробираются нам за спину немцы.

...Стрельба в тылу; там затрещали автоматы немцев. Отправляю туда свой резерв — взвод разведки под командой лейтенанта Брудного.

Взвод лишь успел выбежать, как там же, в тылу, неожиданно забарабанил зенитный пулемет. Треск немецких автоматных очередей почти сразу оборвался.

Кто же так вовремя, так кстати пришел нам на помощь? Откуда взялась эта подмога? Вспоминаю запрятанную в придорожном хворостиннике зенитную огневую точку.

От всех оторванные, затерянные в поле, полтора-два десятка зенитчиков не бросили своего орудия, не ушли, вступили сейчас в драку, бьют, бьют по наземным целям, заслоняя нас.

...Над крышей техникума уже не вздымаются облака пыли.

Что там случилось? Не оставлена ли нами эта кирпичная громада, простреливаемая со всех сторон? Не отошел ли мой сосед, полк Хрымова, которому я придан — придан для того, чтобы закрыть прорыв на его участке?

...Посылаю Брудного в штаб Хрымова. Смысленный юркий Брудный наверняка проберется, передаст боевое донесение, принесет новые сведения, принесет приказ.

...Мы по-прежнему держимся, стреляем, огрызаемся, не даем ходу немцам.

На землю уже пала вечерняя тень, солнце ушло за тучи.

...Брудный возвратился. На том месте, где утром находился в блиндажах штаб Хрымова, теперь никого не оказалось. В здании техникума — немцы. Оттуда уже начали хлестать их пулеметы.

К множеству чувств, переполняющих душу, прибавляется возмущение Хрымовым. Как он смел отойти, не предупредив нас, бросив приданный ему батальон?

...Принимаю решение: отходить. С этим приказом посылаю гонцов в роты. Назначаю сборный пункт: сосновую рощу, раскинувшуюся среди поля.

...Таковы эти рваные картины — возможно, столь же рваные, как и самый бой, который мы, разрозненные, раздробленные войска Панфилова, вели в тот день, когда пал Волоколамск...

*(Окончание следует)*



---

РИММА КАЗАКОВА

★

## ПЕСНЯ

В. К.

...Здравствуй, Вовка! Снова в тихий вечер  
ты стучишься в дом, где не был вечность,—  
все такой же добрый,  
робкий,  
честный...

Что ж, входи и дом хозяйский чествуй.  
Сядь за стол. Я чем богата — рада.  
Ешь. И церемониться не надо.  
Ах, какой же ты хороший, друже!  
На коленях руки — неуклюже,  
а глаза, зеленые и колкие,  
заблудились там, на книжной полке..  
Будем чистить дымную картошку,  
сыпать соль на сахарные ломти,  
а потом поговорим немножко,  
сдвинув стулья, тесно, локоть к локтю.  
Расскажи, куда ты нынче «в поле»,  
как у вас, геологов, сейчас..  
Или лучше, знаешь, вот что: спой мне,  
как всегда, волнуясь и дичась...

«В суতোлке сонного вокзала,  
в гуле уходящих поездов —  
что ж ты не сказала,  
что ж ты не сказала  
этих самых нежных,  
нужных слов..  
Может, кто другой тебе дороже..  
А мои заветные мечты  
просты.  
При желанье все же  
разгадать их сможешь  
только ты».

Вовка, я не знаю, что мне делать.  
В чем права и в чем я не права..  
Как меня по-новому заденут  
старые, знакомые слова!  
Где ты их придумал? На Ургале,

когда ночью по тайге шагали  
и маячил вам не теплый угол,  
а один лишь уголь,

уголь,  
уголь...

Или, может, Сихотэ-Алиню  
ты за песню поклониться рад?  
Или у густых приморских ливней  
подхватил ты этот теплый лад?  
Вовка, так поют, когда и вправду  
любят — и на все имеют право —  
далеко,

и бережно,  
и строго...

Любят — и никто чужой не трогай!

«Виновата доля кочевая,  
что меня почти на край земли  
от тебя, родная,  
от тебя, родная,  
голубые рельсы  
унесли...»

Вот ты спел, и вот уходишь снова  
молча, книгу с полки прихватил...  
Руку жмешь весомо и сурово.  
До свиданья, Вовка! Приходи.

На душе легко и сокровенно.  
Буду, вспоминая о тебе,  
просто,  
ненавязчиво  
и верно  
петь издалика своей судьбе:  
может, кто другой тебе дороже...  
А мои заветные мечты  
просты.  
При желанье все же  
разгадать их сможешь  
только ты.

\*:\*:

Кто б нас ни заменил  
тому,  
кого любили,  
не будем злы и мстительны  
с любимы:  
с не очень-то красивыми и умными,  
с немолодыми  
или слишком юными...

Вот женщина,  
которой я не видела,

которая тебе дороже, видимо,  
всего, что мне казалось очень важным,  
что я, краснея,  
величала  
«нашим».

Быть может, это вовсе не годится,  
но не могу я перед ней гордиться  
и не умею —  
даже в шутку, смехом, —  
похвастаться каким-нибудь успехом  
иль просто уколоть ее по-женски  
обидным словом,  
нарочитым жестом.

Пусть женщина живет  
и пыль стирает  
с твоих вещей,  
и путь твой устиляет  
цветами сердца...

Я совсем спокойна.  
Не потому, что все ушло давно.  
Не потому,  
что я судьбе покорна.  
Не потому,  
что стало все равно.

Я человек.  
И думаю о людях.  
И пусть вот этот день мой  
так решен —  
не отрекаюсь от его распутий,  
не зарекаюсь от того, что будет...  
Мне трудно.  
Справедливо.  
Хорошо.

\* \* \*

Мы станем скупее на чувства.  
Так надо. Пусть даже сперва  
от нас отвернется искусство,  
от нас разбегутся слова.

Потом —  
от азов, словно дети, —  
мы штурмом возьмем за двоих  
премудрость своих арифметик,  
взаимность грамматик своих...

О, как мы бесчестно и слепо  
пускали себя в оборот!  
Вернемся к насущности хлеба  
от наших нетрудных щедрот.



За то, что все реже и реже  
бездумие легких растрат,  
придет благодарная свежесть --  
таланта и счастья сестра.

Придет и одним поворотом —  
себе неизменно верна —  
с порога пустую породу  
небрежно отбросит она.

О скупость, высокая мера!  
Сопутствуй и требуй всегда,  
чтоб щедрость была неразменна.  
строга и спокойно горда.



---

НАТАЛЬЯ ДАВЫДОВА

★

## ЛЮБОВЬ ИНЖЕНЕРА ИЗОТОВА

*Роман \**

### Глава пятнадцатая

**К** азаков сказал Тасе:  
— Завтра воскресенье, едем на рыбалку.

— Мне не хочется без Алексея, — ответила она.

— А я ему обещал, что вы поедете на речку, посмотрите окрестности, подышите свежим воздухом. Вам надо развлечься. Будет большая компания. Поедем.

Рано утром в воскресенье в гостиницу, где жила Тася, пришла полная высокая женщина, подошла к зеркалу в гостиной, поправила светлые, без блеска, волосы, уложенные массивным валиком, попудрила нос, постучала в комнату к Тасе и сказала:

— Вас все ждут, московская гостья.

Это была «сама» Терехова, жена директора завода, Тамара Борисовна.

— Где тут телефон? — спросила она. — Мне надо позвонить, всегда в спешке что-нибудь забудешь.

Она стала говорить по телефону. Тася слышала ее чуть хриловатый голос: «Мы забыли термос, салфетки и лимоны. Шоферу передашь и пыльник Андрея Николаевича и мои старые туфли, которые стоят в прихожей. Поняла? Повтори».

— Надевайте что-нибудь попроще! — крикнула она Тасе.

Тася надела ситцевый красный в горошек сарафан, сверху коротенькую кофточку и повязала волосы косынкой. Тамара Борисовна разглядывала Тасю.

— Ситец, — проговорила она серьезно, — а мы здесь никак не можем привыкнуть к ситцу и носим шелк. Не знаю почему. Ситец быстро пачкается, мнется, стоит семь рублей метр. А мы любим, чтобы был шелк, и подороже. А на вас мне очень нравится.

Она разглядывала Тасю с любопытством и доброжелательством жены начальника, которая может себе позволить быть любопытной. Тамара Борисовна казалась простой, живой, немного громкой женщиной. Видно, что она была красивой, только недавно начала стареть и, может быть, еще не замечала этого сама. У нее было матовое лицо, мягкие щеки без намека на румянец, подрисованные в длину брови, голубые глаза.

— Жарко сегодня, учтите, — сказала Тамара Борисовна.

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

Тася хотела взять с собою коробку конфет, но Тамара Борисовна не разрешила.

Солнце сверкало, небо было голубое. Тасе стало весело и хорошо. Впереди был день у реки с незнакомыми людьми.

На улице, неподалеку от гостиницы, стояли машины. Тася увидела группу рослых мужчин возле автомобилей. Все смеялись, громко разговаривали. Казаков был там и тоже смеялся. Все вместе они выглядели празднично.

Дежурная гостиницы, Клавдия Ивановна, стояла в подворотне и смотрела на отъезжающих.

Кто-то из мужчин сказал: «По коням».

Подошел Терехов, пожал Тасе руку. Сегодня он был в новом розово-песочном костюме, хотя остальные мужчины были в рубашках без пиджаков. Он помог жене и Тасе сесть в машину. Помахал рукой, сказал: «Трогаемся».

В машине, куда сели Тася и Тамара Борисовна, были еще три женщины, шофер, девочка и рыжая собака. Машина тронулась, собака зарычала и зевнула.

Женщины все были нестарые, все держали в руках темные очки. Разглядев Тасю без очков, они надели очки и снова стали смотреть на нее.

Девочка лет десяти — двенадцати сидела впереди, торопила шофера: «Давайте ту машину обгоним, ну-у обгоним», без конца ела конфеты и кидала бумажки за окно, выковыривала из сладкой булки изюм, а остатки сыпала на сиденье. Шофер смотрел на нее, и видно было, что он еле сдерживается, чтобы не стукнуть ее.

Девчонка оборачивалась назад, темные очки она подняла на лоб, короткие светлые волосы стояли дыбом. Гримасничая, она говорила:

— У меня невры.

Все смеялись.

— Наши детишки начинают выходить замуж и жениться, — сказала Тамара Борисовна. — Вчера мы гуляли на свадьбе у дочери второго секретаря. Чудная девочка, прекрасный мальчик. Чудесная была у них свадьба.

Терехова была доброжелательна.

— Хорошо начинать жизнь с ничего. С самого начала, — заметила Аня Казакова, единственная, с кем Тася была раньше знакома.

— Ну-ну, это вы бросьте! Неплохо, когда родители подкинут для начала гарнитурчик-другой, — сказала громко мать девочки, толстая женщина с медно-красными крашеными волосами, темными у основания. — Я была недавно в Москве. Мы здесь шире живем. Я посылаю девушку в магазин, покупаю два кило ветчины, закладываю в холодильник. У нас масштабы. Другой вопрос, что деликатесы редко бывают. А москвичи, я смотрю, двести грамм, триста грамм, — разглагольствовало толстуха. — А уж пироги я пеку — во! — Она обратилась к шоферу: — Верно? Ты мои пироги знаешь. Гони, голубчик, жарко невозможно, выкупаться пора. И дитё наше устало. Дитё, ты устало?

— Устало. У меня невры, — запищала девочка. — Поехали назад. Дома лучше. Здесь жара...

— Жара для нас неплохо. Похудеем, может быть, на пару килограммчиков. А то с диетой у нас не получается.

— Новое средство — сидеть на одном боржоме, — сообщила Аня Казакова.

— В высшей степени оригинально, — сказала третья женщина с шестимесячной завивкой барашком, украшенная, как едка, бусами, серьгами и браслетками. — Умереть можно — целый день на одном боржоме.

Девочка, видя, что на нее не обращают внимания, стала разговаривать с рыжей собакой.

— Иди сюда, моя собачка дорогая, спрячься у меня, а то товарищ Грушаков тебя поймает и убьет. Собачка моя бедная. Ты не знаешь еще, какой он выпустил приказ горисполкома.

Женщины рассмеялись. Терехова объяснила Тасе:

— Товарищ Грушаков — наш председатель горисполкома. На днях было постановление в газете напечатано — о пристреле бездомных, бродячих собак, которые бегают без намордников. А это как раз товарищ Грушакова, — указала она на завитую женщину.

— Откуда моя дочь все слышит и все знает? — удивилась мама. — Боржом, говорите? Уж лучше мы будем сдобу кушать и торты ореховые. Эх, времени нет, а то бы я показала всем, какой я кондитер.

«Куда же она деваает время?» — подумала Тася.

— Вчера четыре операции, одна тяжелейшая. Резекция желудка. А вы говорите, боржом, — продолжала мама.

«Неужели она хирург? Резекция желудка?» Трудно было поверить.

— Сердце и сейчас беспокойно. Я после пикника прямо в больницу поеду. Честное слово, еще ни одного воскресенья летом спокойно не провела, — жаловалась толстуха. На дочь она шикнула: — Замолчи сейчас же!

— Сейчас у всех время тяжелое, — поддержала ее Казакова. — У нас в техникуме самые экзамены. — Она обратилась к Тасе: — Наши студенты все работают и учатся. Взрослые они, и жизнь у них взрослая. Иногда выходит к доске красный — пивом перед уроком заправился — ученичок. Только и знаешь, что поздравляешь их: то один папой стал, то другой. А тяга к знаниям паразитальная.

— В моей лаборатории все девочки учатся, — сказала Грушакова, — поняли, что ученье — свет, а неученье — тьма. Это ж хфакт? Хфакт. — Она улыбнулась тому, что говорила «хфакт» вместо «факт». — Не хотят сидеть со сковородками.

— Вам, наверно, неинтересно слушать наши разговоры, — улыбаясь, сказала Тасе Терехова, — но что поделаешь, дорогая, все мы работаем, и минуты свободной нет. Эльвира вон пирогами хвасталась, а печет она их в год раз, и то нет.

— Комары-кровососы! — хныкала девочка.

— Сейчас отправлю тебя домой, немедленно! — прикрикнула мать. Машина пробиралась сквозь заросли кустов, по топким, узеньким, затененным дорожкам. Недавно пролился дождь, кружевной папоротник рос вокруг, трава была яркая, высокая, какая бывает вблизи реки.

Выехали на открытое место — лужайку, белую от ромашек, — и показалась река. Тасе сразу захотелось бегать босиком по умытой траве с бликами солнца, лежать на спине, глядя в бесконечное небо, не думать ни о чем, только радоваться, что живешь.

Женщины вышли из машины, потянулись, размялись, стали дышать глубоко этим речным воздухом, пахнувшим дымком костра, травами и еще чем-то, что вспоминает человек, когда думает о том, что умирать не хочется.

Но комары как будто ждали, чтобы наброситься на приехавших людей и съесть их живьем.

Девочка сразу заорала: «Ой, мамочка, папочка, спасите, комары-кровососы!»

Еще две машины прибыли сюда раньше. У костра над ведром стоял толстый мужчина, живот у него был повязан полотенцем, в руках деревянная ложка. Он варил уху и приговаривал:

— Еще перчику, еще лаврового листику, еще сольцы, еще перчику.

— Долго вы ехали, товарищи. Это уже вторая порция, — объявила женщина в комбинезоне с капюшоном и сеткой от комаров на лице. — Одну мы съели. Я сейчас посуду для вас помою.

— Посуду давайте я помою, — сказала Грушакова и сдернула белые перчатки с рук. — Я химик, а для химика мыть посуду — привычная работа. Чистая лабораторная посуда — полдела.

Тася стала ей помогать мыть и вытирать тарелки и ложки. Тамара Борисовна проворно выкладывала на разостланную на траве скатерть несметное количество разной еды.

Женщина в комбинезоне принесла Тасе чью-то мужскую пижаму.

— Наденьте, иначе вас комары сожрут.

Тася в коричневой огромной пижаме, с платком, повязанным по самые глаза, стоя на коленях, перетирала посуду нарочно медленно, чтобы быть занятой. Женщины разговаривали и смеялись о своем.

— Ну что, очень вам скучно? — услышала Тася над собой ласковый, смеющийся голос Терехова.

Она посмотрела вверх, увидела его серые отчаянные глаза и опустила голову.

— Бедная девочка. Вас съели комары, бедняжка моя. Закурите, комары боятся дыма. Вы умеете курить? — Он протянул ей папиросу, поднес, закрывая ладонью, спичку. — Закурите, не сердитесь на меня. Я знаю, какая вы сердитая.

Тася что-то пролепетала. Она чувствовала себя беспомощной и растерянной перед ним с первой же встречи на заводе. После Тася не думала о Терехове, не вспоминала. Вернее, не разрешала себе думать о нем, ничего не ждала и все-таки ждала чего-то и что-то предчувствовала. Ожидание грозы всегда страшнее самой грозы. Ей следовало немедленно уехать в Москву, а не делать вид, что ничего не происходит. Гроза может пройти стороной, разразиться не над нашим небом.

— Да вы курить не умеете, вот беда, — засмеялся Терехов и отошел.

Она посмотрела ему вслед — у него была смешная походка — и вспомнила, как он стоял, задрвав голову, перед колонной с голубым огоньком.

«А как же Алексей? Ведь я люблю Алексея».

«Вышел Махмутка-перепутка на мостик и увидел уток...» — рассказывали ей когда-то детскую сказочку.

Казakov и другие мужчины с полотенцами на головах, похожие на бедуинов, разводили второй костер, чтобы вскипятить ведро с чаем.

Терехов окликнул бакенщика и стал говорить с ним. Бакенщик, небритый, в холщовой робе, ухмылялся:

— Приехали ко мне на курорт. — И требовал за что-то денег.

Терехов нахмурился.

— Что-то ты, братец, чересчур много о деньгах говоришь. Мы только что приехали.

Но бакенщик перечислял и загибал темные пальцы на руках: он хотел получить деньги за ведра, за воду, за наловленную на заре рыбку, за сучья, приготовленные для костра. Глухая алчность светилась в его глазах. Сами начальники, любители свежей ухи и чаю с дымком, развратили его. И Терехов, видно понимая это, махнул рукой, брезгливо сморщился и отошел.

Уха, приготовленная серьезным толстяком, была великолепна.

Неподалеку была разостлана еще одна скатерть. Там пировали дети различных возрастов, вернувшиеся с купания, и шоферы. Там не было ни вина, ни водки — только лимонад.

Терехов несколько раз поднимал стакан с вином и молча пил, глядя на Тасю.

Разговор зашел о взрослых детях, которые не хотят учиться. Завела его женщина-хирург, у которой, оказалось, был еще сын. Сын-десятиклассник приносил двойки и предпочитал танцульки приготовлению домашних заданий.

— Ну что делать? — восклицала мать. — Чем я виновата, что он, оболтус, не хочет учиться? В Москве я видела так называемых стилига, на улице, в ресторане, — в общем, их там легко увидеть. Ходят кудлатые, в узких брюках, с гадкими рожами. У нас вы таких не встретите. Их нет. Впрочем, это понятно, наш город заводской, откуда им браться? Мой оболтус тоже не стилига, ничего такого, а просто оболтус. Вот полюбуйтесь, он идет.

Подошел ее сын, прелестный, как всякий лодырь в юном возрасте, добродушно и ясно улыбающийся, с походкой вразвалочку, одетый буквально в лохмотья. Он нежно нагнулся к матери и шепотом что-то спросил, как спрашивают трехлетние дети, смущенно пряча глаза и улыбаясь пухлыми губами, над которыми уже был замечен темный пушок.

Что-то он попросил, мать разрешила, и он побежал, резвый теленок, испытывающий простые радости: вот он бежит, вот мама разрешила выпить портвейну.

— Не горюй, Эльвира, — грубоватым голосом сказал Терехов, — я заметил, что каждый в конце концов находит свою судьбу. Никто не пропадает. Пойдет твой парень послесарит. Это нам, родителям, так страшно все кажется, а ему небось не страшно. Ему жизнь улыбается.

— Тебе хорошо говорить, твой сын — отличник и зубрила, с утра до ночи сидит зубрит, я знаю, — ответила Эльвира, — а мой — оболтус и балбес. Интересно, между прочим, где моя младшая дочь, что-то она притихла, это мне не нравится.

На другом конце скатерти тоже шел разговор.

— Я начал создавать район с карандаша, — говорил краснолицый грузный человек с полотенцем на животе, тот, который варил уху. Казаков сказал Тасе, что это секретарь райкома. — Провели мне телефон, поставили его на окне и блокнот под нос положили. А через три дня привезли нам десять кухонных столиков — это было событие.

Увидев, что Тася слушает, он обратился к ней:

— А здание райкома нам нефтяники построили. Они богатые, черти. Вся наша работа — это все нефть.

— Что было, то было. Теперь совнархоз — он тебе и министр, он тебе и Москва, — заметил кто-то.

— Мы засыплемся со строительством. Не хватает кирпича и шлакоблоков. Стеновой материал нам никто не даст и не привезет, а план с нас не снимут.

— А что с дорогами будет? — спросила Грушакова. — Я у мужа машину редко беру, так пальто за год истрепала, пуговицы не успеваешь пришивать. Когда строили завод, не думали о людях. Кто-то недоделал, а кто-то теперь своей шкурой расплачивается за это.

— Илья, Илья, уйми жену, а то она на меня кидается! — крикнул секретарь человеку, который возился внизу, на реке, с удочками. — Дороги наши, Люся, машины съели. Камень виден, а асфальт уже съеденный. Наши машины какие? Бульдозеры и тракторы. Теперь в совнархозе эту проблему решим. Будет наш совнархоз по этим же дорогам ездить, никуда не денется.

— Кладут тонкий асфальт на плохую подушку, — объяснил Терехов Тасе, — к тому же город стоит близко к грунтовым водам. Год был особый: сильные дожди прошлого года, земля воду не принимала. А дать

подушку, потом бетон двадцать пять сантиметров, сверху асфальт.— тогда все дороги были бы у нас хорошие.

Он говорил «бетон», «асфальт», как говорят «моя дорогая», «моя любимая».

— У нас еще с жильем большой голод,— сказал секретарь райкома.— Людям надо дать в первую очередь жилье, а дороги потом. Мы считали, что если у них будет жилье, то они к нему как-нибудь доберутся.

— А человек ведь как устроен? Ему, по счастью, все мало.

— Ты мне лучше скажи, почему опять со снабжением хуже стало?— спросила Эльвира, обращаясь к молчаливому громоздкому человеку с лысой головой.— Ну!

— Что ты на меня орешь, чем я тебе виноватый? Вчера в трех гастрономах были яйца. Сегодня в одном гастрономе будет хороший лещ.

— А мясо?

— Мы будем еще откармливать скот, в сентябре дадим. А ты пока кушай молочко, и творог, и сметану, тебе очень полезно.

— В сентябре?— возмутилась женщина.— Товарищи, почему вы ему не вправите мозги?

— Ты, Эльвира, не возмущайся, некоторые работники общественного питания еще просто ленятся. Мы им сказали уже горькую правду. Не одумаются, пусть пеняют на себя,— сказал секретарь райкома,— их предупредили. Сейчас меня интересует, как уха, почему мало ели. Давайте всем рыбки подложу. Невкусно? Пересолил?— спрашивал он.

— Ну, товарищи, доставайте еще вина,— сказала Грушакова.

На обратном пути Тася села в машину с Казаковыми. В последний момент Терехов сел в ту же машину.

— Понравились вам мои друзья?— спросил Терехов.— Вы их еще не видели как следует. Они, когда разойдутся, замечательные парни.

Он хвастался перед Тасей. На заводе он хвастался заводом, здесь хвастался друзьями.

Он обращался к Тасе, но улыбался при этом Казаковым.

— А река разве плохая?— Он хвастался рекой.— Что вы смеетесь? Правда, правда. Где вы лучше реку видели? Как бы я хотел покататься с вами вдвоем по этой реке,— шепнул он Тасе.

Машина простучала по шаткому мосточку, который грозил вот-вот обвалиться. Тася обернулась назад— посмотреть, цел ли мостик. Просхали деревню; избушки под мохнатыми соломенными крышами, на плетеных, как женские косы, заборах нахлобученными шляпами висели вымытые кринки. Поодаль виднелось кладбище на пригорке, голое, без единого дерева, заброшенное.

— Ушла деревня к нам на завод почти вся,— сказал Терехов.— Молодые переселились в город, остались только старые старухи свой век доживать.

«Он здесь связан со всем, что происходит вокруг,— подумала Тася,— вся жизнь города, и окружающих деревень, и ближних платформ, где грузят сельскохозяйственные машины, и дальних заводов проходит через него и касается его. Это его жизнь, как и жизнь тех, кто хлебал сегодня уху из ведра».

За деревней началась плохая дорога. Такая плохая, что шофер затормозил и тоскливо оглянулся. Терехов приподнялся на сиденье, крикнул:

— Быстро! Здесь быстро проскочить!

Шофер сказал: «Елки зеленые!»— остановил машину, включил скорость, дал газ и с разгона проскочил трудное место.

И дальше, при виде ям, колдобин, луж величиной с хороший пруд, Терехов не давал шоферу остановиться, подгонял: «Быстро давай! Быстро!»

Потом крикнул: «Пусти, я сам!» — сел за руль и погнал машину. Когда выбрались на шоссе, Терехов повел машину спокойнее, но все-таки очень быстро. Сидел он, пригнувшись к рулю, почти лег на руль, обернулся назад только один раз и сказал:

— Люблю быстро ездить. Ну, держитесь!

— Андрей Николаевич, — простонал шофер, — тормоза слабые.

Прощаясь с Тасей, Терехов тихо сказал ей:

— Не презирайте меня и не сердитесь. Я потерял голову. Это со всяким может случиться. Даже с вами.

## Глава шестнадцатая

В гостинице Клавдия Ивановна встретила Тасю с обычным радушием и затараторила, не скрывая почтительного интереса к пикнику:

— Такая компания прекрасная. Уху, значит, варили. И бела была и красна была? Ой-ой, очень прекрасно. Хстите моего квасу? Или душик сперва?

Тася приняла душ и решила идти на кухню пить невкусный квас, который готовила суматошная и трогательная Клавдия Ивановна. Свою симпатию к Алексее Клавдии Ивановна перенесла на Тасю. Ее сердце было полно доброты и участия к людям.

Тася продолжала уверять себя, что ничего не происходит. Голос Терехова остался у нее в памяти, она улыбалась, вспоминая его азартное лицо. Как он вел машину, как пил вино, как разговаривал с бакенщиком, как говорил о деревне, как стоял на установке, когда загорелась обшивка колонны. Ну и наплевать. Ее это все не касалось. Для нее существовал только Алексей.

— Уха вкусная была, я никогда такой не ела, — возбужденно рассказывала Тася Клавдии Ивановне, — река хорошая, и вообще места прекрасные. Настоящая русская природа.

— А тут без вас Алексей Кондратьевич звонил, — сообщила Клавдия Ивановна.

— Он звонил? Что он говорил? Он сказал, когда он приезжает?

— Вечером еще позвонит. Ничего не сказал.

«Неужели он еще не скоро приедет?» — подумала Тася. Что же это все такое? Что ей делать? Что будет?

После горячего душа руки и ноги, искусанные комарами («бедная девочка, закурите, комары боятся дыма...»), стали багровыми. Тася натерлась одеколоном, включила приемник, услышала обрывок фразы «...восходят к третьему веку нашей эры...» и выключила приемник.

«Господи, что же это такое?» Ей никто на свете не нужен, кроме Алексея. Почему он уехал? Зачем он оставил ее здесь?

«Что же будет? — спрашивала она себя. — Что я наделала? Неужели я просто дрянь или я не люблю и не любила Алексея? Что делать? Надо уехать. Я уеду, и все уладится».

На мгновение она почувствовала облегчение, показалось, что достаточно уехать, как все уладится. Скорее бы позвонил опять Алексей, она поговорит с ним, услышит его голос, расскажет ему, что была на рыбалке, что ее искусили комары и какие здесь прекрасные места. Почему-то Тася вспомнила Кондратия Ильича, отца Алексея, какой это добрый и веселый человек. И вся семья замечательная. Алексей вырос в этой семье и ни в чем не просит у судьбы пощады. И Тася, никуда она не уедет, а просто больше никогда не увидит Терехова.

Она пошла еще раз спросить, когда обещал позвонить Алексей.



У Клавдии Ивановны на кухне сидела сестра. Тася стала слушать их разговор. Когда соприкасаешься с чужой жизнью, с чужой судьбой, можно не думать о своей.

Сестру Клавдии Ивановны звали Марией Ивановной. Это была маленькая, незаметная, тихая женщина с незаметным лицом. Она работала медсестрой в поликлинике нефтяников, бегала по вызовам делать уколы и воспитывала двух детей. Воспитание заключалось в том, что она старалась этих детей накормить и при всяком удобном случае отправить к матери в деревню.

Отец ее двух ребят, мальчика и девочки, был когда-то завхозом в одном учреждении. Потом он работал механиком пишущих машинок. Потом сбежал. Мария Ивановна разыскивала его несколько лет.

— Я знаю,— застенчиво говорила она Тасе,— я знаю, он спился на нет. Четырех копеек за четыре года и то нет от него. А двое детей законных. И не найти мне его никогда,— печально заключила она,— хоть всю жизнь буду искать. И не видела я от него ни слова, ни ласки, ни материальной помощи.

Теперь Мария Ивановна жила со слесарем. Парень был моложе ее, непутевый, пьющий, а она его любила и жалела.

— Ну что,— сказала она,— он несамостоятельный. Куда ж я его прогоню, квартиранта моего?

Тася знала от Клавдии Ивановны, что Мария Ивановна бегала с утра до вечера по вызовам, старалась заработать побольше, накормить посытнее двух своих ребятшек и квартиранта.

Клавдия Ивановна стояла тут же, тоже маленькая, тоже худенькая, в синем коротком халате с белым кружевным воротником и закатанными рукавами, сказала:

— Могла бы жить, как все люди. Детей бы пожалела. У мальчишки ни одной троечки нет, а ты ему не мать. Вон кудри себе навела. А все квартирант твой проклятый, чужой. И детям чужой и тебе чужой. А чужие пройдут, как ветер пройдет.

Мария Ивановна вытирала мгновенно выступающие слезы, сердце ее ожесточалось на сестру за такие разговоры.

— Твое горе для меня родное, кровное,— продолжала Клавдия Ивановна.— Ты наше детство вспомни, Маша. И в лаптях ходили и картошку черную, гнилую ели. Сушили и ели. Сушили и ели,— повторила она задумчиво.— Я бы этого квартиранта своими руками...

— Клавдия Ивановна, зачем вы так? — сказала Тася.

Клавдия Ивановна дернула свой кружевной воротничок, всхлинула, отошла к газовой плите и стала разогревать для сестры макароны. Она знала, что сестра голодная.

Сестры были непохожи. Мария Ивановна, при всей ее незаметности, была очень хорошенькая. У нее были пепельные вьющиеся волосы, уложенные пышным рассыпающимся узлом, большие черные глаза и красивые бледные губы. В ушах она носила красные стеклянные серьги. И на пальцах с коротко остриженными ногтями, желтыми от йода, два серебряных кольца: одно гладкое, другое с красным дешевым камушком.

Комната Клавдии Ивановны находилась рядом с кухней, маленькая, светлая, квадратная, как будто накрахмаленная.

Сейчас в комнате сидела подруга Клавдии Ивановны, Люся, затейница из заводского пионерского лагеря. Собственно, это Клавдия Ивановна считала Люсю своей подругой, а как считала та — было неизвестно.

Затейница — забубенная голова — ходила в резиновых черных ботах на каблучках, носила широкий черный пояс, туго затянутый боль-

шой квадратной пряжкой, и зеленое шерстяное платье с высокими плечами.

Клавдия Ивановна умела хорошо стирать и гладить. Она старалась постирать и погладить всем, кому могла. Алексею, другим командировочным, живущим в гостинице, сестре, ребятишкам сестры, своей подруге Люсе.

И сейчас, поставив кастрюльку на газ, Клавдия Ивановна посмотрела на сестру, отвернулась и пошла доглаживать зеленое платье Люси.

— Что мне с нею делать? — сказала Клавдия Ивановна, пробуя на палец электрический утюг. — Скажи, Люся, такие ребятишки у нее превосходные! У мальчишки ни одной троечки даже нет. А она? Так себя она не уважает. Что делать с ней?

Но Люся умела ловко прихлопывать тонкой ногой в резиновом ботинке на высоком каблуке, и давать команду, и запевать хриповатым голосом, и бегать, и плавать, и метать диск. Давать советы? Кому они нужны?

— Она его мужем называет, а у меня одно слово: квартирант. Бесстыжий он все же. Цепляется за нищую юбку. Я, Люся, чужих никогда не сужу, а за своих болею. Это ж позор, перед детьми позор, — печально повторяла Клавдия Ивановна, разглаживая зеленое платье Люси.

Люся, в черной комбинации, не снимая бот, сидела на белоснежной кровати Клавдии Ивановны. Она была единственным человеком, которому это позволялось.

— Вот это платье у тебя какое носистое, прочное, — заметила Клавдия Ивановна и продолжала главное: — И не бросит он се никак, ведь он моложе. Нашел бы себе другую, молодую. Она бы осталась детей растить.

— Она другого найдет, раз она такая, — сказала Люся, нетерпеливо следя за утюгом.

— Найдет, эта найдет. В кого она такая? И не трогай меня, говорит, и не наставляй. Я без мужика жить не буду и не хочу. Что с ней говорить, только хуже будет! Квартирант выпивать принесет и ее соблазняет. Если бы не дети, пускай бы делала что хочет. А детей жалко, они все понимают. Уже, наверно, осудили ее.

— А заberi себе детей, в крайнем случае, по суду. И воспитывай, — посоветовала Люся, надевая через голову платье. — Я побежала.

— Она не отдаст. Мать все же. Беги, беги, завтра приходи, — попрощалась Клавдия Ивановна, одернув платье на Люсе, — расскажешь, какое содержание у картины.

— Обязательно! — уже в коридоре крикнула затейница.

Клавдия Ивановна сняла кастрюлю с огня, положила туда кусок масла, ей показалось мало, она положила еще кусок и поставила перед сестрой глубокую тарелку дымящихся макарон.

— Ешь, — сказала она, — ешь все. А вы, Таисия Ивановна, не хотите?

Тася сидела на подоконнике, от еды отказалась. Только что Мария Ивановна рассказала ей, как она работает в поликлинике, какие там врачи. Рассказывала вяло, каждое слово приходилось из нее вытаскивать — видно, мысли женщины были далеко от всего этого, работа была нелюбимой, не радовала. И Тася вдруг подумала, что такая медицинская сестра может и назначение перепутать, забыть...

И Клавдия Ивановна с ее грустными свиными глазами как будто угадала мысли Таси и спросила:

— Ты, Мария, сегодня все вызовы уже выполнила?

— Все.

Клавдия Ивановна посмотрела на Тасю, проси поддержки.

— Как ваши ребятишки, здоровы? — спросила Тася.

— Здоровы, я их в деревню к маме отвезла. Ну, я пойду! — Мария Ивановна, оставив тарелку с недоеденными макаронами, встала. Вытащила из кармана своего белого халата папиросу, прикурила от газовой горелки, мелькнуло колечко с красным камушком. — Прощайте, женщины, — сказала она, поправляя волосы, — мне домой пора.

— Может быть, тебе деньги нужны? — не глядя в лицо сестре, спросила Клавдия Ивановна и вынула десятирублевую бумажку из старой коричневой сумочки. Десятирублевка лежала мелко-мелко сложенной и развернулась в руках гармошкой. — Бери, бери, мне она не нужна.

Мария Ивановна взяла и быстро ушла, не сказав ни слова.

Клавдия Ивановна села на табуретку и опустила голову. Прямые светлые волосы рассыпались по плечам.

Тася попробовала утешать:

— Клавдия Ивановна, она человек не такой уж плохой и детям своим мать. А что поделаешь, раз она его любит. Любовь...

— Любовь! — с презрением крикнула Клавдия Ивановна. — Он так ее не уважает, так не почитает! Любовь разве такая бывает?

— А дети все равно вырастут хорошие. Вы им помогать будете.

— Она своим детям не мать, эти дети не к рукам. Мне уж все равно, что она, б..., думает, она отрезанный ломоть, но дети невинные.

— Неправда, вы ее тоже жалуете.

— Сестренка, сестренка, — как будто позвала Клавдия Ивановна, и глаза ее наполнились слезами.

Раздались частые телефонные звонки. Это звонил Алексей. Он задерживался в Сталинграде.

### Глава семнадцатая

Тася была одна в гостинице. Командировочные соседи с утра разъезжались по делам, в гостинице стояла тишина опустевших до вечера комнат. Только с улицы доносились детские крики, смех, гудки автомобилей, улица звенела, торопилась, жила.

Надо было ехать на завод, но Тася медлила. Ей хотелось побыть одной.

Она вышла на балкон. Внизу стояла знакомая серебристо-серая машина с голубыми занавесками, и возле нее Тася увидела Терехова. Он смотрел на окна гостиницы, встретился глазами с Тасей, улыбнулся и скрылся в парадном. Через минуту он стоял перед ней в прихожей, запыхавшийся, потому что бежал по лестнице.

— Я пришел проверить, все ли в порядке, — сказал он развязно, — телефон, электричество, радио, газ, водопровод. — Потом сказал другим голосом, смущенно: — Здравствуйте, Тася!

— Здравствуйте!..

— Вы не приглашаете войти?

Он стоял перед ней с виноватыми глазами и теребил кепку: смешное движение, нелепое для него... Он опять был в новом костюме, на этот раз светло-сером с синей рубашкой. Тася подумала: «Франт!»

Он причесывался у зеркала, и выражение лица у него было все еще нерешительное, как будто он задавал себе и Тасе вопрос, на который мог быть только отрицательный ответ. Он приехал, пришел к ней, и она не удивилась и не рассердилась. Она обрадовалась.

Вот так оно и случается, неведомо как. Еще можно остановиться, еще не поздно, еще не ступили на шаткие мостки, еще можно сделать так, что эта встреча останется легким, приятным воспоминанием. Еще ничего нет, не было, ничего не произошло. Дребезжащий железный лифт, букет

роз, высокая трава на берегу реки. Если бы существовал невидимый голос, который предостерегал бы человека: «Остановись!» Впрочем, такой голос существует, и Тася слышала его отчетливо, но отмахнулась. Пустяки, ничего нет.

Они сели в гостиной за круглым столом, покрытым парчовой скатертью. О чем им было говорить? Обо всем или ни о чем. И они стали говорить обо всем, торопясь рассказать как можно больше, путая серьезное с мелочами.

— Знаете, я родился в Грозном, в семье нефтяника. Всю жизнь с детства нефть, нефть. Поэтому я такой темный, кожа темная, и нефть у меня в крови. Учился — это были счастливые голодные годы. Красивый был, свободный, молодой. Знаете, кем я был? Я был и грузчиком, и слесарем, и вальцовщиком. Студентом я играл на тромбоне. Грузил арбузы, пять рублей вагон. Был даже начальником конторы по сбору металлолома. Когда попадались моторы, которые можно было починить, мы их чинили и продавали — и имели деньги в обороте. Я был смысленный парень. В молодости человек выписывает различные курбеты. Уж не знаю, какие курбеты мне предстояли, но война все перерешила. Я был на фронте, а потом в Баку, после контузии. Давали фронту бензин, придумали тогда забуривать нефть обратно в скважины, все было залито отбензиненной нефтью. А мы давали бензин.

Тася улыбнулась — опять все те же слова: «бензин», «нефть».

— Что вы улыбаетесь, Тасенька, я что-нибудь не так говорю? — Оп взял ее руку, сжал легонько пальцы. — Ну, а вы как жили?

— А я в войну жила в Москве, училась в школе, ходила в госпиталь, писала письма раненым, танцевала перед ними.

Они говорили только о себе.

— Да, конечно, у вас еще были косички, пионерский галстук и пряменькие ножки. Ну, а потом?

— А потом училась еще. И после войны еще училась. Неинтересно.

— А я после войны стал директором завода, сперва в Гурьеве — ох, и несчастное место, сожженное, настоящий ад! — а потом опять был директором. Одного строящегося завода... большого.

— Вы очень честолюбивый человек.

— Нет. Просто уж работать так работать. Верне я говорю?

— Верно.

— Не люблю на печке лежать.

— Я тоже не люблю.

— Что же нам делать, Тасенька?

— Вы про что?

— Мне надо скоро уезжать. Сейчас такое время горячее, совнархоз жмет, сердимся, ругаемся. Работы уйма.

Он опять хвастался и радовался, что работы много.

— Мы сделаем настоящую республику химни.

— Здесь все говорят, что вы очень важный. Это правда?

Терехов весело засмеялся.

— А вам говорили? Правда.

— Зачем?

— Так надо.

— Зачем?

— Для пользы дела.

— Я не согласна. Это очень неправильно.

— Я лучше знаю, правильно или неправильно. Поверьте мне.

Он помолчал и сказал:

— Через два часа я поеду назад. Будете дома?

Еще можно было сказать «нет».

— Да,— ответила Тася.

Прощаясь с Тасей в прихожей, Терехов сказал странную фразу:

— Я виноват перед вами только в том, что я женат.

### Глава восемнадцатая

«Я виноват перед вами только в том, что я женат». Эти слова Тася вспоминала и повторяла про себя много раз. Что они означали?

«Это я виновата перед Алексеем, я предала его,— с отчаянием и страхом думала она.— Алексей самый лучший человек, лучше нету, я лучше не знаю. И он любил меня, и я его любила и могла быть счастлива. И все в жизни было бы чисто, открыто, а не тайно и позорно, как сейчас. Но, значит, я не любила Алексея...»

Мысль об Алексее, о том, как она поступила, была мучительна. Она малодушно гнала ее от себя. Ей хотелось написать все Алексею, попросить прощения, ей необходимо было объяснить ему самой. Пусть узнает от нее, не от чужих людей. Хотя она оказалась самая чужая, самая подлая. Он должен презирать ее, ненавидеть.

Зазвонил телефон. Она взяла трубку.

— Тася, вы? — услышала она ласковый, веселый голос, от которого у нее перехватило дыхание.— Мне повезло, что я вас застал. Давайте увидимся поскорее. Вы можете убежать?

— Могу,— ответила она и через пять минут стояла на углу улицы перед Андреем Николаевичем, не думая о том, что в этом маленьком городе, где каждый знает директора завода, их могут увидеть. Если уж он не думал, то и она не могла думать об этом.

— Сегодня мое рождение,— сказал Андрей Николаевич.

Она посмотрела на него вопросительно.

— Мне исполнилось сорок лет. Я не мог, я должен был обязательно увидеться с вами. Я весь день об этом думал.

— Да, да,— прошептала она.

Были какие-то привычки, манеры, походка, голос, характер — и не стало ничего. Тася с удивлением думала: «Он даже не знает меня. То, что он знает,— это не я».

— День рождения — пустяки, мне вас надо было увидеть...

Он взял Тасю крепко за руку.

— Пойдем на другую улицу, там не так светло.

Он прижал ее ладонь к губам. «Милая, маленькая, бедная», — шептал он.

Было тепло, но Тася вдруг озябла, начала дрожать. Терехов заметил, сказал:

— Даже пиджака не могу снять, дать тебе.

— Не надо мне пиджака.

— Куда же нам деваться? — пробормотал он и взглянул на Тасю. Она посмотрела в его темные, веселые, встревоженные глаза, сказала:

— Куда? Никуда.

— Бедные мы, бездомные,— рассмеялся Андрей Николаевич, привлек к себе Тасю и поцеловал в дрожащие губы.

Они молча прошли несколько шагов.

— Молчишь? — шепотом сказал Андрей Николаевич.— Молчи, молчи, мне все равно. Ты единственная, всю жизнь я думал о тебе. Слышишь? Как ты смешно стояла в операторной. Злилась на кого-то. На кого ты злилась? Почему ты не ушла? Я тебе хоть немножко понравился?

Тася кивнула.

- Не можешь мне «ты» сказать? Ну скажи: «Ты мне понравился».
- Ты мне не понравился,— сказала Тася.
- А почему ты тогда пошла со мной на крекинг?
- Было неудобно отказываться. Ты был тогда директор.
- А сейчас?
- А сейчас нет.
- А сейчас нет. Сейчас ничего нет. Только ты. Что же нам делать?
- Не знаю.
- А я, как только вошел, увидел твое лицо, твои глаза, я сразу понял, что я погиб. И обрадовался. Теперь я как-нибудь так устрою, чтобы раздаться со своими делами, и мы с тобой куда-нибудь уедем. Подальше. Поедешь со мной?
- Поеду.
- А можешь сейчас взять и поехать?
- Могу.
- А ты ведь правду говоришь, я знаю. Не знаю, откуда знаю, но знаю. И не оглянешься?
- Не оглянусь.
- Но так все трудно. Тася. Как сломать, подумай сама. Я стараюсь не думать. Я сказал тебе, что виноват перед тобой только в том, что женат.
- Да,— сказала Тася,— сказал.
- Если бы этого не было... Что же нам делать?
- Не знаю.

Теперь они встречались каждый день. Иногда по два, по три раза в день. Терехов приезжал в гостиницу, придумывая всевозможные предлоги. Вызывал Тасю поздно вечером на улицу на несколько минут. Днем сажал ее в машину и притворялся при догадливом и хитром шофере, что показывает приезжей москвичке город и окрестности. При шофере им приходилось молчать или обмениваться незначительными словами, которые имели для них всегда один и тот же тайный смысл. Слова «посмотрите, какие поднялись сады», или «это строительство нашего завода», или «в Москве тоже жара» означали только одно: «Я люблю тебя».

Тася никого не замечала, кроме Андрея Николаевича, ничего не слышала, ничего не помнила, кроме того, что говорил он.

А он говорил ей, отсылая шофера в киоск за папиросами:

— Тася, я теперь понял, я устаю без тебя. Я понял: именно так оно и есть, я страшно устаю без тебя. Как я жил без тебя, не понимаю. Но самый лучший виноград — синенький. без косточек! — Это возвращался шофер.— Забыл, как он называется.

— Без косточек, вы говорите?

— Без каких бы то ни было косточек.

— Сладкий?

— Да. Ну как же он называется? Забыл, все на свете забыл...

— И я забыла...

— Ты скоро уезжаешь?

— Через неделю.

— Тася, а ты не можешь задержаться?

— В Москве отец. Я должна ехать. Он болен, я должна к нему ехать.

— Да, конечно. Я постараюсь поехать с тобой в Москву. Возьмем билеты в международный вагон, хоть останемся вдвоем, я больше не могу так... Или, знаешь что, поедем теплоходом по Волге, несколько дней всего. Неужели возможно такое счастье?

— Идет шофер!

— Вот проклятие! Я хотел спросить, Таисия Ивановна, когда возвращается товарищ Изотов?

— Не знаю. И уже не буду знать. Я написала ему обо всем.

— Ах, вот как!

— Да. Так.

Андрей Николаевич замолчал. И так, одна судьба разрушена. Точнее, две. Что же будет дальше? Тася не была ни его женой, ни его невестой и не будет никогда. В его жизни не раз бывали легкие, необременительные связи, романы, не причинявшие никому беспокойства, курортные, командировочные знакомства — осторожная приятная жизнь. Он всегда хорошо знал, что можно и чего нельзя.

Но сейчас, с Тасей, было другое. То, что он испытывал сейчас, может быть отдаленно напоминало его давнюю любовь, в молодости, к девушке, которая стала его женой, к Тамаре Борисовне. По воспоминаниям то даже было не таким всеобъемлющим, не таким необходимым.

Терехов сам был в полной растерянности: он знал, что полюбил Тасю. Без нее действительно все казалось неинтересным, ненужным. Только и было — ее голос, глаза, распахнутые для него. Он чувствовал, что и эта девочка полюбила его, не думая, порвала с тем, с Изотовым. «Может быть, я старею и это последнее, поэтому так сильно». Он не знал, что делать.

— Тася, Тасенька, — шепнул он, глядя в спину шоферу.

— Не говорите ничего, я все понимаю, молчите.

Она все понимала и уже грустила.

Отказаться от нее он не мог. Он устроит так, чтобы поехать куда-нибудь вместе, побыть с нею без посторонних глаз. Только надо соблюдать осторожность. Все всегда у него получалось просто, легко и весело. На этот раз просто не будет. «И все-таки, — сказал он себе, — это подарок».

— Ты просил там квартиру для своего брата, — обратился он к шоферу, — пускай ко мне зайдет в приемный день с заявлением.

«Так, — сказал он себе, — страхуюсь», — и посмотрел на Тасю, но она, казалось, не слышала его слов. Глаза ее были опущены, она незаметно дотронулась рукой до его руки, и у него забилося сердце.

— Останови машину, — приказал он. — Таисия Ивановна, вы хотели посмотреть книжный базар... Тася, я больше не могу. Помнишь, ты говорила, что любовь помогает работе? Это чушь. Я ничего делать не могу, клянусь честью. У меня больше нет другого дела, только ты. Смотреть, как ты идешь, как ты улыбаешься, говоришь. Ты иди домой, я тебе буду звонить, ты сама бери трубку. Что-нибудь ты скажешь, я услышу твой голосок, и то будет счастье.

Тася ходила оглушенная. Даже когда Андрей Николаевич говорил с нею, она не переставала повторять про себя его имя. Когда оставалась одна, все время вспоминала его голос и его слова. У нее замирало сердце. «...Смотреть, как ты идешь...»

Она всегда была одета и причесана, готова немедленно выбежать на улицу, если он позвонит и позовет. Она сидела в гостиной и следила, чтобы никто не взял телефонную трубку, если позвонит телефон.

Ничего не было больше в жизни, кроме этих обрывков встреч и необходимости притворяться перед шофером, перед всеми. Она не спрашивала себя, что будет дальше.

Казаков избегал ее; встретившись, здоровался и отворачивался. Но она не боялась ничего презрения. Она заслужила. Пусть. Ей было все равно.

## Глава девятнадцатая

«Я люблю его, и все». А пока все сводилось к несложным, казалось бы, близким действиям, но они составляли жизнь. Телефонный звонок — успеть взять трубку, выбежать на улицу, надеть платье, которое он похвалил, вспомнить, что он сказал вчера вечером, что говорил вчера днем. «Моя дорогая» — простые слова, но она повторяла их про себя, потому что он их сказал. Как сохранить звук голоса, усмешку, покорную и чуть пренебрежительную? «Убежать с тобой подальше куда-нибудь, от всех, от всех. Просыпаться с тобой, возвращаться к тебе, ничего больше на свете не надо».

Станет ли эта любовь счастьем? Или очень скоро придется раскаиваться в том, что так опрометью приняла она эту любовь? Но это все будет потом. Стоит ли думать об этом сейчас? Тася не думала.

Грустными глазами Клавдия Ивановна следила за Тасей, несколько раз вспоминала Тамару Борисовну Терехову: «А жена директора, и прекрасный же это человек!»

Однажды Тася по необходимости зашла в комнату Клавдии Ивановны. Надо было заплатить за номер. Клавдия Ивановна была после ванны, ее красное, распаренное лицо лоснилось, волосы закручены и повязаны вафельным полотенцем.

— Прямо сплю я беспощадно, — сказала она. — А сейчас мне сон такой приснился, что мы с Машей молоденькие, сидим в избе, и мама с нами, и ткем на маленьких станочках. И у нас с Машей плохо получается, а у мамы такая красота, какие-то человечки в шапках, и птицы, и цветы.

Раздался резкий звонок, Клавдия Ивановна бросилась открывать дверь. В кухню вбежала Мария Ивановна и повалилась на табуретку. Красные пятна горели у нее на лице, бледные губы были еще белес обычного, она задыхалась и не могла говорить.

— Что? — крикнула Клавдия Ивановна. — Говори, что?

— Дети, — простонала Мария Ивановна, — в деревне пожар...

— Что ты знаешь?

— Кажется, сгорел наш дом, — выговорила Мария Ивановна и стала раскачиваться на стуле, закрыв глаза.

— До деревни сорок километров, — сказала Клавдия Ивановна. — Где брать машину? Автобус уже не ходит.

— Я с вами поеду, я сейчас машину достану! — крикнула Тася и звала по телефону квартиру директора завода. К счастью, Терехов оказался дома и сам подошел к телефону.

— Говорит Таисия Ивановна, — назвалась Тася.

— Слушаю, — ответил родной низкий голос, и Тася почувствовала, что Андрей Николаевич взволнован. — Слушаю вас.

Она ничего не стала объяснять, попросила дать ей немедленно машину. Андрей Николаевич ответил, что машина сейчас будет.

— Только скажи, — шепотом проговорил он в трубку, — с тобой ничего не случилось?

— Со мной ничего, — ответила Тася, счастливая тем, что он волновался.

Клавдия Ивановна уже стояла в прихожей.

— Спасибо вам, — сказала она Тасе. — Ну, поехали, — обернулась она к сестре.

— Можно еще попробовать в деревню позвонить, — тихо сказала Мария Ивановна и опять застонала. — О-ох-о-ох, горе, горе какое!

— Поедем быстро, — приказала Клавдия Ивановна. — Надо ехать, какие звонки еще!



— Я не поеду, я боюсь, я не поеду, я боюсь,— с лицом помешанной повторяла Мария Ивановна.

— Ну сиди здесь, бессовестная! — крикнула Клавдия Ивановна.— Какая ты мать после этого?

— Ой, ой, ой! — причитала Мария Ивановна и не двигалась с места.

«До чего она дошла,— с ужасом подумала Тася.— Уже не человек».

— Но если дети живы и ты после этого не выгонишь своего квартиранта, ты после этого, ты...

— Никогда... никогда... я выгоню... деточки,— рыдала Мария Ивановна.

— Ну поедem, перестань, Маша, разве можно так,— попробовала успокоить сестру Клавдия Ивановна.

— Вы же мать, как вы можете?..— стараясь сдерживаться, сказала Тася. Она стояла в плаще, волосы повязала розовой выгоревшей косынкой.

— Не могу, боюсь,— всхлипывала Мария Ивановна.

Беспомощная, не владеющая собой, жалкая, Мария Ивановна ничего не могла. Только плакать, вскрикивать и раскачиваться на стуле. Тася и Клавдия Ивановна ушли, а она, мать, осталась сидеть на стуле, бормоча:

— Выгоню его, выгоню... дети...

Машина еще не подошла.

— Ой, вы куда это собрались? — Люся в сопровождении высокого молодого человека шла мимо и увидела Клавдию Ивановну с Тасей. Люся сегодня навила кудри и выпустила их кольцами на лоб и на щеки, даже узнать ее было трудно.

Клавдия Ивановна ответила:

— В деревне пожар, а там дети, понимаешь.

— Ой,— тоненько сказала Люся и повернулась к своему спутнику.— Иди без меня в кино, а я с ними поеду.

Подъехала машина—крытый зеленый газик. Женщины сели в машину.

— Я буду ждать, спать не лягу, я к тебе в парадное приду,— сказал Люсин знакомый и отдал Люсе свой пиджак с большими ватными плечами.

— А мы утром вернемся, не раньше,— это далеко. Иди-ка лучше в кино,— сказала ему Люся.— За пиджак спасибо, конечно. Только один иди, на мой билет никого не води. Какому-нибудь мальчику отдай. Слышишь?..

Темная деревня спала, крайний дом, где жила мать Клавдии Ивановны, стоял на месте, и приехавшие с трудом достучались, перебудили ребят, разбудили старуху.

Тревога оказалась ложной, у кого-то сгорел сарай. Проснувшиеся ребята сказали, что сарай горел быстро, хорошо — «р-раз —и нету», но бабушка прищкнула на них.

— Сгорел сараюшек, а все одно страшно,— сказала старуха.— А ты чего переполошилась, доченька, ночью приехала, сполох такой?

При свете яркой лампочки Клавдия Ивановна разглядела, что племянники загорели, освежили и глаза у них веселые, детские. Не то что в городе, там ей всегда казалось, что дети голодные и смотрят всепонимающе, как взрослые. Про мать они спросили только один раз, почему она не приехала.

— Мама дежурит.— ответила Клавдия Ивановна, зная, что дети гордятся, когда их мать дежурит.

Маленький старинный ткацкий станочек, который она недавно видела во сне, стоял в углу. На нем уже много лет никто не ткал.

На обратном пути Люся крепко спала на плече у Таси.

— С добрым утром,— сказала она, проснувшись около своего дома.

Войдя к себе, Клавдия Ивановна не удержалась и обняла сестру. Обе заплакали.

Потом Мария Ивановна уехала в поликлинику.

— Ты помнишь, Маша, что обещала? Теперь все по-другому будет? По-иному? — напомнила Клавдия Ивановна на прощание.

Мария Ивановна несколько раз кивнула и судорожно обняла сестру.

Тася посмотрела из окна и увидела, как, сгорбившись, мелкими шажками, семенила по улице Мария Ивановна и плечи ее вздрагивали.

Вечером Тася с Клавдией Ивановной пошли к ее сестре. Тася сама не понимала, зачем она идет.

В кухне за столом сидели квартирант без рубашки, в одной голубой майке, и раскрасневшаяся Мария Ивановна в шелковом платье. Перед ними стояли граненые стаканы, котлеты на сковородке и бутылка водки.

— Такая радость, выпей за такую радость, выпейте и вы, девушка, — обратилась к вошедшим возбужденная Мария Ивановна. — А я думала, сгорел мамин дом, а это оказался простой сарай. Ха-ха-ха! А дети мои живы-здоровы и даже поправились, поздоровели. По такому случаю выпить надо. Вот он принес. Ты, Клаша, его не любишь, квартиранта моего. А он принес за детей моих выпить... И ты и вы, барышня... Да чего ж вы не присаживаетесь?

Клавдия Ивановна повернулась и, не сказав ни слова, вышла. На улице она говорила с Тасей о посторонних вещах, но глаза ее, круглые, всегда печальные глаза, были негодующими. Тася думала: «Вот настоящий человек, а та уже не человек. Душа распалась, и человек кончен».

— Если вы про сестру мою думаете, то не думайтенисколько, — сказала Клавдия Ивановна. — Она не стоит того, чтоб об ней думали, и я об ней больше уже думать кончаю. Потеряла она себя окончательно. Она мне не сестра. Мне Люся больше сестра.

— А детишки хорошие. — Тася вспомнила соломенные головки ребятишек в избе.

— Я их постараюсь по суду себе забрать, а если не отдадут, я им все равно вырастить помогу. Встанут на ноги и без нее.

Вся эта история взволновала Тасю. И хотя она сразу села дежурить у телефона, мысли ее все время возвращались к матери, которая не поехала спасать своих детей, к женщине, которая потеряла себя. «Как там отец сейчас?» — подумала Тася. Вчера по телефону он разговаривал бодро, но все-таки получалось, что она бросила старика. Правда, он чувствовал себя лучше, но все равно, все равно... Тася думала о своей любви, которая заполнила все ее помыслы, всю душу, и опять, как током, ударяло воспоминание: женщина жалкая, дрожащая, а сегодня уже пьяная, забывшая о своих страхах.

Встретившись на улице с Тереховым, Тася рассказала ему, что произошло. Но на него это не произвело впечатления. Он больше всего удивился, что она поехала ночью в деревню.

— Значит, поехала ночью ребятишек спасать? А между прочим, если бы ты мне толком объяснила, в чем дело, я бы туда дозвонился и вообще ехать не пришлось бы.

— Не в этом дело, — попыталась объяснить Тася. — Какое это имеет значение, поехала я или нет? Я о другом говорю, об этой женщине, ты подумай.

Она старалась растолковать Терехову, как поразил ее душевный распад человека. Что-то тревожное для нее самой было в этой истории. Терехова все это не трогало.

— Я тебе, моя дорогая девочка, таких историй могу сколько хочешь рассказать и еще похлестче. Что такого особенного? Пьяная баба с кем-то

там путается. Ребятишек, конечно, жалко. Но ничего, вырастут не хуже других. Ты слишком впечатлительна.

Тася покачала головой: он не понимал ее.

— Знаешь, ты бы ко мне на прием пришла, таких человеческих историй бы слушалась, что куда твоей медсестре.

Терехов весело расхохотался, он был сегодня в прекрасном настроении, — как и всегда, впрочем.

— Сейчас я тебе скажу приятную вещь — мы с тобой послезавтра едем вместе в Москву.

Тася молчала.

— Ты не рада?

Тася думала сейчас о том, что каждый день приближает ее к разлуке с ним. Что будет потом?

— Еще одна приятная вещь заключается в том, что мы поедem на теплоходе.

Это сообщение она тоже восприняла безучастно.

— Что с тобой, детка? — нежно спросил Терехов. — Неужели эта медсестра тебя так расстроила? Скажу тебе как старый опытный дядя: все бывает в жизни, бывает и хуже, бывает зато и лучше. Прекрасное тоже попадается. Расстраиваться, во всяком случае, не следует. Другое дело, что ты села и поехала. Это ты молодец, что хотела помочь. Мы с тобой в этом, оказывается, похожи. Р-раз — и влезть в драку! Правильно? Но после этого уже голову вешать нехорошо. Даже если тебе нос в кровь расквасили. Ну, моя маленькая сердитая Тасенька, крошка моя, улыбнись, и я побежал.

Терехов действительно почти побежал, а Тася медленно пошла в гостиницу по темной улице. Послезавтра они поедут вдвоем. В том беге на малые расстояния, которым сейчас жила Тася, это могло считаться радостью, но она не радовалась.

«Все мое счастье в этом», — думала она. Но не задавала себе вопроса, какое же это счастье, если оно все в этом.

Она не боялась испытаний. Когда они наступали в ее жизни, она выдерживала их стойко. Это было так. Но теперь... Что случилось теперь? Она понимала, что не уступить этой любви труднее, чем уступить, отказаться достойнее, чем принять. Как мгновенно и оглушительно все в ней перевернулось... Как легко она предала Алексея, которого любила! Как это случилось? Все, кроме Андрея Николаевича, исчезло. И о себе она уже не знала, какая она...

Передавая Тасе билет на теплоход, Терехов сказал беззаботным голосом, как человек, который просто и легко относится к жизни:

— Тасенька, давай сделаем так, чтобы никто не видел, что мы едем вместе. Ты умница, и я на тебя полагаюсь. Соблюдая осторожность, мы многое облегчим себе. Приезжай пораньше и оставайся в каюте, а я приеду в последний момент. Я знаю, что тебе это очень неприятно, но что же нам иначе делать, бедные мы, несчастные, — засмеялся он. — Не сердись?

Тася покачала головой, она не сердилась. К этой обиде она подготовила себя давно.

«Так надо», — говорила она себе.

И, как будто угадывая ее мысли, Терехов произнес:

— Так надо.

— Так надо, я понимаю, — подтвердила Тася, опуская голову.

Что-то она наврала Лидии Сергеевне, которая хотела ее проводить, наспех попрощалась с Клавдией Ивановной, стыдясь смотреть ей в глаза, взяла чемодан, села в автобус. Уехала украдкой, убежала.

Когда она ехала в автобусе, ей вспомнился ее приезд сюда. Показалось, что это было очень давно,— молчаливо-счастливый Алексей, она сама, Казаков. То было открытое, ясное счастье, которое она променяла на тайное и воровское. Сколько достоинства было в том и сколько унижения сейчас. И пускай!

Любой пассажирский теплоход имеет праздничный, сверкающий вид, как, впрочем, и самый скромный речной пароходик. Вероятно потому, что вокруг вода, солнце, зеленые берега.

Тася вздохнула, поднимаясь по трапу. Голоса, звучащие у воды перед отплытием огромного теплохода или маленького пароходика, всегда кажутся взволнованно-приподнятыми, а люди, которые должны сейчас улечь куда-то по зеленватой воде,— особенные люди, счастливы. Это ощущение, между прочим, есть не только у тех, кто остается на берегу, но и у тех, кто отплывает. Они сами себе готовы завидовать, сами себе кажутся счастливыми, и Тася, несмотря на то, что у нее щемило сердце, выпрямилась и стала улыбаться. Идя коридором и отыскивая среди кают первого класса нужный ей номер. Сердце у нее колотилось, потому что, как бы там ни было, сейчас должен был войти человек, которого она полюбила, и они впервые должны были остаться вдвоем, а эта сверкающая чистотой и корабельной красотой каюта должна была стать их первым домом.

Тася положила чемодан и слегка отодвинула занавеску иллюминатора. Мимо двигались люди, смеялись, кричали, а она сидела на диване и, остерегаясь быть замеченной, не поднимала головы.

Вдруг она услышала энергичный, начальственный голос Терехова:

— Ну, решили так, а теперь решите иначе.

Тася улыбнулась, фраза была типична для Терехова. Скажи ее кто-нибудь другой и таким вот голосом, Тасе бы наверняка не понравилось, но она любила этого человека и даже поверила, что так можно говорить, когда нужно. Во всяком случае, когда Андрей Николаевич убеждал ее в этом, она соглашалась: ему в конце концов виднее.

Сейчас он должен постучаться в дверь, которую Тася из осторожности заперла. Наконец случилось так, как они оба хотели,— они убежали. Убежали, как говорил все эти дни Терехов, лукаво и общинчески глядя на Тасю. Говорил, как говорят о веселом приключении.

В щель слегка открытого иллюминатора прорывался речной воздух, пахло свежестью и нефтью. Тася села. Ждать, пока совершится это мучительное отплытие, было невыносимо.

Терехов постучался в дверь, она бросилась к нему, он обнял ее, отшвырнув чемодан. Потом они долго сидели молча, прижавшись друг к другу, потрясенные тем, что они вдвоем. Тася старалась унять дрожь, не могла говорить. Ей было странно и стыдно, что она так волнуется, пока она не заметила, что Терехов тоже волнуется и тоже почти не может говорить. А голос его казался ей незнакомым, да и сам он казался ей гораздо более чужим, чем еще вчера. Им обоим было неловко и захотелось выйти к людям, нарушить это долгожданное уединение, и Тася обрадовалась, когда Андрей Николаевич предложил ей пойти посмотреть теплоход, выйти на палубу, в салон, поужинать в ресторане. Она согласилась и вышла в маленькое соседнее отделение каюты, чтобы переодеться. Тася надела гладкое платье светло-кремового цвета с темными пуговицами и карманами на груди, причесала свои короткие волнистые волосы и, вспомнив затейницу Люсю, одну прядь волос выпустила на лоб.

— Ты скоро, Тасенька? Я уже соскучился! — крикнул Андрей Николаевич. — Я не могу так долго быть без тебя.

Она быстро убрала волосы со лба, вымыла лицо холодной водой и вышла к Терехову, смущаясь по-прежнему.

— Какая ты красивая и молодая, — задумчиво сказал он. — Это невероятно.

Они пошли вдоль палубы. Тася чувствовала, что им смотрят вслед. Сейчас в довершение всего они встретят кого-нибудь знакомого — и что тогда?

— Я забыл папиросы в плаще, я сбегаю. — Терехов быстрыми шагами вернулся в каюту, а Тася остановилась возле лестницы, ведущей на капитанский мостик. На капитанском мостике стояли два голенастых, крепеньких, похожих друг на друга мальчика. На их лицах было ясно написано, что они самые счастливые дети на свете. На лесенке внизу была прибита надпись: «Посторонним вход запрещен».

— А вы разве не посторонние? — с улыбкой спросила Тася: ей хотелось доставить мальчикам удовольствие.

— Мы не посторонние, — скрывая бешеную гордость, сдержанно ответили мальчики.

— А-а, — протянула Тася, — все понятно. Вы дети капитана. Счастливые вы...

Мальчики посмотрели на нее участливо, они понимали, что она завидует. Так же ликующе и сочувственно посмотрели они и на Терехова, когда Тася с Тереховым пошли вперед. Она услышала, как один из мальчиков сказал:

— Дяденька такой старый, а тетенька такая молодая-молодая.

Они прошли несколько шагов, и Терехов спросил:

— Ты слышала?

— Слышала. Это все глупости. Мальчишка не понимает ничего.

— Нет, понимает. Ты меня бросишь. Я знаю, я старый. Ты меня очень скоро бросишь. Найдешь себе молодого красивого моряка. На что я тебе?

«Если бы ты знал, если бы ты знал», — растерянно думала Тася, глядя ему в лицо. Она не находила слов, чтобы рассказать о своей любви, и она молчала, боясь проронить хоть одно его слово.

К вечеру у Терехова заболела голова, началась мучительная, до черноты в глазах, мигрень. Он лег и заставил Тасю лечь, просил ее заснуть, сказав, что пирамидон ему в таких случаях не помогает и что он попытается заснуть, чтобы прошла головная боль. Она задремала, но, открыв глаза, увидела, что он не спит, лежит, закусив губы, с резко обозначенными морщинами на лбу и на щеках. Она вскочила, босиком, в ночной рубашке, нагнулась над ним.

— Что с тобой? Ты не можешь заснуть?

— Спи, Тасенька, — ответил Терехов и погладил ее по руке, — спи, маленькая. У меня разболелась голова.

Тася разыскала в его чемодане пирамидон, налила воды в стакан, подала ему. Когда она взглянула в его благодарное и виноватое лицо, ей захотелось плакать от нежности, жалости, любви к нему.

— Прости меня, — прошептал он, закрывая глаза и сдвигая брови, — прости меня, я никуда не похужу.

— Что ты говоришь! — воскликнула Тася, опускаясь рядом с ним на колени. — Спи, пожалуйста, сейчас тебе станет легче, сейчас все пройдет. Говорю тебе. Тебе уже лучше, я знаю.

— Как мне стыдно, что ты не спишь из-за меня, — медленно проговорил он. — Доктор мой милый, не стой босыми ножками, ложись.

Он вздохнул.

— Ножки босые у тебя, ложись,— повторил он.

У Таси сжалось сердце. Она легла, натянула одеяло, но спать не могла. Скоро у нее заболела голова. Это случилось редко, и она подумала, что теперь, наверно, всегда она будет испытывать ю же, что испытывает он.

Потом она стала угадывать его мысли.

На следующий день за завтраком Андрей Николаевич ей сказал:

— Я хотел бы подарить тебе колечко.

— Я знаю какое,— улыбнулась Тася.

— Ну?

— Бирюзовое колечко?

— Чудеса. Ты ведьма или добрая волшебница? Что это все такое?

— Не знаю,— прошептала она.

Это путешествие продолжалось несколько дней. Но им казалось, что оно началось давным-давно, и они старались не думать, что оно когда-нибудь кончится. Кончится, кстати, скоро.

— Странно, стоит мне проснуться, как ты тоже открываешь глаза. Отчего это? — спрашивал Андрей Николаевич.

— Потому что я люблю тебя,— отвечала Тася.

— Я тоже думаю, что любишь. Но что это за чудо: когда б я ни проснулся, ты открываешь глаза. И глаза совершенно чистые, ясные, прозрачные, как будто и не спала. Птица моя родная.

Они не говорили ни о чем таком, о чем было трудно говорить: о Тамаре Борисовне, об Алексее.

— Как бы хорошо, если б сломался винт. Что-нибудь бы сломалось, и мы бы с тобой такплыли иплыли,— повторял Андрей Николаевич.— Плыли бы иплыли.

В другой раз он сказал:

— Я бы хотел за борт вниз головой.

Только раз, уловив взгляд ее измученных глаз, он ласково сказал:

— Имей в виду, что я все понимаю. Все абсолютно. И как тебе трудно — понимаю, и то, что ты молчишь, понимаю. Но, честное слово, жизнь человеческая достаточно тяжела и печальна — стоит ли нам самим делать ее еще сложнее и печальнее? Не надо ни о чем горевать. Спасибо тебе за твое молчание и за твою веселость. За твою молодость. Ты счастье, которого я не заслужил. Как это в стихах? «И может быть — на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Вот ты мне блеснула и светишь мне. И, пожалуйста, никогда не думай, что я чего-нибудь не замечаю, чего-нибудь не вижу. Я все вижу, все замечаю и за все благодарен тебе.

Вот и все, что было сказано между ними об их отношениях. Правда, гораздо больше пушкинских строк Андрей Николаевич любил повторять строки шекспировского сонета: «Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть».

Та бесшабашность, с какою он исповедовал свое отношение к жизни, обескураживала Тасю. Первое время ей казалось, что они еще обязательно обо всем поговорят и все станет ясным, но они все не говорили и не говорили, и она перестала ждать. А сама она не могла нарушить этого легкого отношения к вещам. «Пусть все будет хорошо», — повторял он. Или: «Все будет очень хорошо», — и Тася повторяла эти слова за ним, как заклинание.

Несколько раз он намекал на то, что в будущем он как-нибудь сумеет развязаться с семьей.

Смуглое лицо Андрея Николаевича было всегда веселым. Он как будто владел тайной хорошего настроения, хотя можно было не сомневаться, что неприятностей и трудностей у него хватало. «Так и надо, так и я буду. И все будет хорошо,— заклинала Тася.— Только бы папа был здоров».

Но иногда заклинание неожиданно теряло силу. И тогда Тасе казалось, что у нее не хватит сил так жить. Эти мысли возникали, когда Андрей Николаевич спал. А когда он просыпался, у нее уже было веселое лицо. Веселое лицо, веселый голос. Так было условлено, так договорились. Это называлось, по определению Андрея Николаевича, «хорошо знать правила игры».

И все-таки, когда до Москвы оставалось несколько часов, она не выдержала и заплакала. Это произошло в ресторане за завтраком. Тася плакала. Слезы капали на светло-кремовое платье, на загорелые руки, на скатерть, в тарелку на котлету. Она с ожесточением жевала жареную картошку.

Андрей Николаевич улыбался.

— Только дети так ревут и не теряют при этом аппетита. Сколько тебе лет? Ты не знаешь? И никто не знает? Перестань, Тасенька, нам же было так хорошо вместе. Ты моя умница, самая красивая, самая веселая. Улыбнись скорей. Я не могу видеть твоих слез. Не плачь никогда. Мы с тобой не расстанемся, я еще долго буду в Москве, потом уеду и почти сразу снова приеду.

Андрей Николаевич допустил незначительную ложь. Но он считал, что ложь — средство полезное и даже необходимое в человеческом общении. Он даже Тасе как-то сказал, что ему придется ей лгать. «Для твоего же спокойствия. Только тогда, когда тебе от этого лучше. И ни в каких других случаях. Пойми это». Понять это было невозможно, но пришлось улыбнуться. Андрей Николаевич не заметил, как она измученно улыбнулась. Он очень ловко умел многое не замечать.

Андрей Николаевич, успокаивая Тасю, сказал, что пробудет в Москве долго, на самом же деле он не мог оставаться больше трех дней. И в эти три дня он будет занят бешено. Когда попадаешь в Госплан, всегда оказывается куча вопросов, которые надо решить, оттуда быстро не вырвешься. Министерство расформировали. Старый хозяин уходит, Терехову его немного жаль. Завод был в министерстве на хорошем счету, а для самого Терехова были открыты все двери. Андрей Николаевич улыбался, вспоминая перемещения многих своих приятелей и знакомых, волнения их жен, которым не хотелось покидать столицу, оставлять уютные квартиры. Сам Терехов когда-то распрощался с Москвой легко и решительно. Он любил город и столичную жизнь, но считал, что «лучше быть первым в деревне...». а кроме того, он стремился к живому делу. Скромное место в Москве не устраивало его. Он считал, что здоровый мужчина в расцвете лет не должен просиживать штаны в кабинете, даже если кабинет большой и красивый, а кресло мягкое и удобное.

Он улыбался, думая об одном своем приятеле, веселом толстяке, несостоявшемся оперном певце, ныне начальнике управления, о другом — замминистра. Оба попали в совнархоз, который стал теперь полномочным хозяином над его, Терехова, заводом. Что ж, Терехов ничего не имел против, они всегда работали дружно и теперь работают дружно. Скоро отстроят комфортабельный дом, куда переедут все новые работники совнархоза и где их будут уж так сильно тосковать по своим московским квартирам. Черт возьми, старость, люди привыкают к насиженному месту. Раньше, когда были молодые, ничего не надо было. Ни о ка-

кой мебели не помышляли — кровать и стол, а теперь вон кафелем на кухне стали интересоваться. Без кафеля кухня уже не нравится.

Тася с интересом слушала рассуждения Терехова. А ему нравилось рассказывать. Он умел говорить о людях остроумно и зло, Тася замечательно слушала. Не то что жена, Тамара Борисовна, которая уже наперед знала, что он скажет дальше, и перебивала его. Тася задавала вопросы, удивлялась, смеялась и никогда не перебивала. Одно удовольствие было ей рассказывать. За эти дни на теплоходе она стала такой близкой! Она решилась на связь с ним и ни разу ни одним словом не упрекнула его, хотя он видел, как минутами ей было тяжело. Да, вся эта история становилась уж очень не похожей на то, что у него бывало раньше. Милая девочка, даже сейчас, перед концом путешествия, она поплакала недолго, вытерла слезы и постаралась улыбнуться. Он, конечно, не плакал, что через несколько часов они расстанутся, но и ему было грустно. Однако что можно сделать?

Спустя четыре дня Терехов улетал. Он ждал Тасю в гостинице «Москва», чтобы вместе ехать в аэропорт. Предстояло прощание, которое страшило Терехова. Он боялся слез Таси, ее глаз, ее отчаяния, он расхаживал по просторному номеру и морщился, придумывая, как будет утешать ее, что ей совет.

— Я пришла, — услышал он ее голос. Она неслышно открыла дверь и подбежала к нему. Она поцеловала его, и он уловил запах лекарств. У нее, у бедняжки, болел отец. Она стояла перед ним, подняв голову, раскрыв милые, преданные глаза.

— Здравствуй, здравствуй, мое воскресенье, — проговорил Андрей Николаевич, радуясь, что видит ее, не понимая, как он будет дальше жить без нее. «Наверно, это старость, у меня нет слов, я старый дурак, выживший из ума. Я не могу жить без нее». — Ты мое воскресенье, — повторил он. — Понимаешь ты это?

Тася молчала. Неужели возможно, что сейчас он уедет, а она останется?

— Дай я на тебя хоть посмотрю. Целый день я тебя не видел. Что ты делала целый день?

Она дала себе слово улыбаться, не портить прощания слезами. Еще оставалось два часа, еще что-то было впереди. Они приехали в аэропорт, еще осталось сорок минут. Еще полчаса.

— Я скоро приеду. Я буду писать. Звонить. Тасенька!

— Да, да, я тоже.

— Скажи мне что-нибудь хорошее на прощание.

— Я умру без тебя.

— Неплохо. Еще скажи. Что-нибудь в этом роде.

— Я умру без тебя.

— Что же нам делать?

— Не знаю. Разве я могу знать?

— Тасенька, мы расстаемся на несколько дней. Хорошо?

— Очень.

— Ты меня не разлюбишь?

Надо улыбаться. Он еще мог шутить. Тася молчала. Оставалось пятнадцать минут. Отлетающих пригласили пройти к самолету. Еще осталось посмотреть, как он идет по дорожке, оглядываясь. И все. Больше ничего не осталось. Ждать.

Терехов последний раз взглянул на маленькую светлую фигурку на ступенях аэровокзала и помахал рукой. Она будет ждать. Когда теперь он сможет вырваться в Москву? Что-то трудной становится эта любовь...



## Глава двадцатая

Самолет всегда успокаивал Андрея Николаевича. С тех пор как он перешел в разряд людей, которые в силу своей занятости никогда не ездят поездом, а только летают, он полюбил самолет. Ему нравилось, что он идет к самолету с легким чемоданчиком, а то и просто с портфелем, с газетами, торчащими из кармана пальто. Нравились спутники в самолете. Его восхищали новые аэровокзалы, и он всегда пользовался возможностью выпить на остановке рюмку коньяку и, повеселевший, покрасневший, легкой походкой возвращался на свое место. Сперва он усердно смотрел в окно, следя за тем, как поднимается самолет, нетерпеливо ждал, когда можно будет закурить. Потом, если не было поблизости симпатичной молоденькой пассажирки, засыпал и спал до следующей посадки.

В этот раз Андрей Николаевич не испытывал обычного удовольствия от полета. С тоской, со щемящим чувством он смотрел в окно.

Взглянув на крыло самолета, Андрей Николаевич заметил, что вытекает масло. Темно-коричневое, густое, принадлежащее к продукции его завода, оно искристым ручейком текло по крылу.

— Масло вытекает,— показал он своему соседу, немолодому человеку с гладковыбритым мягким лицом артиста.

Тот сказал:

— Не люблю летать.— И пристально посмотрел на Терехова, как будто пытался вспомнить, знакомы они или нет.

— Мотор раздерет,— произнес голос сзади.

— Не раздерет,— усмехнулся Терехов.— Не бойтесь.

Терехов закурил, глубоко затянулся и прикрыл глаза, заподозрив в соседе желание разговоривать. Терехову разговоривать не хотелось. Он думал о Тасе. Что-то трудной становится эта любовь.

Уже давно не переживал Терехов ничего подобного, думал, что навсегда забыл, как это бывает. Казалось, что это случается в жизни только один раз и не повторяется. А вот повторилось, да с такой силой, что он растерян. Дома ждет его жена, которую он уважает и любит, ну, скажем, любил, и никогда не сможет обидеть ее и никогда не бросит. И все мысли на эту тему надо прекратить.

В помощь себе Андрей Николаевич призвал воспоминания. Он постарался вспомнить, какой Тамара Борисовна была. Почему-то он вспомнил не первое знакомство с нею, даже не первые счастливые годы семейной жизни, а войну. В войну Тамара Борисовна пошла работать на завод, где он был главным инженером. Он вспомнил, какие у нее были тогда белокурые косы, стройная фигура, голубые прозрачные глаза и белая кожа, которую она умело оберегала от южного солнца. Она была всегда очень нарядна. Тогда на заводе были почти одни женщины, пропыленные, закоптевшие, почерневшие. Они осудили ее. Но очень скоро ее полюбили за доброту, за ум, за энергию. Даже стали гордиться ею. Лаборантки подтянулись, оставили на время ватники и стали донашивать свои пальто. Терехов помнил, как неожиданно заговорили на собрании о том, что с приходом Тамары Борисовны многие стали лучше работать. Его самого жена в войну поражала. Сколько она работала! Она была хрупкая женщина, не отличалась особым здоровьем, а войну прошла на одном дыхании, как боец, не останавливаясь, ровным шагом, не повышая, не снижая темпа. Он вспомнил, как на третью зиму войны, когда износились ее вещи, она тоже надела ватник и оказалась в нем и в белом платке еще моложе и милее. Она взяла на воспитание девочку, у которой погибла мать при взрыве на промыслах. После войны эту девочку забрал отец, вернувшийся с фронта. За всю

совместную жизнь Терехову нечем упрекнуть Тамару Борисовну. Она была ему другом, была легким человеком, хорошей женой. Она всегда работала, не жалея себя, хлопотала по дому, воспитывала сына. На заводе она слыла твердым человеком, дома была уступчивой и мягкой. Сын вырос и обожает мать, гордится ею. Таков итог... Воспоминания были неясными и почти насильственными. Как будто человек говорил себе: «Да, да, смотри, вот это так, именно так, знай, помни и не вздумай забыть. Помни, как ты болел, а она за тобой ухаживала. Помни, как ты радовался рождению сына. Помни, как она помогала в те твои дни, когда ты из утильсырья выбирал и чинил моторы. Вспомни, как вы спали на раскладушке, похожей на железную гармошку, а сын посапывал рядом в колыбели из чемодана и чихал, как взрослый человек. Как ты бежал к ней с новостями и никогда не боялся огорчить ее неприятностями, потому что она их не боялась. Не дрожала за свое благополучие, не ездила на казенной машине...»

Предстояло решить вопрос, можно ли жить воспоминаниями. Андрей Николаевич опять закурил и опять поймал на себе взгляд соседа. «Что ему от меня надо?» — подумал Андрей Николаевич, рассматривая остроносые ботинки соседа, узкие ворсистые брюки, лиловатый пиджак из какой-то несбыкнутой материи. «Заморская одежда, — решил Терехов. — Товарищ возвращается из заграничной командировки. Но он русский, не иностранец».

Сосед все-таки заговорил с Тереховым. Он оказался русским, который давно живет в Америке и приехал на родину в гости на месяц. Сейчас он летел к сестре.

Терехову последнее время приходилось часто встречаться с иностранцами. Он любил принимать делегации на заводе, любил показывать завод, вести тонкую дипломатическую беседу, угощать вином, фруктами, давать ужины. Языков иностранных он как следует не знал, хотя техническую литературу — английскую и немецкую — читал. У Терехова было свое понимание дипломатии: главное — показать широту и обаяние.

Ни египетские нефтяники, ни английские государственные деятели, ни представители американских фирм нефтяного оборудования, однако, не пытались посвятить Терехова в свои душевные переживания. А человек в самолете, глядя на Андрея Николаевича исстрадавшимися глазами, хотел говорить о себе.

— Больше тридцати лет я не был на родине, — сказал он.

Он сказался антрепренером. Родину покинул без каких-либо серьезных причин, просто хотел привольной, богатой жизни, хотел путешествовать, летать из страны в страну.

— Ну, женщины еще, конечно, — сказал он. — Когда-то это много значило. Отец у меня был фабрикант, эксплуатировал рабочих, как говорится, но он никого не эксплуатировал, он был очень добрый. Он недавно умер в Чикаго.

— А масло все течет, — произнес голос сзади.

— Не обращайтесь внимания, — сказал Терехов, — пустяки.

— В Америке очень много авиационных катастроф, — сообщил сосед любезно.

Терехов засмеялся.

— Я вижу, вы смелый человек. Я тоже был смелый... раньше. Так значит, про отца я вам сказал. А мы были тогда такая молодежь, мы жили искусством, у нас были высокие интересы. Мы были своеобразные люди. Очень своеобразные.

Он очень напирал на то, что они были своеобразными, ему нравилось слово.

— В Америке я стал модным антрепренером, другом великих артистов. Они любили меня. За что, вы хотите знать? За то, что я был честным.

Успех сопутствовал ему, он научился зарабатывать, делать деньги. А тратить он всегда умел. Красивых женщин было тогда гораздо больше, чем теперь, между прочим. Про него говорили, что он «несит корону». Но жизнь — это борьба, как утверждал один его старый товарищ, давно отказавшийся от этой борьбы. И вот в ходе этой борьбы мистера Акимова, так звали антрепренера, объявили сумасшедшим. Двери концертных залов не только Америки — всего мира закрылись перед ним, всех оповестили, что он рехнулся. Великая конкуренция погубила его, он оказался слабее. Его даже упрятали в сумасшедший дом, где сидели настоящие сумасшедшие, которые лаяли и мяукали. Потом его взяли оттуда. Жить стало тяжело. Корона упала с его головы. Между тем жизнь неслась вперед так стремительно, так изощренно технизировалась, что он за нею не поспевал и, что самое главное, жизнь эта перестала ему нравиться.

— Боже мой, — сказал он Терехову, — люди теперь разучились слушать. Они отвечают уже на первые пять слов, а остальные двадцать пять они не слышат. Что будет дальше? Если бог все-таки существует, как он допустил, что люди перестали думать? Нажатием пальца на кнопку они освобождают себя от необходимости думать. Разве это не ужасно? А ведь мозг ржавеет так же, как ржавеют машины. Если человек перестанет двигаться, он разучится ходить. Если человек перестанет думать, он перестанет быть человеком. Вы понимаете меня?

Львиная седая голова соседа едва заметно тряслась, выцветшие, некогда ярко-голубые глаза наполнялись слезой. Старость, одиночество были в его глазах.

— Вы знаете, что такое машина, что такое технология всей жизни насквозь?

Он так и сказал «технология всей жизни». Он был уверен, что весь мир развивается по этому пути, СССР тоже.

— Пока этого еще у вас нет, но я предчувствую, что будет. И тогда мир погибнет.

— Зачем же так мрачно? — пошутил Терехов. — Я другого мнения.

— Вы слепы, вы ошибаетесь! — живо воскликнул мистер Акимов. — Очень ошибаетесь. Вы младенец, который ничего не боится, потому что ничего не знает. А я очень старый человек, я знаю все, но у меня нет сил. Не могу никого предупредить об опасности, меня не слушают, мне не верят, считают меня чудаком и юродивым. А-а-а-а! — простонал он и откинулся в кресле.

Самолет снижался.

— Вот я и долетел, — сказал он. — Сейчас я увижу свою сестру. У нее муж и дети. Все мое кровное. Боже мой, боже мой, вся моя жизнь — это тоска по родине. Словами выразить нельзя. Музыкой, может быть. А здесь... здесь все говорят по-русски, и это потрясает мое старое сердце. Не судите меня сурово. Прощайте.

Андрей Николаевич медленно пошел по направлению к аэровокзалу. Это последняя посадка. Следующая — дома. Всегда он дрожал от нетерпения, желая скорее добраться с московскими новостями, впечатлениями, подарками.

Собственно, это уже почти дом. Погода здесь всегда была такая же, какая ждала его дома. И, казалось, запахи здесь были схожи. И здесь и там пахло горячей сухой травой, полынью, мятой, нефтью. Здесь всегда можно было встретить знакомых, которые летели в Москву. Здесь он знал буфетчицу и швейцара в ресторане.

Мистер Акимов скрылся из виду. Печальная судьба промелькнула перед глазами Терехова. Невольно задумаешься над самим собою хоть на мгновение. Но только на мгновение, потому что уже давно пора отряхнуть все посторонние мысли, не относящиеся к делам. Изотов все еще в Сталинграде, но он вернется на завод, придет к нему. Да, неприятно. Тася была его невестой, они любили друг друга. Придется встретиться... решать дела реконструкции. В конце концов никто не виноват, что так случилось. Любовь свободна, век кочуя... Что там, на заводе? Он подумал о строительстве новой железнодорожной ветки. Со стороны восточной проходной. Беда с путями сообщения, с погрузкой-разгрузкой. Неправильный это принцип — сперва строить производственную площадку, а потом подъездные пути. Если еще когда-нибудь судьба приведет строить завод, скольких ошибок можно будет избежать! И Терехов, прогуливаясь по открытому степному аэродрому, вдруг ощутил острое юное желание все начать сначала. Хоть еще один раз в жизни. Пустырь, геодезисты, временные, пахнувшие краской, неудобные дома вместо обжитых, обставленных квартир, новый гигантский завод, такой, как этот, только еще больше, комбинированные установки, автоматика. Бытовые помещения сделать просторные, светлые, в кафеле, с метлахской плиткой. Огромные подземные резервуары. Рядом чтобы были заводы нефтехимии, искусственного волокна. Поблизости поставить завод синтетического каучука.

После Двадцатого съезда наконец-то стали всерьез заниматься производством синтетического каучука, моющих средств, спирта. А искусственные смолы — это золотое дно. Андрей Николаевич много раз ловил себя на том, что на любой бытовой предмет он смотрит с одной точки зрения: может он быть заменен искусственным материалом или нет? И приходил к убеждению, что все можно заменить. Он вынул из кармана записную книжку. Таких книжечек он купил двадцать штук и вез домой, чтобы подарить товарищам. Обложка была из полиэтилена, яркая, голубая, Терехову очень нравилась.

Выйдя на площадь перед аэровокзалом, Андрей Николаевич остановился, помахал рукой самолетному спутнику. Старый антрепренер шел, обнявшись с сестрой, тучной женщиной с пышной прической, они поддерживали друг друга и шли медленно, спотыкаясь, а дети, племянники, бежали впереди с криком и смехом, толкали ногами какую-то бутылку, были заняты своей детской жизнью и не обращали на взрослых никакого внимания.

Мимо Терехова прошли двое мужчин с портфелями, донесся обрывок разговора.

— ...Собрали собрание — Боголепова проработывать. Где Боголепов? Нет Боголепова!..

Андрей Николаевич засмеялся, а услышав собственный смех, удивился. Господи, сколько лет он не бродил так, засунув руки в карманы, по площади незнакомого города, не шатался вольно птицей, не прислушивался к чужим разговорам, не провожал взглядом случайных прохожих. Он знал, что про него говорили: «Наш директор пошел, понес собственное достоинство». Он смеялся, считал, что ничего плохого нет, что так говорят. А хорошего мало, если разобраться. Тася права. Если бы она была с ним... Ему предлагали ехать за границу, возглавить строительство нефтеперерабатывающего завода — он решительно отказался. Далекие страны не манили его, он и думать не хотел о том, чтобы ехать за рубеж, даже ненадолго. Он был недавно в Англии, писал потом в отчете: «...на заводе мы не заметили дымка даже меньше дымка от папиросы». Завод, завод, завод — вот что он видел в Англии. А с Тасей ему были бы интересны люди. Она смотрела на мир с моло-

дым любопытством, которое не могла скрыть, даже если хотела. Надо быть смелым, признаться себе, что она действительно молода, а он уже не очень молод. Кто-то из приятелей недавно рассказывал, что в Японии есть день старика. Такой праздник, когда веселятся старики, когда старикам разрешается считать себя молодыми. Андрей Николаевич ненадолго разрешил себе считать себя молодым, но следующая остановка самолета — дом, праздник старика окончен.

Уличная сцена заставила его обернуться и даже остановиться. Он увидел юношу и девушку. Они стояли у невысокой ограды аэродрома и прощались. Мира не существовало, только их прощание. Горя в мире не существовало, только их горе. Девушка держала руки юноши в своих, то прижимала их к губам, то опускала светловолосую голову на его руки. Девушка не плакала, серые глаза ее были сухими и выражали ту степень горя, при которой невозможны слезы. Лицо юноши было напряженным, страдающим, глаза устремлены в одну точку, губы сжаты. Оба были такими непостижимо молодыми, такими прекрасными... Что заставляло их расставаться? Почему они, они-то? Люди проходили мимо и оборачивались. Обнаженное горе этих двоих вызывало у прохожих зависть. Какие еще чувства могло вызвать это молодое горе? Можно было только завидовать, что юноша и девушка могут стоять так у забора, на виду у всех, что девушка может так смотреть на юношу, так держать его руки, так не замечать и не слышать ничего.

Андрей Николаевич остановился, пошел, обернулся еще раз. Те двое стояли все так же. Андрей Николаевич сделал еще несколько шагов и в последний раз посмотрел. Юные, стройные, смугло-румяные, они были по-прежнему неподвижны. Им ни до кого не было дела. Они были на этой площади самые счастливые, хотя думали, что они самые несчастные.

*(Окончание следует)*



---

С. ГАЛКИН

★

## ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

*С еврейского●*

\*.\*.\*

Сам себе наперекор  
Говорю я,— хоть к присяге! —  
Что писалось до сих пор  
И осталось до сих пор,  
Что не вычеркнул, не стер —  
Я писал не на бумаге!

У голубки на пере,  
И на светло-синей тверди,  
И на розовой заре,  
Стуком — на заветной двери,  
И надрезом на коре,  
На траве, седой от влаги,—  
Но никак не на бумаге.

Между тем уже не раз  
Я давал себе наказ  
С вымыслом покончить: в мире  
Все как дважды два четыре.  
Никаких фантазий — благо  
Есть чернила и бумага!

Вот пишу, не отрываюсь  
И работой упиваюсь...  
Что за диво! Стол исчез.  
Я гляжу, как в глубь колодца,  
На зеленый с позолотцей,  
Подо мной шумящий лес.

Чую сквозь ветвей сплетенье  
Птиц немых оцепененье,  
Певчих птиц я слышу пенье.  
Вместе с ними, на лету,  
Ощущаю бездны тягу.  
Где тут помнить про бумагу!  
Набирай лишь высоту!

Над лесами, над горами,  
Над речными зеркалами

В синеве крылом сверкну,  
Напишу, перечеркну...

Но крыла свободный взмах  
Пробуждает в сердце страх:  
Как докажешь миру целому  
Черным, так сказать, по белому,  
На земле, не в облаках,  
Что стоял и здесь, в эфире,  
Ты за «дважды два четыре»?

*Перевела Вера Потапова.*

### ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Всю ночь полыхала, гремела гроза,  
И капелька влаги, светла, как слеза,  
Дрожит на былинке поникшей травы,  
Стараясь побольше вместить синевы,  
Чтоб золотом летней зари пламенеть,  
Слегка серебриться, чуть-чуть зеленеть.  
Быть может, для этой минуты одной  
Ее породили вода с тишиной.  
И разве сияет она для себя?  
Нет, в ясном хрусталике солнце дробя,  
Горит она, лес украшая собой.  
И пусть он роняет листок свой любой,  
Но только пускай не потушит звезды —  
Мерцающей капельки чистой воды.

*Перевел С. Маршак.*

\*:\*

Спустись я только на одну ступень,  
Чтобы назвать тебя моей любимой,—  
Обиженная, ты прошла бы мимо,  
И на сердце тебе легла бы тень.

Но я, не глядя ввысь, тебя достиг,  
Я не молил тебя: «Звездой стань мне!»  
Иначе возросло бы расстояние  
От неба до земли в тягчайший миг.

С тех пор неравенства меж нами нет.  
В том наша суть, разгадка и основа.  
Нас гнула жизнь и распрямляла снова,  
Чтоб стать нам вровень на закате лет,

Чтоб мы под вечер отблеском былого  
В глазах друг друга видели рассвет.

*Перевела А. Ахматова.*

**А Я НЕ ЗНАЛ...**

Ты мне сказала, будто я влюблен  
 Не только что в нес — в ту пядь земли,  
 Где отпечатан след ее в пыли.  
 Смотри, а я не понял, что со мной.  
 Мне думалось: я просто удручен  
 Дождем осенним, тем, что пала мгла,  
 Что лес исчез за влажной пленой...  
 Спасибо, друг мой! Ты меня спасла  
 Днем — от тревожного недоуменья,  
 Средь ночи — от невольного смятенья,  
 В час сумерек — от грусти неотвязной,  
 Больному сердцу противопоказанной.  
 Я в неоплатном пред тобой долгу:  
 Ты назвала по имени тревогу,  
 Открыла тайну мне... Так я могу  
 Еще влюбленным быть...  
 Что ж, слава богу.

*Перевела Ю. Нейман.*

**ПРИВЫЧКИ**

Привычки... И они ведь жизнь моя!  
 Кому ж я оставляю их в наследство?  
 Я множество их накопил и с детства  
 В себе таскать их не ленился я.  
 Кому же у последнего порога  
 Их передам? Что говорить: их много!

Ведь я привык творить не только зло,  
 Но и добро, себя не понуждая.  
 А если из корысти иногда я  
 Был добрым — это вспомнить тяжело.  
 Мои привычки... Сколько ни порочь их,  
 Меж них найдутся те, что лучше прочих.

Я за иные заплатил вдвойне.  
 Они мне дороги, и нет дурного,  
 Что за бесценок их отдам... Но мне  
 Хотелось бы, чтоб их владелец новый  
 Добра не делал по привычке милой  
 И зла, что из привычки станет силой.

*Перевела М. Петровых.*

**МИРУ**

Пройдет, сказала ты, десяток лет,  
 Года мою влюбленность в мир остудят...  
 В моем же сердце — не унынье, нет!  
 Пророчество твое надежду будит:  
 Вдруг, к нашему с тобою торжеству,  
 Я впрямь еще лет десять проживу.



Не знаю, сколько в книге бытия  
Мне годовщин отписано судьбою,  
Но знаю и готов поклясться я,  
Что, сколько буду властен над собою,  
Являться миру буду лишь в любви,  
Она во мне и в плоти и в крови.

И если б мир, помилуй бог, стал глух,  
«Люблю и славлю!» — я кричал бы криком,  
А если сам я онемею вдруг,  
Я не уймуся, оставшись безъязыким,  
Ты угадаешь по движенью губ:  
«Мой мир, ты что ни день мне больше люб!»

*Перевел И. Гуревич.*



С. МАРШАК

★

## В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ

*Страницы воспоминаний\**

### 9. Голос нового века

**Ю**ность людей моего поколения была особенно напряженной и тревожной, потому что совпала с началом нынешнего века, а этот век с первых же дней показал свои львиные когти.

Во время моего детства и отрочества мы еще не знали (как странно представить себе это сейчас!) ни электрического света, ни телефона, ни трамваев, ни автомобилей, ни аэропланов, ни подводных лодок, ни кинематографа, ни радио, ни телевидения.

В столичных журналах рассказывали, как о чуде, об электрическом освещении на Парижской всемирной выставке. А среди иллюстраций к новостям техники время от времени появлялись изображения прадедушек и дедушек нынешнего автомобиля.

Говорить по телефону мне впервые довелось только через несколько лет — после переезда в Питер. На моих глазах по петербургским улицам покатали первые, еще новенькие вагоны трамвая, заменившие собою медленно ползущую, громоздкую конку.

Первые годы столетия были временем напряженного ожидания новых открытий. Не сегодня-завтра должен был родиться подводный корабль, который мелькал уже на страницах романов Жюль Верна; со дня на день ждали, что вот-вот оторвется от земли летающий аппарат тяжелее воздуха. Все более возможным и вероятным казалось открытие Северного полюса.

И хотя в небольшом уездном городке, где я встретил начало века, не было еще сколько-нибудь заметных перемен, люди чувствовали, что скоро наступят какие-то новые времена.

То и дело до нас доходили ошеломительные известия о последних изобретениях.

Я хорошо помню, как нам, ученикам острогожской гимназии, однажды объявили, что двух последних уроков у нас не будет, а вместо этого нас куда-то поведут. Мы построились парами на дворе гимназии, и вышедший к нам преподаватель математики и физики, прозванный Барбароссой, пообещал продемонстрировать перед нами нечто весьма любопытное.

Мы пошли по главной улице и остановились перед дверью какого-то магазина, куда нас начали впускать по очереди. В просторном, почти пустом помещении мы увидели столик, на котором стоял загадочный продолговатый ящик с двумя шнурами.

\* Окончание Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

Один за другим мы подходили к ящику, строя всякие догадки о том, что в нем таится.

Барбаросса долго молчал и только поглаживал рыжую бороду.

— Вы видите перед собой, — заговорил он наконец, — недавно изобретенный аппарат, который воспроизводит любые звуки, в том числе и звуки человеческой речи. Изобретатель этого аппарата Эдисон дал ему греческое название «фонограф», что по-русски значит «звукописец». Сблаговолите присесть к этому столику и вложить себе в уши концы проводов. Всех же остальных присутствующих здесь я попросил бы соблюдать абсолютную тишину. Итак, начинаем!

От старшекласников мы знали, что физические опыты редко удаются нашему степенному преподавателю математики и физики, и поэтому не ждали успеха и на этот раз. Вот сейчас он вытрет платком лысину и скажет, сохраняя полное достоинство: «Однако этот прибор сегодня не в исправности» или: «Очевидно, нам придется вернуться к этому опыту в следующий раз!»

Но на самом деле вышло иначе. В ушах у нас что-то зашипело, и мы явственно услышали из ящика слова: «Здравствуйте! Хорошо ли вы меня слышите? Аппарат, с которым я хочу вас познакомить, называется фонограф. Фо-но-граф...»

После короткого объяснения последовала пауза, а затем раздались звуки какого-то бравурного марша.

Мы были поражены, почти испуганы. Никогда в жизни мы еще не слышали, чтобы вещи говорили по-человечьи, как говорит этот коричневый, отполированный до блеска ящик. Музыка удивила нас меньше — музыкальные шкатулки были нам знакомы.

А Барбаросса поглаживал свою рыжую бороду и торжественно поглядывал на нас, как будто это он сам, а не Томас Альва Эдисон избрал говорящий аппарат.

Конец прошлого и начало нынешнего столетия как-то сразу приближали нашу уездную глушь к столицам, к далеко уходящим железным дорогам, к тому большому, полному жизни и движения миру, который я еще так смутно представлял себе, играя на просторном заводском дворе в городя из обломков кирпича и в деревни из щепочек.

Понаслышке я знал, что в этом большом мире есть люди, известные далеко за пределами своего города и даже своей страны. Там происходят события, о которых чуть ли не в тот же день узнает весь земной шар.

Сам-то я жил с детства среди безымянных людей безвестной судьбы. Если до нашей пригородной слободы и долетали порой вести, то разве только о большом пожаре в городе, об очередном крушении на железной дороге или о каком-то знаменитом на всю губернию полусказочном разбойнике Чуркине, лихо ограбившем на проезжей дороге почту или угнавшем с постоялого двора тройку лошадей.

Но вот до нас стали докатываться издали отголоски и более значительных событий.

Мне было лет семь, когда царский манифест, торжественные панихиды и унылый колокольный звон возвестили, что умер — да не просто умер, а «в Бóзе почил» — царь Александр Третий.

Еще до того в течение нескольких лет слышал я разговоры о каком-то таинственном покушении на царя и об его «чудесном спасении» у станции Бóрки, где царский поезд чуть было не потерпел крушение.

А вот теперь царь «почил в Бóзе». Я решил, что «Бóза» — это тоже какая-то станция железной дороги. В Борках царь спасся от смерти, а в Бóзе, как видно, ему спастись не удалось.

Вскоре я услышал новое торжественное слово «иллюминация». В Острогожске, как и в других российских городах, зажгли вдоль тротуаров плашки по случаю восшествия на престол нового царя, и все население окраин — Майдана и Лушниковки — прогуливалось в этот вечер вместе с горжанами по освещенным, хотя и довольно тускло, главным улицам. Даже наш сосед — слепой горбун — шагал по городу в шеренге слободских парней. Любоваться огоньками плашек он не мог, но долго с гордостью вспоминал день, когда «ходил на люминацию».

Однако празднества были скоро омрачены новыми зловещими слухами. Из уст в уста передавали страшные и загадочные вести о какой-то «Ходынке». Страшным это слово казалось оттого, что его произносили шепотом или шепотом, охая и покачивая головами. Из обрывков разговоров я в конце концов понял, что Ходынка — это Ходынское поле в Москве, где во время коронации погибло из-за давки великое множество народа. Рассказывали, что несметные толпы устремились в этот день на Ходынку только ради того, чтобы получить даром глиняную кружку с крышечкой и платочек с вензелями царя и царицы.

Неспокойно начиналось новое царствование.

Встречаясь на улице или переговариваясь через плетень, соседи толковали о холере, о голоде, о комете. А приезжие привозили известия о том, что в больших городах — в Питере, в Москве, в Киеве, в Харькове — все чаще и чаще «фабричные» бастуют, а студенты бунтуют и что студентов сдают за это в солдаты.

Одни из наших соседей — особенно соседки — жалели студентов, другие говорили, что так им и надо — пускай, мол, не бунтуют, а учатся!

Все новости разносила в то время устная молва. Газета была редкой гостьей на Майдане, да и в городе.

Маленькую газетку «Свет» получал ежедневно из Питера усатый красильщик — тот самый, что зачитывался приложениями к журналу «Родина». Отец говорил, что эта газетка все врет и «скверно пахнет». Я понимал его слова совершенно буквально — может быть, потому, что от книг, которые давал мне красильщик, и в самом деле веяло затхлостью чулана, набитого всяким хламом.

Презрительно морщился отец и тогда, когда при нем упоминали другую столичную газету, гораздо большего формата и объема, которая печаталась на бумаге лучшего качества и носила название, набранное крупным, четким и красивым шрифтом, — «Новое время».

И когда я впервые заметил широкие листы «Нового времени» в руках у нашего классного наставника Теплых, я даже не решился рассказать об этом отцу, который никогда и в глаза не видал Владимира Ивановича, но давно уже влюбился в него по моим рассказам.

В нашей семье газета появлялась редко — только в те дни, когда дома бывал отец. Помнится, чаще всего читал он «Неделю», которую называли «Неделей» Гайдебурова. За газетой велись жаркие споры.

Особенно часто и шумно спорили одно время о событиях во Франции, хотя от нашего Майдана до Парижа было так же далеко, как от тех мест, откуда, по словам Гоголя, «три года скачи, ни до какого государства не доедешь».

У меня о Франции и французах было в те времена довольно смутное представление. Помню песню, которую надрывными голосами распевали девицы на соседнем дворе:

Жил-был во Хранцын  
Король молодой,  
Имел жену-красавицу  
И двоих дочерей.

Одна была красавица,  
 Что царская дочь,  
 Другая смуглявица,  
 Что темная ночь...

Знал я о нашествии Бонапарта на Москву. А еще память моя сохранила несколько названий парижских бульваров и предместий да десятков французских имен из тех «романов», которыми снабжали меня торговавший в лабазе Мелентьев и сосед-красильщик.

Но все это казалось мне таким далеким — либо вымышленным, книжным, либо относящимся к давним временам. А тут разговор шел о делах, которые творились во Франции в наши дни, и о людях, в самом деле существовавших.

Целый поток звучных иностранных фамилий ворвался в нашу будничную жизнь и запомнился на долгие годы.

Генерал Кавеньяк, генерал Буадефр, полковник Пикар, офицер генерального штаба Эстергази, Клемансо, Лабори, Бернар Лазар, Пати де Клам, Эмиль Золя...

Но чаще всего упоминалось одно имя: Дрейфус. Капитан Альфред Дрейфус.

Мы, ребята, прислушивались к разговорам взрослых и жадно ловили все, что могли узнать от них о суде над Дрейфусом, о его разжаловании и ссылке на Чертов остров.

Казалось, мы читаем повесть, у которой еще нет конца.

Виновен ли Дрейфус в измене или не виновен? Будет ли он в конце концов оправдан или останется навеки на пустынном острове?

В том возрасте, в каком я был тогда, достаточно нескольких самых незначительных подробностей, чтобы представить себе вполне зримо незнакомую обстановку и неизвестных людей, о которых говорят вокруг.

Совершенно отчетливо видел я пред собой сцену разжалования Дрейфуса.

Черноволосого, бледного офицера, невысокого, но стройного, выводят под барабанную дробь на плац. С него срывают эполеты, ломают над его головой шпагу. Мне очень жаль офицера и, признаться, даже немного жалко сломанной пополам шпаги.

Я никогда не видел Дрейфуса на портретах и не имел ни малейшего понятия о его наружности. Но почему-то — может быть, только потому, что он был офицер, — я невольно представлял его себе в образе нашего знакомого военного врача Чириковёра, который когда-то лечил нас в Воронеже...

И вот корабль-тюрьма везет осужденного на вечную ссылку офицера на Чертов остров, который находится, как сказал мне брат, где-то недалеко от берегов Южной Америки.

Чертов остров! Само это название как бы говорит о том, что попавший туда человек обречен на гибель. Посреди острова высится башня, раскаленная от солнечного жара днем и веющая холодом и сыростью ночью. Долго в такой клетке не проживешь.

Правда, отец уверяет, что во Франции все больше и больше людей требует отмены приговора. Особенно часто упоминается в газетах имя французского писателя Эмиля Золя, который написал в защиту осужденного письмо под названием: «Я обвиняю». Но и Эмиля Золя приговорили за это письмо к тюрьме.

Видно, не даром наша мама так часто говорит, что добиться на этом свете справедливости нелегко.

Помню, к нам на Майдан приехали как-то двое приятелей отца. Для нас их приезд всегда был настоящим праздником. Оба они были люди веселые, любили поесть, выпить, поболтать, пошутить, да к тому же никогда не являлись в дом без щедрых подарков для нас, детей. Обычно приезжали они порознь, а тут случайно нагрянули вместе.

Один из них был землемер Семен Семеныч Ничипоренко, высокий, бородатый, худошавый, в поношенной форменной куртке со светлыми пуговицами, человек бывалый, обошедший пешком и объездивший чуть ли не всю Россию. Другой — пышноусый Егор Данилыч Селезнев, плотный, широкоплечий, в темно-синей поддевке и в ярко начищенных высоких сапогах. Был он, кажется, управляющим каким-то маслобойным заводом и приезжал к нам без кучера на узких беговых дрожках.

Семен Семеныч привез брату альбом марок со всех концов света — там была даже марка острова Мартиника, — а мне большую коробку оловянных солдатиков, среди которых были и пешие, и конные, и артиллеристы с пушечками на колесах, и стрелки, и трубачи, и знаменосцы.

Егор Данилыч не успел ничего купить нам и попросил у наших родителей позволения подарить нам по целковому, чтобы мы сами купили для себя конфеты или игрушки.

Отец никогда не позволял нам брать деньги у чужих, но на этот раз вынужден был согласиться.

Как всегда, весь наш дом ожил, едва только из передней послышались голоса этих добрых, разговорчивых и таких беззаботных с виду людей.

Обедали долго. За столом Егор Данилыч рассказывал анекдоты, а после обеда Семен Семеныч пел шуточные украинские песни.

Жалилася попадья,  
Що пип з бородою...  
Запрягала попадья  
Гуси та индѣки,  
Понхала попадья  
У Кив до владыки...

Перед вечерним чаем гости прилегли на часок отдохнуть, а потом все опять собрались за столом, на котором уже пел свою песенку большой, светло начищенный самовар с чайником на макушке.

Мы с братом сидели с края стола и с нетерпением ждали от мамы клубничного варенья, а от гостей — новых смешных рассказов и песен. Но вместо этого гости завели долгий, шумный разговор, в котором снова и снова повторялись все те же, уже знакомые нам, имена: Дрейфус, Эстергази и Эмиль Золя, которого Егор Данилыч называл по-русски: «Золá». Его могучий, густой бас гремел на весь дом, а Семен Семеныч отвечал ему своим высоким, звонким тенором, в котором слышались и задор, и насмешка, то веселая, то злая.

Мой брат и я давно уже считали себя настоящими «дрейфусарами» и сейчас были целиком на стороне Семена Семеныча, но вмешаться в разговор по молодости лет не смели и только поминутно поглядывали на отца, который на этот раз против своего обыкновения не принимал участия в споре и только постукивал по столу пальцами да хмурил брови. Но вот и его терпению пришел конец. Он отодвинул от себя недопитый стакан чая и так напустился на Егора Данилыча, что тому стало невмочь отбиваться на обе стороны. Он вытер лоб и шею красным платком и пробасил, видимо желая положить конец пререканиям:

— А ну их к шуту, вашего Дрейфуса вместе с Эмилем Золей! Вас двоих не переспоришь.

Спор на время утих, а потом как-то незаметно разгорелся снова. Но на этот раз заспорили о студенческих беспорядках. Егор Данилыч и тут оказался в одиночестве. Он сердито махнул рукой и, ни на кого не глядя, буркнул:

— А я бы их всех тоже отправил к чертовой матери — на Чертов остров, и дело с концом!

Никто ничего ему не ответил. Наступило долгое напряженное молчание. Разрядить его попыталась мама.

— Довольно вам горячиться,— сказала она спокойно.— Давайте-ка лучше свои стаканы. Я вам налью еще чайку.

И разговор опять принял как будто бы самый мирный оборот. Странные люди эти взрослые! Как это они могут после такого спора разговаривать как ни в чем не бывало обо всяких пустяках?

Нет, мы с братом не могли так скоро простить Егора Данилыча. И, когда он наконец собрался домой и протянул мне на прощанье свою большую, широкую руку, я втиснул ему в ладонь подаренный мне целковый и сказал, задыхаясь от волнения:

— Возьмите, пожалуйста... Мне не надо!..

— И мне не надо! — сказал брат и тоже протянул Егору Данилычу свой целковый.

— Это еще почему? — спросил Егор Данилыч и даже слегка покраснел.

— Вы очень нехороший человек,— сказал я.— Вот почему.

А брат только молча кивнул головой.

Егор Данилыч криво усмехнулся.

— Эх вы, Емели Зола!

Он положил оба новеньких целковых на столик в передней и, холодно простившись со взрослыми, переступил порог.

Мама была ужасно смущена и даже огорчена. Она побранила нас и сказала, что больше не позволит нам сидеть за общим столом, когда приезжают гости, и слушать, что говорят взрослые.

Отец ничего не сказал, но по легкой усмешке, которую он старался скрыть от нас, мы поняли, что он не сердится.

Почти так же много и горячо, как о деле Дрейфуса, говорили в течение нескольких лет о войне между англичанами и бурами в Южной Африке.

Войны, в которых участвовали наши, русские, казались мне очень давними. Сердитый старик, стороживший арбузы на бахче, рассказывал нам, мальчишкам, в редкие минуты благодушия, как он оборонял Севастополь.

На лавочке у лабаза, где торговал Мелентьев, часами просиживал инвалид с деревянной ногой и двумя серебряными медалями на груди. Он еще помнил Шипку и «белого генерала», но по его сбивчивым рассказам мы не могли уразуметь толком, что это была за война. Одно было ясно, что русские всегда побеждали. И когда у нас на улице играли в войну, мальчишки обычно делились на русских и турок.

Но с того времени, как взрослые вокруг нас заговорили о войне в Трансваале, мы, ребята, превратились в буров и англичан, хоть и не слишком ясно представляли себе, где он находится, этот самый Трансвааль. А так как охотников быть англичанами всегда оказывалось меньше, то побеждали чаще всего буры.

Буром был и я, играя в войну сначала на улице слободки, а потом и на гимназическом дворе.

## 10. Происшествия и события

Многое менялось вокруг нас. Не менялась только гимназия. Ничто в мире не казалось таким прочным и неизменным, как издавна установившиеся в ней порядки.

Надев гимназическую форму, мы с малых лет начинали жить по расписанию.

Так чувствует себя человек, когда садится в поезд или на пароход. Он уже не располагает своим временем, а подчиняется общему расписанию. Так было и с нами. Гимназические уроки чередовались с переменами в точно определенные часы и минуты, как в дороге остановки следуют за перегонками.

Привыкнуть к строгому расписанию было нелегко после беспорядочной и довольно вялой домашней жизни. Гимназия как бы подстегивала нас и заставляла быть бодрее. Да к тому же дома мы никогда не переживали таких волнений, какие испытывали почти ежедневно на уроках в ожидании вызова к доске или перед письменной работой.

Школа, как поезд, мчала нас из спокойного детства в жизнь, подчиненную времени, полную заботы и тревоги.

По сравнению с неприглядным бытом пригородной слободы и уездного города тогдашнего времени гимназия казалась необыкновенно богатой и парадной.

Строго установленные часы занятий, блестящие лаком кафедры, учителя в форменных сюртуках, а в особые дни даже в орденах и при шпагах, торжественные молебны и церемонные «акты», на которых выдавались аттестаты зрелости и произносились пышные речи, а вслед за тем устраивался «силами учащихся» концерт, где играли на скрипке какой-нибудь ноктюрн или «Berceuse»<sup>1</sup> и декламировали стихи Апухтина старшеклассники в праздничных мундирах с толстым серебряным галуном на воротнике, — всё это не могло не поражать новичков, в особенности тех, кто впервые переступал порог гимназии.

Но постепенно, день за днем ребята привыкали к новой обстановке и начинали видеть за показной ее стороной унылые гимназические будни.

Будничным и однообразным было большинство уроков. Такие учителя, как Степан Григорьевич Антонов или Павел Иванович Сильванский, оживлялись только тогда, когда в них просыпалась страсть охотника, преследующего ускользающую добычу. Так Павел Иванович из года в год охотился на тех, у кого не было атласа. Да и «немая» карта на стене служила этому зверолову западней, куда попадала чуть ли не половина класса. Океаны, моря, острова, проливы, горы, пампасы, джунгли — все то, что так увлекает подростков в книгах о путешествиях, становилось на уроках географии волчьей ямой, в которую каждый из нас мог угореть.

У Степана Григорьевича была своя западня — грамматика. Вызывал он обычно тех, на чьем лице видел явные признаки беспокойства, неуверенности. Ребята это давно уже поняли и намотали себе на ус. Тот, кто хотел, чтобы его вызвали, ерзал на месте и тревожно перелистывал страницы учебника, уклоняясь от взгляда учителя. А его сосед, не приготовивший урока, принимал самую невозмутимую позу и не сводил с Антонова глаз.

В конце концов в западню попадал сам охотник.

Заядлыми егерями — или, вернее сказать, охотничьими собаками — были и два гимназических надзирателя, которые официально именовали-

<sup>1</sup> «Berceuse» — колыбельная песня (франц.).



лись «помощниками классного наставника». Они проводили весь день в коридоре, а в классы заглядывали только во время перемен или на «пустых» уроках.

Один из них — по прозвищу «Самовар» — служил до поступления в гимназию полицейским надзирателем. Но, в сущности, он и на новой службе оставался полицейским.

Он ловил гимназистов в городском саду или зимою на катке, если они задерживались на десять минут дольше дозволенного правилами часа, ловил их в театре, если они приходили на спектакль без особого разрешения начальства; на улице требовал от них предъявления «ученического билета», а иной раз даже навещал их на квартире, чтобы узнать, как они живут, с кем встречаются и что почитывают.

Особенно придирался он к ученикам-евреям. Однако это ничуть не мешало ему напрашиваться к ним на праздничные дни в гости.

Переваливаясь с ноги на ногу, подходил он во время большой перемены к тем, кто побогаче, и шутливо, будто между прочим, спрашивал:

— А правду ли говорят, будто твой отец получил к праздникам хорошую «пейсахóвку» (пасхальную водку)?

Ссориться с надзирателем было невыгодно, и добрый стакан «пейсаховки» всегда ожидал его прихода.

Гораздо свободнее чувствовали себя гимназисты, когда в коридоре дежурил другой надзиратель, Аркадий Константинович Мигунов, прозванный «Шваброй».

Длинный и тощий Аркадий Константинович тоже ловил нас на улице и в театре, но он не был так энергичен, как Самовар. А на перемене или на «пустом» уроке мы заблаговременно узнавали о приближении Швабры по его громкому и судорожному кашлю, который был слышен изда- лека.

Однажды во время «пустого» урока ребятам удалось каким-то образом похитить из учительской классный журнал и пронести его по коридору под самым носом Аркадия Константиновича.

У нас было два классных журнала — большие плоские книги в аккумуляторных черных переплетах. Переплеты были такие плотные, что их крышки откидывались со стуком. Журналы эти казались нам книгами наших судеб. В одном отмечались наши успехи и поведение, в другом — заданные на дом уроки. Заглядывать в журнал с отметками нам было строго запрещено, и только по движению руки учителя опытные второгодники иной раз догадывались, какую цифру вывел он в графе журнала.

И вот этот неприкосновенный и таинственный журнал очутился на короткое время в руках у Чердынцева, Баландина и Дьячкова. Первые двое раскрыли его на кафедре, а третий остался сторожить у дверей.

Сначала Чердынцев огласил отметки, полученные нами за последние дни. Потом он и Баландин настолько расхрабрились, что стали переправлять плохие отметки на хорошие или ставить рядом с единицами и двойками тройки и даже четверки, похуже на те, что ставили учителя. Особенно щедро дарили они хорошие отметки по предметам, которые преподавали рассеянные и забывчивые педагоги. Такими были, например, географ Павел Иванович, историк Кемарский и «француз» Леонтий Давыдович, который никак не мог запомнить ни одной фамилии и вызывал нас при помощи указательного пальца.

Добрых полчаса Чердынцев и Баландин трудились над поправками в журнале.

Несколько раз во время этой опасной операции Дьячков подавал из коридора тревожные сигналы, и журнал мгновенно исчезал под крышкой кафедры.

Наконец Чердынцев сказал: «Ну, на этот раз хватит!» — и отложил перо. Классный журнал со всеми новенькими пятерками, четверками и тройками отнесли обратно в учительскую, но только после того, как Дьячков объявил, что путь свободен.

В этот день у нас было еще несколько уроков. Однако никто из учителей не заметил в журнале никаких перемен.

Казалось, все обойдется благополучно. Но вот наш географ, придя в класс на следующий день, откинул крышку журнала и стал пристально вглядываться в страницу, прищурился одним глазом.

— Елкин! — сказал он удивленно. — Разве я тебя спрашивал на этой неделе?

Смушенный и перепуганный Елкин не успел встать с места, как за него ответило несколько голосов.

— Спрашивали, Павел Иванович, — сказал Баландин.

— Конечно, спрашивали! — подтвердил Чердынцев.

— И я поставил тройку?

— Откуда ж я знаю, — пробормотал Елкин. — Я же не смотрел в журнал!..

Павел Иванович покрутил головой.

— Нет, тут что-то неладно! В прошлый раз я у себя отметил, кого из отстающих надо вызвать до конца четверти, чтоб они могли переправить двойку на тройку. Первым у меня в списке стоял Елкин... И вдруг — извольте радоваться! — против его фамилии уже стоит троечка.

Елкин неловко поднялся с места и сказал, заикаясь:

— Я не виноват, Павел Иванович, ей-богу, не виноват! Вы просто забыли...

После урока Елкина потребовали к директору, а на другой день вызвали в гимназию его отца. Но на все вопросы Елкин-младший отвечал только одно:

— Что ж, я сам себе тройку поставил, что ли?..

Елкин-старший, крупный человек с головой, как бы вросшей в плечи, молча выслушал директора и Павла Ивановича, а потом высказал твердое убеждение, что сын его и в самом деле ни при чем. Будь он хоть малость виноват, он бы непременно сознался до того, как получил свою порцию сполна. А «порция», ежели правду сказать, была на этот раз солидная!

На это отвечать было уже нечего, и начальство в конце концов решило отпустить Елкина-младшего с миром.

Тем дело и кончилось. Только на всякий случай — в виде предупреждения — весь наш класс оставили «без обеда». Вот и всё.

---

Как ни требовало начальство от гимназистов дисциплины, справиться с буйной вольницей ему не удавалось. Самых отчаянных ребят ставили в угол, «под часы», к стенке, оставляли на час, на два, на три после уроков, но все было напрасно. В классах по-прежнему играли в «тесную бабу» или «жали масло», то есть усаживались по пять, по шесть человек на одну скамью и так сильно тискали сидящих посередине, что у них перехватывало дух. Чуть ли не каждый день происходили во время большой перемены жаркие кровопролитные сражения. Шли класс на класс, не щадя ни носов, ни зубов, ни стекол, ни парт. Бывали и конные сражения: ребята мчались в бой верхом на своих товарищах, которые с полным удовольствием изображали резвых боевых коней.

А изредка, когда поблизости не было надзирателей, чуть ли не вся гимназия строила на перемене «слона».

Делалось это таким образом. На плечи к самым рослым парням усаживались ребята поменьше, к ним на плечи взбирались те, кто был еще меньше, и наконец на самый верх взлезали малыши-приготовишки, почти упирившиеся головами в потолок. Нужно было ухитриться выйти целым и невредимым из такой игры, когда все это огромное живое сооружение внезапно рассыпалось при появлении начальства или по прихоти верзил-старшеклассников, составлявших его основу.

Иногда устраивали поединок между двумя «слонами». Это была опасная забава. В лучшем случае кое-кто из участников набивал себе шишку на лбу, в худшем — дело кончалось вывихом, а то и переломом ноги или руки.

Еще более удалые игры и развлечения затевались в гимназии тогда, когда в пятый класс поступали ребята, окончившие четырехклассную прогимназию в городе Боброве. Это были потные, дюжие, добродушные парни, которым некуда было девать свою силушку. Они устраивали настоящие, нешугочные бои «стенка на стенку», а ночью выворачивали в саду и на улице скамейки и фонари.

Таких «мальчиков» не оставляли без обеда и не ставили «под часы», а вызывали к директору и после двух-трех предупреждений отсылали воссояси.

Чаще всего жаловался на поведение гимназистов учитель немецкого языка, которого наш латинист за глаза шутливо называл «немца».

---

В часы, когда все преподаватели покидали учительскую и, один за другим, шли по длинному коридору в классы, впереди всех неся Густав Густавович Рихман. Высокий, не слишком полный, но довольно-таки упитанный, он шел, озабоченно приподняв правое плечо и крепко прижимая к груди оба журнала — для отметок и для записи заданных уроков. Лицо у него было свежее, розовое, губы сочные. Мягкая, закругленная каштановая бородка аккуратно подстрижена. Пуговицы ярко блестели, на вицмундире — ни соринки. Выражение лица такое, будто он только что проглотил очень вкусную и ароматную конфету.

Но стоило Густаву Густавовичу войти в класс, как настроение его мгновенно менялось.

Ученики все разом, как по команде, вставали с мест, а когда Рихман милостивым кивком головы позволял им сесть, парты начинали медленно, чуть заметно двигаться по направлению к учительской кафедре. Густав Густавович подозрительно и тревожно оглядывал ряд за рядом. Ученики чинно и спокойно сидели на своих местах, а парты все-таки двигались. Это было какос-то почти бесшумное, но грозное наступление. Прекращалось оно только тогда, когда Густав Густавович, распахнув свой сюртук, вынимал из карманка жилета с золотыми пуговичками крошечную записную книжечку и говорил:

— На, довольно! Я хорошо знаю, кто тут есть глянни машинист. Я запишу его в эта маленькая книжечка, а потом он будет беседовать с господин директор!

— Густав Густавович! Это не мы, это парты сами двигаются. Пол очень скользкий, только сегодня натерли!..

Если немецкий урок шел первым, дежурный по классу должен был читать перед началом занятий короткую молитву.

Но, желая затянуть время, эту молитву обычно повторяли два-три, а то и четыре раза подряд.

Убедившись, что Густав Густавович ничего не замечает, молитву стали постепенно удлинять, прибавляя к ней слова других молитв, в том числе и заупокойных.

Рихман терпеливо слушал это странное поурри, стоя перед кафедрой и низко наклонив — из уважения к чужому вероисповеданию — слегка лысеющую голову.

Наконец ребята совсем обнаглели и начали служить перед немецким уроком целые молебны и панихиды.

Дежурный возглашал дьяконским голосом:

— Паки, паки, миром госпуду помолимся!

А все другие ребята торопливо, скороговоркой подхватывали:

— Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!

Но Густав Густавович уже ясно видел, что его водят за нос.

— На, довольна! Никакой больше паки! Это не есть молитва перед урок!

— Да ведь теперь же у нас великий пост, Густав Густавович! — оправдывался самый старший из ребят, второгодник, пытавшийся петь басом. — Вот мы и читаем великопостную!

Но Густав Густавович твердо решил положить конец этим песнопениям. Он достал у нашего законоучителя, священника Евгения Оболенского, подлинный текст молитвы и, придя на урок, торжественно вынул свою шпаргалку из кармана.

— На, теперь читай ваша молитва. Я буду проверять каждый слёво!

---

Что бы ни происходило вокруг — в городе или в стране, — гимназия, как заведенная, жила по своему уставу и расписанию. Однако по временам и она ощущала какие-то подземные толчки — отзвуки больших событий.

В один из февральских дней 1901 года среди уроков нас выстроили в коридоре и повели в гимназическую церковь. Пропустить один-два урока ребята были рады, но терялись в догадках, по какому поводу назначено богослужение. День был не праздничный, не царский, не юбилейный.

Только в церкви мы узнали, что молебен будет о здравии министра народного просвещения Боголепова, на жизнь которого было совершено в Санкт-Петербурге «злодейское покушение».

Помню, как бледно горели в этот снежный февральский полдень церковные свечи и как равнодушно крестились мои соклассники, молясь о выздоровлении человека, имя которого слышали первый раз в жизни. Ученики старших классов о чем-то перешептывались, вызывая явное неодобрение начальства, стоявшего впереди с благочестиво склоненными головами.

После молебна занятия возобновились. Мы ждали, что наш классный наставник Владимир Иванович Теплых, придя на урок, объяснит нам, кто же и за что «злодейски покушался» на министра. Сами же начать разговор не решались — тем более, что Владимир Иванович был в этот день как-то особенно холоден, сух и несловоохотлив. Обычно он позволял себе надолго отвлекаться от предмета занятий и беседовать с нами на темы, очень далекие от грамматических правил и от латинского текста, который мы переводили. Но на этом уроке он как будто нарочно занимался одними только неправильными глаголами, которых в латинском языке больше чем достаточно.

Мы слышали от старшеклассников, что Владимир Иванович не слишком одобрительно отзывался о «студенческих беспорядках» в Петербурге и в ближайшем к нам университетском городе — Харькове. Но в то же время мы не могли не заметить, с какой презрительной брезгливостью от-

носится он к тем из учителей, которые, подобно Сапожнику — Антонову, первыми являлись поздравлять директора в день его ангела и первыми же протискивались на панихидах и молебнах в передний ряд — к самому иконостасу.

Когда Теплых бывал не в духе, никто не смел и приступить к нему. В глазах у него появлялось выражение хмурой волчьей скуки, лоб прорезала глубокая морщина, а щеки как-то втягивались, отчего лицо казалось еще худощавее, чем обычно.

Он покинул класс после звонка, так ничего и не сказав нам о событиях, которые взбудоражили нашу гимназию и весь город.

А недели через две с лишним всех гимназистов — от приготовишек до восьмиклассников — опять построили в ряды и повели в церковь. Так же горели среди бела дня свечи, но на этот раз священник служил уже не молебен о здравии, а панихиду по тому же министру Боголепову.

— Во блаженном успении вечный покой!..

О том, кто и за что убил Боголепова, я узнал позже.

В классе у нас не было по этому поводу никаких особых разговоров. Ребята простодушно радовались, что по случаю кончины министра народного просвещения их отпустили по домам раньше обычного. Степа Чердынцев даже сказал, что хорошо бы каждую неделю устраивать по такой панихидке.

Прямо из гимназии я отправился к Лебедевым. Уж у них-то я наверное кое-что узнаю.

И в самом деле, когда я вошел в знакомую, беспорядочно заваленную книгами комнату Вячеслава, там говорили о министре, за упокой души которого только что молились в гимназической церкви.

Вячеслав крупно шагал из угла в угол. На стульях, на кровати, на подоконнике разместилось несколько его товарищей-старшеклассников.

В стороне за столиком сидела Лида Лебедева и, подперев ладонью лоб, с увлечением читала какую-то книгу в зеленоватой обложке. Но время от времени и она, не выпуская из рук раскрытой книги, поднимала голову и вмешивалась в разговор.

Здесь министра поминали не так, как в гимназии. Называли его не Боголеповым, а Чертонелеповым и рассказывали, что это именно он приказал отдать в солдаты сто восемьдесят студентов Киевского университета и разогнал лучших профессоров.

А застрелил его студент Карпович.

Я не мог точно представить себе, каков он с виду, но воображению моему рисовалась какая-то в высшей степени героическая фигура — некто, похожий на легендарного стрелка Вильгельма Телля, о котором я недавно читал.

Я не думал тогда, что через одиннадцать лет мне доведется встретить в Лондоне, в русском клубе имени Герцена, живого Карповича — бывшего студента, который когда-то убил всемогущего царского министра и был приговорен к двадцати годам каторжных работ.

Карпович оказался совсем не похожим на того Вильгельма Телля в студенческой фуражке, которого я выдумал в юности. Это был еще довольно молодой, темноволосый, смуглый, крепкий с виду украинец. Он громко и весело смеялся и ни разу при мне не напомнил, что он-то и есть тот самый Карпович, о котором говорила в начале девятисотых годов вся Россия.

Уходя от Лебедевых, я бегло посмотрел на обложку книги, которую держала в руках Лида. Мне бросилось в глаза имя автора: «М. Горький».

## 11. Отцовские подарки

В те годы, когда литературой снабжали меня сосед-красильщик и румяный юноша Мелентьев, я был глубоко убежден, что все без исключения писатели — покойники, а все книги напечатаны в какие-то незапамятные времена, — недаром же они были так истрепаны, так покоробились и пожелтели.

Наши домашние книжки выглядели немного пригляднее, но и они были далеко не первой молодости. Приобрели их в лучшую пору, когда у родителей была еще возможность тратить деньги на книги да и время для того, чтобы их читать. По мере того, как мы росли, книжки постепенно переходили с отцовских полок в окованный железом сундук моего старшего брата. Кое-что перепало и мне.

Помню, как брату подарили ко дню рождения — ему исполнилось тогда тринадцать лет — большой и толстый том сочинений Глеба Успенского в старом, но прочном коричневом переплете, а мне — такой же увесистый том, состоявший из нескольких номеров журнала «Северный вестник», переплетенных вместе.

Старый журнал девятиных годов, в котором печатались превыспренные и туманные рассуждения Акима Волынского, густо пересыпанные иностранными словами и многосложными философскими терминами, вряд ли мог в это время заинтересовать даже самого усердного литературоведа, а уж для меня, одиннадцатилетнего мальчика, он был таким же подходящим чтением, как синтаксис древнеассирийского языка. Подарили же мне его только потому, что ничего другого под рукой не оказалось, а по внешнему виду «Северный вестник» ничем не отличался от «Сочинений Глеба Успенского», подаренных брату, — ни объемом, ни весом, ни прочностью переплета.

Я принял подарок с благодарностью, но, конечно, ни одной страницы не прочел. Однако гордился тем, что и у меня есть настоящая книга в настоящем переплете.

Это был первый журнал в моей личной библиотеке. Я и не знал в то время, что на свете есть другие журналы, более понятные и привлекательные для моего возраста, чем «Северный вестник».

Но вот вскоре после нашего переезда в город, в дом Агарковых, отец с каким-то таинственным видом подозвал меня и брата и объявил нам, что выписал для нас из Петербурга журнал. Не старый журнал вроде «Северного вестника», а новый, который печатается сейчас и называется «Вокруг света». Получать его мы будем каждую неделю, а кроме того — за те же деньги — нам пришлют еще сочинения Фенимора Купера и Густава Эмара и две картины (олеографии): одну — художника Айвазовского, другую — Лагорио. Какими звучными показались мне все эти имена — Купер, Эмар, Лагорио, Айвазовский!

День за днем провожали мы жадными глазами хромого почтальона, который упорно обходил наши ворота. Но однажды, когда мы его вовсе не ждали, он деловито завернул к нам во двор и сунул мне в руки что-то вроде тонкой книжки в белой обертке с наклейкой, на которой значился напечатанный в типографии адрес.

Много писем и посылок получал я на своем веку и продолжаю получать до сих пор, но никогда я так не радовался, как в тот день, когда была получена эта первая почта, предназначенная не для наших родителей, а для меня с братом: свеженький номер «Вокруг света» с четким черным шрифтом на белой блестящей бумаге, со множеством рисунков, а главное — с нашими именами и фамилией на бандеролли.

Для ребят, выросших в глуши, это было событием, запоминающимся на всю жизнь.

Вы только подумайте! Для вас печатается где-то в Петербурге особый — детский — журнал. Какие-то неизвестные друзья заботливо преподносят вам каждую неделю новую главу повести и два-три рассказа с картинками, которые вы долго рассматриваете, прежде чем приступить к чтению. Вас, точно взрослого, обслуживает почта, посылающая к вам на дом такого занятого человека, как почтальон. Вам присвоено звание — «подписчик», и вы числитесь где-то в Петербурге, в «конторе редакции», под определенным номером — 3709-м. Вашу фамилию и адрес печатают в типографии, чтобы наклеить на бандероль, опоясывающую номер журнала. Все это повышает ваше уважение к себе и приобщает вас к большой жизни.

День, когда мы с братом получили первый номер «Вокруг света», был праздником не только для нас, но и для отца, который умел входить во все наши радости и огорчения. Не так-то легко было ему уделить из своих скудных заработков деньги на журнал, но он готов был отказывать себе в самом необходимом, чтобы хоть на несколько дней или часов скрасить чем-нибудь нашу довольно однообразную жизнь.

Все, что мы получали от матери, которая не жалела последних сил для того, чтобы мы были сыты, одеты, обуты, казалось нам таким будничным, насущно необходимым по сравнению с подарками отца.

В этом сопоставлении таилась какая-то глубокая несправедливость. Чем щедрее бывал отец, тем более расчетливой приходилось быть матери. В сущности, она была единственным в нашей семье взрослым человеком, беспокоившимся о завтрашнем дне. До самой старости отец оставался в душе ребенком, увлекающимся, непрактичным, способным придумывать себе и другим радости даже тогда, когда суровая и трудная жизнь в них отказывалась.

Я никогда не забуду, как однажды зимой я и мой старший брат — в то время еще совсем маленькие ребята — ехали с ним в поезде. На каком-то полустанке мы увидели за окном вагона старика в дубленом полушубке, продававшего пестро и весело раскрашенные глиняные игрушки — лошадок с золотыми гривами, уток, петушков, человечков. Я не удержался и со вздохом сказал отцу, что мне очень, очень нравятся такие лошадки. Ничего не ответив, отец схватил шапку и выбежал из вагона.

Но как раз в эту минуту продавец, словно нарочно, отошел от нашего вагона вместе со своим лотком, уставленным такими заманчивыми яркими вещицами, и зашагал куда-то вдоль поезда. Мы видели, как отец бросился его догонять и тоже исчез.

Раздался третий звонок, и поезд тронулся.

Мы так и замерли от ужаса. Что-то теперь будет с отцом, с нами?..

Соседи по вагону стали успокаивать нас. Они наперебой говорили, что отец, наверно, успел вскочить в один из последних вагонов и скоро придет к нам.

Но он не пришел.

Шуба его, раскачиваясь на крючке, ехала вместе с нами, и я с отчаянием думал о том, что я натворил. Ведь это из-за меня, по моей вине отец отстал от поезда и теперь, должно быть, бредет вслед за нами по шпалам пешком, без пальто, под холодным зимним ветром. А с нами что будет? Ведь у нас нет ни билетов, ни денег... Вот тебе и лошадка с золотой гривой!..

Брат, кажется, думал то же, что и я. Он ничего не говорил, только смотрел на меня печально и укоризненно. Но вот в вагон пришел главный кондуктор поезда и высадил меня и брата, а заодно и отцовскую шубу на какой-то станции...

Эта станция — Козлов — глубоко запечатлелась у меня в памяти. Здесь мы должны были ждать отца, который послал вдогонку телеграмму с просьбой задержать нас.

Никогда за всю мою жизнь мне не было так чертовски скучно, как в Козлове, в маленьком зале буфета первого и второго класса, где мы с братом сидели, точно арестованные, на жестком диванчике у окна.

Буфетчик, сонный человек с бледными, одутловатыми щеками, получил от начальника станции строжайшее приказание никуда не отпускать нас до приезда отца. Днем это ожидание еще не было так томительно. Мы с любопытством разглядывали сверкающий и кипящий, невиданных размеров самовар на буфетной стойке, смотрели, как суетится, прислуживая компании офицеров, смуглый, черноглазый человек с переброшенной через руку салфеткой, как за другим столиком пьет чай с домашними булочками и вареньем семья священника.

Почему-то мы привлекали к себе внимание всех входящих в зал. Одни обращались с вопросами к буфетчику, другие — непосредственно к нам.

Буфетчик сначала отвечал довольно охотно и подробно. Говорил, что нас высадили из скорого по телеграмме отца, который должен приехать за нами ночью почтовым. Другим отвечал коротко и сухо: отца, мол, ожидают — отстал в дороге. А напоследок уже еле-еле цедил сквозь зубы: «Папашу ждут!»

С нами пассажиры разговаривали ласково и так жалостливо, что нам начинало казаться, будто мы навсегда останемся здесь на диване и никто за нами не приедет. И когда большая, толстая попадя в лисьей шубе сунула нам по сдобной булочке, я чуть не заплакал от жалости к себе.

Наконец зал опустел. Последним вошел, отряхиваясь от снега и топая ногами, высокий, жилистый жандарм в длинной шинели. Подойдя к стойке, он мигом опрокинул себе в рот под усы большую рюмку водки и, уходя, сказал буфетчику, что почтовый опаздывает на три часа.

Стало совсем тихо. Только с платформы время от времени слышались то протяжные, то короткие гудки, шипение пара и гул колес. За большим окном проносились паровозы, метавшие в воздух красные искры, а за ними покорно бежали бесконечные вереницы томительно однообразных товарных вагонов. Промелькнул как-то и пассажирский поезд.

Но нас теперь даже и поезда не интересовали. Смуглый человек, прислуживавший пассажирам, рассчитался с буфетчиком и, позевывая, ушел, а буфетчик запер дверь, ведущую на платформу, просунув сквозь дверную ручку половую щетку, и скоро захрапел за своим огромным, давно уже остывшим самоваром.

Потянулись последние и самые тоскливые часы ожидания. Нас клонило ко сну, но мы всячески боролись с дремотой, так как должны были сторожить отцовскую шубу, корзину и чемодан. Разговаривать друг с другом вслух мы не решались, боясь разбудить угрюмого буфетчика, а делать нам было решительно нечего... В конце концов я все-таки уснул, оставив на попечение брата шубу и наш багаж.

Только глубокой ночью прикатил на станцию отец, взволнованный, растерянный, но с двумя глиняными лошадками в руках.

---

Об этом происшествии в дороге мы рассказали одной только матери. Нам не хотелось, чтобы родные и знакомые посмеивались над нашим добрым, щедрым без оглядки отцом.

И без того уже они считали его неисправимым мечтателем, фанта-



зером, чудачком. Но, в сущности, только немногие из них знали и понимали его.

Он был простодушен, а не прост, по-юношески горяч и по-детски доверчив, способен бесконечно увлекаться новыми людьми и новыми идеями, но умел управлять своими чувствами и свято держал слово, данное себе самому и другим.

Это был человек неукротимой воли и стойкого терпения. Всякое дело он изучал серьезно и досконально. Казалось, легче разбудить спящего самым крепким сном человека, чем вывести его из того глубокого внимания, с каким он погружался в химическую формулу или даже в газету. Когда мы его спрашивали, почему он читает так медленно, он отвечал не то в шутку, не то всерьез:

— Вы, небось, только строчки читаете, а я и между строчек.

Так же сосредоточен бывал он в лаборатории или на заводском помосте у громадных клокочущих котлов. Напряженно думая о чем-нибудь, он бывал рассеян и нередко попадал в беду: то обожжет о горячее стекло пальцы, то нечаянно хлебнет вместо воды щелоку. Но всякую боль, как бы сильна она ни была, он переносил кротко и мужественно.

Гораздо больше страдал он от неудач и разочарований, которые преследовали его на каждом шагу. У него не было той житейской сноровки, которая помогает иной раз и безденежному человеку выбиться на дорогу. Мелкие дельцы-предприниматели, в руки которых он то и дело попадал, сулили ему золотые горы, а потом, воспользовавшись его находками, всячески старались избавиться от человека, в котором больше не нуждались.

Оставалось одно: смириться, махнуть рукою на все неосуществленные замыслы и несбывшиеся надежды и пойти на какой-нибудь мыловаренный или маслоочистительный завод обыкновенным мастером. Служить, а не изобретать. Это давало хоть и скромное, да зато определенное жалованье. Так отец впоследствии и сделал. Проработав многие годы в провинции и в Питере и уже перевалив за пятьдесят, он поступил на завод под Выборгом, принадлежавший старой и солидной фирме братьев Сергеевых.

Название этой фирмы («Sergejeff») можно было увидеть и на ящиках мыла, и на пивных бутылках, и на вывеске лесопильного завода. Во главе дела стоял сухой, крепкий старик, сочетавший облик русского церковного старосты со сдержанно-деловитыми манерами богатого финского коммерсанта. Его подчиненные, среди которых было много финнов с русскими фамилиями (Мáкеефф, Ёфимофф), обычно начинали службу с должности «мальчика» и не теряли почтительности и респектности даже тогда, когда становились бухгалтерами и «прокуристами».

Все служащие Сергеева вместе составляли как бы единую семью, возглавляемую хозяином-патриархом. Среди этой публики мой отец всегда оставался одиноким и чужим. И хоть в своем деле он считался знающим и опытным мастером, хозяева после нескольких лет работы уволили его под тем предлогом, что он, дескать, становится старова́т, а производство расширяется и требует руки помоложе и покрепче.

Больше года отец искал работы. Странно и горько было видеть праздным поневоле этого еще полного сил и энергии человека, который и сам знал себе цену и с давних пор заслужил уважение своих товарищей по профессии.

Теперь у него хватало досуга, чтобы читать книги, но чтение уже не шло ему на ум. В его близоруких, доверчивых, простодушных глазах появилось такое несвойственное ему выражение озабоченности.

Наконец, уже незадолго до революции, он попытался устроиться на Кубани. Там в это время начинал работать большой нефтеперегонный завод, оборудованный на заграничный лад.

Долго пришлось ему ждать ответа.

Как стало известно потом, дирекция боялась доверить новые шведские машины русскому мастеру и собиралась выписать специалиста шведа.

Но, по всей видимости, в Швеции не нашлось охотника ехать в Россию во время войны. К немалому удивлению администрации завода, шведы порекомендовали ей обратиться к мастеру, которого они знали по своим делам с фирмой Сергеевых,— к моему отцу.

Тут только администрация согласилась взять его на работу.

До последних своих дней работал отец на заводах. В советское время он служил в Нижнем Новгороде — в нынешнем Горьком, и когда мой старший брат, узнав о его тяжелой болезни, поехал за ним из Ленинграда, он застал старого мастера на высоком заводском помосте — у кипящих котлов.

Он мало изменился, наш отец. Голову держал все так же прямо и гордо, как во дни молодости, по-прежнему зачесывал вверх свои черные, почти не тронутые сединой волосы. И только в минуты усталости одна прядка льнула к его большому и чистому лбу, прорезанному у переносицы такой умной и доброй, издавна знакомой нам морщинкой.

---

Я говорю здесь так подробно о своем отце не только из желания запечатлеть, сохранить дорогие мне черты. Но мне кажется, что я ничего не мог бы рассказать о ранних годах моей жизни, не уделив несколько страниц человеку, который как бы пережил со мною второе свое детство.

Он знал весь мой класс от первой до последней парты. Знал, конечно, с моих слов. Но рассказывал я ему обо всем так охотно и подробно, что от него не ускользала ни одна мелочь нашей школьной жизни. Сам он ни в каких гимназиях не учился. Однако слушал меня не из простого любопытства. По его вопросам и замечаниям, то одобрительным, то негодующим, я чувствовал, что он видит в моей жизни как бы «исправленное, дополненное и улучшенное издание» своей, которая началась в глухом захолустье и в глухие времена. Вместе со мною и моим братом он как будто и сам проходил гимназию класс за классом и потому так глубоко вникал во все наши школьные дела, придавая значение даже тем событиям, которые показались бы всякому взрослому человеку мелкими и ничтожными.

Правда, некоторые эпизоды отец оценивал по-своему и проявлял иной раз свои особые, не всегда мне понятные предубеждения и пристрастия. Так, например, он неизменно одобрял все, что бы ни делал и что бы ни говорил пришедшийся ему по сердцу Владимир Иванович Теплых, которого он никогда в жизни не видел. Зато заранее осуждал все, что исходило от Сапожника — Антонова. Всячески выгораживал и брал под свою защиту нашего немца Густава Густавовича, хотя и не мог удержаться от улыбки, когда слышал в моей передаче рассказ словоохотливого Рихмана о том, как он хотел было «фехтовать» с ворами, похитившими у него ночью из погреба «клюбничкино» варенье, но только, к сожалению, не мог вовремя отыскать свою шпагу.

Одним моим товарищам по классу отец прощал даже самые озорные проделки, других подозревал во всех смертных грехах.

Ничего не поделаешь — таков был характер моего отца.

У него ни в чем не было середины. Людей он делил на две категории. Одна состояла сплошь из «светлых личностей», другая — из отъявлен-

ных злодеев. Любопытно было то, что очень многие из людей, которых мы знали, по очереди побывали в обеих категориях — и в «светлых личностях» и в злодеях.

Но, может быть, именно это по-детски горячее, неровное, пристрастное отношение ко всему окружающему и сближало его с нами — ребятами.

После разговоров с отцом и гимназическая жизнь казалась нам гораздо богаче, разнообразнее, и прочитанная книжка интереснее, и вся жизнь шире и заманчивее.

Он редко приезжал домой на долгий срок. Вероятно, поэтому недели и месяцы, которые он проводил с нами, казались нам особенно праздничными и заполненными. Не только мы, но и мать становилась в его присутствии спокойнее и веселее и даже позволяла себе иной раз уходить с ним на целый вечер в гости или в театр.

Он придавал всему дому какую-то бодрость и уверенность. Все яркое, необычное исходило от него. Первые стихи, первые рассказы из истории, первые вести о событиях за пределами нашего дома и города.

И, наконец, тот первый детский журнал, который как бы открыл нам ворота в большой мир и назывался

«Вокруг света».

Я верил тогда названиям, и мне казалось, что журнал «Вокруг света» со всеми его бесплатными приложениями — Купером, Эмаром и картинами Айвазовского и Лагорио — в самом деле обещает мне кругосветное путешествие.

## 12. Новости в городе и в гимназии

Я еще не знал тогда, что журнал можно критиковать, находить в нем недостатки. Нам не с чем было его сравнивать. Мы принимали все, как должное; вот, думали мы, какие бывают журналы.

Не только я, но и мой старший брат прочитывали каждый номер от первой строчки до подписи редактора в конце последней страницы и были от души благодарны за все, что журнал нам дарил.

Я и сейчас помню — хоть с тех пор прошло уже около шестидесяти лет — печатавшуюся с продолжениями переводную повесть о двух мальчиках, которых в разное время похитил бродячий цирк. Мальчики эти становятся самыми близкими друзьями и в конце концов оказываются родными братьями, сыновьями французского офицера. Младший из них, Жан, прозванный в цирке Фанфаном, благополучно возвращается домой, а старшего — по имени Клодинэ — родители находят слишком поздно: он безнадежно болен и красиво умирает на глазах у читателя, как те бледные мальчики в бархатных курточках, чью безвременную смерть с таким удовольствием изображала Лидия Чарская.

Трудно понять, как могла эта сентиментальная мелодрама заинтересовать меня в ту пору жизни, когда я уже читал и перечитывал Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Но, как это ни странно, «Капитанская дочка», «Шинель», «Герой нашего времени» мирно уживались у меня на полке, да и в моем сознании, с такими детскими книгами, как «Маленький лорд Фаунтлерой» Бернет или «Князь Илик» Желиховской.

Вероятно, эти повести привлекали меня тем, что их герои были моими ровесниками, а читатель-ребенок, при всем своем жадном интересе к жизни взрослых, все же нуждается и в книге, рассказывающей оключениях и переживаниях юности.

А может быть, детские романтические повести, лишённые особой глубины, но полные событий, были для меня в известной мере отдыхом и

развлечением. Во всяком случае, Густав Эмар, Майн Рид, а несколько позже Александр Дюма более всего увлекали меня и моих сверстников тем стремительным развитием сюжета, которое современные дети и подростки находят на экране.

Да, эти сюжетные книги с иллюстрациями были нашими фильмами до изобретения кинематографа.

Я проглатывал их залпом, пропуская подчас строчки и даже целые страницы, чтобы поскорее узнать развязку запутанного клубка событий.

Подобно американцам, я любил «счастливые концы» и потому предпочитал книги, в которых рассказ ведется от первого лица. Это давало мне уверенность, что герой романа, рассказывающий о самом себе, не умрет от чахотки, не утонет и не застрелится. Но оказалось, что это не всегда гарантирует герою безопасность. Бывает и так, что рассказ от первого лица где-то на последних страницах внезапно прерывается несколькими рядами точек, а затем — уже от третьего лица — спокойно сообщается, что герой приказал долго жить...

Наиболее острые, загадочные, запутанные сюжеты я находил в переводных романах. Одолев такой роман, я мог пересказать довольно подробно его содержание, но в памяти моей редко удерживались строчки подлинного текста, реплики действующих лиц.

А из Пушкина, Гоголя, Лермонтова, из «Кавказского пленника» Льва Толстого запомнились не только отдельные строчки, но иной раз целые страницы. На всю жизнь врезались мне в память тихие слова Акакия Акакиевича Башмачкина из «Шинели», которую я прочел в десятилетнем возрасте:

«— Зачем вы меня обижаете?..»

Вероятно, в ту же пору жизни я накрепко запомнил диалог из лермонтовского «Маскарада».

— Что стбят ваши эполеты?

— Я с честью их достал,— и вам их не купить...

Меня пленяла четкость и острота этих двух беглых реплик, похожих на звонкие удары скрестившихся рапир. Правда, мне было не совсем понятно, что значит «с честью их достал», но я чувствовал и едкий цинизм насмешливого вопроса и молодое, эффектно-благородное негодование в ответе офицера.

«Маскарад» я читал еще в пригороде — на Майдане. У меня не было да и не могло быть тогда ни малейшего понятия о нравах светского общества, и единственным офицером, которого я знал до того времени, был все тот же воронежский военный врач, лечивший меня в раннем детстве. И все же до меня полностью дошла сущность колкого разговора между князем Звездичем и его партнером по карточному столу.

Детских библиотек и читален в это время у нас в городе еще не было, если не считать той маленькой библиотечки, которая целиком умещалась в небольшом книжном шкафу, стоявшем у нас в классе под «научной» картиной с надписью: «Тропический лес». Такие же скромные библиотечки были и в других классах.

Книги выдавал раз в неделю — по субботам — наш «законоучитель», еще довольно молодой священник, отец Евгений Оболенский, носивший шелковую лиловую рясу и заботливо холивший свои темно-каштановые, кудрявые, не слишком длинные волосы и небольшую бородку.

Книг в его шкафу было очень мало, а интересных и того меньше. И объяснялось это, как я узнал позднее, не бедностью, а строгим отбо-

ром, не допускавшим в гимназические библиотеки книг, в которых были малейшие признаки вольного духа.

Басни Крылова, «Детские годы Багрова-внука» и «Тарас Бульба» стояли здесь рядом с «Юрием Милославским», «Ледяным домом» и «Аскольдовой могилкой», а дальше шли книги авторов, имена которых я забыл или никогда не знал,— о «белом генерале», о «царе-освободителе» да еще о каком-то «Мехмед-Бее, мамелюке тунисском».

Были здесь и сборники детских пьес, по своему языку и стилю запоздавшие более чем на полвека. И все же названия некоторых из этих пьес остались у меня в памяти. Наверно, это потому, что я со своими соклассниками тщетно и долго искал среди них что-нибудь такое, что можно было разыграть на гимназическом вечере.

Почему-то авторы этих пьес скрывались под инициалами: «С-н» или «Э. Гр-р», а пьесы назывались:

«Избалованное дитя. Комедия в 1 действии».

«Ленивица. Драма (!) в 1 действии».

«Бедность, честность, счастье, или Марсельская сирота. Драма в 5 действиях». И все в таком же роде.

Как-то недавно мне попала в руки книжка, тоже оказавшаяся моей старинной знакомой. Прочитав заглавие «Очерки жизни и сочинений Жуковского, составленные П. Басистовым», я сразу вспомнил, что видел точно такую же в нашем классном книжном шкафу. Тогда она мало заинтересовала меня, а теперь даже ее поблекший переплет и старинный шрифт так трогательно напомнили мне давние времена, что у меня возникло желание познакомиться с ней поближе.

Одна из ее глав называлась торжественно и таинственно: «История души Жуковского по его стихотворениям».

Другую главу составитель назвал короче: «Черта благотворительности Жуковского». В ней обстоятельно рассказывалось, как Жуковский, получив от одной дамы-писательницы в подарок книжку, послал ей с камер-лакеем сто рублей, а затем лично навестил эту даму и долго беседовал с ее прелестной в своей наивности маленькой дочкой о пользе изучения русской грамматики.

С необыкновенной деликатностью и грацией говорит автор книги о происхождении Василия Андреевича Жуковского, который, как известно, был незаконнорожденным сыном богатого помещика Бунина и пленной турчанки Сальхи.

«У помещика... Афанасия Ивановича Бунина,— пишет этот биограф,— было несколько взрослых дочерей, но ни одного сына,— и он охотно усыновил мальчика, родившегося почти сиротою (!); мать Жуковского, Лизавета Дементьевна, была также принята в дом Афанасия Ивановича...»

По счастью, немногие из моих соклассников довольствовались тем запасом книг, которым заведовал отец Евгений Оболенский. Мы охотились за книгами, где только могли, и обменивались своими находками друг с другом.

Пожалуй, я был счастливее в своих поисках, чем очень многие из моих сверстников. Меня снабжали книгами и Лебедевы и Гришанины. Да к тому же я читал все, что доставал для меня и для себя старший брат.

Скоро я свел знакомство с владельцем нового, только что открывшегося у нас в городе «Писчебумажного и книжного магазина». Здесь я впервые обнаружил «Библиотечку Ступина», а потом и целую серию изданий «Посредника» и Петербургского комитета грамотности.

Помимо того, что эти книжки были дешевы, они казались мне — особенно «Библиотечка Ступина» — необыкновенно привлекательными.

Ребята любят все маленькое. Вернее сказать, они любят видеть маленьким то, что обычно бывает большим. При этом маленькое должно быть настоящим, то есть сохранять все черты и пропорции большого.

Таковыми казались мне издания Ступина при всей их миниатюрности. Вероятно, издатель нашел удачный формат, шрифт, цвет обложки и хорошо выбрал рассказы, подходящие для дешевой общедоступной библиотечки.

Самая фамилия издателя не казалась мне случайной. Как-то невольно и подсознательно я осмыслил ее, связав со словом «ступенька». Каждая книжка этой библиотечки была для меня ступенькой какой-то лестницы.

Я помню далеко не все имена авторов книг, прочитанных в этом возрасте, а вот фамилию издателя хорошо запомнил.

Не я один сохранил добрую память о книжечках Ступина. Многие из моих современников рассказывали мне, что их тоже радовали эти маленькие, словно игрушечные, но вполне «всамделишные» книжки.

Дети знают, что такое благодарность, и умеют сохранять ее надолго, на всю жизнь.

До сих пор, закрыв глаза, я могу совершенно отчетливо, до мельчайших подробностей, представить себе острогожский «Писчебумажный и книжный магазин». Впервые в жизни увидел я там на полках так много превосходной чистой бумаги — целые стопы аккуратно обрубленных белых, гладких листов с голубоватыми линейками и клеточками и безо всяких линеек и клеточек.

Да и кроме бумаги чего-чего там только не было! Толстые книги в тисненых золотом переплетах и тонкие в ярких, лихо разрисованных обложках, объемистые общие тетради в глянцевиной клеенке. И тут же на прилавке под прозрачным стеклом еще более заманчивые вещи: перочинные ножички — нарядные, перламутровые и темненькие, попроще, — раскрашенные пеналы, альбомы для стихов, резинки с напечатанными на них черными или красными слонами, линейки, циркули, перышки — богатейший набор перьев от маленького, тоненького, почти лишнего веса, до крупных, желтых, с четко выдавленным номером: «86».

Ни один магазин в городе не казался мне таким интересным и богатым, как этот, хоть вывеска у него была поскромнее и помещение потеснее, чем у бакалейщиков и галантерейщиков. Да и народу бывало в нем меньше.

Забегит, бывало, на несколько минут шумная компания гимназистов, гимназисток или «уездников», потолчется у прилавка, накупит всякой всячины — тетрадок с розовыми промокашками, бумаги для рисования и черчения, блестящих, гладких, так вкусно пахнущих деревом и лаком карандашей, а заодно и полюбуется переводными картинками. Впрочем, маленькие гимназистки предпочитали картинки «налепные» — штампованные, выпуклые, изображавшие ярко-пунцовые венчики роз и пухлых ангелочков.

Таким покупателям владелец магазина — тихий и серьезный человек, с виду похожий на поэта Некрасова, — долго задерживаться у прилавка не давал. Зато любителям книг он благосклонно и беспрепятственно разрешал проводить у книжных полок целые часы. Они спокойно, не торопясь, раскрывали книгу за книгой и вели между собой и с хозяином долгие разговоры о том, что именно «хотел сказать» автор своей повестью или романом.

Меня владелец магазина на первых порах причислял к той категории покупателей, которые интересуются перышками да картинками, и толь-

ко потом — через полгода или год, — почувствовав во мне страстного читателя, милостиво допустил меня к полкам. Я бережно перелистывал толстые романы и повести, а томки стихов проглатывал тут же, не сходя с места.

Чуть ли не через день заглядывал я в «Писчебумажный и книжный магазин».

Книгами торговали у нас в городе и прежде. А вот такого просветителя, как владелец нового магазина, у нас еще не бывало. Это было своего рода знамение времени.

Знаменем времени было и появление у нас в гимназии нового преподавателя русского языка и литературы — Николая Александровича Поповского.

Старый преподаватель словесности Антонов был несловоохотлив, сух и не допускал никакой вольности — ни в мыслях, ни в стиле изложения. Его пугал малейший отход от буквальности. Встретив в работе восьмиклассника выражение «глубокая мысль», он дважды подчеркивал его и писал на полях: «Глубокой может быть только яма».

Почему только яма, а не море, не океан, — это было понятно одному лишь Степану Григорьевичу. Может быть, он и не верил в существование океанов, которых поблизости от Острогжского уезда нет и никогда не было.

Он был глубоко прозаичен, презрителен и грубоват, наш учитель словесности. Во время урока лицо его казалось окаменевшим. Он мало интересовался тем, как относятся к нему гимназисты, которых он едва достаивал беглым взглядом из-под очков.

Так смотрит на пассажиров, подходящих к окошечку, старый усталый железнодорожный кассир, который замечает своих клиентов только в случае каких-нибудь недоразумений или пререканий.

Степана Григорьевича было трудно вообразить без мешковатого форменного сюртука с золотыми наплечниками. Он отнюдь не был безобразен: напротив, черты его лица отличались правильностью и отсутствием особых примет — достоинствами, которые он так ценил в классных работах учеников.

Сидел он на своем преподавательском стуле прочно и неподвижно до самого конца урока, и если шевелил рукой, то только для того, чтобы почесать в раздумье щеку, погладить бороду или поставить в классном журнале двойку, тройку, в лучшем случае четверку. Пятерками он своих учеников баловал редко. Зато излюбленной его отметкой была единица. Кол.

Нам казалось, что Сапожник будет неразлучен с нами до конца наших гимназических дней. Но вышло иначе. Классы поделили между ним и новым преподавателем.

Новый появился у нас в одно прекрасное утро безо всякого предупреждения. Он весело и уверенно взошел на кафедру — молодой, прямой, высокий, чуть ли не на голову выше своего предшественника, тоже огличавшегося немалым ростом, но как-то раньше времени осевшего.

Молодой преподаватель был родом с юга. Это было видно по матово-смуглому цвету лица, по черным блестящим волосам и бородке, по темно-карим глазам, глядевшим смело и открыто из-под крутых сросшихся бровей.

В первые же дни после прихода в наш класс Николая Александровича Поповского гимназистам стали известны мельчайшие подробности его жизни.

Они развели, где он живет и у кого столуется, узнали, что окончил он духовную академию, а затем и университет, что в наш город он приехал не один, а со своей сестрой-курсисткой, очень похожей на него, и что между собой эта пара чаще всего говорит по-молдавански, хоть по происхождению они русские.

В классе нового учителя встретили с интересом, даже с некоторым любопытством. Да и было чему удивляться. Поповский был так непохож на своего предшественника и на других сослуживцев по гимназии. С учениками был вежлив, всем говорил «вы». После первой письменной работы очень скоро возвратил тетрадки, не поставив ни одной отметки!

Вместо цифры, выведенной красными чернилами, каждый из моих соклассников нашел под своей работой несколько кратких замечаний Поповского. В тетради Коли Ястребцева, одного из первых наших учеников, было написано:

«Все правильно, ни одной ошибки, но язык беден, бесцветен. Надо больше читать. Н. П.».

На первых своих уроках Николай Александрович попросту разговаривал с нами обо всякой всячине и только потом начал «спрашивать» — да и то с места, то есть без вызова к доске или кафедре. Тем, кто знал урок не слишком твердо, это было на руку, так как с места легче и подсказку услышать и заглянуть в раскрытую, лежащую под крышкой парты книгу. Так многие и делали: отвечали Поповскому то под суфлера, то по книге. А другие, глядя на них, посмеивались над простоватым новичком-учителем и были уверены, что он ничего не видит перед собой, кроме книги, которую держит в руках, ничего не слышит, кроме звуков собственного голоса.

Понемногу самые искусные и опытные мастера подсказки и шпаргалки совершенно перестали церемониться на уроках Поповского.

Особенной изворотливостью отличался наш Степа Чердынцев. Все свои способности он тратил на то, чтобы водить за нос учителей и поражать товарищей неожиданными и дерзкими проделками. Дома его баловали, учителя с великим трудом перетаскивали из класса в класс. В первый же год своего пребывания в гимназии Степа отличился тем, что, обжигаясь и дуя на руки, украл из печки сторожа Родиона горшок гречневой каши. Украл, конечно, не с голоду, а так, скорее из удалства. Но все же кашу уплеп до последней крупинки. Несколько лет после этого его дразнили «Кашей».

Товарищи подтрунивали над ним и в то же время искренне восхищались его непревзойденной ловкостью. С искусством и усердием паука опутал он чуть ли не весь класс нитками, по которым передвигались от одной парты к другой шпаргалки. Отвечая урок, он каким-то образом ухитрялся приклеивать шпаргалку к стенке кафедры под самым носом преподавателя.

В конце учебного года учитель математики обычно предоставлял ему возможность переправить двойку на тройку. Но, готовясь к вызову, Чердынцев не занимался, как другие, зубрежкой или решением задач, но и не сидел без дела, а старательно исписывал цифрами всю оборотную сторону классной доски, перенося на нее со шпаргалки решение задач, которые — по неизвестно откуда добытым сведениям — мог предложить ему учитель. А когда его наконец вызывали, он так яростно и энергично выводил на доске цифру за цифрой, что мел крошился в его руке и он должен был чуть ли не каждую минуту заглядывать за доску, где хранились запасные кусочки мела. После этого он более или менее благополучно справлялся с задачей и получал тройку. Больше ему и не нужно было.

Когда задачу приходилось решать не на доске, а в тетради, Степу



выручала шаргалка, спрятанная в рукаве. Она была на резинке и при первой же опасности мгновенно уходила в рукав. Вероятно, специально для этой цели Степа — один во всем классе — носил накрахмаленные манжеты.

Впрочем, на уроках Поповского никто не торопился прятать шаргалки, и секретный телеграф, по которому Степа Чердынцев переговаривался с другими партами, действовал вовсю.

Но вот однажды, когда урок отвечал долговязый Сыроваткин, а Степа спокойно и почти беззвучно подсказывал ему, глядя в раскрытую на парте книгу, Николай Александрович вдруг нахмурился, покраснел и сказал громко и твердо:

— Садитесь, Сыроваткин. Довольно. Вам я ставлю двойку за ответ, а Чердынцеву двойку за поведение.

И, со стуком откинув толстую крышку классного журнала, Поповский решительным движением вывел на его странице две крупные двойки. Первые двойки с тех пор, как он пришел в наш класс.

Никто этого не ожидал. Класс затих, а Сыроваткин и Чердынцев почти в один голос спросили:

— За что, Николай Александрович?.. За что?

Поповский поднялся с места.

— Как за что? И вы еще осмеливаетесь спрашивать? Больше месяца терпел я это издевательство. Ведь я все видел, но только мне было стыдно — понимаете ли, стыдно — ловить вас за руку, как мелких воришек. Кого вы обманываете?.. Если вы хотите остаться безграмотными, оставайтесь — воля ваша. Но в таком случае вам незачем занимать эти места за партами. Ведь на них могли бы сидеть честные и способные люди, из которых выйдет толк.

Николай Александрович немного помолчал, а потом заговорил более спокойно.

— Вот что, господа. Не для того я стал учителем, чтобы донимать учеников единицами и двойками, оставлять без обеда, выгонять из класса. Дайте мне возможность учить вас, а не воевать с вами!

Он опять помолчал, как будто ожидая ответа. Молчали и мы.

И вдруг он улыбнулся и сказал своим обычным ровным и звучным голосом:

— Итак, я надеюсь, вы прекратите эту нелепую комедию, и мы будем жить с вами в мире. А вас, Чердынцев, я попрошу на первой же перемене убрать подальше все ваши хитроумные изобретения. Надеюсь, они вам больше не понадобятся. Попробуйте жить честно. Я предлагаю вам такой уговор. Завтра у нас в классе будет письменная работа. Я освобождаю вас от нее, но зато вы должны будете тут же, при мне, выучить урок, который я вам задам. Не бойтесь — всего две-три странички, не больше! За это я поставлю вам в году тройку, а может быть, и четверку, и вы перейдете в следующий класс без переекзаменовки. Идет? Согласны?

Чердынцев кивнул головой.

— Ну вот и хорошо. А пока прощайте.

За дверью уже заливался, обегая все коридоры, гулкий звонок. Урок был окончен.

На следующий день наш новый учитель пришел в класс в самом лучшем настроении. День был весенний — встрепанный, но теплый. Деревья дома, которых в городе было немало, потемнели от сырости. Почернели и голые деревья. Казалось, весь город был нарисован черным угольным карандашом.

В классе у нас была открыта форточка в еще влажный городской сад. Легкий ветер то и дело вздувал на стенах огромные карты Европы и Азии с темно-коричневыми горами, зелеными низменностями и синими морями.

От весеннего тепла и крепкого, свежего воздуха нас одолевала дремота, и минутами нам чудилось, что сверкающая желтым и черным лаком кафедра вместе с учителем уплывает куда-то вдаль, становясь все меньше и меньше. Нужно было усилие воли, чтобы преодолеть это приятное оцепенение.

Вдруг из городского сада явственно донесся какой-то низкий, лениво-добродушный женский голос:

— Мишутка, а Мишутка, где же ты? Хочешь молочка, детка?..

Почему-то во время школьного урока все постороннее, неожиданное, частное, врывающееся в класс из вольного, живущего своей жизнью мира, всегда кажется странным и смешным. Так было и на этот раз. Ребята засмеялись, а кто-то на последней парте проговорил нараспев таким же густым голосом:

— Мишутка, а Мишутка!..

Николай Александрович не обратил никакого внимания на эту вольность. Он только слегка улыбнулся и захлопнул журнал, в котором уже успел отметить, кого нет в классе. После этого он задал нам письменную работу, прошелся раз-другой по комнате и подсел к Степе Чердынцеву.

— Ну вот, Чердынцев,— сказал он,— сегодня мы с вами докажем всему классу, что умеем работать. Верно? Давайте-ка выучим до конца урока эти полторы странички. Если вы ответите мне хоть на тройку, лето у вас не будет испорчено. Но дело, в сущности, даже не в этом, а в том, чтобы вы научились наконец ходить прямыми дорогами, а не петлять, как заяц. Ну, в добрый час!

В классе было тихо. Слышался только скрип наших перьев да спокойные шаги Николая Александровича, который, заложив руки за спину, медленно прохаживался по классу.

Время от времени все мы невольно прерывали работу и с любопытством поглядывали на Степу, учившего урок. Это было невиданное зрелище! Он сидел, не подымая головы, подперев кулаками пухлые щеки и зажмурив свои и без того узкие, обычно такие лукавые глаза. Наши взгляды, видимо, смущали его. Он так любил козырять перед нами своей бесшабашной удалью, а теперь сидел тихо и смиренно, как сдавшийся в плен и обезоруженный наездник-головорез.

Урок приближался к концу. Один за другим отдавали мы свои тетрадки Николаю Александровичу или сами несли их на кафедру. Окончив работу, мы уже не отрывали глаз от Степы.

В книгу он больше не смотрел, а занимался самыми разнообразными делами: то с трудом вытаскивал из тесного переднего карманчика брюк новенькие черные часы, то засовывал их обратно и принимался тщательно оттачивать карандаш.

Эх, не попадись он вчера так глупо, не пришлось бы ему сейчас сидеть без дела. Не теряя ни одной минуты зря, он бы ловко и быстро орудовал испытанным арсеналом своих шпаргалок. Да уж теперь ничего не поделаешь! Сам сваял дурака — подался на уговоры этого хитрого халдея, который целый месяц прикидывался блаженным только ради того, чтобы вернее поймать на удочку бедного Степу.

Но вот Николай Александрович подошел к парте, за которой сидел Чердынцев, и остановился, вопросительно на него поглядывая.

Чердынцев молчал.

— Ну, как дела? Надеюсь, вы готовы? — спросил Поповский.

Степа только ниже опустил свою круглую, коротко остриженную голову.

— Что же вы молчите? Я спрашиваю, можете ли вы уже отвечать?

Степа тяжело встал с места и, глядя куда-то в сторону, сказал сквозь зубы:

— Не могу...

— Но хоть что-нибудь вы за этот час приготовили? — все еще с надеждой спросил Поповский.— Ну, страницу, полстраницы?

Степа как-то странно надулся, засопел, и вдруг неудержимые слезы горохом посыпались у него из глаз. Он заревел, как маленький,— всхлипывая, захлебываясь, вытирая глаза кулаками.

Николай Александрович даже испугался.

— Что с вами, Чердынцев?..

— Не могу, Николай Алексанч! Ей-бо, не могу!

— Чего не можете?

— Ничего запомнить не могу!

— Но ведь вы же не тупица, Чердынцев! Подумать только, сколько труда, хитрости, изобретательности тратили вы на то, чтобы несколько лет обманывать своих учителей!.. А на честную работу вы не способны?

— Не способен! — едва слышным шепотом сказал Чердынцев.

### 13. Без старших

В те дни, когда на пустынном заводском дворе я водил палочкой по земле, переходя от одного построенного мною городка к другому и сочиняя историю некоего странствующего героя, я и не предполагал, что эта игра была как бы предчувствием моей собственной судьбы.

Разница была только в том, что мой герой выходил из глуши и безвестности в большой, полный событий мир, уже достигнув зрелого возраста, а в моей жизни такой перелом произошел гораздо раньше.

После переселения нашей семьи с окраины в город мы не прожили на месте и двух лет, как стали готовиться к новому переезду, и не куда-нибудь, а прямо в столицу — в Питер, в Санкт-Петербург! Это не было осуществлением широких планов нашего отца. Просто ему предложили в Петербурге работу на небольшом, еще только строившемся в то время заводе.

Я и мой старший брат уже успели мысленно обойти все улицы столицы, известные нам по Пушкину и Гоголю, когда выяснилось, что нам обоим придется остаться в Острогжске, так как нет никакой надежды добиться нашего перевода в какую-нибудь из петербургских гимназий.

Мать утешала нас тем, что в Питер мы будем ездить два раза в год — на летние и зимние каникулы. Остальное же время будем жить в Острогжске, у дяди.

И вот, как мы когда-то мечтали, к вокзальной платформе шумно подкатил поезд, но увез он из Острогжска не всю нашу семью, а только мать, сестер и маленького брата (отец был уже в это время в Петербурге).

Впервые я и старший брат были оторваны от большой и дружной семьи. Мы оба очень скучали, но в то же время у нас было какое-то новое, непривычное ощущение свободы и самостоятельности. Без старших мы зажили почти по-студенчески. Правда, брат считал своим долгом следить за тем, чтобы я не слишком поздно ложился спать и не пропускал уроков. Это давалось ему нелегко, так как он был по горло занят своими собственными уроками — всякими там греческими глаголами и

тригонометрическими формулами — и к тому же в первый раз в жизни влюблен.

Я знал — или, вернее, догадывался — об этом только по обрывкам его разговоров с товарищем. Меня в свою тайну он не хотел допустить — должно быть, по привычке все еще считал меня маленьким.

Он был так скромн и застенчив, мой старший брат, что даже не пытался познакомиться с веселой, смуглой и кудрявой гимназисткой, завладевшей его сердцем. Он считал себя вполне счастливым, если ему удавалось бросить на нее беглый взгляд в городском саду или на улице.

Мне было обидно, что от меня что-то скрывают, и я решил доказать брату и его товарищу, что давно уже вышел из младенческого возраста.

Я познакомился с двоюродным братом черноглазой гимназистки (он был одним классом старше меня), потом и с нею самой — и очень скоро получил приглашение на ее именины.

Трудно передать, как был ошеломлен мой брат, когда я как-то вскользь, мимоходом, сказал ему, где собираюсь провести вечер.

Карманных денег у нас с ним было очень мало, и все же он купил мне ради этого торжественного случая крахмальный бумажный воротничок, а потом — к вечеру — нанял для меня за гривенник извозчицью пролетку с двумя великолепными фонарями.

Помню, с каким грохотом покати л я по булыжной мостовой, а брат остался на перекрестке, грустно и задумчиво глядя мне вслед.

Вернулся я в этот вечер довольно поздно — часов в двенадцать, — но брат еще не спал.

Долго и осторожно расспрашивал он меня обо всех, кто был на именинах, стараясь не показать виду, что больше всего его интересует сама именинница.

Уже засыпая, я отвечал ему нехотя и невпопад.

Таким допросам подвергал он меня каждый раз, когда мне случалось бывать в этом доме. «Ну, а она что? А ты что? А он что?»

Скоро я стал настолько своим человеком в семье моих новых знакомых, что мне уже ничего не стоило намекнуть, чтобы туда пригласили и брата.

Он долго готовился к этому посещению, гладил брюки, чистил ботинки себе и мне.

Но первый наш визит был не слишком удачен. Брат стеснялся, молчал, а на черноглазую гимназистку, которая и всегда была смешлива, ни с того ни с сего напал такой бешеный порыв беспричинного смеха, что она только кусала губы, и на ее густых мохнатых ресницах дрожали крупные капли слез. Мать укоризненно поглядывала на нее, а брат мой краснел и хмурился, видимо подозревая, что виновником этого бурного веселья был именно он.

Чтобы как-нибудь спасти положение, я на правах старого знакомого хозяев предложил брату прочесть что-нибудь вслух. Я чувствовал, что это избавит его от необходимости поддерживать вялый, натянутый разговор и поможет ему преодолеть застенчивость. В гимназии он считался отличным чтецом и не раз участвовал в литературных вечерах. Но, должно быть, он гораздо меньше волновался, выступая перед публикой в актовом зале, чем здесь, в маленькой, скромной гостиной под взглядом любопытных и насмешливых черных глаз.

Долго перелистывал он томик Чехова, не зная, на чем остановиться.

Я тихонько толкнул его под локоть:

— «Хирургию» прочти!

Брат благодарно кивнул мне головой, слегка откашлялся, и вот в комнате неожиданно зазвучали, перебивая друг друга, два голоса: один ноющий, гнусавый, другой — хриплый, басистый.

С первых же строк внимание слушателей было завоевано.

Я гордился братом, а наша юная хозяйка была, должно быть, от души благодарна ему за то, что могла наконец дать волю неудержимому смеху, не боясь кого-нибудь обидеть.

В общем, все остались очень довольны, хвалили брата и, провожая, просили заходить почаще.

На этот раз, укладываясь в постель, мы почти не разговаривали друг с другом. Брат был погружен в свои мысли, а я радовался тому, что не должен, борясь со сном, отвечать на его бесконечные вопросы.

Я был совершенно уверен, что в ближайшее время он непременно воспользуется приглашением заходить почаще, но этого не случилось. Только изредка бывал он у новых знакомых, да и мне не советовал «злоупотреблять гостеприимством».

Я смотрел тогда на вещи гораздо проще, и мне была непонятна такая чрезмерная шепетильность. Только много лет спустя я понял, как бережно относился брат к этим встречам. Каждая из них была для него настоящим событием.

---

В эти месяцы моей вольной, почти самостоятельной жизни я стал все чаще и чаще заглядывать в наш новый «Писчебумажный и книжный магазин», где можно было не только найти свежую, на днях полученную из столицы книжку, но и поговорить о современной литературе с любителями чтения, среди которых особенно рьяным был, пожалуй, сам длинноволосый и остробородый хозяин лавки.

В сущности, только теперь, в первые годы нынешнего столетия, я и мои сверстники узнали, что такое «современная литература».

В гимназии литературу проходили не дальше Тургенева и Гончарова, да и то в самых старших классах, но добирались мы до них — а еще раньше до Жуковского, Пушкина и Гоголя — медленно и долго, через Антиоха Кантемира, Сумарокова, Хераскова. Для нас это было путешествием по унылой пустыне, в которой почти не было оазисов.

Если в гимназии оказывался умный и талантливый учитель, нас еще могли заинтересовать — да и то в цитатах — отдельные, наименее устаревшие отрывки из Ломоносова и Державина. С удивлением различали мы в этих старинных строчках могучие и своеобразные голоса.

А у заурядных преподавателей словесности даже Державин казался продолжением кантемиро-херасковской пустыни.

Да и не только Державина, но и Пушкина заодно с Лермонтовым и Гоголем ухитрялись состарить и притушить такие словесники, как наш тяжеловесный и скрипучий Степан Григорьевич Антонов, недаром получивший от своих благодарных учеников пожизненное прозвище «Сапожник».

Как прививают людям вакцину, для того чтобы они не заболели по-настоящему, так постепенно — скучной зубрежкой отрывков из «Евгения Онегина» (главным образом о временах года) да ещеписанием сравнительных характеристик Онегина и Ленского или Татьяны и Ольги — вырабатывали у нас иммунитет к Пушкину, как бы заботясь только о том, чтобы мы не «заболели» им всерьез.

И это нашим словесникам удавалось в полной мере. Нелегко было после них почувствовать прелесть и свежесть строчек, вырванных из пушкинских поэм. Словно какие-то мозоли оставались у нас в мозгу от бесконечного повторения лирических отрывков из гоголевской прозы.

Однако все же, хоть по казенному шаблону, с классикой гимназия нас кое-как знакомила. А вот литературы наших дней она и совсем не признавала — будто, дойдя до «Обрыва» Гончарова, кончалась обрывом и вся наша изящная словесность!

Новых, современных изданий пуше огня боялась гимназическая библиотека. Она была похожа на остановившиеся часы, показывающие давно прошедшее время.

Но вот наши крылья настолько подросли и окрепли, что мы сами пустились на поиски чтения, которое могло бы утолить юношеский жадный интерес к новым чувствам и мыслям.

Где только можно было, у товарищей и общих знакомых, искали мы последние издания классиков и современных писателей — книги, пахнувшие не пылью и затхлостью чулана, а свежей типографской краской.

Не помню, как и когда попал в руки брату, а потом и мне тонкий, большого формата номер еженедельного журнала с крупным узорным заголовком «Нива». В этом номере на видном месте была напечатана глава из нового романа Толстого «Воскресение» с рисунками художника Пастернака.

О Толстом толковали тогда много и противоречиво. Его жизнью, учением, спорами с церковью и правительством интересовались самые разные люди. Одни называли его учителем, подвижником, другие ни за что не хотели поверить в искренность этого графа, который почему-то сам себе шьет сапоги и ходит босой.

Немудрено, что мы с жаром ухватились за эту случайно попавшуюся нам на глаза главу толстовского романа. Не так-то легко было собрать роман целиком, разыскать все тетрадки «Нивы» от первой до последней. И однако же мы нашли их и были щедро вознаграждены за свои старания: впервые открылась нам в книге та самая жизнь, которая окружала нас, как воздух.

Самые увлекательные из романов, прочитанных нами до того, — Тургенева, Гончарова, Григоровича — все-таки относились к прошлому, хоть и к недавнему. А тут современность подступила к нам вплотную, к самым нашим глазам, да еще современность, прошедшая перед суровым и мудрым судом такого художника, как Толстой.

В сущности, именно с толстовского «Воскресения» и началось для нас знакомство с новой литературой, которую так осторожно обходила наша гимназия.

Одно за другим узнавали мы новые имена, различали голоса, которых раньше не слышали.

Увлечение писателями-современниками начиналось для нас почти так, как обычно начинается любовь. Вот среди прочих лиц мелькнуло неизвестное, но чем-то привлекательное лицо. Мы еще не выделяем его из множества других, а наша память уже бережет его на всякий случай, почти без участия сознания. Но вот вторая встреча, и мы уже радуемся знакомым чертам и всматриваемся в них гораздо пристальнее. А там, глядишь, знакомство, которое еще недавно казалось таким случайным, уже становится частью нашей жизни, определяет нашу судьбу, и мы даже представить себе не можем, как это мы могли существовать без того, что теперь для нас так дорого и важно.

Помню, как впервые для меня прозвучал со сцены насмешливый, полный веселого задора голос молодого Чехова. Я еще не знал тогда, что такое Чехов, и раньше запомнил названия его маленьких пьес — «Медведь», «Предложение», — чем имя их автора. Потом как-то незаметно у нас вошло в обычай читать вслух короткие чеховские рассказы. Мы наслаждались их легкостью, простотой, безупречной верностью наблюдения.

Трудно припомнить, когда и как научились мы узнавать в каждой новой чеховской странице тот пристальный, серьезный и внимательный взгляд, устремленный в самую глубь нашего времени, который, пожалуй, стал для нас верхней приметой Чехова.

Он входил в нашу жизнь исподволь, легкой поступью, как будто бы ничего особенного не обещая, но оставляя в нашем сознании все более глубокий и прочный след.

Такой постепенности не было в нашем знакомстве с другим большим писателем, появившимся на рубеже двух веков, — с Горьким.

Это имя я услышал задолго до того, как впервые раскрыл небольшой томик в зеленоватой обложке.

Было что-то тревожащее и притягательное в доходивших до нас обрывках биографии этого нового писателя, в самом облике его и даже в имени.

Горький. Имя это как бы говорило о горькой судьбе, родственной многим судьбам на Руси. И в то же время оно звучало как протест, как вызов, как обещание говорить горькую правду.

А какой причудливой, разнообразной, правдивой до грубости и в то же время поэтической жизнью пахнуло на нас со страниц его первых рассказов. Словно ветер, прилетевший откуда-то из степи или с моря, разом распахнул у нас все окна и двери.

Мы вдруг узнали и поверили, что и в наше время есть на земле смелые, вольнолюбивые люди, непоклонные головы, и что жизнь свою можно выбирать, а не идти по готовым, давно проложенным дорожкам.

Самые имена горьковских героев пленяли нас своим неожиданным, непривычным для слуха, почти сказочным звучанием.

Многие из взрослых недоверчиво покачивали головами, пытаясь уверить нас, что Горький — это какой-то самозванец, насильно вторгшийся в тургеневские сады русской литературы, что краски его грубы, а герои надуманны.

Но никакие скептические замечания не могли расхолодить уже влюбленную в него молодежь.

Помню, как прочли мы впервые широкие, полные сдержанной силы, неторопливо размеренные строчки «Буревестника»:

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает...»

Набрав полную грудь воздуха, мы читали эти стихи во всю силу голоса, стараясь передать то пронзительные, то глубокие трубные звуки, которые мы так явственно различали в этих зовущих словах:

«Он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы...»

...То кричит пророк победы: «Пусть сильнее грянет буря!..»

Мне было лет тринадцать-четырнадцать, когда я вместе со старшеклассниками внимательно разглядывал переходившую из рук в руки открытку, на которой был изображен широкоскулый молодой человек с мечтательно-хмурым лицом, с крутым изломом прямых, падающих на висок волос. На нем была белая косоворотка, подпоясанная ремешком.

Это был Горький.

В то время я и не предполагал, что года через два мне доведется встретиться с ним и эта встреча окажет решающее влияние на всю мою дальнейшую судьбу.

#### 14. Большие ожидания

Наконец наступили каникулы — те самые, которые нам предстояло провести в Петербурге.

Невский проспект, набережные с памятником Петра по одну сторону Невы и сфинксами по другую, Петропавловская крепость и Адмиралтейство, Зимний дворец и Летний сад — вот что рисовалось нам, когда мы пытались вообразить этот великолепный, такой знакомый и такой загадочный город — Санкт-Петербург.

Впрочем, мы уже знали, что жигь нам придется не на Английской или Французской набережной и не на Невском проспекте. Но и проспект, который был обозначен на конвертах писем, полученных нами от родных, представлялся нам блестящим и праздничным. Как-никак, а все-таки это не простая улица, а проспект! И какое у него звучное название — «Забалканский»!

Родные ни разу не писали нам, как выглядит Забалканский проспект и дом, в котором они поселились. На открытках, полученных от матери, едва умещались ее бесчисленные вопросы о нашем здоровье, о том, как мы учимся, и не протерлись ли у нас рукава, и не износились ли подметки.

А в редких, но пространных письмах отца было много щедрой ласки, много добрых наставлений, но ни слова о том, в котором этаже они живут, во дворе или в квартире, выходящей на улицу, в центре или на окраине.

Все это оставалось для нас загадкой до самого приезда в Питер.

---

Собрались мы в дорогу легко и быстро — не так, как собиралась когда-то наша семья, начинавшая укладывать вещи чуть ли не за две недели до отъезда.

Всю заботу об упаковке взял на себя брат, никогда не доверявший мне дел, требующих особого порядка и аккуратности. Однако и для меня нашлось ответственное поручение: сторговаться с извозчиком и позаботиться о том, чтобы он рано утром без малейшего опоздания был у наших ворот.

Я обошел целую шеренгу извозчиков, прежде чем мне удалось найти такого, который согласился отвезти нас на вокзал за шесть гривен.

Было еще совсем темно, когда копыта извозчицей лошади застучали по настилу моста неподалеку от вокзала. В пролетке вместе с нами ехали две спутницы, неожиданно вызвавшиеся проводить нас до ближайшей станции Копанище, — черноглазая гимназистка, которая так нравилась моему брату, и ее подруга. Всю дорогу мы болтали, смеялись, пели и не заметили, как перед нами внезапно выросло одноэтажное кирпичное здание с высокими и узкими окнами. Это и был вокзал.

Спуская с козел нашу корзину, извозчик покрутил головой и сказал: — Ну и веселые господа! Сколько вожу, а таких не видывал... Надо бы по этому случаю прибавить гривенничек!..

И мы прибавили.

Кажется, еще никогда так стремительно и шумно не подкатывал к платформе паровоз, никогда еще так ярко и весело не блестили желтые вагонные скамейки, как в это утро.

С беззаботной легкостью — не так, как другие пассажиры, долго прощавшиеся и хлопотавшие около своих вещей, — сели мы в поезд. Впрочем, пассажиров было на этот раз немного. В нашем вагоне, кроме нас четверых, не оказалось ни души. Мы чувствовали себя свободно и непринужденно, и спутницы наши вздумали даже потанцевать друг с дружкой между рядами скамеек. Однако они тут же вспомнили, что времени у нас не слишком-то много, и предложили нам наскоро позавтракать вместе с ними. В корзинке у них оказались завернутые в бумагу тарелочки, вилки, ножи, а еще глубже были аккуратно уложены пирожки, котлеты, бутерброды, яблоки. К нашим припасам они запретили нам даже прикасаться — ведь у нас впереди была еще такая долгая дорога.



Солнце только всходило за окнами, обещая ясную погоду. Как жалко, что мы не можем провести вместе весь этот чудесный майский день!

Длинный и гулкий гудок паровоза внезапно напомнил нам, что пора прощаться.

Провоза наших приятельниц до вагонной площадки, брат обещал часто писать им и дал каждой из них наш петербургский адрес. Но они обе только покачали головой. Неужели мы будем помнить о них, очутившись в шумной столице!

Они уже говорили с нами, как скромные, затерянные в глуши провинциалки с людьми, живущими в Петербурге светской, рассеянной жизнью.

Брат не успел еще ничего ответить им, когда наш поезд остановился, подался назад, чуть не свалив нас всех с ног, и остановился снова.

Девочки быстро пожали нам руки и сбежали со ступенек на платформу.

---

В петербургской извозчицей пролетке с поднятым над нашими головами кожаным верхом — в это время моросил дождь — въехали мы во двор дома на Забалканском проспекте.

Это был двор, каких мы еще не видывали, — чистый, просторный, гладко вымощенный, с двухэтажным каменным домом и садиком в углу и со множеством статуй из белого и черного мрамора, разбросанных в беспорядке от ограды до ограды. Статуи чаще всего изображали печальных, склонившихся перед алтарем женщин в покрывалах, спадающих волнистыми складками, и маленьких кудрявых ангелов, грациозно простирающих ввысь круглые, в мраморных жилках, ручки.

Неужели же мы будем жить на этом дворе, в этом небольшом, уютном и нарядном доме? Нет, оказывается, здесь живет сам хозяин, владелец скульптурной мастерской, итальянец Ботта. А мы едем дальше — во второй двор. Дома здесь похуже. Кирпичные их стены не облицованы гладкими розовато-серыми плитами, как хозяйский дом, и даже не оштукатурены. Но и это еще не наш двор. Извозчик везет нас дальше — на третий, окруженный невысокими флигелями и весь загроможденный огромными телегами с поднятыми кверху оглоблями.

Едва только мы въехали на этот третий двор, нас оглушил разноголосый шум: удары молотка по железу, надрывный плач ребенка, хриплая песня гармошки, ржанье и drobный топот лошадей в конюшне.

По узкой, полутемной, грязноватой лестнице поднимаемся мы во второй этаж одного из флигелей.

Это и есть наша столичная, петербургская квартира... О том, что она наша, можно догадаться и без всяких объяснений: достаточно взглянуть на плюшевую — слегка потертую — скатерть, памятную нам еще со времен Майдана, на старый комод, украшенный знакомой парой серебряных подсвечников, на висящую над столом большую керосиновую лампу.

Отец замечает наше разочарование и, как всегда, бодрым, полным уверенности голосом говорит нам, что это жилье — только временный привал и что скоро мы отсюда переедем. У нас будет прекрасная, просторная квартира при заводе за Московской заставой.

А пока он обещает показать нам Петербург. Для этого он освободится завтра пораньше и, если только не будет дождя, прокатит нас на парходике по Фонтанке и по Неве, поведет в зоологический сад, угостит на Невском знаменитыми филипповскими пирожками.

По старой памяти он, видно, считает нас еще маленькими и предлагает нам программу, которая года два тому назад привела бы нас в полный восторг. А впрочем, откровенно говоря, мы и сейчас не прочь про-

схаться на пароходе и отвесть филипповских пирожков, хоть и знаем, что Петербург может дать гораздо больше того, что обещает нам от своего щедрого сердца отец.

Мы и в самом деле чувствовали себя чуть ли не детьми, во всяком случае моложе своего возраста, в тот чудесный праздничный день, когда отец впервые возил нас по Петербургу, покупал для нас билеты на плавуей, слегка покачивающейся под ногами пристани, усаживал за мраморный столик открытого кафе и заботливо спрашивал, не хотим ли мы еще мороженого. За несколько месяцев разлуки мы успели отвыкнуть от такой заботы, и теперь она особенно трогала нас.

Но сколько ни увидели мы в тот первый день, пожалуй, гораздо полнее и глубже узнал и почувствовал я город, когда через несколько дней решился постранствовать по его улицам совсем один.

Само путешествие доставляло мне радость. Взобравшись по узкой лесенке на империал конки, я скользил глазами по стройным рядам высоких строгих домов, как бы сливающихся в один огромный дом от перекрестка до перекрестка.

Конка движется так неспешно, что я успеваю прочесть чуть ли не все вывески парикмахерских, кондитерских, ресторанов, банков, страховых обществ, бюро похоронных процессий, винных погребов и ломбардов.

В Острогожске у нас только один книжный магазин, а здесь их целые кварталы. Есть огромные, с зеркальными витринами, а попадаются и такие, где еле-еле умещаются продавец и покупатель.

Меня так и подмывает соскочить на ходу с подножки конки и нырнуть в эту непроходимую книжную чашу. Но мне некогда. Меня ждут Невский проспект, Сенатская площадь, Нева.

И вот уже я шагаю по Невскому. Впереди бледным золотом сияет игла Адмиралтейства с кружевным корабликом на острие. Невский так широк, что дома по обеим его сторонам кажутся ниже, чем на самом деле. Да они и вправду не слишком высоки, и от этого здесь светлее, просторнее, чем на других улицах. А как весело и празднично звучит перестук множества копыт на торцовой мостовой!

Два потока людей движутся навстречу один другому по широким панелям из каменных плит.

Я совсем один в этой пестрой толпе куда-то спешащих или чинно прогуливающихся людей. И оттого, что меня здесь никто не знает да и сам я не знаю никого, я чувствую себя свободным — будто кто-то подарил мне шапку-невидимку.

Я брожу по незнакомому городу без провожатых, но все узнаю: мосты, статуи, соборы, дворцы, арки. Можно подумать, что я когда-то уже бывал здесь и потому так уверенно нахожу дорогу к Сенатской площади, к Неве и памятнику Петра.

И если несколько дней тому назад, разъезжая по Питеру с отцом, я казался самому себе маленьким, то здесь, у гранитной ограды Невы или у подножия скалы, на которой застыл на всем скаку Медный Всадник, я чувствую себя вполне взрослым человеком, причастным к жизни взрослых, к истории, к поэзии.

Северные летние сумерки обманули меня: я и не заметил, как подошла белая ночь. Улицы стали понемногу пустеть. Я шел домой, прислушиваясь к четкому стуку своих шагов, вглядываясь в серовато-голубой сумрак, легкий, прозрачный, не мешающий глазам видеть.

В скверах над стриженными газонами лежали белые волокнистые полосы тумана. Пахло сыростью и землей, будто я не в Петербурге, а где-то на окраине, на огородах.

И этот простой, неожиданный запах делал еще более странной эту ночь без темноты, так непохожую на другие ночи.

Пока я шел, край неба заалел. Ранняя заря заиграла на стеклах верхних окон.

Дома в тревоге ждали меня родные. Они так обрадовались моему возвращению, что не стали меня бранить, а я был благодарен им за то, что они ничем не омрачили мою первую белую ночь.

Наши каникулы кончались, и мы сами не знали, радует нас или печалит предстоящее возвращение в Острогжск.

Грустно было снова расставаться с родными, жалко покидать только что открывшийся нам во всем своем великолепии Петербург. Но с каждым днем все милее казался и брату и мне далекий, маленький, почти сплошь деревянный Острогжск, где была наша гимназия, где жили все наши сверстники, товарищи, друзья.

Не знаю, куда, в какую сторону побежал бы я сначала, кого из товарищей повидал бы первым, если бы внезапно очутился в Острогжске. Хотелось увидеть всё и всех сразу, снова оказаться по горло занятым, всем и каждому нужным, каким был я до отъезда в Питер.

Так чувствует себя, должно быть, человек, возвращающийся из отпуска в далекий полк, где у него есть определенное положение, точные обязанности, издавна установившиеся отношения с людьми.

Мы и сами не заметили, как стали считать остающиеся до отъезда дни. Особенно не терпелось брату. Он аккуратно переписывался с Острогжском и бережно хранил приходившие оттуда на его имя письма. Я был гораздо легкомысленнее и за все время каникул не написал ни одного письма.

Вспоминая об этом, я мучился угрызениями совести и еще больше скучал по затерянному где-то вдалеке Острогжску.

Этот скромный город, где не было ни одного дворца, ни одного памятника на площади, казался мне в те времена гораздо более жилым, населенным, чем торжественный и многолюдный Петербург.

Я уже довольно свободно разбирался в петербургских улицах, многие из них измерил шагами из конца в конец, наблюдал их и в дневные часы и вечером, при свете газовых фонарей. Но за каменными стенами многоэтажных зданий я не чувствовал еще живущих там людей, не представлял себе их обстановки и уклада.

Те семьи, с которыми успели познакомиться в столице мои родители, в сущности, оставались и здесь провинциальными и жили во временных, случайных и неуютных квартирах.

А вот настоящих, коренных петербуржцев я еще не встречал.

Однако вскоре — еще до отъезда нашего в Острогжск — мне довелось познакомиться и даже коротко сойтись с ними.

Вот как это случилось.

Один из новых знакомых нашей семьи прочел мои стихи и рассказал обо мне известному в городе меценату. А тот, в свою очередь, расхвалил мои поэмы и переводы — да не кому-нибудь, а самому Стасову.

Владимир Васильевич Стасов позвал меня к себе.

Этот человек, которому шел в это время — летом 1902 года — семьдесят девятый год, встретил меня приветливо, по-стариковски ласково, но с какой-то скрытой настороженностью. Должно быть, не раз приводили к нему всяких малолетних музыкантов, художников, поэтов, и он прекрасно знал, как редко они оправдывают те большие надежды, какие на них возлагают друзья и родственники.

А может быть, он попросту был очень утомлен после долгого, наполненного разнообразными встречами дня. Во всяком случае, начиная чи-

тать свои стихи, я видел его крупные опущенные веки, и мне казалось, что он спит.

И вдруг его глаза открылись, и я увидел перед собой совсем другое лицо — оживленное, помолодевшее. Таким он становился всегда, когда был чем-нибудь заинтересован или растроган.

Я начал с переводов, потом читал собственные стихи и, наконец, расхрабрившись, прочел целую шуточную поэму о нашей острогожской гимназии. Слушая меня, Стасов громко хохотал, вытирая слезы, и некоторые особенно хлесткие места заставлял повторять дважды.

С этого дня в моей жизни и начались события, круто изменившие весь ее ход.

Петербург перестал быть для меня чужим, незнакомым городом, однообразным строем многоэтажных, наглухо закрытых домов. Дом Стасова, такой петербургский по своему характеру и вкусу, широко открыл передо мной двери и сразу породнил меня с этим строгим и умным городом.

Чуть ли не каждый день бывал я у Владимира Васильевича то дома, то в Публичной библиотеке.

С каким жадным любопытством, с каким счастливым ожиданием чего-то нового поднимался я всякий раз по широкой, устланной красным ковром лестнице, которая вела не в читальный зал, а в просторные, тихие комнаты книгохранилища, где по одному, по двое работали ученые сотрудники Библиотеки.

У Стасова не было своего отдельного служебного кабинета. Перед большим окном, выходящим на улицу, стоял его тяжеловесный письменный стол, огороженный щитами. Это были стенды с гравированными в разные времена портретами Петра Первого. На одних гравюрах он был изображен по пояс, в стальных латах, на других — в мантии, во весь рост. На третьих — это был всадник на вздыбленном коне. Гневные, полные воли и энергии черты Петра и его боевой наряд придавали мирному уголку книгохранилища какой-то своеобразный, вдохновенно-воинственный характер. Впрочем, стасовский уголок библиотеки никак нельзя было назвать «мирным». Здесь всегда кипели споры, душой которых был этот рослый, широкоплечий, длиннородый старик с крупным, орлиным носом и большими веками. Он никогда не сутулился и до самых последних своих дней высоко нес непреклонную седую голову. Говорил громко и, если даже хотел сказать что-нибудь по секрету, почти не снижал голоса, а только символически заслонял рот ребром ладони, как это делали старинные актеры, произнося слова «в сторону».

Со мною Стасов обращался безо всякой снисходительности, как со взрослым, хоть и говорил мне «ты» и называл меня «Маршачком». Впоследствии при каждой встрече он прибавлял мне какое-нибудь новое шутовское прозвище: «Маршачок-Судачок-Чудачок-Усачок» и т. д.

Впрочем, чаще всего он называл меня короче — «Сам» (уменьшительное от «Самуил») и на книге, которую он мне подарил, написал: «Сам, пожалуйста, будь всегда с а м и меня никогда не забывай. Желаю поскорей большой рост — в сажень!»

Помню, в одну из первых наших встреч я задержался в Библиотеке у Владимира Васильевича до конца его занятий.

Вместе мы вышли из подъезда Библиотеки и свернули на Невский, продолжая разговаривать.

Было уже около пяти часов вечера, но все еще ярко светило солнце. На улицах было много народу. Прохожие то и дело оглядывались на идущего большими шагами седобородого великана и еле поспевающего за ним мальчика в гимназической фуражке с гербом, в котором поблескивают две буквы «О. Г.» («Острогожская гимназия»).

Пройдя несколько шагов, Стасов нанял извозчика на Пески, на Седьмую Рождественскую, где была его квартира, но по дороге остановился у книжного магазина Суворина.

Продавцы встретили его, как старого знакомого. Пошутив с ними (Владимир Васильевич редко обходился без шутки), он попросил подобрать для него целую библиотечку дешевых суворинских изданий. Тут были томики Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Гоголя — все в одинаковых картонных переплетах.

Когда мы вышли на улицу, Владимир Васильевич сказал мне своим громким шепотом:

— Это все тебе. Повезешь в свой Острогжск!

С тех пор я не раз заходил за Стасовым, чтобы вместе ехать к нему на Седьмую Рождественскую.

Как запомнились мне эти наши поездки! Мне нравилось сидеть в широкой пролетке рядом с Владимиром Васильевичем, разговаривать с ним, посматривая по сторонам и невольно прислушиваясь к мягкому постукиванию копыт по торцовой мостовой и звонкому — по булыжной.

Вот перед нами подъезд многоэтажного серого дома на Песках.

Щедро расплатившись с извозчиком, Стасов выходит из пролетки и быстро поднимается по лестнице, обгоняя меня и продолжая на ходу, через плечо, начатый разговор.

Сильно дергает он ручку звонка, и домашние сразу догадываются, что это возвратился хозяин.

Перекинувшись с ними несколькими приветливыми, шутливыми словами, он проходит к себе в кабинет — в довольно тесную, узкую комнату, уставленную строгой старинной мебелью и увешанную портретами. Больше всего мне запомнились два репинских портрета: один Льва Толстого, другой — сестры Владимира Васильевича, Надежды Васильевны, замечательной женщины, одной из основательниц Бестужевских женских курсов. Стенная лампа с рефлектором мягко освещает умное, сосредоточенно суровое лицо, гладкие волосы под темной наколкой, скрещенные худые руки.

Владимир Васильевич укладывается на старинный неширокий диван с намерением отдохнуть до обеда, но отдыхать он не любит и не умеет. Через полчаса он опять на ногах, и мы усаживаемся обедать за большой стол, за которым до того не раз сидели Мусоргский, Бородин, «Римлянин» (как называл Стасов Римского-Корсакова), Репин, Шалапин.

Пожалуй, еще больше любил я бывать у Стасова за городом — в деревне Старожиловке близ Парголова.

На даче Владимир Васильевич укладывал меня на ночь в своей комнате, наверху, и часто будил меня громовым, стасовским, шепотом:

— Сам, ты спишь?

После этого обращения я уже, конечно, не спал и, пользуясь стариковской бессонницей хозяина, забрасывал его множеством вопросов.

Кого только не знал он на своем веку! Мне даже не верилось, что эта рука, которую я так часто держу в своей, пожимала когда-то руку баснописца Ивана Андреевича Крылова, руку автора «Былого и дум» и редактора «Колокола» Александра Ивановича Герцена.

У Стасова была давняя дружба со «Львом Великим», как он неизменно называл Льва Толстого. Он был близко знаком с Гончаровым и с Тургеневым, с которым вел бесконечные споры о музыке, о литературе.

Он рассказывал мне, как однажды он и Тургенев завтракали вместе в ресторане (Стасов говорил: «в трактире»). Беседа о чем-то, они неожиданно сошлись во мнениях. Тургенева это так удивило, что он тут же вскочил из-за стола, подбежал к открытому окну и крикнул своим очень высоким, почти женским голосом:

— Вяжите меня, православные! Тургенев с ума спятил — он согласился со Стасовым!

На все мои бесчисленные вопросы Владимир Васильевич отвечал охотно и подробно.

Но один мой вопрос ошеломил его.

Не подумав, я как-то брякнул:

— А с Державиным вы встречались, Владимир Васильевич?

— С Державиным?! — медленно и удивленно повторил Стасов.— Да ты еще, чего доброго, спросишь, знал ли я старика Мафусаила!

С тех пор я старался не задавать Владимиру Васильевичу таких опрометчивых вопросов.

Уж очень было бы жаль, если бы он махнул на меня рукой и решил, что не стоит толковать со мной о далеких временах, о которых у меня имеется самое смутное представление.

А между тем эти устные рассказы Стасова были для меня мостом к очень давней и великой эпохе. Владимир Васильевич родился в 1824 году, в год смерти Байрона. Во время его детства и юности взрослые говорили еще об Отечественной войне, как о событии, лично ими пережитом. И еще совсем свежа была память о восстании декабристов со всеми допросами, доносами и карами, которые за ним последовали. Когда погиб Пушкин, Владимиру Васильевичу было тринадцать лет. Юношей — студентом Училища правоведения — читал он многие, впервые напечатанные страницы Гоголя. Он был единственным человеком, провозжавшим вместе с Людмилой Ивановной Шестаковой ее брата, Михаила Ивановича Глинку, когда тот в последний раз уезжал за границу. А уж о Мусоргском и Бородине Стасов мог бы рассказать больше, чем кто-либо из оставшихся в живых современников.

К сожалению, я был еще слишком молод и не мог как следует воспользоваться щедрой готовностью Владимира Васильевича делиться со мною тем, что хранила его необъятная память.

С трогательной заботливостью старался он приобщить меня ко всему, что было ему самому дорого.

Он повез меня в Академию художеств и попросил Ивана Ивановича Толстого, вице-президента Академии, показать мне библейские рисунки Александра Иванова. Он брал меня с собой на органные концерты, где исполнялась музыка композитора, которого он ставил выше всех других, — Баха.

Помню, как после одного из таких концертов он решительно потрянул головой и сказал:

— И после всего этого помирать? Нет, не согласен!

В то время, когда я готовился к отъезду из Петербурга, Стасов тоже собирался в путь — ко Льву Николаевичу Толстому в Ясную Поляну. Для Владимира Васильевича это не было простой поездкой в гости, а настоящим паломничеством.

«Лев Великий» занимал в его жизни особое — значительное и важное — место. Знакомство их было давнее. Они постоянно переписывались друг с другом, и всякий раз Стасов по-детски радовался, увидав на конверте крупные, тонкие, не вполне разборчивые буквы толстовского почерка.

Не жалея времени и сил, подбирал он для Льва Николаевича исторические материалы, относящиеся то к следствию по делу декабристов, то к войне с Шамилем. Толстой не скупился на просьбы, зная, что добрый, издавна влюбленный в него Владимир Васильевич готов добыть все необходимые ему документы хоть со дна морского. На стасовском столе в Публичной библиотеке мне часто случалось видеть объемистые пакеты, предназначенные к отправке в Ясную Поляну.

Впрочем, с такой же самоотверженной заботливостью подбирал когда-то Стасов материалы для Боролина и Мусоргского, а в мое время — для совсем еще молодых, никому не известных композиторов и художников.

За несколько дней до нашего расставания Владимир Васильевич повел меня к известному и модному в то время фотографу, Карлу Карловичу Булла, мастерская которого помещалась на Невском в двух шагах от Публичной библиотеки.

Старый и совершенно лысый Карл Карлович, сохранивший на память о своей давно минувшей молодости только густые, черные, как смоль, брови, чрезвычайно обрадовался приходу Стасова и сразу же направил на него чуть ли не всю тяжелую артиллерию своих аппаратов.

Но Владимир Васильевич закрыл лицо обеими руками и сказал, что на этот раз он привел сниматься своего молодого приятеля.

Приветливый Булла, у которого даже лысина сияла весело и празднично, выразил по этому поводу живейшее удовольствие и двинул свои аппараты на меня.

Вероятно, если бы я пришел к нему в ателье один, он поручил бы мою особу заботам своих младших помощников. Но так как привел меня Стасов, Булла счел своим долгом заняться мною лично. Он много раз пересаживал меня с кресла на диван, а с дивана — на пуф, легкими, осторожными движениями наклонял мою голову то направо, то налево и долго следил за выражением моего лица, прежде чем открыл и снова закрыл круглой крышкой блестящий глаз большого аппарата.

Через несколько дней мы вместе с Владимиром Васильевичем зашли в фотографию за снимками. Они ждали нас в конверте, четко отпечатанные и тщательно отретушированные.

Много лет в доме у нас хранилась ничуть не выцветшая и не потускневшая карточка, изображающая мальчика в белой гимназической блузе, глубоко задумавшегося над толстой книгой. Книгу эту заботливо раскрыл передо мной Карл Карлович Булла, и называлась она, сколько мне помнится, «Каталог новейших фотографических аппаратов и объективов фирмы Цейс».

Другую — точно такую же — карточку получил Стасов. Он бережно положил ее в свой бумажник и спрятал во внутренний карман сюртука.

А через два дня мы расстались.

Я простился с Владимиром Васильевичем до зимних каникул. Однако нам довелось увидеться гораздо раньше.

Три дня пути с пересадками и долгими остановками, и мы опять очутились в Острогожске. По-прежнему живем у дяди в узкой комнате с окошком во двор — будто и не было в нашей жизни Петербурга, будто он нам только приснился. Через несколько дней мы начнем ходить в гимназию, и время потянется так, как тянулось и в прошлом и в позапрошлом году.

И все же за эти два-три летних месяца что-то вокруг меня неузнаваемо изменилось. Не тот стал Острогожск, не те дома и люди.

Чуть ли не прямо с поезда обежал я всех своих друзей и товарищей, побывал у Лебедевых, у Гришаниных, точно на крыльях облетел весь город — и в первый раз почувствовал, какой он маленький, как легко исходить его вдоль и поперек.

В Петербурге мне казалось, что все мои новые встречи, впечатления, события только для того и выпали на мою долю, чтобы мне было о чем

рассказывать в Острогожске. А здесь я почувствовал, что все мои мысли в Петербурге и я жду зимних каникул еще до начала осенних занятий.

Да тут еще вдобавок на нас свалилось неожиданное огорчение. Наши приятели-гимназистки, с которыми брат так усердно переписывался летом, не пожелали даже встретиться с нами.

Это было так странно и необъяснимо — ведь еще совсем недавно они сами вызвались проводить нас, и даже не до вокзала, а до ближайшей станции.

Вскоре выяснилось, что эти-то проводы и были всему виной. Кто-то из знакомых увидел девочек на станции, когда они садились в вагон вместе с нами, и толки об их поездке пошли по всему городу. Об этом сами они узнали только перед началом занятий, когда их матерей вызвали для объяснения к гимназическому начальству.

В первые дни мы всячески искали случая поговорить с обеими девочками, уверить их, что мы готовы на любую жертву, чтобы только защитить их от сплетен и пересудов. Но все было напрасно — они словно отгородились от нас непроницаемой стеной.

Особенно горевал мой брат. Он ходил из угла в угол по комнате, упорно думая, как восстановить справедливость и спасти так внезапно и нелепо прерванную дружбу. Но он слишком ясно понимал, что всякий неосторожный шаг может только повредить нашим и без того напуганным приятельницам.

Что касается меня, то я по-настоящему сочувствовал и брату и девочкам, но в самой глубине души были у меня другие тревоги и заботы. Я догадывался, что не сегодня-завтра в жизни моей должен произойти решительный поворот.

Однако я исправно ходил в гимназию, сочинял шуточные стихи для журнала, который мы по-прежнему выпускали с Ленею Гришаниным, бывал у Лебедевых, где старшекласники вели ожесточенные споры о литературе и политике, но со дня на день ждал чего-то, сам не зная чего.

И вот однажды, придя домой из гимназии, я нашел на столе конверт, на котором необычным, похожим на узор почерком было написано:

«Его высокоородию  
Самуилу Яковлевичу  
Маршаку».

Торопливо вскрыл я конверт и в правом верхнем углу листа почтовой бумаги увидел надпись: «Ясная Поляна».

Письмо было от Стасова.

Он писал, что в одном из разговоров с Толстым упомянул и обо мне. Но Лев Николаевич только покачал головой и сказал: — Ох, уж эти мне вундеркинды! Сколько раз я встречал их и сколько раз обманывался. Полетит-полетит светло и красиво, а там — глядишь — и погаснет в воздухе, будто его вовсе и не было.

Слово «вундеркинд» было мне до тех пор незнакомо, но все же я догадался, что оно значит, и немного обиделся.

Зато конец письма не только утешил, но и взволновал меня чуть ли не до слез. Стасов писал мне, что он обратился к Толстому с такой просьбой: «Лев Николаевич, сделайте то, о чем я вас прошу: вот поглядите на этот маленький портретик, что я на днях получил, и пусть ваш взор, остановясь на этом светлом личике, послужит ему словно благословением издалёка».

«И он сделал, как я просил, и долго-долго смотрел на молодое, начинающее жить лицо ребенка-юноши».



Трудно сказать, что больше всего тронуло меня в этом письме: молчаливое ли благословение Толстого или эта удивительная просьба доброго и восторженного Владимира Васильевича, не забывшего обо мне и в Ясной Поляне.

А через месяц он уже добился моего перевода в петербургскую гимназию, и я навсегда распрощался с Острогожском.

Провожало меня на этот раз много народу — родственники, товарищи, друзья. Но в вагон со мною вошел только мой брат. И тут я по-настоящему понял, что первый раз в жизни мы с ним расстанемся надолго. Мне хотелось сказать ему на прощанье какие-то особенные, нежные слова, но он не слушал меня. Задвигая одну корзинку под лавку вагона и пристраивая другую на верхней полке, он умолял меня не выходить на станциях, не терять денег и билета и немедленно телеграфировать ему по приезду в Петербург.

Только четкие и гулкие три звонка на платформе заставили его наконец покинуть вагон.

### 15. Три Петербурга

И вот я снова в столице.

Если в прошлый приезд я считал себя в Петербурге гостем и, осматривая город, старался увидеть и запомнить как можно больше, то на этот раз я уже не проявлял такой жадности. Я был здесь дома и знал, что от меня никуда не уйдут ни Сенатская площадь, ни сфинксы над Невой, ни Острова.

Но зато теперь мне открылась новая, еще не знакомая часть Питера, его рабочая окраина — Московская застава.

Огромные чугунные триумфальные ворота, построенные по проекту архитектора Василия Петровича Стасова, отца Владимира Васильевича, завершали собой Петербург дворцов, памятников, казарм, гранитных набережных и узорных решеток с золочеными копьями и львиными масками.

А за Московскими воротами и за железнодорожным Путиловым мостом уже начиналось широкое и пустынное шоссе, по сторонам которого тянулись ряды однообразных деревянных домов вперемежку с кирпичными, такими же однообразными, высились фабричные трубы, пыльно зеленели кусты сирени в палисадниках.

Здесь, неподалеку от Чесменской богадельни, окруженной старыми, редкими деревьями, находился завод, где работал отец, и скромная квартира в переулке, куда незадолго перед тем переселилась наша семья.

Сейчас, когда я припоминаю первые годы моего пребывания в Петербурге, мне кажется, что жил я здесь не в одном, а в трех различных, таких несхожих между собой и почти не соприкасающихся мирах.

Один был тот, в который ввел меня седобородый великан — бурный, кипучий, но бесконечно заботливый Владимир Васильевич Стасов. О его щедрой доброте лучше не скажешь, чем говорит в своих воспоминаниях Шалапин:

«Этот человек как бы обнял меня душою своей».

С первых дней моего приезда я проводил целые часы то у него дома, то в просторных залах Публичной библиотеки. Брал он меня с собою и к своим друзьям — композиторам, художникам, писателям.

Так, неожиданно-негаданно, попал я в круг взрослых людей, у которых было достаточно свободы и досуга, чтобы подолгу, среди бела дня, с жа-

ром толковать о какой-нибудь новой симфонии, опере, картине или книге. Эти известные и вполне уверенные в себе люди рассуждали об искусстве смело, серьезно и весело, как хозяева, как мастера, его создающие. Имена многих из них доходили до меня еще в Острогожске — задолго до моей встречи с ними. И теперь, прислушиваясь к их шумным спорам, я чувствовал себя так, будто раскрыл большую, интересную книгу где-то на середине и по отдельным беглым намекам должен догадываться, что же было раньше, кто такие герои этой книги и чем они связаны между собой.

Каждый из них занимал такое большое место в жизни, да и в моем представлении, что мне было даже как-то странно видеть их так близко перед собою в самых обыкновенных костюмах и ботинках, в самой обычной обстановке.

Неужели же этот невысокий, добродушный человек с маленькими, лукаво прищуренными глазами, с волнистой шевелюрой и подстриженной клинышкой, слегка седеющей бородкой — и в самом деле Илья Ефимович Репин? Ведь если бы я встретил его на улице в этой же самой мягкой шляпе и в крылатке, мне бы и в голову не пришло, что передо мной знаменитый на всю Россию художник. Скорей уж он похож на слушающего земской управы или на нашего острогожского библиотекаря.

А вот строгий, длиннобородый, остро и сосредоточенно поглядывающий на своих собеседников сквозь двойные стекла очков Римский-Корсаков. Волосы его щеткой стоят над высоким лбом, сюртук наглухо застегнут. Со мною он сдержанно учтив и приветлив, но я все-таки почему-то немножко побаиваюсь его, почти как директора нашей гимназии.

Гораздо проще держится большой, грузный, смущенно улыбающийся Глазунов. У него тяжелые плечи, короткая шея, а косой разлет бровей и небольшие, опущенные книзу усы придают лицу что-то монгольское.

Стасов за глаза любовно называет его «Глазун».

Почти у всех в Стасовском кружке свои домашние, ласковые прозвища.

Я еще не знал музыки Мусоргского, а уже слышал так много о «Мусорянине» или «Мусиньке», что мне казалось, будто он сам только что побывал здесь, оставив в комнатах отголоски своего громкого смеха и тепло своих рук на клавишах рояля.

В сущности говоря, квартира Стасова на Песках могла бы с полным правом называться по-нынешнему «Домом искусств» и прежде всего — музыки.

Здесь всегда были раскрыты настежь двери для старых и молодых мастеров — композиторов, певцов, пианистов, художников. Отсюда они уходили с новыми силами, а подчас и с новыми замыслами.

Я был моложе большинства этих людей лет на двадцать, тридцать, сорок, а то и на шестьдесят с чем-то, но почти все они разговаривали со мною как с младшим членом своей семьи, а не как с ребенком. От этого я как будто и в самом деле становился взрослее, свободнее, увереннее.

---

Но совсем другим казался я своим товарищам и самому себе за партой в казенных и строгих стенах гимназии, куда меня перевели по ходатайству Стасова.

Здесь я был школьником, да еще и новичком среди тридцати мальчиков, которые уже несколько лет учились вместе, дружили, дрались и вели исподтишка бесконечные войны с учителями и надзирателями. Сойтись с ними поближе было не так-то легко. Наши острогожские ребята могли подставить новичку ножку, дать ему «кобца» или «загнуть салаз-

ки», но очень скоро привыкали к нему, как волчата к приبلудному волчонку, и уже не отличали его от своих.

А петербургские мои соклассники изводили новичка еще похлеще, чем острогожцы, но и после всех испытаний далеко не сразу принимали в свою среду.

Эта столичная гимназия, просуществовавшая уже более полувека и сохранившая после недавней реформы полный курс древних языков, считалась гимназией аристократической.

В Острогожске на весь наш класс был один только князек, да и тот захудалого кавказского рода. А здесь в мое время учились и графы Шереметевы, которые очень обижались, если их фамилию писали с мягким знаком после «т», и князь Вяземский, и сын адмирала Дубасова. Впрочем, были у нас ребята и не столь знатного происхождения — сыновья профессоров, инженеров, врачей, коммерсантов, но и они по большей части при встрече с новичками напускали на себя какую-то гвардейскую чопорность и надменность.

Может быть, мне было бы легче сблизиться со своими одноклассниками, если бы мое появление в гимназии прошло незамеченным. Но наш добрейший классный наставник Вячеслав Васильевич Щербатых, имевший обыкновение свободно и по-приятельски беседовать с классом о последних новостях, счел необходимым представить меня моим новым товарищам.

Толстый и всегда благодушно настроенный, он уселся на скрипящий под ним стул и начал урок примерно такими словами:

— А у нас, господа, приятная новость. К нам переведен из провинции юный поэт, подающий, как говорят, ба-а-альшие надежды. Прошу любить его и жаловать!

Этого было вполне довольно, чтобы я стал мишенью для нескольких самых заядлых гимназических остряков. Выражение «подающий большие надежды», почему-то показавшееся им очень забавным, повторялось несколько дней на все лады. Меня так и звали: «подающий большие надежды» или даже просто «подающий». К счастью, эту кличку скоро забыли.

Гимназия, как и казарма, не терпит ничего нарушающего общий строй. А я выделялся из всего класса не только тем, что сочинял стихи, но и своим внешним видом. Гимназическая форма, которой когда-то при поступлении в острогожскую гимназию я так радовался, сильно отличалась от столичной. Да к тому же мой форменный костюм был далеко не первой молодости: блестящие пуговицы, которыми застегивался косой ворот моей серой блузы, давно пожелтели, кожаный пояс потрескался, а из брюк я уже порядком вырос.

В довершение всего я был в то время не по возрасту мал и худощав. (Только впоследствии, уже на границе юности, догнал я своих ровесников и ростом и шириною плеч.) Среди новых моих соклассников, в большинстве своем бойких, плотных, хорошо упитанных мальчиков в черных брюках и в ладных черных куртках, туго стянутых в талии лакированными поясами, я чувствовал себя одиноким и беззащитным, как в те далекие дни, когда впервые встретился с буйными босоногими мальчишками в Острогожске на Майдане.

Еще больше отличался я от столичных гимназистов на улице или на школьном дворе. У них были голубовато-серые, почти офицерские шинели, а на фуражках красовались очень маленькие, изящные гербы из какого-то металла, похожего на матовое серебро.

Какой нескладной, будто дубовой, казалась мне теперь моя шинель грубого, шершаво-серого сукна. Каким нелепым и неуклюжим был огромный герб на моей помятой фуражке!

Правда, через неделю-другую меня одели по форме, но в первые дни я выглядел рядом с моими щеголеватыми петербургскими товарищами каким-то очень невзрачным провинциалом.

А ведь всего только несколько недель тому назад — на платформе Острогжского вокзала и в грохочущем, уносящем меня на север поезде — я уже воображал себя настоящим, коренным петербуржцем.

Впрочем, этот великолепный город не казался мне чужим и теперь, когда по праздникам или после уроков я бродил по его прямым и широким проспектам или сидел на гранитной скамье в полукруглом выступе ограды над Невой.

И только в гимназии я все еще оставался новичком — и для товарищей и для всех учителей, начиная с молодого, только что выпущенного из Парижа француза, весело поблескивающего стеклами пенсне, и кончая старым, желчным учителем греческого языка Цинзерлингом.

В Острогжске я несколько лет шел в классе первым, и даже самые придирчивые из учителей обращались со мною уважительно и учтиво, редко беспокоили меня вопросами и того реже вызывали отвечать урок. А здесь у меня еще не было сколько-нибудь установившейся репутации, и заработать ее мне было трудновато: из-за переезда я отстал от класса, да и учебники, за исключением одного-двух, были в петербургских гимназиях другие.

Первым учеником считался тут большой и очень толстый мальчик с круглой головой, гладко причесанной на косой пробор, — Ваня Передельский. Он был сыном какого-то выслужившегося чуть ли не из нижних чинов генерала.

Я слушал, как обстоятельно, плавно и красноречиво отвечает он на все вопросы учителей, и невольно думал о том, что Владимир Иванович Теплых, пожалуй, не одобрил бы ни его усердия, ни красноречия.

Вероятно, у него и в самом деле были все основания числиться первым учеником — незаурядные способности, отличная память, редкая усидчивость. Но учителя гимназии, пожалуй, больше ценили в нем другие качества: он казался таким положительным, степенным, воспитанным. Его легко можно было представить себе будущим прокурором или докладчиком в сенате, а может быть, профессором, выступающим с лекцией перед большой аудиторией. Для этого ему даже не надо было меняться — разве только дать установиться еще ломающемуся голосу.

Такой примерный ученик был как нельзя более под стать всей этой классической казенной гимназии, где среди учителей не было таких ископаемых, как Сапожник — Антонов, но зато нельзя было найти и молодых, пылких, только что со студенческой скамьи педагогов нового типа вроде Поповского.

Впрочем, бывали здесь и по-настоящему образованные, заинтересованные в своем предмете учителя, оставившие по себе добрую память. Многие поколения гимназистов с благодарностью вспоминали латиниста Реймана. До сих пор я четко вижу перед собой чистенького, седенького старичка на кафедре, слышу его спокойный, ровный голос, вспоминаю приветливый, внимательный взгляд из-под золотых очков. С незапамятных времен преподавал он в этой сугубо классической гимназии древние языки, не теряя терпения даже тогда, когда ученики варварски искажали эллинскую и латинскую речь. По душе нам был и географ Николай Федорович Арефьев, человек спокойный и рассудительный. Несмотря на свой форменный вицмундир, он не был чиновником и не сводил географию к перечню островов и полуостровов, заливов и проливов. На уроках он охотнее рассказывал сам, чем вызывал нас, и во время объяснений читал нам целые страницы из дневников экспедиций и записок путешественников. И уже совсем ничего казенного не

было в Павле Григорьевиче Мижуеве. Автор книг о Новой Зеландии, сотрудник передовых толстых журналов, он почему-то преподавал у нас немецкий язык.

Однако же не эти учителя задавали в гимназии тон. Вместе с древними языками она сохранила в полной неприкосновенности свой сложившийся за полвека чинный порядок, от которого веяло холодом.

Нашего директора, строгого и суховатого Шебеко, дослужившегося до первого генеральского чина, мы редко видели во время уроков, а когда он появлялся в коридоре на одной из перемен, гимназические надзиратели мигом водворяли тишину в классах на всем пути его следования.

И все-таки, несмотря на дисциплину, которой славилась гимназия, ребята позволяли себе здесь иной раз такие проделки, какие и не снились самым отчаянным головорезам в Острогжске.

Чаще всего это бывало на уроках «грека» Роберта Августовича Цинзерлинга, с которым гимназисты вели ожесточенную войну в течение целых десятилетий. Он подозревал своих учеников во всех смертных грехах, а они, в свою очередь, всей душой ненавидели его геморроидально-поджарую фигуру, его узкую, длинную, прямоугольную бороду, которую он то засовывал куда-то под воротник, то с трудом вытаскивал наружу. Невозможно сосчитать, сколько единиц и двоек наставил он на своем веку в классных журналах и сколько воды и лампадного масла было подмешано в его чернила.

В гимназии ходили легенды о тех бесконечных «розыгрышах», которые устраивали Цинзерлингу его щедрые на выдумки ученики. Рассказывали, будто однажды старшекласники, сыновья состоятельных родителей, в складчину заказали для Роберта Августовича в самом богатом бюро похоронных процессий пышный катафалк с вереницей траурных карет и целой армией факельщиков в черных ливреях и цилиндрах. У наших острогжцев не хватило бы на такую затею ни денег, ни дерзости.

Говорят, что Цинзерлинг и в самом деле чуть не умер от ужаса и злости, когда увидел у себя под окнами черных лошадей, мерно покачивающих траурными султанами, а потом услышал из передней незнакомый торжественно-печальный голос, возвещающий о прибытии погребальной колесницы.

---

Шел месяц за месяцем, а я все еще не мог привыкнуть к новой гимназии. Каждое утро, подходя к ее дверям, я невольно сравнивал с ней свою прежнюю — острогжскую. Та стояла в городе особняком, за белой каменной оградой. Окна ее с одной стороны выходили на просторный двор, с другой — противоположной — смотрели в городской сад.

А здание нашей петербургской гимназии с виду ничем не отличалось от соседних, примыкающих к нему домов. Такой же фасад в несколько этажей, такой же сумрачный парадный подъезд с темно-коричневой дубовой дверью и с бородатым швейцаром в длинной ливрее. Правда, эта гимназия была несравненно лучше обставлена, ее библиотека, физический кабинет и гимнастический зал значительно богаче; ее паркетные полы блестели гораздо ярче, и завтракали мы здесь не в классах и не в коридоре, а в специальной столовой, где служители в форменных сюртуках неторопливо обходили длинные столы, накрытые скатертями, предлагая каждому из нас по очереди блюдо с кушаньем.

И все же мне было здесь как-то неуютно — может быть, потому, что я попал в класс, где давно уже установились отношения и репутации, да при этом еще начал ходить на занятия среди учебного года.

Казалось, будто на какой-то промежуточной станции я вскопчил в поезд, где все уже успели удобно устроиться, перезнакомиться между собой и с неудовольствием встречают нового, неожиданного пассажира.

Сильнее всего я чувствовал свою отчужденность, когда кончался школьный день и гимназисты наперегонки устремлялись к выходу.

Из ворот острогожской гимназии мы почти всегда высыпали целую гурьбой и долго провожали один другого до дому, перепрыгивая то через канаву, то через тумбу и болтая обо всем, что только взбредет на ум или попадет на глаза.

Особенно много провожатых бывало у меня, так как по дороге я обычно рассказывал товарищам какую-нибудь выдуманную тут же на ходу историю, которая у моих соклассников называлась «суматохой».

— А ну, Маршак, рассказывай дальше свою «суматоху!» — торопил меня самый постоянный из моих слушателей, добрый, мечтательный Костя Зюус.

Такое название дали моим устным рассказам потому, что первая выдуманная мною история начиналась словами: «Суматоха-страшная...»

Из подъезда петербургской гимназии я выходил один. Да и другие мои соклассники чаще всего расходились порознь. За одними присылали щегольскую коляску с важным, толстым кучером на козлах, другие нанимали на углу извозчика или шагали до ближайшей конки пешком.

Я добирался до родительского дома на двух конках. Одна везла меня по Литейному и Загородному, другая — по бесконечному Забалканскому через Обводный канал, мимо двух огромных железных быков, стоявших перед городскими бойнями, мимо пустынного Горячего поля, на котором ночевали питерские золоторотцы.

Несколько оживленнее становилось наше путешествие перед Обводным каналом. Здесь в тяжелую двухэтажную конку на помощь клячам впрягали пару более резвых запасных лошадей. Эта процедура сопровождалась обыкновенно криком, свистом, звонким шелканьем кнута.

Дребезжа, громыхая и позванивая на ходу, конка добиралась наконец до Московских ворот. Тут лошадей впрягали и переводили на противоположную сторону вагона, так что задняя его площадка становилась передней. После этого конка пускалась в обратный путь, а я, потуже подтянув ремни ранца, шагал по высокой деревянной панели в три доски к Путилову мосту.

Здесь со всех сторон обступал меня тот третий мир, который открылся мне в Петербурге наряду с первыми двумя — гораздо более благоустроенными.

Эта питерская окраина, будничная и деловитая, чем-то напоминала те пригороды, предместья, слободки, в которых протекало мое провинциальное детство. Правда, дома здесь были чаще всего двухэтажные, а по сторонам улиц, вымощенных крупным крутолобым булыжником, тянулись водосточные канавы с переброшенными через них мостками и дощатые панели.

Но тот же озабоченный, скудный, суровый быт чувствовался во всем. Здесь люди так же рано просыпались, так же много работали, так же лпьяно гуляли по праздникам. И лавки, насквозь пропахшие сеledкой, керосином, карамелью и огуречным рассолом, были почти такие же, как на Майдане.

Да и квартира, где поселилась наша семья, мало чем отличалась от всех прежних квартир, в которых мы жили в провинции. Вопреки надеждам и обещаниям отца, она была неприглядна и неудобна. Маленькие, тесные комнатки в первом этаже деревянного флигеля, затерянного в глубине густо заселенного двора; низкие окна, в которые может за-

глянуть любой прохожий; дощатые некрашенные полы... Зато у моих младших сестер и брата полон двор подруг и товарищей, с которыми можно играть с утра до вечера в колдуны, в золотые ворота, в палочку-стукалочку и прятаться в закоулках полуразрушенного дома, как мы со старшим братом прятались когда-то в развалинах заброшенного здания на острогожском дворе.

---

Я возвращался из гимназии уже под вечер. В столовой горела знакомая мне с давних лет висячая лампа под белым абажуром, отбрасывая на середину стола светлый круг. По кругу, как по поверхности воды, все время ходила легкая рябь от еле заметной дрожи заключенного в ламповом стекле огонька.

В этой единственной освещенной комнате коротала вечер вся наша семья. Примостившись у нагретой печки, шила, вязала или штопала мать, а младшие дети — две сестренки и меньшой брат — сидели у стола, каждый со своей книжкой. Кто читал про себя, кто шепотом, но все были одинаково захвачены чтением. Забавно и трогательно было смотреть со стороны, как эти маленькие читатели, из которых старшим было одиннадцать и девять лет, а младшему — семь, подперев щеки кулаками, водят глазами по строчкам, ничего не замечая вокруг. Старшая сестра озабоченно хмурит лоб, другая плачет над своей книгой, а брат так и подпрыгивает на стуле и громко хохочет: он в первый раз читает «Приключения Макса и Морица».

Одного только отца нет дома. Он еще на заводе.

Завод, на котором служил теперь отец, был значительно больше прежних. Но и здесь люди работали чуть ли не с самого рассвета до темна, и все делалось вручную. На высокий деревянный помост, охватывавший со всех сторон огромный котел, рабочие вкатывали тяжело груженные тачки и носили ушаты со щелоком.

В котле бурлило, как море, обдавая людей острым, горячим дыханием, жидкое синее мыло. Сверху оно было похоже на пышное атласное, шитое из лоскутьев разного оттенка одеяло. Когда мыло начинало вздвигаться и брызгать едкой пеной, рабочие помешивали его длинными железными шестами, а мастер — мой отец — то и дело брал деревянной лопаточкой пробу. Для этого ему приходилось подниматься по железной отвесной лесенке, которая вела с помоста к самому краю котла. Рыжее его пальто, щеки, брови, усы, бородка клинышком, даже очки — все это было в белых налетах застывшего мыла. Сквозь густые мыльные пары трудно было при входе сразу различить людей на помосте.

Я смотрел на отца, берущего пробу, и с тревогой думал о том, как легко потерять равновесие на скользких от налипшего мыла ступеньках.

Гораздо легче дышалось и веселее шла работа в цеху рядом, где худощавый и усатый Василий Иванович Простов, бывший унтер-офицер лейб-гвардии полка, резал еще не вполне затвердевшее «мраморное» или «кокосовое» мыло тонкой проволокой, а его сподручные, оборванные, вихрастые подростки с Горячего поля, проворно, как заправские фокусники, заворачивали куски мыла в бумагу с печатью фирмы и складывали в ящики. Работали они сдельно и потому не теряли времени зря. Но стоило Василию Ивановичу отвернуться, как фунт мыла, а то и целый брусок мгновенно исчезал у кого-нибудь из них за пазухой. При выходе с завода их частенько обыскивали, но они только ухмылялись, когда из-под рубахи у них вытаскивали кусок разогретого и слегка

размякшего мыла. Терять им было нечего: их выгоняли, а через несколько дней брали снова, если нужны были руки.

Я с любопытством разглядывал этих столичных жителей, бесшабашных, вороватых, грязных, голодных, битых, живущих на птичьих правах и никогда не унывающих. До приезда в Питер я таких не видывал. Завести с ними разговор мне никак не удавалось — они только шмыгали носом, передергивали плечами да перемигивались между собой. Я пытался расспрашивать о них Василия Ивановича Простова, но он отделился только короткими отрывистыми фразами:

— Да что тут говорить! Шатуны. Погиблый народ. Голо, босо, беспоясо.

И однако же он обращался с этими лукавыми, озорными оборванцами по-человечески. Делился с ними махоркой, давал им в долг без отдачи пятиалтынный или двугривенный, если они еще не успевали заработать на обед, хоть сам еле дотягивал до ближайшей получки. Впрочем, по крайней мере половину своего заработка он пропивал. Пил главным образом по воскресеньям, а иной раз прихватывал и понедельник. В остальное же время был хмур, серьезен и работал аккуратно, как машина.

Каждое воскресенье, перед тем как выбить ладонью пробку из первой сороковки, он долго и тщательно чистил свои сапоги и праздничную черную «тройку», хоть никуда в этот день не собирался.

— И зачем только ты пьешь, Василий? — спрашивал я его.

— А что же еще холостому человеку в праздник делать?

— Ну почитал бы книжку, что ли. Ведь ты же грамотный!

— К чтению, милый человек, привычка нужна, а я только мыло резать привычен. Во сне и то режу.

— А хочешь, я тебе что-нибудь почитаю? — предлагал я и, усевшись на ящик от мыла, принимался читать ему вслух «Севастопольские рассказы» Толстого. — Да ты слушай! Это тебе как военному человеку интересно будет!

Страницу-другую он еще выдерживал, а потом его черная с проседью, коротко остриженная голова начинала опускаться все ниже и ниже.

Я обиженно умолкал, а он, встрепенувшись, будто его застали спящим на посту, смущенно оправдывался:

— Прошу прощения! Да только не в коня корм. Говорил же я тебе, что не приучен книжки читать, а приучаться уже поздно.

Почти так же отвечал он, когда кто-нибудь спрашивал, почему он не женится.

— Оpozдал малость. Для семейной жизни, братец, время нужно иметь. Ну и средствá тоже!

Мне почему-то очень нравился этот одинокий, суровый, всегда подтянутый человек, даже в нетрезвом виде не теряющий степенного достоинства.

Зря он слов не тратил, и только его слегка насмешливые черные глаза из-под нахмуренных бровей, гвардейские усы да глубокие, резкие складки вдоль щек говорили о пережитых им годах военной службы и о десятке лет фабричного труда, оставлявшего так мало досуга, что его и девать было некуда.

Это был первый питерский рабочий, с которым мне довелось познакомиться за Московской заставой. Завод этот был довольно захудалый, и его немногочисленные рабочие стояли в стороне от кружков, которых было уже тогда немало на крупных заводах Питера.



## 16. Новые товарищи

Не всегда по окончании уроков я сразу же возвращался домой за Московскую заставу.

Когда погода казалась подходящей, — а она часто казалась мне подходящей, потому что я любил и ветер с Невы, и летящие вдоль аллея Летнего сада осенние листья, и легкие звездочки сухого снега, и крупные хлопья влажного, — я отправлялся бродить по городу.

Стоя перед памятником Петра или у сфинксов, спокойно лежащих друг против друга над каменными, полого спускающимися к реке ступенями, я старался одним взглядом охватить бегущие по небу рваные облака, ширь Невы и строгие линии гранитных набережных. И мне казалось, что я уже не школьник, не подросток, только что вырвавшийся из тесно уставленного одинаковыми партами класса, а и в самом деле поэт, на чью долю выпало счастье видеть перед собою величавые дороги, по которым шла и до сих пор идет история.

Вскоре для моих прогулок нашелся спутник. Как-то незаметно у меня завязалась молчаливая дружба с одним из моих соклассников, сыном художника, Баулиным. Белокурый и очень бледный, словно вылепленный из воска, Баулин был неутомимым пешеходом и отлично знал город. Скоро, безо всякой просьбы с моей стороны, он стал для меня неизменным и незаменимым проводником по питерским улицам, закоулкам, мостам и набережным каналам.

Это он впервые показал мне Новую Голландию с великолепными, огромными воротами, через которые мог пройти по водной дороге многопарусный корабль.

Он научил меня видеть деловитую прелесть петровской архитектуры и в маленьком двухэтажном дворце, примостившемся в углу Летнего сада между Фонтанкой и Невой, и в двенадцати звеньях университета, напоминающих о том, что это здание было когда-то построено для «двенадцати коллегий».

Вдвоем мы прошли с ним немало верст по Петербургу. Как бы ни был занят мой новый товарищ — рисовал ли он или читал какую-нибудь книгу по искусству, — он никогда не отказывался отправиться со мною нешком в Гавань или на Острова.

Подчас мне было трудно угнаться за ним. Легкий, не знающий устали, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, он с малых лет привык шагать по бесконечным проспектам этого широко раскинувшегося города, а мне еще так недавно расстояние от Острогжска до нашего пригородного Майдана или до железнодорожной станции казалось непомерно большим.

Изредка бывал я у Баулина дома. Это был необычный дом. В маленьких, светлых комнатах уютно и спокойно разместились на стенах картины, гравюры, лубки, старинные иконы. В невысоких шкафах стояли за стеклом фарфоровые и костяные фигурки — танцовщицы, пастушки, солдаты в киверах, китайские уличные торговцы со своими корзинами и жаровнями. А у противоположной стены на дубовых полках громоздились большие, тяжелые книги.

Мы снимали с полки один том за другим и, усевшись в углу дивана, принимались осторожно перелистывать огромные страницы, рассматривая собрания русских, итальянских, французских, испанских картин. Многие из них мы уже видели в Эрмитаже или в Русском музее — тогда он назывался Музеем Александра III, — и узнавать их было особенно интересно.

В этом путешествии по книгам и альбомам Баулин тоже был моим проводником, как и в странствованиях по городу. Он знал чуть ли не

каждую страницу и, не пускаясь в долгие объяснения, обращал мое внимание на самое характерное для каждого художника и его времени.

Казалось, во всем доме мы одни. Но вот кто-то тихо стучится к нам в дверь и, слегка приоткрыв ее, протягивает Баулину поднос с двумя стаканами чая и мягкими, еще теплыми, напудренными белой мукой калачами. Значит, взрослые дома, но только не хотят стеснять нас.

Я чувствовал себя здесь спокойно и свободно, и каждый раз мне было жалко расставаться с Баулиным, с его картинами, книгами и причудливыми фигурками в прозрачном шкафу.

Этот первый мой петербургский товариш и тихая, строгая обстановка квартиры, где он жил, навсегда неразрывно связаны в моей памяти с городом, который я в те дни по-настоящему узнал и полюбил.

---

Полной противоположностью дому Баулиных был другой дом, не менее для меня привлекательный, куда я попал совершенно случайно.

Как-то на империале конки, который шуточно называли в те времена «верхотурой», моим соседом оказался рослый и худощавый гимназист. Слово за слово, мы разговорились. Он был уже в последнем классе и всеми своими повадками напоминал прежних моих приятелей — острогожских старшекласников. Держался он так же серьезно и просто и, несмотря на свою гимназическую фуражку, производил впечатление вполне взрослого, положительного, думающего человека, хоть ни в малейшей степени не пытался казаться старше своих лет, как многие из моих теперешних товарищей по классу.

За полчаса нашего путешествия на «верхотуре» мы успели не только познакомиться, но даже и подружиться. Под звон, грохот и дребезжание конки он рассказал мне, что больше всего на свете интересуется ботаникой и уже твердо решил пойти на естественный факультет университета, а я, еще не решаясь признаться, что пишу стихи, сказал ему о своем пристрастии к поэзии.

В этой области он был не слишком сведущ и, кроме Пушкина и Лермонтова, знал, кажется, одного только Некрасова.

На прощание мой новый приятель, Володя Алчевский, посоветовал мне непременно прочесть замечательную книгу Тимирязева «Жизнь растения», дал свой адрес и, уже спускаясь по крутой железной лесенке, крикнул:

— Обязательно приходите!

В первое же воскресенье я отправился к нему в гости, на Выборгскую сторону, в один из корпусов Военно-медицинской академии.

Среди многочисленных флигелей, в которых помещались клиники и лаборатории, я с трудом отыскал квартиру Алчевских и уже из передней услышал громкие молодые голоса и смех.

— У вас гости? — смущенно спросил я у моего приятеля, отворившего мне дверь.

— Да нет, все свои, — успокоительно ответил Володя. — А что, шумно очень? Это у нас всегда так. Заходите, не стесняйтесь!

Я переступил порог и очутился в большой, низкой комнате со старинными окнами в глубоких проемах. На столе кипел самовар, а за столом сидела целая компания молодых людей, на первый взгляд очень похожих друг на друга. Чай разливала пожилая женщина, сидевшая в кресле на колесах, а напротив нее читал газету сухощавый, сутуловатый, почти седой человек в старенькой военной тужурке без погон.

С первой же минуты меня встретили здесь как доброго, старого знакомого. Навстречу мне, одна за другой, протянулось из-за стола несколько сильных, твердых, крупных рук.

Мой приятель Володя был в этой семье самым младшим. Все его братья были уже студентами: один — медик последнего курса с двумя косыми серебряными полосами на погонах, двое универсантов в серых куртках с темно-синими петлицами и двумя рядами золоченых пуговиц, четвертый — «лесник» с блестящими вензелями на темно-зеленых бархатных погончиках.

Никогда в жизни я еще не видел за одним столом так много студентов. И даже их родители держались как-то по-студенчески, очевидно сохраняя привычки той поры, когда отец был таким же студентом-медиком, как его старший сын, а мать, прикованная теперь болезнью к своему глубокому креслу, бегала на курсы, стриженная, в накинутом на плечи клетчатом пледе.

В этот день вся семья была в сборе.

За столом сидели долго, курили, шутили, спорили о политике, о статьях в последнем номере научного журнала. В спорах на равных со всеми правах участвовал и Володя. Но, пожалуй, самым горячим спорщиком был здесь отец, ничуть не обижавшийся, если его на полуслове перебивали сыновья.

Только впоследствии я узнал, что этот седоватый человек — один из самых популярных в студенческой среде преподавателей, любимец молодежи, ее неизменный друг и защитник.

Говорили, что в молодости он был так похож всем своим внешним обликом на Виссариона Белинского, что даже позировал художнику для известной картины, изображавшей больного Белинского в минуту, когда за порогом его комнаты появляется усатый жандарм.

С того времени, как была написана эта картина, отец моего приятеля успел порядком измениться. Но и сейчас еще, если только он бывал чем-нибудь задет за живое, тронут или возмущен, в его впалых щеках и утомленных, будто через силу поднятых веках можно было уловить это почти утерянное сходство.

После первого знакомства я не раз бывал в доме у Алчевских. Приходил я не только к Володе, а именно «в дом», потому что меня с одинаковым радушием встречали здесь и отец, и мать, и братья-студенты, такие решительные и резкие в своих суждениях, но, в сущности, очень простые и славные парни. Студенты просвещали меня, каждый по своей специальности. Но, кроме того, я узнал здесь, что слово «литература» означает иногда нелегальные издания, и впервые услышал о существовании газеты «Искра», издающейся за границей.

### 17. «Книгохранилища, кумиры и картины»

Пожалуй, эти годы на рубеже отрочества и юности — девятьсот второй, третий, четвертый — были одними из самых счастливых лет начала моей жизни.

Петербург, который я на первых порах увидел как бы «с черного хода» — с грязного, мрачного, оглушительно-шумного третьего двора на Забалканском проспекте, повернулся ко мне парадной своей стороной.

Я учился в гимназии, которая считалась одной из лучших в городе, а в свободное время передо мной были широко открыты двери великолепного книгохранилища, где изо дня в день шла исторопливая, сосредоточенная работа над сухо шелестящими страницами рукописей и тяжелыми фолиантами в темной коже, но где был и такой уголок, куда, прерывая на час-другой размеренное течение обычных занятий, бурно вторгался сегодняшний день со своими толками, шутками, спорами, но-

востями и находками. В сущности, это было тоже работой, может быть, не менее важной, чем изучение рукописей, гравюр и толстых фолиантов.

У большого письменного стола в узкой комнате, образуемой высокими шкафами и стендами, шел оживленный разговор о вчерашнем концерте Гофмана, о гастролях московских «художников» (так называли тогда в Петербурге молодой Художественный театр), о русском многоголосом пении, о вологодских кружевах или о последних лихих статейках нововременских критиков Иванова и Буренина, которым обязательно нужно дать немедленный и решительный отпор.

Кого только не видел я на этой стасовской дозорной вышке! Вот неторопливо, но бодро входит старичок генерал в полной форме с аксельбантами. Золотые очки и прямоугольно подстриженная борода с густой проседью придают ему ученый, профессорский вид. Глядя на его темно-зеленый сюртук с блестящими широкими погонами, я пытаюсь угадать, что привело этого генерала в художественный отдел Библиотеки.

— А я опять к вам нынче с просьбой, Владимир Васильевич,— говорит генерал.

— Цезарь не просит, а повелевает,— с веселой готовностью отзывается Стасов, и я сразу же догадываюсь, что старичок в аксельбантах — это композитор и музыкальный критик Цезарь Антонович Кюи из той «Могучей кучки», о которой мне рассказывал Владимир Васильевич.

Не помню, о чем он просит Стасова. То ли ему нужны какие-то материалы для новой оперы, то ли редкостная книга по искусству, но не успевает он проститься с хозяином этого книжного заповедника, как уже на смену ему, легко ступая и шелково шурша на ходу, является дама в душистых мехах и в большой шляпе с пышными, кудрявыми перьями. Известная пианистка, она сама привезла Владимиру Васильевичу билеты на свой концерт, а так как я оказываюсь тут же, то и мне достается билет — да еще с такой блистательной, ласковой улыбкой в придачу.

Точно в театре, мне любопытно смотреть, как эта нарядная женщина, не переставая болтать, стягивает с руки тесную перчатку, как усаживается в кресло, заботливо и ловко расправляя вокруг себя складки платья, а Владимир Васильевич шутливо и почтительно склоняет перед ней свою крупную седую голову и целует ей обе руки по очереди. А руки у нее большие, сильные, с длинными крепкими пальцами и коротко остриженными ногтями. И я уже заранее представляю себе, как эти руки взлетят над клавишами, ударят по ним и побегут, то встречаясь, то расходясь и заполняя все вокруг певучим и гулким рокотом.

Другая дама, которая приходит вслед за первой, ничуть не похожа на нее. Это издательница женского журнала и поборница женского равноправия. Поэтому на ней скромная шляпа лодочкой, крахмальный воротничок с галстучком и платье, слегка напоминающее покроем мужской костюм. Это не мешает ей задорно и кокетливо смеяться, оживляя деловой разговор приправой из самых свежих новостей.

Ее беседу с Владимиром Васильевичем прерывает какой-то почтенный библиограф, весь заросший густым, сивым волосом — бровями, усами, бородой. Лица его почти не разглядишь сквозь дебри этой буйной растительности. Она даже мешает ему говорить, и Владимир Васильевич внимательно и напряженно слушает его, приставив ладонь к ушной раковине.

Мне давно пора уходить, но так интересно видеть эту смену разнообразных, новых для меня людей, что я никак не решаюсь покинуть удивительную комнату, которая, словно магнит, притягивает к себе археологов, музыкантов, художников, литераторов, артистов...

А какой неожиданный мир открылся для меня в огромном, великолепном здании Академии художеств на Васильевском острове!

Несколько раз, со своей обычной щедростью и готовностью подарить другим все, что ему самому дорого, приводил меня сюда Владимир Васильевич — сначала в библиотеку, где хранились акварели, рисунки и офорты замечательных русских мастеров, а потом и в мастерские своих друзей художников.

Вскоре я и здесь почувствовал себя так же свободно, как в Публичной библиотеке. Я приходил сюда обычно не со стороны Невы, не с главного подъезда, над которым возвышались колонны и статуи, а через боковую дверь с Четвертой линии. В сумрачном, высоком коридоре было прохладно и пахло пылью. По сторонам стояли огромные гипсовые статуи античных богов и богинь. Сгибы мощных рук, складки туник, крутые завитки кудрей и бород были словно обведены серо-коричневой тенью давно скопившейся пыли. От пыльного налета у богов и богинь потемнели носы и округлые выступы мускулов.

Так неожиданно и странно было попадать из этого мрачного и холодного коридора прямо в мастерские художников. Сколько света и цвета бросалось в глаза, едва только вы переступали их порог.

Я был еще подростком и, в сущности, очень мало понимал, что представляли собой живописцы или скульпторы, работавшие в этих мастерских. Но уж одно то, что из-под рук у них выходили картины или статуи, поражало меня свыше всякой меры. Мне так нравился запах свежей масляной краски, так интересно было следить по эскизам, как ищет и находит художник то или иное положение руки, поворот головы, выражение лица. А какой таинственной и даже страшноватой казалась мне обмстанная мокрыми тряпками глиняная фигура в мастерской скульптора! С жадным и тревожным любопытством смотрел я, как постепенно освобождается она от тяжелых влажных пелен, и вот уж перед глазами у меня встает небольшая, стройная фигура, в которой, тем не менее, угадывается огромный рост и повелительная сила человека в преображенной треуголке и с тростью в руке. По страстной напряженности круглых, почти выступивших из орбит глаз, по сжатым губам и туго обтянутым скулам я сразу узнаю Петра. И так странно, что мягкая, зеленоватая глина, пористая и сырая, приняла этот строгий, величавый образ.

А рядом с мастерскими у художников обычно были свои маленькие приемные. После яркого света мастерской, ее суровой наготы и деловитости эти маленькие комнатки казались такими жилыми и уютными. Тут стояли на столе цветы, на полу был разостлан ковер, на кресле валялась гитара. Сюда приходили друзья художника, острили, спорили, рисовали карикатуры.

Эта просторная, всегда приподнятая жизнь, где не было границ между истовым, страстным трудом и досугом, полным мысли, юмора, изобретательной выдумки, казалась мне необыкновенно счастливой.

Запомнилась мне еще одна мастерская — уже не в здании Академии художеств, а в сосновом финском лесу. В яркий зимний день мы поехали с Владимиром Васильевичем к Репину. Маленькая, рыжая лошадка со светлым хвостом и такой же гривой так бойко бежала по накатанной дороге среди высоких сосен, будто она вовсе и не лошадь, запряженная в санки, а какая-то вольная лесная зверушка, которая бежит по своему делу и по своей охоте, радуясь солнцу и морозцу.

Странная вещь — память. Я не помню, какие гости были у Репина в тот день, о чем шли разговоры, но запомнил нашу поездку так, словно это было вчера. До сих пор вижу со всей яркостью игру сине-золотого зимнего света на стеклянных выступах — верандах, балконах, вышках — репинской дачи. Вижу, как заглядывают со всех сторон в окна его ма-

стерской деревья и кусты, отягощенные хрупким, пышным грузом свежего снега, сверкающего искрами на солнце и голубого в тени.

Все здесь какое-то необычное. Я еще никогда не видел такого дома со множеством пристроек, внутренних лестниц, открытых и закрытых балконов, никогда не видел такого сада, где причудливые беседки разбросаны среди рослых, строгих сосен и заснеженных древних валунов.

Да и сам Репин здесь совсем не тот, что в городе. Он праздничный, благодушный, тихий. На нем финская меховая шапка-ушанка, теплая куртка, поверх которой наброшен плащ, пестрые узорные рукавицы. Кажется, будто он всю жизнь провел среди этих сугробов, камней, сосен и знает язык зверей, валунов и деревьев.

Так хорошо, вволю набродившись по морозному лесу, стряхнуть у порога снег и войти в уютное тепло этого причудливого деревянного дома, а потом, примостившись в углу мастерской, смотреть, как тонкая, легкая рука Репина набрасывает на лист картона знакомые черты Владимира Васильевича, белого и величавого, как зима за окном.

За работой Репин рассказывает Стасову что-то смешное — насколько мне помнится, про какого-то своего ученика, которому он с великим трудом достал билет на концерт Шаляпина.

— И что же вы думаете? Парень ровно ничего не слышал, потому что весь вечер был занят очень важным делом: рисовал затылки сидящей впереди публики. Ну кому нужны эти затылки и как можно было променять Шаляпина на чьи-то лысины, которые так легко увидеть в изобилии на любом концерте несравненно менее талантливого артиста. А ведь он еще думал, что я похваляю его за такое усердие!

Мы приехали к Репину в среду — в единственный день недели, когда он принимал гостей и позволял себе отдохнуть от работы.

Но вот ему подают — не помню уже что — письмо или телеграмму из города. Один из его почитателей, которому какие-то обстоятельства помешали побывать в Куоккала в этот день, просит позволения приехать завтра.

Я не узнаю нашего радушного и тихого хозяина. Он весь багровеет — даже уши и шея у него залиты густой краской.

— Да что же это такое? Уж если он сам бездельник, так, верно, думает, что и другим делать нечего. Нет, благодарю покорно! Не успел в эту среду, милости просим в следующую!..

И отведя душу, он сразу успокаивается и опять становится таким же, как был, — добродушным, спокойным, чуть задумчивым, чуть лукавым.

---

Публичная библиотека, Академия художеств, театральные и концертные залы, какие до приезда в Питер мне даже и во сне не снились, — все это так захватывало меня, что поздно вечером от избытка впечатлений мне трудно было уснуть.

Подумать только! После незатейливых любительских спектаклей в острогожском городском театре, куда я так редко проникал, с трудом раздобыв полтинник и рискуя попасться на глаза гимназическому начальству, мне — словно по волшебству — открылся доступ в самые знаменитые петербургские театры, где играли Варламов, Давыдов, Савина, Комиссаржевская. Я сидел здесь не на галерке, а в партере и чувствовал себя полноправным зрителем в этом нарядном, бархатном, блещущем позолотой и хрусталем зале, который то погружался в мягкий полумрак, когда начиналось действие, то вновь озарялся сотнями огней во время антрактов.

Но, пожалуй, всего этого было чересчур много для подростка, попавшего в столицу из тихого уездного города. Жадно, без оглядки отдавал-

ся я всем разнообразным впечатлениям, можно сказать, захлебывался ими и не понимал, почему так озабоченно хмурится отец, когда я рассказываю ему о том, где побывал и кого видел.

Почему-то его, человека таких широких интересов, теперь больше всего занимало одно: успел ли я догнать свой класс. Он чувствовал, что гимназия заслонена от меня другими впечатлениями, несравненно более сильными, и это не на шутку тревожило его.

По старой памяти он ожидал, что я, как и в Острогжске, стану рассказывать ему самым подробным образом обо всех учителях, товарищах по классу, о своих школьных успехах и неудачах, и его гораздо больше радовала пятерка у меня в табеле, чем известие о том, что Глазунов и Лядов написали музыку на мои слова.

Мне было жаль огорчать отца, но гимназия и в самом деле как бы отступила для меня на второй план.

Со своими одноклассниками я встречался главным образом на уроках, а все самое увлекательное, праздничное ожидало меня за стенами класса.

Да и преподаватели в этой новой гимназии уже не могли всецело овладеть моими мыслями и чувствами, хотя в большинстве своем они были гораздо более знающими и умелыми людьми, чем острогжские учителя. Но там во всем городе не было для меня никого умнее, чем Владимир Иванович Теплых или Поповский. А здесь даже самые лучшие из педагогов уступали в талантливости, яркости и широте моим новым взрослым друзьям.

Какой гимназический учитель мог бы разговаривать со мною по поводу былин или «Слова о полку Игореве» так, как Владимир Васильевич Стасов, который был одним из лучших знатоков русского эпоса и дал Бородину тему и материал для оперы «Князь Игорь»? И разве узнал бы я в гимназии о русском театре столько, сколько мог рассказать мне актер Модест Иванович Писарев, современник и друг Островского?

Каждый день приносил мне что-нибудь новое, и всему этому новому надо было найти место, связать, соразмерить с тем немногим, что я знал раньше. Я стал уставать. А так как еще из Острогжска я вывез последствия малярии, малокровие и какое-то сердечное недомогание, давно уже тревожившее моих родителей, то теперь, в пору особенно интенсивной, полной душевного напряжения жизни — да еще на переломе между отрочеством и юностью, — я стал хворать не на шутку.

С беспокойством поглядывая на меня, Стасов хмурился, качал головой и говорил:

— Надо тебя отправить куда-нибудь в теплые края — только вот куда бы?

Вскоре этот вопрос решился сам собою, да так неожиданно и чудесно, как я и представить себе не мог.

## 18. Из отрочества в юность

Это случилось в конце лета, в теплый августовский день 1904 года на даче у Владимира Васильевича.

Из года в год — более двадцати лет подряд — проводил он летние месяцы в деревне Старожиловке, близ Парголова. Там он снимал всегда одну и ту же дачу у местных жителей Безруковых. Просторный бревенчатый дом в два этажа, со стеклянной верандой в каждом, был всегда открыт для друзей. Сколько бывало здесь импровизированных концертов, литературных чтений, семейных праздников со всякими затеями —

с гирляндами флажков, цветными фонариками и прочей милой, причудливой бутафорией. Все дачники и зимогоры Старожиловки с любопытством следили за тем, что делается на этой необыкновенной даче. Бывало, во время стасовских домашних концертов множество людей собирается за оградой, прислушиваясь к звукам, вылетающим из открытых окон.

В тот день ждали гостей, которыми особенно дорожил Владимир Васильевич. К их приему готовились весело, затейливо и старательно, «не без страхов, испугов и опасений: а вдруг не придут!» — как говорил Стасов.

Все домашние принимали деятельное участие в этих приготовлениях, которые уже и сами по себе были праздником.

Среди прочих затей Владимир Васильевич надумал поднести гостям шуточный и вместе с тем торжественный адрес. На большом листе картона скульптор Гинцбург нарисовал пером дачу Стасова, а под рисунком было оставлено место для текста. Написать приветствие поручили мне — и притом в самый короткий срок, потому что до прибытия гостей надо было еще переписать текст и украсить его узорными, золотыми и алыми заглавными буквами.

Не слишком задумываясь, я живо сочинил нечто вроде величания в старинном стиле под названием «Трем богатырям». По былинному обычаю первое место занимал у меня Илья — только не Муромец, а Репин. За ним следовали новые, не былинные имена: Максим Горький и Федор Великий — Шаляпин.

Считая, что дело мое сделано, я с чувством облегчения съехал по перилам крыльца и побежал по песчаным дорожкам сада, пересеченным узловатыми корнями сосен, радуясь нежаркому августовскому солнцу и мягкому ветру, пропитанному запахом смолы и вереска. Как вдруг меня снова позвали в дом — на нижнюю веранду — и опять усадили за работу. Оказалось, что в тексте у меня пропущен еще один почетный гость — Глазунов. Как же быть? Ведь теперь уже нет времени переписать все заново. Но тут на помощь мне подоспел Владимир Васильевич. Он ободрил меня, или, как сам он выражался, «анкуражировал», и посоветовал прибавить к заголовку всего одно слово, а к тексту одну строфу.

И заглавие получилось даже занятнее, чем было: «Трем богатырям со четвертым», — а самое величание завершилось теперь строчками, относящимися к Глазунову:

Это брат меньшей, богатырь большой —  
Александр-свет Константинович!

Ничего удивительного не было в том, что я забыл упомянуть в своем приветствии одного из самых именитых гостей. Больше всего ждал я в этот день встречи с Горьким. Репина я уже встречал, и не один раз. Да и Шаляпина мне довелось видеть — правда, только издали и в том обособленном, торжественном мире, каким представлялись мне театральные подмостки.

А вот Горький бывал в Петербурге редко, и у Стасова его ждали впервые. Но имя это значило для меня больше, чем имена других гостей, которые были старше Горького и возрастом и славой. Да и слава у него была какая-то особенная. Не только то, что он писал, но и самая фигура его привлекала всеобщее любопытство, горячее восхищение или такую же страстную ненависть.

Даже Владимир Васильевич Стасов, всегда отзывчивый на все сильное и самобытное, далеко не сразу принял его. На первых порах он от-



звался о Горьком сдержанно, слегка недоверчиво. И неудивительно: это были люди различных эпох. Старик Стасов — младший современник Гоголя и Глинки, человек, который был на четыре года старше Толстого, на шесть лет моложе Тургенева и на двенадцать Герцена, — должен был проделывать большую и сложную работу, чтобы оценить стиль и направление Горького. Он прошел этот путь и вскоре стал самым усердным читателем, а потом и почитателем горьковской прозы.

Читая томики в зеленых обложках, он как будто молодел. Угощал отрывками из Горького всех приходивших к нему знакомых и незнакомых людей и говорил радостно:

— Какая силища! Какой талант оригинальнейший! Да ведь это поэт и мыслитель первостатейный — под стать Байрону и Виктору Гюго.

Я слушал Владимира Васильевича и радовался, что в споре о Горьком он заодно с молодежью. А молодежи Горький казался самым современным из всех современных писателей. Его голос был для моего поколения голосом времени — и не только настоящего, но и будущего.

И вот этот человек, о котором мы столько думали и спорили, сейчас запросто войдет сюда, поднимется по этим ступенькам и будет разговаривать, шутить, слушать музыку вместе со всеми нами. И может быть, мне удастся разглядеть в нем нечто такое, чего я еще не уловил ни в его книжках, ни в толках и пересудах о нем.

Они приехали втроем — Репин, Шаляпин и Горький. У ворот стасовской дачи затарахтели колеса финских таратаек, скрипнула калитка, и в сад вошли, весело разговаривая, не три богатыря, а три самых обыкновенных и в то же время таких необыкновенных человека.

Шутейный церемониал встречи был выполнен во всех подробностях. Шумно играли туш, если не ошибаюсь, на двух роялях. Поднесли адрес. Читать приветствие пришлось автору — самому младшему из гостей, подростку в гимназической куртке с блестящими пуговицами и резными буквами на пряжке пояса.

Меня хвалили, пожимали мне руку, обнимали. Только Горький не сказал ни слова. Да он и вообще-то был не слишком словоохотлив на первых порах и медленно вступал в общую беседу.

Я смотрел на всех троих, не спуская глаз. Репин и Шаляпин выглядели нарядно, особенно Шаляпин. Казалось, скуповатое осеннее солнце освещает его щедрее, чем всех. Так светлы были его легкие, словно приподнятые ветром волосы, его открытое, веселое, смелое лицо с широко вырезанными, как будто глубоко дышащими ноздрями и победительным взглядом прозрачных глаз. И одет он был в светлое — под стать солнечному дню. Летний костюм ловко и ладно сидел на этом красивом человеке, таком большом и статном.

Ни тени нарядности не было в облике Горького. Одет он был так, как одевается какой-нибудь железнодорожный мастер или строительный десятник. Наглухо закрытая темная куртка со стоячим воротником, брюки, вправленные в голенища мягких русских сапог. Но во всей его фигуре, сухощавой и стройной, несмотря на легкую сутуловатость, в небольшой, хорошо посаженной голове с крутым крылом падающих на висок каштановых волос, в пристальном взгляде серо-синих глаз, опущенных длинными ресницами, чувствовалась та подобранность, та целеустремленная и сдержанная сила, что придает каждому движению человека значительность, достоинство и даже изящество. Он ничуть не проигрывал рядом с великолепным Шаляпиным, а Репин и в своем праздничном светло-сером костюме казался возле него не то немножко будничным, не то чуть-чуть простоватым.

Как это часто бывало в стасовском доме, весь вечер был заполнен пением, музыкой. «каляканьем велиим» — по шутливому выражению Владимира Васильевича. И все время я невольно посматривал в сторону Горького, прислушивался к его глуховатому, окаяшему говору, примечал его особенную усмешку, подчас такую озорную и задорную, словно он затеял какую-то забавную мальчишескую каверзу.

Это был совсем не тот человек, какого мы знали по открыткам. Я предполагал увидеть мечтательно-хмурого длинноволосого юношу в косоворотке, а предо мною был зрелый, уверенный в себе человек. Все в нем было для меня неожиданно: и огромный рост, и этот глухой бас, и спокойная деловитость, с которой он говорил о современной литературе, о петербургских журналах, о новом издательстве, где он был руководителем.

Всякий раз, когда мне случалось гостить на даче в Старожиловке, дело не обходилось без чего-нибудь нового, занятного. Но такого удачного дня, как этот, на моей памяти еще не случалось. Владимир Васильевич был оживлен и приветлив, как никогда, и, должно быть, именно от этого все чувствовали себя удивительно свободно и легко.

Тяжеловесный и очень серьезный на вид Глазунов без тени улыбки рассказывал за обедом невероятную историю о том, как на улице какой-то пьяный принял его однажды за конку и даже пытался вскарабкаться на империял.

Скульптор Гинцбург, маленький, сухонький и необыкновенно подвижной человек, показывал в лицах местечкового портного за работой, извозчика-балагулу, дремлющего с вожжами в руках, спор двух старух соседок из-за яйца, которое курица снесла на чужом дворе. Помнится, для этой сцены ему понадобился платок, чтобы скрыть бородку и лысину, удлинявшую его и без того высокий лоб.

Весь этот спектакль он разыгрывал с таким юмором, изяществом, с такой тонкой наблюдательностью, что в памяти у зрителя оставался каждый жест его маленьких рук, каждое движение бровей и припущенных век. Недаром, по рассказам очевидцев, Лев Толстой, глядя на него, хохотал до слез и невольно вторил ему, то собирая морщины на лбу, то шевеля губами.

А потом пел Шаляпин. Пел щедро, много, выбирая то, что особенно любил Владимир Васильевич. Тут были такие разные вещи, как величавая, по-военному строгая и в то же время таинственная баллада «В двенадцать часов по ночам», и разухабисто-отчаянный, зловещий «Трепак» Мусоргского, а вслед за ним рубленая скороговорка «Семинариста», повторяющего без смысла и толка латинские исключения — те самые, что и мне приходилось заучивать наизусть в гимназии:

«Panis, piscis, crinis, finis,  
Ignis, lapis, pulvis, cinis»...<sup>1</sup>

Эта зубрежка постепенно переходила в простодушную, горькую и вместе с тем комическую жалобу великовозрастного бурсака, сестующего на свое незадачливое житье-бытье:

Вот так задал поп мне таску —  
За загривок да по шее!..

И это пел тот же самый голос, в котором еще так недавно звенела колокольная медь, которому повиновалась могучая, мерная поступь при-

<sup>1</sup> Хлеб, рыба, волос, конец,

Огонь, камень, пыль, пепел...

зрачных войск, голос, в котором только что слышалось беснованье вьюги, ее колдовская песня, заставляющая убогого, пьяного мужичонку плясать до упаду, а потом убаюкивающая его навсегда.

Может быть, именно в этот вечер я впервые ощутил не только силу музыки, но и великую власть слова, когда оно понято до конца и стоит на своем месте, поддержанное всей широтой дыхания, всей мощью ритма, всей глубиной образа.

Мудрено ли, что у меня чуть не перехватило дух, когда после шалыпинского пения и музыки Глазунова Владимир Васильевич вдруг предложил мне прочесть мои стихи.

И все-таки я их прочел. Не помню, что именно, — ведь с тех пор прошло добрых пятьдесят пять лет. Кажется, это был отрывок из поэмы Мицкевича в моем переводе да еще какие-то лирические стихи. Одно только отчетливо запечатлелось у меня в памяти. С первых же строк я почувствовал то серьезное, доброе внимание, которое сразу придало мне уверенность и позволило овладеть собой.

Когда я кончил, Горький сел со мною рядом, ласково похлопал меня по руке и стал расспрашивать, что я читаю, какие книги люблю, откуда взялся и где учусь.

И вдруг я почувствовал, что мне как-то удивительно легко и просто разговаривать с этим человеком, который еще вчера был для меня только именем и книгой. С таким пристальным вниманием слушал он, слегка пригнувшись ко мне, мою короткую историю. Можно было подумать, что для него нет ничего более интересного, чем жизнь мальчика, которого он увидел впервые.

Но тут в наш разговор вмешался Владимир Васильевич. Обняв меня за плечи своей большой рукой, он стал подробно рассказывать Горькому, что в последнее время я часто хвораю и Питер мне, как видно, вреден.

Горький на минуту задумался, а потом спросил прямо и просто:

— Хотите жить в Ялте? Мы с Федором это устроим. Верно, Федор?

— Непременно устроим! — весело отозвался Шалыпин через головы окружающих его людей.

Прошел месяц-другой. И вдруг к нам за Московскую заставу, за Путилов мост, пришли три телеграммы: одна на имя отца и две — на мое. Кажется, это были первые телеграммы, полученные мною в жизни. Обе от Горького из Ялты. До сих пор дословно помню их текст. Одна состояла всего из нескольких слов:

«Вы приняты ялтинскую гимназию подробно пишу Пешков».

Вторая была немного длиннее:

«Выезжайте остановитесь Ялте угол Морской и Аутской дача Ширяева спросите Катерину Павловну Пешкову мою жену Пешков».

Телеграмма, присланная отцу, была подписана: «Директор Готлиб».

В ней сообщалась та же новость, но только в более официальной форме. Имя директора было мне уже знакомо. Еще недавно этот крупный, осланистый человек с волнистой шевелюрой преподавал у нас в гимназии латынь.

Итак, все было решено. Оставалось собрать кое-какие вещи и книжки и пуститься в новое странствование — к Черному морю. Почему-то в детстве мне всегда казалось, что я увижу море, только когда вырасту. И вот оно уже на расстоянии всего каких-нибудь трех-четырёх дней от меня. Что ж, может быть, я и в самом деле уже вырос и только не заметил этого?..

В поезде я почти не отходил от окна. Северные леса сменились полями и перелесками средней России, и на меня пахло знакомыми с детства местами.

Поезд неумоимо бежал из осени в лето. В белом каменном Севастополе меня впервые ослепили южное солнце и дробящая его лучи морская синь. Еще несколько часов на пароходе — настоящем, морском, с двумя палубами, сверкающими свежей краской и медью, — и вот уже перед нами Ялта: полукруг набережной, многоярусный город, взбирающийся вверх по склонам гор, ржавые кудри виноградников и кипарисы, похожие на монахов, закутанных с ног до головы в темные плащи.

Объявляя о своем прибытии сиплым, нестерпимо пронзительным гудком, пароход замедлил бег и, весь дрожа, стал боком, боком подбираться к молу. Винты его вспарывали морскую гладь, как бы выворачивая ее наизнанку. Теперь вместо переливчатой синевы между бортом и молот клубилась рваная, белая, шумная пена, блещущая на солнце цветными искрами.

В пестрой толпе присезжих сошел я по трапу на пристань и зашагал со своим легким багажом сначала по набережной, а потом по каменистой улице, идущей вверх. Все здесь было ново, неожиданно, — словно я не в настоящем городе, жилом, серьезном, деловитом, а где-то среди театральных декораций, праздничных, но временных. Так непохожи были на все, что я до сих пор видел, эти кружевные железные ограды, увитые плющом, уже забрызганным багряной краской осени, белые дачи с широкими балконами, нарядные сады с плотной, словно металлической, листвой лавров и длинными кистями лиловых глициний.

Вот наконец и дача Ширяева на углу Морской и Аутской.

Осторожно открыв железную калитку, я оказываюсь перед домом, сложенным из дикого камня, на площадке, окаймленной аккуратно подстриженным густым кустарником с мелкими жесткими листочками.

Поднимаюсь наверх, и на пороге меня встречает молодая женщина, легкая, энергичная, с гладко причесанными и все же пушистыми темно-каштановыми волосами. Лицо у нее как будто строгое, но губы чуть тронуты милой, приветливой улыбкой, и та же улыбка светится в глубине серо-зеленоватых — в темных ресницах — глаз.

Так вот она какая — Екатерина Павловна! В ней нет ничего кокетливого, нарочитого, дамского. И все-таки она кажется очень изящной, даже нарядной, несмотря на простоту ее платья и прически.

Пожав мою руку своей небольшой, сильной рукой, она ведет меня в дом, весь пронизанный солнцем, морским ветром и сухим ароматом южного сада. Я иду за ней, еще не догадываясь, что эти несколько шагов ведут меня не только из комнаты в комнату, но и в другую пору моей жизни — из отрочества в юность.

Здесь, в горьковской семье, в этом морском городе, довелось мне встретить годы, предчувствием которых были пронизаны знакомые нам издавна широкие строчки стихов:

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает...»

Сюда после заключения в Петропавловской крепости приехал и сам Горький, заметно похудевший и от этого казавшийся еще выше ростом. В тюрьме он сброс короткой и жесткой рыжеватой бородой и стал чем-то похож на северного капитана-помора.

Да и весь горьковский дом напоминал в это время корабль, который еще стоит на приколе, но вздрагивает от каждой волны и все выше поднимается с нарастанием прилива.

Шел девятьсот пятый год — преддверие новой исторической поры, преддверие моей молодости.



---

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

## АРМЕЙСКАЯ ЮНОСТЬ

*Короткие заметки*

**Г**де-то далеко отсюда, за много километров и — главное — лет, стоят в строю одинаково одетые ребята — юные и несколько самоуверенные. Даже странно сейчас, что это мы.

Семнадцати лет от роду я стал на место, уготованное мне войной, стал по ранжиру, не направляющим, но и не замыкающим, а где-то в середине своего отделения.

Верно говорят, что характер моего поколения был сформирован армией военной поры. Мы находились в том возрасте, когда человек особенно пригоден для окончательного оформления, если он попадает в надежные и умелые руки. Мы были подготовлены к этому еще всем детством, всем воспитанием, всеми прекрасными традициями революции и гражданской войны, перешедшими к нам от старших. Правда, мы представляли себе войну несколько иначе, мы не знали, что война — это прежде всего тяжелый труд, что это тысячи километров, пройденных тобой по шестьдесят — семьдесят в сутки, да еще с двадцатикилограммовым грузом на плечах, да еще часто в плохой обуви, натирающей ноги, что это руки, набрякшие кровью, что это сотни кубов земли, выброшенной малой саперной или большой штыковой лопатой. Потом мы узнали все это.

Есть в человеческом характере такая черта — с удовольствием вспоминать прошлые трудности, тобой преодоленные. Это всегда приятно. Раз уж случилась война, то пребывание в армии стало делом нашей чести, так же как для прежних молодых поколений участие в гражданской войне, в строительстве Комсомольска и Магнитки, в коллективизации деревни, в покорении Арктики, а для нынешнего — в освоении целины и земель Сибири, хотя мне кажется не совсем точным сравнение мирных строек с передним краем — это все-таки слишком разные вещи.

Мы пришли в армию, — наши кости еще не окрепли, не затвердели мускулы. Мы еще росли. Когда после войны нас осматривали новые медицинские комиссии, или, как тогда говорили, «перекомиссии», оказалось, что многие из нас прибавили в росте по несколько сантиметров. А как выросли наши души и характеры!

Армия многому научила нас. Это были наши университеты. Одних она приобщила к технике — к танку, пушке, самолету, других научила владеть топором, пилой и лопатой. Война разбудила многие таланты, как всякая трагедия в жизни народа.

А близость к природе, к земле, на которой лежишь, по которой идешь, которую копаешь!

Армия научила нас мужской дружбе, — мы знали, пожалуй, только детскую. Мы ушли юношами, а вернулись мужами.

Сколько обрели мы новых друзей и сколько из них потеряли, чтобы не забыть никогда!

А разве можно забыть геройство гвардейских дивизий, железную дисциплину военных училищ или запасные полки, рвущиеся на фронт из каких-нибудь далеких тыловых лагерей. Разве забудешь безмолвный Донбасс сорок третьего года, разбитые города Белоруссии и знаменитый Бобруйский котел, где на много километров сплошным навалом, друг на друге — искореженные немецкие танки, орудия, бронетранспортеры, машины. А взятие нами Вены! А конец войны! А бесчисленные встречи в избах и хатах, в коттеджах и виллах на огромных дорогах войны! Армейская жизнь была суровой, но сколько в ней было неожиданного тепла! Я служил еще по первому году, когда однажды к нашей землянке подошел сержант из соседней роты и спросил: «Помкомвзвод дома?» Этот вопрос потряс меня. То есть как дома? Дом далеко отсюда. Разве здесь дом? А спустя несколько месяцев я и сам говорил так.

Столь же удивительным казался мне вопрос комбата к старшинам: «Покормили людей?» Чего, мол, их кормить? Сами поедят, только дай! Или: «Первая рота покушала? Вторая рота покушала?..» Это слово «покушала» (не «поела») казалось нарочитым, пока я не почувствовал, что оно имеет особый оттенок — не слащаво-городской, а уважительно-деревенский: покушала.

Мы были очень, очень молоды. Когда я смотрю на семнадцатилетних мальчиков, то думаю: «Неужели мы были такими? Если на него нагрузить все, что было на нас, да чтоб он прошел столько, сколько мы, пусть вполтину меньше,— он же умрет! А может быть, это только кажется?..»

По натуре своей мы действительно мирные люди. Я никогда не встречал человека, который хотел бы войны. Но раз уж враг напал на нас, мы воевали. Это было главным, и нам не приходилось раздумывать, чтобы найти это главное место в жизни.

В жизни каждого юноши наступает момент, когда необходим качественный скачок. Мы перешли в новое качество, надев красноармейские шинели.

Мне жаль тех людей моего поколения, кто не служил в армии рядовым.

Иногда, собравшись с друзьями, мы под настроение, к месту, начинаем рассказывать о своей службе, о военной поре, мы увлекаемся, перебиваем друг друга и самих себя, перескакиваем с одного на другое. А те, кто не был там, тоже слушают с интересом. И как это ни странно, менее других фигурируют здесь так называемые боевые эпизоды.

Нет, это истории скорее познавательного характера, забавные и грустные,— о себе и встреченных тобой людях, истории, ограниченные рамками времени и обстановки. И едва ли не главное в них — это множество деталей, подробностей, которые, если не вспоминать их, постепенно выветриваются из нашей памяти, заменяясь другими.

Предлагаемые читателю Короткие заметки и есть, на мой взгляд, нечто вроде таких армейских рассказов,— здесь часто нет последовательного повествования, порой это ответ на чей-то вопрос, порой реплика. В их краткости и одновременно подробности — их смысл.

И, конечно, это лишь малая часть того, что увидено и пережито.

### Карантин

Лейтенант, сопровождавший нас от военкомата, подошел к воротам, часовой вызвал дежурного, нам снова — в котрый раз — сделали перекличку, и вот мы вошли во двор, в просторный двор военного училища

с множеством казарменных зданий. Бросился в глаза огромный плакат на стене: «Если ты любишь Родину — учись на отлично!» Это звучало знакомо, по-школьному.

Мы любим Родину, мы будем стараться.

Вошли в большой барак, по стенам нары в три этажа. Выстроились посередине — в пальто, в ватных стеганках-фуфайках, в тулупах, на ногах валенки, бурки, сапоги, штиблеты. Разношерстная компания. На плечах мешки — «сидорá». Появился старшина, разбил нас, как стояли, на взводы и отделения, выделил дневальных, указал каждому взводу его нары. Мы взгромоздились на дощатые нары, дневальные пошли за дровами, долго растапливали печку. Стемнело. Стало очень грустно. Не хотелось верить, что эта жизнь — надолго. Если бы сразу кто-нибудь твердо сказал, что служба будет продолжаться четыре года, это было бы тяжелейшим ударом. Думалось, что все закончится гораздо быстрее. Мы лежали и думали. Мы мечтали о том, как вернемся домой.

Это было время окружения немецких войск под Сталинградом. Впереди еще были многие великие битвы, но перелом в войне уже произошел.

Вечером прибыла другая команда, потом еще. Лишь один парень, сержант-летчик, присланный в училище из госпиталя, был немного старше нас. Он пел «Землянку» и подробно рассказывал о своем романе с медсестрой. О, эти рассказы! Может быть, была в них и правда, но большей частью были они выдуманы. А мы о девушках почти не говорили. Воспоминания, мечты и разговоры в первый год службы были только о еде. Это потом пришли задушевные беседы обо всем на свете — когда мы стали настоящими солдатами.

Правда, однажды веселый и нагловатый курсант Володька Замышляев, увидав у меня крохотную девичью фотографию, попросил посмотреть. Он долго глядел сквозь кулак и, возвращая карточку, сказал грустно: «Нужная девка!» — и уточнил: «Ценная девка!..» Я был очень горд.

### Казарма

Кончился срок пребывания в карантине, вновь прошли мы всякие комиссии — медицинские и мандатные, — потом баня, где в одном предбаннике сняли с себя все, что было на нас штатского (вернее, все, что осталось, ибо многое ухитрились продать на базарчике за училищем), а в другом надели зеленые гимнастерки, синие диагональные брюки, шинели и шапки, обули великую роскошь по тому времени — яловочные сапоги. И вот мы уже курсанты.

И вот мы уже попали в рамки стального распорядка военного училища.

За окнами еще темно — играет труба. Первый сигнал — повестка, за пятнадцать минут до подъема. Это сигнал для младших командиров, чтобы они успели одеться и следить за подъемом. Потом — подъем! Труба — и крик дежурного: «Подымайсь!» И оба дневальные в голос. «Подъем!», и помкомвзвод, и командиры отделений. Через три минуты команда: «Выходи строиться!» Плохо тому, кто не успеет одеться, — сразу попадешь в «нерадивые» или в «доходяги», из внеочередных нарядов не вылезешь. А одеться в три минуты трудно. Спрыгнешь с нар, а кто-то уже все разбросал, ища свои сапоги или портянки.

Лишь когда научишься с первого взгляда узнавать свою гимнастерку, сапоги, шинель среди десятков точно таких же, когда сможешь по звуку шагов различать товарища — значит, ты настоящий солдат.

Выскакиваем на улицу в нательных рубашках. Снег, мороз. Двадцатиминутная пробежка — и обратно, заправлять постели. Быстрее!

Потом осмотр на форму «20»: проверяется нижнее белье, чуть что — в дезокамеру, «вошебойку». Благодаря этому строгому правилу удалось не допустить появления сыпняка, этого страшнейшего бича всех прошлых войн.

Замечательны военные сигналы. Комбат выстроил нас на плацу и приказал трубачу играть сигналы — по несколько раз каждый. Подъем: «Вставайте, вставайте, вставай, вставай, вставай! Вставай!» Деловой — приступить к занятиям, к работе. Веселый — на обед: «Бери ложку, бери бак!..» Похожий на него (часто путали вначале) стремительный сигнал тревоги: «Где портянка? Где сапог?..» Многие другие сигналы, например командирский сбор: «Командиры рот, командиры рот, к командиру батальона!..» И наконец ласкающий слух, умиротворяющий: «От-бой! Спать, спать!..»

Трубач в каждой части — человек уважаемый.

После завтрака — занятия: строевая подготовка, матчасть, уставы, политзанятия, тактика и так далее. Надо торопиться — стране нужны командиры. И песня была:

Школа средних командиров  
Комсостав стране своей кует,  
Силы все отдать готовы  
За трудящийся народ.

Старая курсантская песня.

Двухгодичная программа проходила за восемь месяцев. Надо было торопиться.

У нас было очень много дел и обязанностей. Нужно постирать и подшить свежий подворотничок (у некоторых были целлулоидные, но они натурали шею), несколько раз в день чистить сапоги, следить за каждым крючком и пуговицей — не дай бог, оборвутся, — держать в порядке лопатку и противогаз, на котором пришита фанерная бирка с твоей фамилией и номером взвода, готовиться к занятиям, чистить оружие. На это уходило и так называемое «личное время» (один час), предусмотренное расписанием. Хорошо еще, что нам тогда не нужно было бриться.

У нас был помкомвзвод Снягин — высокий, сутуловатый, с усами. От него я услышал впервые известную тогда в армии фразу: «Не мзжешь — научим, не хочешь — заставим!» Впрочем, х о т е л и, пожалуй, все.

Главным его коньком была чистка оружия. Вообще в училище это было великим священнодействием. Долго, до зеркального блеска, чистишь винтовку, выковыриваешь грязь из каждого шурупчика, потом показываешь командиру отделения и помкомвзводу. Те разрешают смазывать. После смазки снова показываешь, и лишь тогда можно ставить винтовку в пирамиду, открыв затвор и свернув курок.

Снягина мучила бессонница. И каждую ночь он вызывал в ружпарк нескольких курсантов. Разбуженные дневальным, они надевали поверх



белья ремень с подсумком, в котором хранились обойма холостых патронов, масленка, протирка, ершик, кусочек ветоши, и плелись в ружпарк. Помкомвзвод говорил им, что их оружие недостаточно чисто, пусть сами найдут где. Они обычно грязи не находили, но снова чистили винтовки, и Синягин отпуская их досыпать..

Зима была метельная, и часто нас поднимали ночью расчищать дорогу от заносов. Почему-то было очень мало деревянных и фанерных лопат, и мы работали малыми саперными, что было страшно неудобно: бросишь лопатку, и снег опять летит тебе в лицо.

Возвращались бодро, с песней. Тогда мы еще не привыкли петь в строю под левую ногу, и нет-нет, а вырвется чей-то голосишко под правую, вызывая общий смех.

Однажды, морозным поздним вечером, пели «Священную войну». И так ладно и грозно звучал припев, что я почувствовал холодок в спине и слезы в глазах.

Ко многим из нас приезжали матери, привозили что-нибудь поесть. Совестно было брать эти выкроенные из суровых военных пайков крохи, но брали: есть страшно хотелось. А ведь кормили нас очень неплохо по тому времени — по курсантской девятой норме. Но наши растущие организмы, получившие огромные физические нагрузки, требовали больше. Лишь года через два нам стало хватать нормы.

Мы подружились с Сережей Юматовым. Однажды ко мне приехал отец, а к нему — брат, капитан. В дороге они познакомились, разговорились и подошли к училищу вместе. Был выходной день, и нас отпустили повидаться. Так мы и подружились с Юматовым, как часто дружат в детстве, когда знакомы родители.

Иногда мы ходили с ним на базар — купить махорки или выпить по кружке молока. Много тогда было базаров и базарчиков. И купить там можно было все, что угодно: хлеб, одежду, довоенные папиросы, шоколад, сульфидин, карточки и талоны. Было бы на что покупать!

Прошое, довоенное, было мерилем прекрасного. О будущем почти не говорили: мы слишком смутно себе представляли, кем мы станем, где будем жить и работать. Мы чувствовали — это придет потом. Лишь один раз Юматов сказал мне: «Вернулся бы домой — все бы задачки по тригонометрии пререшал!..» Хороший был парень Сережа Юматов.

Отец привез мне полевую сумку. Это была роскошная сумка, темно-красной, почти черной кожи. Тонкий ремешок крепился к ней на изящных карабинчиках. Я принес сумку в казарму, и все ее восхищенно рассматривали — уж больно была хороша. Подошел Синягин, оживился.

— Ты что же, носить ее хочешь? Тебе ж не положено! Дай я поношу, а получишь звание — верну. А то все равно ротный или старшина отберут. Тогда уж не увидишь!..

Не хотелось отдавать, но доводы были веские, отдал «на время». Он набил ее уставами и важно надел через плечо.

После завтрака — политинформация. Положение на фронтах. Была большая карта, где красными флажками отмечалась линия фронта. Началось наступление наших войск. После взятия Харькова Замышляев сказал:

— Эдак и повоевать не придется!

Лейтенант, командир взвода, ответил спокойно:

— Не волнуйтесь, успеете.

Положение было еще серьезное, бои кровопролитные. Вскоре наши войска вторично оставили Харьков.

Командира взвода мы любили. Вообще все офицеры жили, как в мирное время, отдельно, на квартирах. Командира роты мы видели раза два в день, комбата почти не видели. Это не то что в части, где офицеры живут, по сути, вместе с солдатами. Офицеры-преподаватели приходили только на свои часы. Лейтенанта мы видели чаще. Он вел строевую и огневую подготовку, а также матчасть. Он прекрасно знал оружие, мог с завязанными глазами разобрать и собрать замок «Максима». А ведь это весьма сложный механизм, не то что винтовочный затвор — стель, гребень, рукоятка.

Иногда на занятиях он отходил в сторону, садился на пенек и думал о чем-то, глядя вдаль большими карими глазами. Может быть, у него в жизни было горе или какая-нибудь особенная любовь, — не знаю.

Говорили, что он несколько раз подавал рапорт с просьбой отправить его на фронт, но командование училища не отпускало.

У него открылись прежние раны на обеих ногах, он не хотел ложиться в госпиталь, но на занятиях, морщась, снимал сапог и рассматривал бинты, пропитанные засохшей кровью и гноем. Впрочем, потом он снова натягивал сапог и показывал, как надо «рубать» строевым шагом, — из-под подковок на каблуках высекались искры.

Готовились к стрельбам. Лейтенант взял на занятия мелкокалиберную винтовку, воткнул в снег сломанную лыжную палку, и мы по очереди стреляли в нее с колена — все мимо и мимо. И вдруг я попал. Он обрадовался, подбежал и обвел падание карандашом, как на мишени.

— А ну-ка, еще попробуй! — сказал он, неожиданно переходя на ты, чего никогда не делал.

Я снова выстрелил — не попал.

— А ну-ка, ляг!

Я выстрелил из положения «лежа» — мимо!

Он очень огорчился.

— Случайно попали!..

Пришел приказ — отправить на фронт курсантов старше тридцати лет. Таких было несколько в роте — в соседних взводах, — людей моего теперешнего возраста, казавшихся нам тогда весьма старыми.

Помкомвзвод Синягин зашипел:

— Сегодня не спать! «Старички» уезжают, как бы чего не прихватили!..

Мы лежали в полутьме казармы и сквозь дрему смотрели, как «старички» уезжают. Они получили ватные фуфайки и брюки, теплые портянки и теперь неторопливо одевались, аккуратно укладывали в вещмешки сухой паек. Вот все готово, они ждали команды. Они слышали шумок, поднятый Синягиным, и презрительно не обращали на это внимания. Ушли они перед рассветом, ни с кем не попрощавшись.

Изредка по вечерам водили в столовую смотреть кино. Остаться дома и лечь спать было нельзя, поэтому в зале бывало страшно тесно. Наш бывший комиссар, после упразднения института комиссаров ставший замполитом, веселый и общительный майор, рассказывал однажды перед строем, как он втиснулся в темный зал, как его толкали локтями, а потом он слушал разговоры — кто чем недоволен, — и теперь разбирал, справедливы эти претензии или нет. Один курсант упорно ругал

самого замполита, но тот сказал, что не сердится и что он совсем не такой, как его представляет критик. «Трудно, товарищи, трудно, слов нет, но на фронте еще труднее!..»

Вспоминая потом эти слова, я не согласился с замполитом. В училище было труднее!

Новый приказ — отправить на фронт сержантов старше тридцати лет.

Едва мы услышали об этом, как увидели Синягина. На него жалко было смотреть. Он был не бледный, а какой-то серый и трясущимися руками перебирал свой вещмешок. Подошел лейтенант попрощаться, но, взглянув на Синягина, сразу же отвернулся. Помкомвзвод суетился, никого не замечая.

И вдруг Юматов толкнул меня и прошептал:

— А сумка... сумка твоя!..

Боже мой, я совсем забыл!

— Товарищ старший сержант, сумку-то отдайте!..

Он ничего не ответил.

— Товарищ старший сержант, сумка-то моя...

Он пробормотал что-то и двинулся к двери. Я понял, что он не отдаст сумку. Тогда я, подойдя сбоку, неожиданно расстегнул один из карабинчиков и сдернул ремешок с его плеча. Он резко повернулся ко мне, но я уже вывалил на стол все его уставы и записные книжки с нашими провинностями. Он злобно посмотрел на меня, потом на весь безмолвно застывший взвод, резко повернулся и вышел... Больше мы его не видели.

А сумку, которую мне все еще нельзя было носить, я отдал лейтенанту. Весь взвод решил, что это справедливо и, конечно, не подхалимство, потому что не такой человек лейтенант, чтобы за сумку делать кому-то поправки.

Это мудро заведено в армии, что военную присягу принимают не сразу, а спустя время после призыва. Пусть человек сначала осмотрится, поймет что к чему и лишь тогда с полной ответственностью произнесет высокие слова клятвы.

Был ясный весенний день и ощущение праздника. Как в праздник, дали белый хлеб на завтрак, как в праздник или как в честь взятия нашими войсками крупного города, были амнистированы сидящие на гауптвахте.

Мы выстроились во дворе с винтовками в руках.

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик... принимаю присягу и торжественно клянусь... не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами... Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся...»

Неторопливо звучащие слова были полны огромного смысла и мужества, потому что в жизни мы никогда не говорили и не думали такими словами. Чувство долга выразалось действием.

Весна, весна. Солнце, бьющее в окна, затопило комнату, слепит глаза. Клонит в сон на занятиях. Но мы сбрасываем с себя дремоту. Мы уже втянулись в эту жизнь, привыкли к строгому распорядку. Прошли месяцы. Уже перетираются по сгибам хранимые в бумажнике письма из дому. Уже скоро мы станем офицерами. Некоторым этого очень хочется, другие более равнодушны. Но так или иначе мы движемся к этому. И вдруг...

## Оборона

Этим и характерна военная служба: живешь, уже привык к чему-то, освоился на месте — и вдруг приказ. Собираешься мигом и едешь или идешь неведомо куда. И, видно, так устроен человек, что уже жалко покидать старое, хотя оно и было заведомо временным.

Полдня на сборы. И вот мы идем к станции, а кругом народ, бегут мальчишки и слышится женская жалостливая, сохранившаяся с неведомых времен фраза: «Солдат гонят!..»

Теплушки — вагоны войны. Много раз потом грузились мы в них. Стремительно неслись они к фронту и медленно ползли назад. Откачивается тяжелая дверь, стоят и сидят в ее проеме солдаты, глядят на плывущие поля, кружащиеся перелески, мелькающие разъезды.

Останавливаются спешащие люди, долго смотрят вслед военному эшелону. Девушки машут платками.

А параллельно нашему составу, то обгоняя нас, то отставая, гремит другой состав — на платформах не полностью укрытые брезентом танки и орудия. Вот у разъезда оваянный славой гражданской войны, а теперь уже устаревший бронепоезд. Вот поезд-баня. Вот навстречу полный страданий санитарный эшелон. Поезда войны...

Училищу приказано: по всем правилам военного искусства выстроить долговременную линию обороны на случай внезапного контрнаступления противника на этом участке — несколько десятков километров траншей и ходов сообщений.

В глухом лесу разбили зеленые брезентовые палатки.

Каждый взвод получил задание. И — на работу!

Пошел дождь, меленький противный дождик. И все три недели, в течение которых мы строили оборону, он лил и лил, переставая на полчаса лишь затем, чтобы начаться снова.

Плащ-палаток тогда у нас не было. Сперва насквозь промокла шинель, потом гимнастерка, белье, и все это уже не высыхало. Сушиться было негде, разводили костры в темноте запрещалось.

Подъем — в четыре ноль-ноль. Содрогаясь, натягивали влажную одежду, потом бежали за полкилометра на озеро мыться, завтракали, брали инструмент и шли работать. Часовой перерыв на обед, и снова работа до шести-семи часов. Точили топоры, лопаты, разводили пилы. Ужин. И отбой в десять часов. Так проходил день. Перед сном мы отжимали гимнастерки, брюки и портянки, клали все это под себя, чтобы хоть немножко согреть собственным теплом, и укрывались мокрой шинелью.

Дождь стучал по брезенту, и казалось, что лежишь внутри огромного барабана.

За нашей палаткой, на задней линейке, была палатка командира батальона. Это был высокий, прямой подполковник с седыми усами и подусниками, бывший царский офицер, перешедший в первые дни Октября на сторону Советской власти.

По-моему, он был одинокий человек, к нему никто никогда не приезжал. С ним в палатке жила собака, отличной выучки овчарка.

По вечерам подполковник заводил патефон. Сквозь шорох дождя и стук срывающихся с веток тяжелых капель слышна была старинная классическая музыка.

Потом раздавались голоса — это возвращался какой-нибудь неудачливый взвод, не успевший закончить свое задание за день.

Под все эти звуки мы с Сережей Юматовым засыпали.

По воскресеньям, когда у нас было больше свободного времени — норму давали вполтину меньше, — подполковник выходил на переднюю линейку с небольшим, стаканов на десять, мешочком махорки, развязывал его и говорил баском:

— Угощайтесь, товарищи курсанты!..

Осторожно и почтительно мы брали по шепотке.

Дело в том, что в курсантскую норму табачное довольствие не входило.

Со снабжением табаком и в частях бывали перебои. А то вдруг привозили знаменитый филичевый табак, которым никак нельзя было накуриться, только жгло в горле. Не знаю, из чего он был сделан, но страшно трещал, как дрова в печке, или неожиданно вспыхивала вся сигарка.

Потом группа солдат напечатала в газете открытое письмо директору фабрики, выпускающей этот табак. В конце письма спрашивали: «А вы что курите, товарищ директор?»

Говорят, директор ответил, что он некурящий.

Но бывала и настоящая, дикой крепости махорка, о которой сказано: «Курнешь — на тот свет нырнешь!..»

Гремела у каждого в кармане еще одна прославленная «катюша» — прибор для прикуривания: обугленный трут, здоровый кремь и железное кресало.

А дождь все лил и лил.

По спинам и шеям густо пошли фурункулы. В санчасти все это обильно смазывали зеленкой. Странный пятнистый вид имели мы, когда раздевались.

Но каждое утро во главе с лейтенантом шли мы на работу, дело двигалось. И снова не думали и не говорили мы высоких слов, но прочно жило внутри нас ощущение: «Надо!»

Наш взвод валил деревья для накатов, рубил ветви — оплетать стенки траншей, чтобы не осыпались.

Один курсант — не помню его фамилии — обтесывал ствол, топор скользнул по мокрой коре, разрубил сапог и снес два пальца. Тот сгоряча было пошел, но кровь брызнула фонтаном. Подбежал лейтенант, перетянул ногу ремнем, но пока мы донесли парня до лагеря, он потерял все-таки много крови.

Кто-то из офицеров сказал, что, вероятно, это преднамеренное членовредительство.

Наш лейтенант и майор-замполит сидели рядом с курсантом в палатке, пока не пришла машина везти его в госпиталь. Они попрощались с ним, и замполит сказал твердо:

— Конечно, случайность!.. Жаль парня...

Замполит обходил оборону.

Поднимали головы курсанты, пытались стряхнуть грязь, налипшую на сапогах и лопатах. Он говорил:

— Молодцы, ребята! Хорошо работаете!..

Мы были не в строю и не могли ответить: «Служим Советскому Союзу!»

— Старайтесь, товарищи! Вот разобьем Гитлера, вернемся домой и будем есть пироги со с мясом, со с маслом, со с яйцами!.. — И первый весело смеялся.

Такие прибаутки нравились, и многие командиры употребляли их и для поднятия духа и для собственного удовольствия.

У командира дивизии, генерала Казанкина, была другая при- сказка:

«Вернемся домой, наденем ордена и медали, тогда можно будет нажать на педали!..»

Шутку, смех в армии ценят. Тот же генерал Казанкин, уже после войны, говоря о необходимости изучать уставы, рассказывал:

— Еду я на «виллисе» по мосту. Мост старый, бревнышки играют, пешком едем. Навстречу — солдат. Не приветствует. Окликаю. Подбе- гает. «Почему не приветствуете?» — «Товарищ генерал-майор, на мосту не положено!» — «Идите!» Еду. Уставы вспоминаю. Боевые уставы хо- рошо помню. А устав внутренней службы, гарнизонной службы, дис- циплинарный давно не перечитывал. Там много всяких оговорок. Но все разумные. Целесообразные. Предусматривающие что-нибудь. А здесь — нелепость. Почему на мосту нельзя приветствовать? Спрашиваю адъю- ганта: «Точно, что на мосту приветствовать не положено?» Говорит: «Что-то такое было». Приехал в штаб. Все уставы прочитал. Нет такого. Жаль, солдата того не найти. Объявил бы ему благодарность. За наход- чивость. Изучайте уставы, товарищи! Это очень мудрые уставы!..

Закончено то, чему, казалось, не будет конца. Сделано то, что каза- лось почти невозможным. Оборона готова. С оплетенными стенками траншей и окопов, с аккуратными брустверами и траверсами, с нишами для боеприпасов, площадками для орудий, накатами, перекрытиями и укрытиями. Работу принимают приехавшие из штаба фронта офицеры. Они довольны. Первоклассная линия обороны.

И, словно нарочно, впервые за три недели кончился дождик, само со- бой прорубилось в блекло-сером небе голубое окошечко, оно все шире, шире, в него ударило летнее солнце, задымилась щедро напитанная во- дой земля.

Мы курили комбатовскую махорку и сушились — впервые за три не- дели.

Суета, беготня. Что такое? Выходят офицеры из палатки комбата, вы- ходит за ними и овчарка, но комбат делает движение одним пальцем, и она возвращается.

Команда — строиться. «Становись!..»

Спешат старшины со списками, как на вечерней поверке. «Назван- ные, три шага вперед!..»

Мы не знаем, в чем дело. Хорошо или плохо быть в числе названных? И каждый, услышав свою фамилию, отвечает настороженно: «Я!..» Се- режу Юматова не назвали. И вообще где он? Ах да, его, кажется, послали за водой..

К нам подходит комбат.

— Товарищи курсанты! Получен приказ — училище переформировы- вается. Те, кто был сейчас назван, отправятся по назначению в части. Мы уверены, что в частях и соединениях, куда вы попадете, вы будете достой- но продолжать свою службу и не посрамите чести нашего училища, хотя вы его и не окончили. Счастливого пути, товарищи!..

Первое чувство — чувство обиды. Старались-старались — и дожда- лись награды. Но делать нечего.

Старшина несет связку ботинок. Пожалело училище дать нам свои роскошные яловочные сапоги. А в ботинках — совсем другой вид, и об- мотки надо крутить, кольцо за кольцом: «январь, февраль, март, апрель...» Ну да ладно. Будем живы, будут у нас и сапоги.

Собраться недолго, вот мы стоим уже «с вещами», и я с удивлением ощущаю легкость во всем теле, приподнятость и даже удовольствие. И у других то же. Вон как свободно и бодро отвечают они офицеру, который будет сопровождать нас:

— Я!

— Я!

— Я!

Хуже всего неизвестность, неопределенность положения. А теперь мы уже знаем, что уезжаем в часть, мы отделились от остальных, и это сплотило нас сейчас очень крепко. Мы чувствуем это ясно, хотя, конечно, не выражаем своих чувств вслух.

И еще мы чувствуем, что пройден какой-то этап в нашей жизни, что мы перешагнули новую грань, что мы уже не такие, как были прежде, еще вчера, что мы окончательно избавились от того состояния ошеломленности, в котором пребывали первое время службы, что люди, стоящие рядом и касающиеся тебя локтем, не просто незнакомые люди, случайно собранные вместе, а твои товарищи, от которых во многом зависит твоя дальнейшая судьба.

Стоят солдаты с мозолистыми руками землекопов и лесорубов. Война — это труд!

Переключка окончена. Кто-то говорит запоздало, уже без огорчения:

— Учились-учились, уже немного осталось, и вдруг в часть. Непонятно...

— Значит, офицеров уже достаточно, нужны рядовые! — объясняет Володька Замышляев, и все смеются.

Вдруг кто-то окликнул меня. Я обернулся. Чуть прихрамывая, подходил наш лейтенант.

— Сумку свою забыли!..

— Что вы, товарищ лейтенант, — сказал я растроганно, — я же насовсем, на память...

— Спасибо, — улыбнулся он, подал мне руку. — Ну, счастливо! — И посмотрел мимо меня, куда-то вдаль, задумчивыми карими глазами.

### Бригада

Прибыли на место поздним вечером. Переночевали в лесу. Чуть свет двинулись дальше.

— Куда это мы приехали? — спросил Замышляев.

Местный офицер, встретивший нас утром, ответил коротко:

— Воздушно-десантная бригада...

Это известие приняли спокойно: парашютисты так парашютисты. Шли сосновым лесом, справа виднелись землянки, потом лес расступился, и мы неровным строем вышли к широкому полю. На опушке стояли офицеры и солдаты и напряженно смотрели вверх. Мы тоже подняли глаза и увидели самолет, довольно низко кружащийся над полем. За ним что-то волочилось в воздухе.

— Что это? — спросил кто-то из наших.

Ему долго не отвечали, а потом один из солдат буркнул:

— Не видишь, что ли? Человек за хвост зацепился!

И тут мы увидели, что это действительно человек. Он зацепился парашютным куполом за хвостовое оперение и болтался теперь ниже и сзади самолета на всю длину купола и строп. И его крутило. Боже мой, как его крутило! Сперва в одну сторону, пока стропы и купол, сокращаясь, не собирались в тяжелые узлы, как белье при выжимании, затем

он на миг останавливался, и его со страшной быстротой начинало раскручивать в обратную сторону.

А экипаж самолета его не видел. Летчик вел машину на посадку, ему давали красную ракету: «Посадка запрещена». Он, не понимая, в чем дело, разворачивался и снова заходил на посадку, и снова красная ракета.

Потом им сообщили по радио. Самолет перестал кружиться, открыли нижний люк и стали бросать человеку трос с петлей на конце. Долго бросали. Наконец он поймал петлю, и его втянули внутрь. Все зашумели и побежали навстречу садящейся машине. Мы подбежали тоже. Спустили трап, и медленно вылез очень бледный парень лет двадцати, без сапог, без ремня, как с гауптвахты.

— Хотел стропы обрезать, запасный раскрыть,— сказал он извиняющимся тоном,— две стропы обрезал, да финку уронил, уж больно крутило...

Подъехал на «виллисе» полковник, командир бригады.

— Ну как, не испугаешься снова прыгнуть?

— Нет, товарищ гвардии полковник!

— Молодец! — И обернулся к кому-то: — Выдать ему офицерское обмундирование!..

Таково было наше первое знакомство с воздушно-десантными войсками.

А парня этого я потом знал, он закончил войну без единой царапины и демобилизовался в 1946 году.

Мы, конечно, были захвачены происходящим на наших глазах событием, но отнеслись к этому без всякого удивления, словно всю жизнь только и смотрели, как болтаются парашютисты, зацепившись куполом за хвостовое оперение. Я не раз замечал потом эту поразительную способность не удивляться попусту, не суетиться, сохраняя полнейшую собранность и спокойствие,— привычку, свойственную русскому человеку. Первый прыжок, первая бомбежка, первая встреча с врагом — все деловито, хладнокровно, будто в сотый раз.

Жили в Будапеште, взяли Вену и «стояли» в аристократических виллах, рассматривали собор св. Стефана, встретились на Влтаве с американцами — что же во всем этом удивительного? На войне всякое увидишь. А после войны забросила армейская судьба на островок в Балтийском море. Был шторм в шесть баллов, через крохотный пароходик перехлестывали волны, но мы (большинство из нас впервые видело море) ступили на палубу, как потомственные мореходы.

С этого островка мы и демобилизовались. В штабе затащили оформление документов, и когда наконец пришел за нами пароход, неожиданный мороз остановил его в трех километрах от берега. Пришел из Галлина ледокол, вытащил пароход и увел его. Теперь мы должны были ждать по меньшей мере два месяца. Мы приуныли. Можно себе представить нашу досаду. Но командиру нашего отдельного батальона, по вине которого все получилось, было сказано с Большой земли, что, если он не найдет способа отправить людей, их содержание будет отнесено на его счет. И способ нашли. Хозяин рыбацкой шхуны согласился за пятьсот рублей и бочку солянки доставить нас на Большую землю. В единственную каюту, рассчитанную на шесть—восемь человек, набилось человек тридцать, да все с вещами — ведь уже домой. Саперы заложили тол, сделали узкий проход в трехкилометровой ледяной корке, и мы вышли на свободную воду. Покуда все это происходило, наступил вечер.



Море стало бурным. Мы сидели буквально друг на друге, но были веселы и даже пели песни. Время от времени сторожевые катера пограничной службы ощупывали нашу маленькую, чуть больше простой моторки, шхуну прожекторами и уходили во тьму.

Утром подплыли к берегу. Там тоже был ледяной припай. Хозяин шхуны, настоящий морской волк, с красным лицом, шкиперской бородой, в зюйдвестке и с трубкой, разогнал суденышко, и оно вылезло носом на лед. Он взял длинный шест, первым ступил на лед и велел двигаться за ним по одному, с интервалом в пятьдесят метров. Сначала это соблюдалось, но потом надоело, и все повалили разом. Ничего, лед выдержал. Подошли к берегу, а там полоска воды метров в пятнадцать. Но уже бежали солдаты из береговой части, мостили бревна, доски. Правда, кое-кто все-таки испугался, но рядом была станция с буфетом, и там можно было отогреться.

Пока устраивались в землянке, я обнаружил, что из моего мешка исчезли сухари — сухой паек еще из училища.

Помкомвзвод Голиков, чернявый, вспыльчивый, родом из Хосты, пришел в ярость.

— У кого берете? У своего брата-солдата берете? Признайтесь лучше! Сам узнаю — тому человеку жизни не будет!..

Никто не признался. Но краж во взводе больше не было. Только в самом конце войны — кажется, в Санкт-Пельтене, в Австрии, когда Голикова уже не было, — ординарец командира роты, смазливый Камашиников, признался мне, что это он взял сухари, и попросил прощения.

Утром в землянке сквозь сон услышали сигнал подъема и вскочили, как на пружинах. Помкомвзвод посмотрел на нас одним глазом, сказал недовольно:

— Вы что, сдурели?

Мы ничего не понимали. Он пояснил:

— До завтрака еще долго...

Да, здесь не такие порядки, как в училище. Здесь каждый взвод в своей землянке, все обособлено и все зависит от старшины и помкомвзвода: как захотят, так и будет.

Бывало, вечером лежим в землянке, темно, едва мерцает фитилек, потом гаснет. Многие уснули. А на плацу играют сигнал: на вечернюю поверку.

Голиков подумает-подумает и говорит:

— Ничего, без нас обойдутся!

Идет старшина Валентин Петров, из морячков, шеголь, одет с иголочки. Кричит от дверей Голикову:

— Почему взвод не выводим?

— Люди устали, пусть отдохнут...

А труба все звучит и звучит.

— Ладно, — говорит Петров, подумав, — сегодня роту выводить не будем...

Но так, видимо, решают и в некоторых других ротах. Звук трубы обрывается. На плац выходит комбат, майор Губа. Где батальон? И вновь звучит труба. Но сигнал уже другой — тревога! «В ружье!»

Вихрем вскакиваем мы с нар, хватаем оружие, шинели, котелки, лопатки — все свое имущество — и спешим на плац. Комбат смотрит на часы — быстро собрались. Теперь он отчитывает старшин и держит нас в строю не меньше часа.

У майора фамилия для армии не особенно удачная. Губа — так сокращенно называют гауптвахту.

Майор строг, требователен, придирчив. Самые лихие офицеры трепещут перед ним. Он из беспризорников, воспитанник армии. Все тело в татуировке. До сих пор немного не по себе, когда вспоминаешь его холодный пронизывающий взгляд.

— Думаете, не вижу? — спрашивает он. — Все вижу, глаз-то, слава богу, наметан!

Комбат требовал строжайшей дисциплины. Манера разговора с провинившимся у него была такая:

— Почему? Я вас спрашиваю...

— Потому что...

— Кто вам разрешил разговаривать? Почему? Я вас спрашиваю...

— Да я...

— Кто вам разрешил разговаривать? Почему? Я вас спрашиваю...

Нужно было знать майора и во время разноса молчать, не отвечая на его вопросы. Иногда можно было вставлять: «Виноват!» Заканчивал он разговор словами: «Не в порядке запугивания, а в порядке наведения порядка!» Эта фраза отнюдь не казалась нам смешной.

У него были суворовские принципы: «Тяжело в ученье—легко в бою». Во время учений наш батальон всегда делал лишние пятнадцать—двадцать километров, но в таком темпе, чтобы, несмотря на это, оказаться впереди других батальонов. Это был так называемый «форс-марш» — форсированный марш. По боевой подготовке батальон считался лучшим в бригаде. Майор Губа никогда не вел душевных разговоров. Он не умел этого делать и считал ненужным. Лишь однажды, когда летели на прыжок, над Подольском он поглядел в окошечко и сказал:

— Видите, вон синяя крыша правее водокачки? Это мой дом...

Мы ответили, что видим.

Бригада по возрасту была комсомольская. Рядовых старше двадцати лет было очень мало, старше тридцати почти не было. Мы еще окончательно не окрепли физически, у нас не было опыта, и все-таки, конечно, нам было гораздо легче, чем старшим. Это понятно лишь теперь. А тогда мы не понимали, как можно не спать ночами, думая о жене и детях, как можно мучиться, долго не получая писем. Мы не чувствовали, что наши жизни страшно нужны кому-то, а то, что они нужны родителям, по-настоящему понимаешь лишь тогда, когда у тебя самого есть дети.

Многие мои сверстники так никогда и не узнали этого чувства.

В несколько дней прошли наземную подготовку. Изучили и уложили парашюты. Каждый прыгает с парашютом, им самим уложенным. Правда, одному уложить парашют почти невозможно — сложное дело, — и укладываешь вдвоем с товарищем его парашют и свой. А первый раз уложили с помощью инструкторов. На каждый парашют заполняется технический паспорт и кладется в специальный карманчик... Завтра первый прыжок!

Поднялись в темноте. Получили на складе свои парашюты, и еще каждому — запасный парашют, нагрузили на плечи, пошли. На кухне полусонный наряд заливает котлы, разводит огонь под котлами — готовит завтрак.

Увидали нас.

— В первый раз идете? Вниз не смотрите!..

— Быстрее прыгай, а то вышибала как шуранет!.. («Вышибалами» называли инструкторов парашютно-десантной службы — ПДС.)

Все эти напутственные выкрики шутивы, добродушны. Пройдет время — мы тоже будем «пугать» новичков.

Еле заметно посветлело небо с востока, вот уже обозначилась легкая розоватая полоска на горизонте, упал ее отсвет на ближние к ней облака. Густая роса. Туман. Сколько раз на постах и в походах пред тобой, на твоих глазах, совершается великое таинство: ночь превращается в день!

Идем по краю поля. Кто-то кричит:

— Смотрите!

В нескольких шагах от нас приземляется парашютист, рядом другой. Мы чувствуем, как сильно они ударяются о землю.

Это заканчиваются ночные прыжки. Ночь коротка, и последние прыгают уже на рассвете.

Уже совсем светло. Подходим к аэростату (в просторечье его называют «колбасой»). Его надутая оболочка серебрится, под ней на канатах укреплена открытая корзина, или гондола, на четырех человек: три парашютиста, один инструктор. Похоже на летательный аппарат Жюль Верна.

После каждого прыжка аэростат возвращают на землю с помощью троса, наматываемого мотором на барабан. Надеваем парашюты: на спине — главный, на груди, вернее даже на животе, — запасный. Бегают начальник ПДС, все проверяет. Нас разбивают по трое. И уже садится первая тройка.

— Карабины!

— Есть карабины!

Этот прыжок — с принудительным раскрытием, то есть парашют открывается сам, автоматически. За особый трос зацепляется карабин, к нему крепится длинная веревка — фал. Другой ее конец тонким шнурком привязан к куполу. При прыжке веревка натягивается и вытаскивает купол и стропы из мешка на спине, после чего шнурок обрывается, ты окончательно отделяешься от аэростата или самолета, и купол наполняется воздухом.

Вот уже прыгнула первая тройка. Вот они летят, весело переговариваясь в воздухе.

Аэростат опускается. Пора и нам. Мы садимся — Мишка Сидоров, Вася Демидов и я. Я вхожу последним — значит, прыгать мне первому.

— Карабины!

— Есть карабины!

— Давай!..

Мы стремительно взлетаем вверх по вертикали. Как в лифте. В корзине тесно, сидим, касаясь друг друга коленями. Кажется, что летим медленнее. Инструктор зевает, он не выспался, ему скучно.

— Комаров развелось! — говорит он. — Вечером жизни нет!..

«Отвлекает», — думаем мы и молчим.

Инструктор смотрит на ясное, еще бледное небо.

— А денек нынче будет хороший!..

Мы не отвечаем.

Он стучит ногтем по стеклу альтиметра. Стрелка подходит к цифре «400».

— Приготовиться! — бросает он лениво и открывает дверцу, как калитку в палисад.

Я встаю и все-таки смотрю вниз. Голова не кружится. Земля очень далеко, еще в утренней дымке, пронизанной солнцем, далеко-далеко, на дне бездны, и в то же время она близко: видны игрушечные домики. лесок, железная дорога.

— Только не толкай, я сам прыгну!..

— Зачем мне тебя толкать? — отвечает он, зевая. — Пошел!

Я прыгаю, как учили, стоямя, «солдатиком». Правая рука должна лежать на кольце запасного — на случай чего. Но куда там! Я не помню, где она. Это уже в дальнейшем ловишь себя на том, что рука как пришита к кольцу.

И вдруг рывок. «Динамический удар», — думаю я. Скорость падения так резко замедляется, что какое-то время кажется, будто летишь вверх. Задираю голову. Надо мною раскрытый, наполненный воздухом купол. Все в порядке!

Оглядываюсь. Справа от меня, чуть выше, летит Вася Демидов. «О-го-го!» — кричит он мне. Еще выше Мишка Сидоров грузно сидит на лямках, как на качелях.

А снизу слышны голоса инструкторов:

— Держи ноги вместе! Разворачивай по ветру! Держи лапы вместе! Земля близко!

Земля несется на нас быстро и словно наклонно. Горе тому, кто попробует «ловить землю ногами» — сделает движение, как при беге, — перелом обеспечен. Поэтому и кричат инструкторы. Нужно спружинить удар — носки вместе, пятки вместе, колени вместе. И еще нужно развернуть купол за стропы так, чтобы ветер дул тебе в спину. Иначе ты полетишь спиной вперед, упадешь на спину и ударишься затылком.

Но мы выполняем правила. Чувствительный удар. Падаешь на бок, «гасишь» парашют, чтобы не тащил тебя по земле. Теперь домой, на завтрак. Очень хочется есть!

Итак, первый прыжок закончен. Все целы. Но бывало и иначе.

Бытовала у нас песня, наподобие старинной морской.

Раскинулось небо широко,  
И «дугласы» выются вдаль.  
Товарищ, летим мы высоко,  
Все выше от милой земли.

Не слышно ни смеха, ни песен,  
Лишь пара моторов шумит.  
А «дуглас» так мрачен и тесен,  
Как вспомнишь, так сердце болит.

Вот резко сирена завывала,  
Товарищи, надо спешить...

и так далее.

Герой песни прыгает, ему отказывает парашют.

Дальше было два варианта: в первом он разбивается, и его хоронят друзья, завернув в парашютный купол; во втором, более популярном, —

Он дернул «ПЗ»<sup>1</sup> вытяжное кольцо  
И выбросил в сторону купол.  
Веселой улыбкой сияет лицо:  
Минута — и был бы уж трупом.

К нему подбегают, а он уж встает...

Кончалась песня так:

Тоскует старушка — живой ли сынок?  
Болит материнское сердце.  
А сын на груди носит синий значок,  
А рядом эмблему гвардейца.

<sup>1</sup> Парашют запасный.

«Синий значок» я и теперь иногда надеваю, внизу подвеска с цифрой — количество прыжков.

Увлекательное зрелище — смотреть, как с утра до вечера прыгает с самолетов бригада.

Летит самолет, и видишь, как отделяется от него крохотная черная точка, за ней другая, третья, и вдруг над ними появляются белые легкие купола. Этим первым пускают, чтобы «пристреляться» — посмотреть, насколько сносит их ветром. А потом пошли, буквально как грибы, с каждого самолета по «тридцать витязей прекрасных». Снизу смстреть — они парят в воздухе почти неподвижно, опускаются медленно-медленно. И вдруг один, обгоняя всех, быстро идет вниз. «Парашют колбасит», — говорит кто-то тихо.

Это страшная вещь — захлестнет купол стропой, он раскрылся, но не вась, и летит человек медленнее, чем в свободном падении, но со скоростью, достаточной для того, чтобы разбиться. А полураскрытый купол вихляется, идет «колбасой».

— Парашют колбасит! — И обрывается сердце.

Человек открывает запасный, но скорость не настолько велика, чтобы он сам наполнился воздухом. Безвольно падает его купол. Парашютист подхватывает его, быстро-быстро собирает, прижимая к животу, и бросает резко в сторону, чтобы ему помог ветер. Но купол снова падает. И снова собирают его стремительные руки, и снова бросают в сторону — и видишь, как неторопливо, словно нехотя, расправляется ткань и, как чудесный цветок, раскрывается купол. Резко снижается скорость падения. Всеобщий вздох облегчения: «Уф-ф...»

А бывает, так и скрывается человек за леском, болтаясь под вихляющим парашютом.

На третьем прыжке разбился Володька Замышляев, товарищ мой по училищу. С ним случилась другая беда.

При массовом прыжке с самолета открываются двери в обе стороны, идешь в затылок товарищу и делаешь очередной шаг туда, в голубое пространство. Никаких усилий не надо. Только шагнешь, и тебя уже самого бросает встречной струей воздуха. Но больно лихой был парень Замышляев, он оттолкнулся резко, обеими ногами, как будто прыгал с мостков в воду, и пошел вниз, но не «ласточкой» или «рыбкой», а кульбитом, кубарем, наматывая на себя тянущийся за ним купол. Так и упал он, весь обмотанный перкалем, как в саване. Мы похоронили его на тихом дачном кладбище над рекой. Встал на его могиле маленький столбик с фанерной красной звездой.

И пошла в далский, без светомаскировки, городок «похоронная» — извещение о том, что «рядовой Замышляев Владимир Петрович пал смертью храбрых». Поплыла в конверте с фиолетовым штемпелем эта трагическая формула войны.

Как бы ни подкралась к солдату смерть, пусть и не совершил он в последний свой миг никакого геройства, пишут о нем: «Пал смертью храбрых». Может быть, попала бомба в вагон эшелона, может быть, накрыло его миной, когда спал он где-нибудь в окопчике, — как бы то ни было, пишут о нем: «Пал смертью храбрых». И это верно. Он пал смертью храбрых, потому что он жил жизнью храбрых.

У нас во взводе, да и в роте, не было ни одного Героя Советского Союза, но ребята были по-настоящему отважные. Правда, Кононова представляли «к Герою», но этого звания ему не дали, а дали сразу два

ордена Красного Знамени. Это был старательный парень, родом с Крайнего Севера; он ничем особым не выделялся до тех пор, пока, заменив убитого командира отделения, не вышел в тыл врагу, напал с отделением на минометную батарею, уничтожил расчет, затем обстрелял из этих минометов вражеский обоз и тоже захватил его. И все это без единой потери.

Подвиг — это умение, он подготовлен огромным трудом.

Копонов после этого немного зазнался, закурился, но с него быстро сбили спесь.

В армии редко говорят: «Ах, какой храбрый!» Подвиг рассматривается как большое знание своего дела, как мастерство. И никаких выспренных слов не говорят по этому поводу.

Шли большой колонной вдоль леса. Светало. И вдруг навстречу нам, навстречу встающему за нашей спиной солнцу, выскочил из-за леса «мессершмитт». Он шел на бредущем, очень низко, и бил из пулеметов. Среди тишины рассвета это было совершенно неожиданно; колонна шагнула к лесу, никто даже не крикнул: «Воздух!» Внезапно на носу «мессера» появилось яркое пламя, он пошел боком-боком и взорвался, ударившись о землю в полукилометре от нас. Все это — и появление его и падение — произошло молниеносно. И только тут все увидели, что у задранного вверх зенитного пулемета, в кузове грузовика, стоит белокурый парень и еще держится за рукоятки. И все закричали: «Ура!» Тогда парень засмеялся смущенно, отпустил рукоятки, поднял свалившуюся пилотку и нахлобучил на отросшую на фронте шевелюру.

Какой же у него был глазомер, какая реакция!

Разведчики побежали к упавшему самолету. Колонна двинулась дальше. Вставало солнце.

Боевое охранение, оседлавшее дорогу, услышало в темноте шум немецкого танка. Танков здесь никак не ждали. Гранат ни у кого не было. Тогда Мишка Сидоров, человек степенный, лесной,— о нем еще будет речь впереди — развязал мешок, где рядом с запасными портянками, куском мыла, ложкой и другим немудреным солдатским скарбом лежала противотанковая граната.

— Дай-ка сюда! — сказал сержант.

— Разрешите, я сам! — ответил Сидоров, прополз вперед по кювету и через несколько минут подорвал танк, перебил гусеницу:

Очень уважали у нас Владимира Ратковского, разведчика, человека бывалого, самостоятельного и самоуверенного. Он писал стихи «под Есенина» и читал иногда, но очень редко. Рядом с ним разорвались две гранаты, и он был ранен десятками осколков разной величины. Долго лежал он в госпитале, из него вынимали-вынимали осколки, да все не вынули. У него был мешочек, вроде кисета, где он хранил эти ржавые, с неровными краями, кусочки металла. Время от времени, когда становилось ему невмоготу, ложился он на недельку-другую в медсанбат, и его коллекция пополнялась двумя-тремя осколками.

Не зря говорил он о себе, что из него можно добывать железо.

Во время стремительного весеннего наступления по Венгрии дни стояли уже по-летнему жаркие, и мы побросали шинели. А ночью было холодно. Это были очень темные и холодные ночи.

Нужно сказать, что нам досаждали вражеские легкие самолеты, вроде наших «ПО-2» — «кукурузников». По ночам летали они над нами, и стоило блеснуть карманному фонарику или вспыхнуть сигарке, как

сейчас же в это место бросали мину. Просто вручную, с борта самолета. Пробовали стрелять по ним, но, выкрашенные в черный цвет, они были совершенно не видны во мраке, а отблеск выстрела сразу же засекался.

Мы заняли линию обороны противника. Ночь была очень холодная.

Пошли мы с Калашниковым, с тем самым, который украл у меня когда-то сухари, в ближайшее поместье — нечто вроде замка — взять что-нибудь теплое.

Траншеи подходили к замку вплотную. Изредка светя фонариком, ступали мы по скрипучему паркету, мимо картин, фарфора и разных ненужных нам безделушек. Я взял несколько пальто, Калашников нагрузил на себя перины, целую стопу; они были пышные, но легкие — недаром ими укрываются здесь как одеялами. Он положил эту кипу себе на голову и придерживал руками за края. Пошли обратно снова по траншее. Калашников впереди, я за ним шагах в пятнадцати.

Все время слышны были самолеты. Вот мотор затрещал прямо над нами, и едва Калашников ступил в следующее колено хода сообщения, как раздался взрыв. Я упал, скорее всего от неожиданности, вскочил и бросился вперед. Огромное облако пуха стояло над траншеей.

— Калашников! — крикнул я, не надеясь услышать ответ.

Под облаком что-то зашевелилось.

— Я! — ответил его голос. Он поднялся, ругаясь: — Во даст, сволочь! — Ощупал себя. — Вроде все цело... Увидел сверху белое — и бросил, — объяснил он мне и добавил деловито: — Давай отойдем отсюда, почистимся...

Через пять минут он сказал:

— Ну иди, а я пойду обратно, там еще перин много.

— Так он же опять белое увидит...

— Там ковры есть, я сверху ковром накрою...

Вот такие были ребята. И прыгали безотказно, хотя, скажем прямо, без особого удовольствия. Это ведь был не аэроклуб ДОСААФ, где прыгают по призыванию и с гораздо большей подготовкой. Некоторых высота очень смущала.

Сержант Хабибов, человек смелый и дисциплинированный, трижды раненный, говорил командиру взвода перед прыжком:

— Прыгать не буду — толкай меня, слушай!..

И его толкали, а он отчаянно цеплялся за всех, а потом сам же смеялся над собой.

А Петя Секретарев, подходя к раскрытой двери самолета, не делал положенного шага наружу, а быстренько садился и съезжал туда, в бездну. Ему, наверное, казалось, что так будет ниже.

Но один парень из соседней роты упорно отказывался прыгать. Он дергал за кольцо внутри самолета и выбрасывал купол на пол так, что уже не мог прыгать. Его сажали на гауптвахту, обсуждали на комсомольском собрании — ничего не помогало. Он был отправлен в маршевый батальон.

Кудряшов появился у нас под вечер. Он шел следом за элегантным старшиной Петровым и рядом с ним выглядел особенно неказисто. На брезентовом поясе у него болтался котелок. Шел он большими шагами, слегка шаркая подошвами. Положив вещмешок у входа в землянку, он подошел к нам. Мы курили. Я как раз достал свой портсигар — жестяную коробку из-под зубного порошка. На крышке был нарисован негр с ослепительной улыбкой. Кудряшов обратился ко мне уважительно:

— Солдат, разреши твоего табачку отведать...

Все захохотали, некоторые даже до колик.

Рассудительный Боря Чернев, очень любивший фотографироваться, сказал поучительно:

— Разве табак — еда, чтобы его отвеживать?

Но Боря не понял. Смеялись не этому. Смеялись удивительной интонации, с которой это было сказано, непередаваемой интонации глубокого старика.

Мы даже подумали сперва, что он дурачится. Сам он держался солидно, взял у меня щепоть махорки, свернул козью ножку, достал из кармана «катушу» и задымил.

Пожалуй, целый месяц каждая фраза Кудряшова встречалась добродушным хохотом. Потом привыкли. Он действительно говорил смешно. Например, одно его выражение стало во взводе крылатым: «Выходи строиться с котелкам!» Но главное в нем было — стариковская интонация и стариковская степенная манера держаться. Вскоре все объяснилось.

Был он родом из глухого закамского села, железную дорогу увидел в первый раз, когда пошел в армию. Отец и мать его рано умерли, и Кудряшов воспитывался у деда-лесника. Сызмальства жил он с дедом в лесной сторожке, оттуда и в школу стал ходить. Интонацию и манеры он невольно перенял у деда. Рассказывал Кудряшов неторопливо, и мы легко представляли себе темный шумящий лес, маленькую сторожку и двух старичков у огня: старого и малого.

За год до призыва Кудряшова в армию дед умер, и Кудряшов переехал в село. Он стал владельцем двух дворов: отцовского и дедовского (дед был по линии матери). Отцовский дом он так и оставил заколоченным, решив продать после войны, — хозяйственный был мужик! — а в дедовском стал жить с какой-то молодой бабенкой Анюткой. Он так и говорил: «бабенка Анютка». Ее он оставил сторожить дворы и обещал вернуться.

Подружился он с Шабановым — водой не разлить. Шабанов был небольшого, со склонностью к полноте. До войны работал он бухгалтером в МТС на Рязанщине и очень тосковал по дому. Он был всегда молчалив, задумчив и оживлялся, лишь рассказывая о доме. Он любил рассказать о том, как все его уважали в деревне, как ездил он за три километра на велосипеде к своей девушке в соседнее село, как ласково встречала его мать девушки, потому что он был завидный жених, и как он целовался с девицей в яблоневом саду.

Не знаю, что сблизило Кудряшова и Шабанова. Дружбу, как и любовь, бывает трудно объяснить. Казалось, что они были совершенно не похожи друг на друга. Впрочем, одна общая черта была заметна: они оба чрезмерно боялись начальства.

Мы жили в тесной землянке, спали на нарах из жердин, на которые сверху клали молодые еловые ветки. Помкомвзвод Голиков требовал, чтобы все хоть разувались, и иногда ночью лазил в темноте по нарам, шупал — кто в ботинках. Обутое поджимали ноги.

Кудряшов и Шабанов устроили себе за печкой нечто вроде насеста, нечто очень короткое и неудобное, не разувались они от бани до бани. Если развязывалась обмотка, падая вниз кольцами (говорили: «баллон спустил»), они подтягивали обмотку — и все!

Раз пришло Кудряшову письмо от «бабенки Анютки». Шабанов рассказал об этом Боре Черневу, и скоро о письме знал весь взвод.

«Бабенка Анютка» писала, что председатель сельсовета хочет отобрать один кудряшовский двор и поселить туда сына, который женится. Известие это породило во взводе шумные споры и общее возмущение. Один Кудряшов был философски спокоен.

— Товарищ старший лейтенант, -- обратился мой друг Вася Демидов



к командиру роты, огромному Самсонову, которого за глаза любовно называли «дядя Ваня», — разрешите, мы с Кудряшовым к майору Лютову сходим...

— Ступайте!

Вася Демидов был человек очень справедливый и не мог относиться к таким вещам равнодушно.

Пошли они к начальнику политотдела майору Лютову, популярному в бригаде старому десантнику и комиссару. Вообще такая инстанция, как штаб бригады, казалась страшно далекой, но майор Лютов, как и командир бригады полковник Киреев, ежедневно бывал в ротах и взводах.

Майор Лютов выслушал их — впрочем, говорил Демидов, Кудряшов молчал — и сказал, что председатель сельсовета действует незаконно и он, Лютов, напишет в местный райком, чтобы председателя призвали к порядку.

— А тебе, — сказал майор Кудряшову, — погараюсь я выхлопотать отпуск дней на десяток для устройства всех твоих дел...

Эта весть вызвала во взводе восторг, задумчивость и зависть. А Кудряшов, поразмыслив, сказал Шабанову:

— Ежели дадут отпуск, не поеду я. Получу сухой паек, уйду в лес, стану кашу варить. А потом обратно вернусь...

Вряд ли дошли его слова до майора Лютова, но отпуска Кудряшов не получил. Зато и дом его не тронули — вмешался райком.

Кудряшов отлично стрелял. У него был точный глаз и твердая рука лесного человека. Однако он страшно боялся промазать и огорчить этим начальство, поэтому часто действительно мазал. На фронте же он одним выстрелом из противотанкового ружья уничтожил хитрого вражеского снайпера, за которым безуспешно охотились несколько дней.

В Венгрии Кудряшов был ранен в ногу. Он лежал в медсанбате. При каждом удобном случае навещал его Шабанов, передавал приветы от взвода, приносил невиданные трофейные лакомства.

Вернулся Кудряшов уже в Вене. В начале апреля за неделю взяли мы этот огромный город, прошли на запад до Бадена, Санкт-Пельтена, до гор, а потом возвратились в Вену на отдых. Были майские праздники, пришло известие о взятии Берлина, и мы были уверены, что война кончится завтра-послезавтра.

Кудряшов и Шабанов выпили по поводу радостной встречи.

Уже две недели кухни ничего не варили — все равно все выливалось: солдатам надоело котловое довольствие, и они предпочитали находиться, как тогда говорили, «на подножном корму».

А здесь наварили рисовой каши с изюмом.

Шабанов вместе с еще прихрамывающим Кудряшовым подошел, крикнул повару:

— И мне положи!

Наш повар Суругин проворчал:

— Котелка-то нет. Куда я тебе положу, в пилотку?

— А что, давай в пилотку...

Шабанов подставил пилотку, и Суругин серьезно и аккуратно положил ему туда полчёрпака.

Мы жили на холме, в просторных виллах. Спали, бродили по городу. Боря Чернев фотографировался у какого-то предприимчивого фотографа; снимки были в виньетке из звездочек, с надписью «Память Вены».

И вдруг — приказ: наша Девятая ударная армия спешно перебрасывается с 3-го Украинского на 2-й Украинский фронт.

Вновь забыта спокойная жизнь. Змеясь, двинулись по шоссе гигантские колонны. Только вместо знакомого нам призыва «Вперед, орлы»

Толбухина!» зовут на запад с обочин фронтовой дороги транспаранты: «Вперед, орлы Малиновского!»

Шли быстро, с малыми привалами, два дня и три ночи. Кудряшов ехал на подводе. На исходе третьей ночи Ратковский, забежавший в деревню напиться, сказал:

— Здесь штаб Глаголева стоит (генерал-полковник Глаголев командовал нашей армией), я знакомого встретил, говорит, не то война кончилась, не то кончится вот-вот...

На рассвете над нами волнами пошли наши бомбардировщики. Видно было, как на горизонте они переходили в пике. Оттуда неслись беспрерывные взрывы.

Совсем рассвело. Остановились в ложине. Пошла вперед разведка. Но что случилось? Бегут разведчики. Спешит куда-то командир бригады. Короткая заминка, потом зовут офицеров. Скорей, скорей!

Противник бросил оборону и ушел на запад, минировав шоссе. Нужно немедленно, как можно быстрее, кто на чем сможет, двигаться по шоссе на запад. Саперы, вперед!

А с запада, навстречу нам, шли американцы.

И мы бросились на запад. Сначала ехали на пушках гаубичного полка, потом нас согнал какой-то неизвестный нам генерал, мы посхали на велосипедах, взяв их в большом, раскрытом настежь магазине, потом на лошадях. Перемешались части и соединения. Сейчас это уже неважно. Главное — скорей на запад!

Кудряшов и Шабанов, конечно вместе, ехали на подводе. Остановились ночевать в селе, стали стелиться на полу, задели лавку, куда положили автомат, он упал и дал очередь — с автоматами бывали такие фокусы. Две пули попали Кудряшову в ту самую раненую ногу — хорошо, что не задели кость.

Боже, как они испугались! Они решили, что их обвинят в самостреле и будут судить. Надо же было придумать такую чепуху!

Шабанов разорвал индивидуальный пакет и перевязал Кудряшову ногу. Они решили никому не говорить об этом случае, а объяснить, что открылась старая рана. В санчасть и в санбат они не обращались.

Лишь месяца через три, когда все зажило, они под большим секретом рассказали эту историю во взводе.

Потом нашли применение бухгалтерской профессии Шабанова и взяли его работать на склад ПФС<sup>1</sup>. Шабанов похлопотал, и Кудряшова устроили туда же ездовым.

Командир роты «дядя Ваня» Самсонов любил песни. В роте было несколько как бы официальных запевал, каждый со своим репертуаром, и «дядя Ваня» всякий раз заказывал определенную песню. Старшина Петров строил роту на обед.

— Рота, смирно! Ложки взяли?

— Взяли!

— Шагом марш!

Хорошо шагает рота, и старшина негромко бросает:

— Споем?

Ладно, под левую ногу, отвечает рота:

— Споем!

— Запевай!

И вот уже звучит голос запевалы, дружно подхватывается припев, и подголосок — тоже человек не последний — пускает высокую-высокую ноту над этим могучим хором.

<sup>1</sup> Продуктово-фуражное снабжение.

Иногда по вечерам «дядя Ваня» устраивал соревнование между взводами, своего рода конкурс. Усаживалось жюри во главе с ротным — командиры взводов, старшина, писарь.

Взвод, занявший первое место, поощрялся — например, освобождался от очередного наряда.

Пелись здесь уже не строевые, а русские народные песни — и шуточные и грустные. Здесь были уже другие солисты, люди тоже уважаемые, потому что важно все, за что ты берешься, делать хорошо.

Мы стали сильно тосковать по девушкам. Пошли длинные, подробные рассказы — большей частью вымышленные — о любви, о случайных романах и неизменных победах. В деревнях, во время привалов и ночлегов, заигрывали с девочками, с молодыми солдатками. Кое-кто небезуспешно.

В бригаде женщин было очень мало. Была медсестра Валя, несколько кукольной красоты, синеглазая, золотоволосая. Замирало сердце, когда смотрели на ее стройную, стянутую широким командирским ремнем фигурку. За ней увивалась чуть не вся бригада, но всё, как говорили, напрасно. Неожиданно она вышла замуж за капитана из четвертого батальона, маленького и толстого.

Валя ждала ребенка и уехала к матери. Конечно, это не для армии. В армии нет акушеров и родильных домов.

Об ее отъезде много говорили.

Шабанов впервые сострил: «Ах, почему я не женщина!..»

Я знал с детства, что есть растение «куриная слепота». Если им потереть глаза, то можно ослепнуть, хотя, кажется, не совсем. А называется так, потому что куры с наступлением сумерек ничего не видят и рано взбираются на насест.

Но я не знал, что всерьез есть такая болезнь — «куриная слепота». При ней тоже, как только стемнеет, человек ничего не видит, будто у него глаза завязаны. Происходит это от однообразного питания и недостатка какого-то витамина. Днем же больной все видит прекрасно.

И вот у нас в течение полугода процветала эта странная болезнь. Переболели ею многие. Одновременно во всем батальоне болело человек двадцать пять — тридцать, и во время таких походов, когда их нельзя было оставить, они шли в хвосте батальона, вцепившись друг в друга, как знаменитые слепые у Метерлинка.

Интересно, что врач не может определить, действительно ли человек болен «куриной слепотой». Находились и симулянты, хотевшие отдохнуть несколько ночей подряд. Поэтому проверял их сам старшина Петров. Он выводил заболевшего ночью из землянки и начинал размахивать руками у него перед самым лицом, делал вид, что хочет ткнуть пальцами в глаза, а помкомвзвод, писарь или еще кто-нибудь из его ассистентов, приблизив лицо, следил, не мигает ли солдат. Мигает, пугается — симулянт, не мигает, стоит спокойно — вправду болен. Эта экспертиза была безошибочной.

Как-то раз Петров решил потряхнуть стариной и вывел нас после проверки на вечернюю прогулку. Легко и свободно шла рота, пела песню, и настроение у роты было хорошее, потому что на ночь ничего не предвиделось, сейчас дадут отбой.

Было лето, еще не совсем стемнело. Я бодро шел в строю, как вдруг у меня словно помутилось перед глазами, наплыла темная пелена. От неожиданности я сбился с ноги, наступил на ногу идущему впереди меня Васе Демидову. Через мгновение я уже ничего не видел, только впереди смутно белела крохотная полоска — это Вася подшил перед вечером

новый подворотничок. Потом и эта полоска исчезла. Но мы подошли к своей землянке, из открытой двери струился свет, я вошел и уже все видел.

Мы стояли в резерве, и на завтра у нас должны были состояться учения, так называемый «выход».

Рано утром двинулись. Чуть сбоку с безучастным видом шагал Голиков, а впереди взвода — присланный накануне новый командир взвода, молоденький младший лейтенант, только из училища, — как тогда беззлобно говорили «инкубаторный». И я мог стать таким. Время от времени он пропускал взвод вперед себя и пытался «подсчитать ножку»: «Раз, два, левой!» — хотя в походе идти в ногу совсем не обязательно.

Уже полгода у нас не было командира взвода, с тех пор как у бывшего взводного Брысина разорвалась в поднятой руке граната. Правда, ему еще повезло — вся сила гранаты, что бывает крайне редко, пошла в одну сторону, и ему лишь оторвало два пальца и повредило правый глаз. Он уже выписался из госпиталя, но для службы у нас был негоден и недавно приезжал прощаться. Брысин был когда-то пастухом и умел с точностью до пяти минут определять по солнцу время. Вообще мужик он был неплохой, бывалый.

И вот теперь прислали нового.

А у нас в это время боролись с курением в землянке. И так дымно — от печки, которую топили, потому что было очень сыро, от фитиля в гильзе. Выйдешь утром, плюнешь — черно!

У нас периодически с чем-нибудь боролись — то с каким-либо отставанием в боевой подготовке, то «дядя Ваня» объявлял борьбу с руганью, и никто вслух не ругался, пока не нарушал запрет сам ротный. А сейчас боролись с курением в землянке.

Младший лейтенант вошел в землянку с папирской. Там был только дневальный, «железный человек» Ратковский. В полутьме землянки он гаркнул грозно:

— Эй, кто там? Не курить! — И младший лейтенант стыдливо сунул папиросу в печурку.

И сейчас этот младший лейтенант шел со взводом и «подсчитывал ножку».

Шли весь день. Мы уже давно втянулись в походы, километров пятьдесят в день — обычное дело. Поотделенно отрыли окопчики, сварили еду. Наступил вечер. Едва я шагнул от костра, чернота надвинулась на меня вплотную. Я закрыл глаза, снова открыл — чернота, поднес руку к глазам — не вижу.

Демидов отвел меня в сторону. Постлали шинель и плащ-палатку. Легли. Прибежал Калашников:

— Срочно, по тревоге, к реке!..

Вскочили, костер потух. Я ухватился за край плащ-палатки Демидова, и мы, падая и цепляясь за кусты, побежали к реке. Там горел костер.

Ребята сидели и сшивали из плащ-палаток мешки, а младший лейтенант вдевал нитки в иголки.

Оказывается, на рассвете надо форсировать реку; набьем эти мешки соломой и будем на них переправляться. Пошел мелкий дождь, мы кончили работу и задремали.

На рассвете переправились, сильно намокли. Снова отрыли окопчики и долго чего-то ждали. Мы с Васей Демидовым пошли в деревню, выменяли у бабки на кусок мыла котелок молока, перекусили.

Наконец приехал командир бригады, посмотрел, как мы окопались, похвалил и приказал двигаться домой. Шли мокрым лесом, без дороги, скользя по глине и осыпая на себя с веток тысячи капель и брызг.

Хорошо, что в сумерки вышли на шоссе. До расположения было ки-

лометров тридцать. Майор Губа устроил короткий привал, и снова двинулись.

На мне был десантный ранец с множеством различных карманчиков, набитых всякой всячиной, и карабин; еще я нес на плече тяжелый ствол противотанкового ружья. Наш взвод был в роте замыкающим, а я шел в конце взвода. За мной были только наши «аристократы» — старшина Петров, писарь, ординарец Калашников. Они шли свободно, налегке, и рассказывали разные неинтересные истории.

Я ничего не видел и вдруг услышал их голоса уже впереди себя. Теперь я шел направляющим в следующей за нашей роте. И эта рота, обтекая, стала обгонять меня. Прошла еще одна рота, и все. Я остался сзади.

Я шел, осторожно ступая, и слушал, как, шаркая подошвами по асфальту, удаляется батальон. Я ничего не видел и не мог идти так быстро. Был полный мрак, лишь изредка, на мгновение, чуть отсвечивал мокрый асфальт.

Потом сзади я вновь услышал неторопливые голоса и узнал их. Это были замполит Вагин и парторг батальона Чемишкьян. Они шли далеко позади батальона и беседовали о своих делах.

— Ты что, солдат? — спросил замполит, и по звуку голоса я понял, что он заглядывает мне в лицо. Он знал всех в батальоне.

— Ничего не вижу, товарищ капитан...

— Давай руку. Пошли!

Я дал ему руку, мы пошли быстрес.

— Давай бегом!

Мы побежали.

— Нет, не могу. Ничего не вижу.

— Я ж тебя за руку держу. Зачем тебе видеть?

— Нет, — сказал я, расхрабившись. — Давайте завтра днем вы завяжете глаза, я возьму вас за руку, и побежим. Вам такой бег не понравится...

— Пожалуй. — Он засмеялся, и мы пошли шагом, но быстро.

Скоро мы догнали батальон на привале.

— Старший лейтенант Самсонов! — крикнул замполит. — Что же вы за людьми не смотрите?!

— Младший лейтенант! — в свою очередь обратился «дядя Ваня» к нашему новому взводному. — У вас люди отстают...

— Почему отстают?

— Почему! Куриная слепота.

— Куриная слепота? — изумленно переспросил тот. Он никогда не слышал о таком и ничего не понял. — У кого куриная слепота?..

— У вас! — рассердился ротный. — Людей своих не видите!

Он сказал это тихо, чтобы не слышали подчиненные, но у меня был обострен слух, ведь я ничего не видел.

Кто-то взял ствол ПТР, который я нес, и дали мне в поводьри Мишку Сидорова, того самого, что подорвал впоследствии танк.

Мишка был широкоплеч, очень силен. До армии работал на лесозаготовках и во всем, что касалось леса и дров, был дока. Кухонный наряд заготавливает дрова, и попадаетея почти всегда огромное полено, которое никак не могут расколоть: обухом бьют сверху по обуху, топор уходит вглубь, завязает в полене — и ни с места, забивают клинья — не помогает. Зовут Мишку. Он походит вокруг полена, постукает обушком, словно отыскивая уязвимое место, ахиллесову пята, потом, неслышно, но обязательно громко крякнув, стукнет топориком, и проклятое полено безропотно разваливается пополам.

Слабым местом Мишки Сидорова была его безудержная любовь ко

сну. Он мог спать где угодно и как угодно: сидя, стоя, на ходу. Другие в этом отношении тоже были не очень требовательны. Жили когда-то в огромной землянке, на всю землянку была одна лампа — ватт на пятьсот. В дальние углы ее свет едва доходил, а я спал как раз против нее на верхних нарах. От нее было не только ослепительно светло, но и жарко. Однако засыпал я мгновенно и спал прекрасно. Сейчас бы мне такой сон!

Стоило Сидорову лечь на землю, и он уже «слушал, как трава растет». Чтобы окончательно разбудить его, надо было поставить его на ноги, иначе он говорил: «Да, да, не сплю» — и продолжал спать, как только его оставляли в покое. Спал он ночью в строю. Это очень уютно, со мною несколько раз бывало такое. Будто и спишь и не спишь, а попадаешь в какие-то темные провалы, и хочется лечь на дорогу, но то, что в тебе еще бодрствует, заставляет идти и невероятно напряжено.

И вот мне дали в поводьери Мишку Сидорова. Я взялся за шнурок на его десантном ранце, и мы пошли. Сразу же мы оказались в хвосте батальона, и замполит с парторгом стали нас подгонять:

— Чего отстааете? Шире шаг!

Мишка же, напротив, мечтал, чтобы они прошли вперед, и отставал нарочно. Такая игра длилась не меньше часа, и наконец они каким-то образом оказались впереди. Сзади нас никого не было, мы были одни.

— Посплю пять минут, — сказал Мишка облегченно, — а то не могу.

— Мишка, брось дурить!

Но он уже спал, опустившись на влажный асфальт.

Я стоял над ним в полном мраке, дергал за длинный шнурок и говорил время от времени, наверно, довольно жалобно:

— Мишк, вставай!..

Он спал минут двадцать. Мне стало холодно, и я начал пинать его ногой все сильнее.

— Вставай!

— Чего бьешься? — проворчал он вдруг. — Как дам!..

— Вставай!

Он еще покряхтел, поворчал и встал, весь дрожа от сырости.

— Пошли!..

Батальон ушел далеко, его давно уже не было слышно.

Мишка решил срезать путь, идти не по дороге, а напрямик, полем. Мы скользили, оступались, падали в лужи и в канавы и, мокрые и в грязи, добрались наконец до дому.

В землянке горел свет, я снова стал зрячим.

Дали мне в санчасти рыбий жир и еще что-то, и через несколько дней у меня прошла «куриная слепота».

Лоханков был человек сугубо штатский, скучный, и характер у него был неприятный — сварливый, вьедливый. Когда рассказывали о каком-нибудь случае на фронте, он слушал скептически, мрачно усмехаясь. Он завидовал, ему очень хотелось стать героем. Когда же он выпивал «свои фронтовые сто грамм» — больше ему не требовалось, — он сам начинал рассказывать истории. Врал он великолепно.

— Служил я до войны в авиации, ас был первоклассный. Вылечу утром рано и начинаю над аэродромом весь высший пилотаж показывать — все штопоры, бочки, мертвые петли; одну за другой кладу фигуры — любо-дорого. Высыплют все, бывало, смотрят: механики, мотористы, командир полка, буфетчица — такая была рыженькая, Нина, — та вся побледнеет, и повар наш, Вася, в белом колпаке стоит в дверях кухни. А я тогда выхлопом — знаете, белой такой полоской — пишу в списки:

«Вася, приготовь двойную! Все!» Тот бежит готовить. Я ручку от себя, иду на посадку, убираю газ, сажусь. Все!..

Или другой его рассказ — о том, как он работал в соляных коях и установил мировой рекорд выработки соли:

— Во всех газетах написали, портреты мои поместили. Работаю раз, как всегда, на соляном комбайне, слышу — бегут, говорят: «Микоян приехал!..» Ну, пожалуйста! Спускается Микоян, подошел ко мне, смотрит, как я работаю. А я рубаю. Посмотрел он, посмотрел и говорит: «Молодец, товарищ Лоханков! Как же вы таких результатов добились?» А я ему: «Отойдите, говорю, пожалуйста, Анастас Иванович, не мешайте, говорю, пожалуйста, работать. Потом, говорю, поговорим». Все!

Или еще его рассказ: вырастил Лоханков, применив мичуринские методы, арбуз пуда на полтора. Хотел на сельхозвыставку везти.

— Вырос арбуз — гигант, любо-дорого. Уж я с ним бился, обхаживал его, ночей не спал. Наконец вижу — готов. Поднял я его еле-еле, прижал к животу, несу. Стал по ступенькам всходить, а у жены кутенок такой маленький был — пу да, собачонка, — он мне под ноги, кутенок. Споткнулся я, уронил арбуз. Арбуз вдребезги! Все! Схватил я кутенка, шварк об ступеньки. Все! Я плачу — арбуз жалко, жена плачет — кутенка жалко. Какой был арбуз, других таких не было!

Очень хотелось Лоханкову стать героем, очень хотелось чем-нибудь выделиться. Да случай подходящий не выпадал.

Зато настоящие герои слушали его с большим интересом.

В сентябре сорок третьего года, неподалеку от Горловки, остановились в единственном уцелевшем четырехэтажном доме без окон, без дверей. Несколько дней назад здесь стояли немцы. В одной из комнат на стенах рисунки углем, сделанные мастерски. Сидит солдат в окопе, курит, и в дыму над ним смутно вырисовывается миловидное женское лицо. Может, он тосковал по дому, этот художник, черт его знает!

У нас тоже был свой художник, Борис Бурков из Архангельска, талантливый человек. Но он был скромн, не рисовал на стенах, а делал наброски в блокноте да оформлял «боевые листки».

В большой землянке, в степи, лежали ПДММ — парашютно-десантные мягкие мешки, в которых сбрасываются пулеметы, минометы, боеприпасы. В упакованном виде ПДММ представляет собой довольно длинный цилиндр, с одной стороны — амортизатор, с другой — уложенный грузовой парашют.

Каждый вечер к землянке отправлялся трехсменный караул со своим начальником — сержантом. В темноте пересчитывались на ощупь мешки, лежавшие на стеллажах, и склад принимался.

В карауле была минометная рота, ее почему-то не сменили вовремя, а сменили лишь назавтра. Пулеметчики, принимавшие склад при дневном свете, обнаружили, что в одном мешке нет парашюта, а его место забито сеном. Поднялась тревога. Начальник караула, сержант-минометчик, был арестован. Он был из блатных, но из тех, которые не брезгают брать и у своих. Его подозревали в нескольких крупных кражах на складах, но не было прямых улик. Поначалу и здесь улик не было, но кто-то вспомнил, что минометчик уже завел себе кралю в селе; поехали к ней, сделали обыск и нашли на чердаке распоротый громадный купол грузового парашюта, сделанный из перкаля страшной прочности.

Майор Губа выстроил батальон и кратко сказал о том, что это измена Родине, что в мешке были мины, которые, сброшенные без парашюта, могли взорваться при ударе и уничтожить многих из нас.

Сержанта увели.

Разбитый Донбасс. Взорваны и затоплены шахты. Все в запустении. Зашли в маленькую, давно не беленную хатку. Хозяйка засуетилась. — Проходите, сидайте, зараз борща насыплю!..

Так повелось уже с испокон веков: если вступает на порог деревенского дома утомленный войной солдат, то нужно прежде всего угостить, накормить его: сытый солдат и воюет лучше. Бессчетно на дорогах войны пускали нас в дом сердобольные бабы, угощали картошкой, щами, варенцом — чем бог послал — и, пока мы ели, глядели на нас задумчивыми, грустными глазами. Они думали о том, что где-то, по таким же дорогам, идут их сыновья и тоже заходят в чьи-то избы и хаты.

Но у этой хозяйки не было сына. Плача, рассказывала она, какая у нее была гарная дочка и как угнали ее немцы в Германию.

Я не вспомню, как мы подружились с Васей Демидовым. Дело не только в том, что мы полтора года ели с ним из одного котелка. У нас все было пополам. Мы чувствовали друг к другу безотчетную симпатию, мы знали малейшие привычки друг друга, мы сходились во мнениях. Это был не просто приятель, не просто хороший товарищ — это был друг. И не только фронтовой — это был друг на всю жизнь. Мы с ним никогда не говорили о нашей дружбе. Но про себя я часто мечтал о том, как мы будем дружить после войны, ездить друг к другу, а может, и поселимся поблизости.

Он погиб на венгерской равнине у речонки Раба от снайперской пули. Умер он мгновенно, пуля попала ему в голову.

Я не плакал. Я уже не умел плакать по-детски и еще не мог по-мужски.

Это был бесценный друг, посланный мне судьбой. Я долго не мог опомниться и представить себе, что его нет и не будет.

Ему было двадцать лет.

Я никогда не забуду его.

Почти у каждого война отняла близкого, дорогого сердцу человека. У меня она отняла Васю Демидова.

Мы вошли в старинную венгерскую усадьбу и остановились там. Просторный дом с множеством башенок, лесенок, длинные аллеи лип и акаций, обширные фруктовые сады и виноградники.

Усадьба принадлежала крупному венгерскому магнату, я забыл его фамилию — на что она мне нужна! Магнат давно бежал, при приближении фронта бежал и управляющий. Остались работники, жившие вместе с семьями в подсобных постройках рядом с главным домом. Все хозяйство было в их руках, и они организовали нечто вроде коммуны — каждый продолжал исполнять свои обязанности, а доходы делились. Во главе стоял красавец мадьяр, плотник, лет сорока трех, с пышной черной шевелюрой, чуть тронутой сединой. Было заметно, что в него влюблены все женщины усадьбы. Кроме того, он был здесь самым молодым мужчиной.

Нашелся здесь и толмач, очень смешной, похожий на гриб, маленький старик в широкополой шляпе. Он говорил всем с несомненной гордостью:

— Я работаль русский экономий. Я три года работаль русский экономий. Да, плену. Старый война. О Россия! Холёд!..

Оживилась усадьба. Дымили походные кухни. На солнышке в саду курили солдаты. Бодро пробегали ординарцы.

Мы заступили в караул. Я стоял у склада боеприпасов, помещавшегося в большом старом погребе.



После обеда батальон неожиданно снялся и двинулся дальше. Остался лишь наш трехсменный пост да с нами старший лейтенант — начальник оружейного снабжения и оружейный мастер Иванов. Назавтра за боеприпасами обещали прислать машины. Сразу тихо стало в усадьбе. Наступила ночь. Всякое может случиться. Один стоял на посту, другой бодрствовал, сидя у окна рядом со стоящим на столе ручным пулеметом, остальные дремали, часто просыпаясь. Настал день, потом вечер — машины не пришли. Снова столь же зорко охраняли мы пост. На следующее утро пришла одна машина.

— Оружие и боеприпасы пока брать не будем, завтра приедем. Берем старшего лейтенанта и двух солдат!..

— А как же мы?

— Завтра приедем!..

Старший лейтенант напомнил, что мы должны быть внимательны, и машина ушла.

Мы остались с Ивановым.

Подошел толмач, порассуждал о положении на фронтах. Он никак не мог выговорить фамилию: Рокоссовский.

Ночь я простоял на посту. Иванов ремонтировал оружие и в наряды никогда не ходил.

Я смотрел в темноту и испытывал незнакомое ощущение: на много километров кругом не было своей части, не было караульного помещения, где в случае чего могли бы услышать мой выстрел и прийти на помощь. Кругом была черная чужая ночь. Вышел Иванов на крыльцо, закурил. Ему не спалось. Так мы провели эту ночь, за ней — другую. Машин не было.

Что нам было делать? Не могли же мы оба совсем не спать! Мы рассудили так: если есть или будет кто-то, кто захочет уничтожить нас и захватить склад, то преимущество бесспорно на его стороне. Не очень трудно уничтожить сперва спящего, а затем и второго, которому уже никто не придет на помощь. Это было ясно. И мы решили.

— Позовите весь народ! — сказали мы толмачу, и, когда на площадке перед погребом собрались люди, Иванов обратился к ним с речью. Толмач переводил.

— Товарищи крестьяне! — сказал Иванов. — Я называю вас товарищами, потому что все трудящиеся люди — товарищи. Вы трудящиеся и мы трудящиеся, вы венгерские, а мы русские, советские. Теперь так: мы здесь должны пробыть, в этой усадьбе, некоторое время. У нас склад, вы сами видели, что туда грузилось. Вы должны помочь нам, чтобы с ним все было в порядке. Ведь нехорошо будет — правда? — если приедут за нами наши товарищи на машинах, а здесь что-нибудь случится. Но мы надеемся на вашу помощь. Война, товарищи, скоро кончится. Гитлера не будет, Хорти не будет. Все понятно?..

Переводя, толмач обращался главным образом к красавцу мадьяру. Потом они посоветовались немного, и толмач сказал, очень довольный и гордый:

— Ми поняли. Будет помогать!..

И действительно, через полчаса толмач появился уже с немецким карабином на ремне. Он очень важно обошел вокруг погреба и закурил трубку. Выглядел он, как заправский колхозный сторож. Он постоял два часа, потом его сменили. Так и пошло. Когда же ночью стояли на посту я или Иванов, к нам подключался подчасок.

Мы ждали машин каждый день, их все не было. Иванов пошел в ближайший город Цеглед и умолял комснданта принять наш склад по описи. Из этой затеи ничего не вышло.

Мы томились и не знали, что делать. Прошло уже дней десять. Улыбались нам местные девчата. Жаль, что мы не могли объясняться с ними. Толмач рассказывал о положении на фронтах. Жена его нам готовила. Чтобы внести и свою лепту в питание, мы охотились на зайцев: тогда масса зайцев было на венгерской равнине.

Дни тянулись неимоверно медленно — никаких событий! Мы с Ивановым порассказали друг другу все, что могли вспомнить. Никогда я не думал, что можно так тосковать по своим ребятам, по своей роте.

Раз прибежал взволнованный толмач: пришел представитель новой венгерской власти и требовал нескольких мужчин — грузить что-то на станции. Мы вышли к нему. «Они работают для фронта!» — сказал Иванов. Этого было достаточно. Ну что ж, это была правда.

Однажды в усадьбу въехала повозка, в ней сидел пожилой лейтенант. А следом двигалось большое стадо. Человек пять пожилых нестроевых солдат сопровождали стадо, перегоняя его на восток — в счет репараций. В дороге они доили коров и раздавали молоко бесчисленным беженцам, идущим из плена, заполнившим в ту пору все дороги Европы. Эти пожилые солдаты были очень похожи на местных крестьян, только одеты были в полинявшую солдатскую форму. В усадьбе они остановились на ночлег, чтобы дать отдохнуть стаду.

Как счастливы мы были встрече с ними! Утром они двинулись дальше — такая мирная, левоярская колонна.

А на другой день в конце длинной липовой аллеи показался мчащийся грузовик, потом второй. Ох, как лихо ездили наши шоферы! Грузовик затормозил так резко, что показалось, будто задние скаты на миг оторвались от земли. Выскочил из машины сержант, и радостно екнуло сердце при виде родной голубой окантовки на его погонах и петлицах. — Скорей, скорей! Грузиться!..

И вот уже погружены патроны и мины.

Все высыпали провожать нас. Мы попрощались за руку с каждым. Все были взволнованы, толмач даже прослезился.

— Обратно к нам поезжайте жениться! — крикнул он. Потом сказал что-то девчатам, наверное перевел свои слова, и они засмеялись и закивали головами. И вот уже высокие деревья скрыли от нас старинную усадьбу, торчит только острая башенка над крышей, но скоро и ее не стало видно.

Приезжаем на станцию Абонь, сдаем боеприпасы. На грузовом платформе у дверей пакгауза пленный румынский майор-интендант пересчитывает пилотки, связывая их в стопки по двадцать штук.

Смешная и нелепая картина!

Мы заняли оборону, сменив части, стоявшие здесь без движения уже два месяца. «Старички» отходят в тыл, смеются: «Теперь вы посидите!..»

Но нам не пришлось долго здесь сидеть.

На рассвете заговорила артиллерия. Это действительно был голос бога войны.

В ходе великих битв выработали наши полководцы концентрированный артиллерийский удар. Несколько сот стволов разных калибров выбрасывают одновременно тонны металла и взрывчатки. Тысячи снарядов, наполняя воздух свистом и гулом, проносятся над нашими головами. Мы затыкаем уши. А что там, впереди, куда направлен этот удар? Там сплошное месиво. Горе врагу! Мгновенная тишина — и новый, раздувающий сердце, свистящий звук, и грозно сверкая, мелькают над нами огненные зарницы. Это заиграли «катюши».

Кто-то толкает меня в бок. Я поднимаю голову — взлетают в дымное небо условные ракеты.

И тут же слабый — у нас заложены воздухом уши — голос ротного: — Вперед, гвардейцы!..

Мы перемахиваем через бруствер.

— Ур-р-а-а-а!! — несется отдаленно, будто кричим не мы.

Пулеметная очередь разрезает воздух. Мы падаем на землю. Впереди меня, метрах в десяти, лежит солдат. Я где-то видел его, но не могу вспомнить где. Он лежит на левом боку, касаясь щекой земли и подбрав, насколько возможно, ноги. А рядом с его пятками взвиваются и опадают один за другим маленькие пыльные смерчки. И вдруг я вижу, что это Шабанов. Странно, что я не узнал его сразу.

На левом фланге катится «ура». Пулемет захлебывается. Мы ползем по-пластунски, делаем короткие перебежки и снова припадаем к земле. Если бы не артподготовка, уничтожившая много огневых точек, плохо бы нам пришлось — у них туг простреливался каждый сантиметр.

— Гранатами огонь!

Я тоже отцепляю гранату, выдергиваю кольцо и бросаю ее далеко вперед. Через несколько секунд, споткнувшись на бруствере, я падаю в траншею. Низко пригнувшись, два немца скрываются за поворотом. Я даю вслед очередь, поднимаюсь и совсем рядом вижу немца. Он без каски, стоит, прислонясь спиной к стенке. Одна щека у него чем-то рассечена и в крови. Мгновение мы смотрим друг на друга, потом он быстро поднимает руки. Я словно забываю о нем и медленно вылезая из траншеи.

Следующая линия траншей уже взята нашими. Валяются убитые немцы. Они совсем еще мальчики и, мертвые, лежат тоже в каких-то подчеркнута мальчишеских позах.

— Гитлерюгенд! — говорит кто-то. Это Чернев. — А дальше эсэсовцы — замполит говорил!..

Я гляжу на убитых и неожиданно думаю, что ведь, наверно, у них есть родители. Я не жалею их, я просто думаю об этом.

Быстро движемся к маленькому старинному городку. Впереди бежит высокий сутулый солдат, на спине его смешно подпрыгивает вещмешок.

— Голикова убило, Кудряшова ранило, — рассказывает кто-то сзади, но я почему-то не оглядываюсь.

Нас обгоняют танки. Они идут быстро, сильно раскачиваясь, потом, замедлив ход, осторожно, словно нехотя, втягиваются в узенькие улочки городка.

Все тихо. Мы сворачиваем за угол, и звонко рассыпается навстречу пулеметная дробь. Со звоном и жужжанием рикошетят пули от плит мостовой, и от этого кажется, что стреляют в тебя со всех сторон.

Высокий солдат с вещмешком падает, сразу же садится и рассматривает свою руку, но следующая короткая очередь опрокидывает его на спину.

Мы заскакиваем под арку ворот и теперь видим торчащий из маленького окошечка ствол пулемета. Окошечко высоко — узкое, как амбразура: дом старинный, средневековый, приспособленный для обороны. Сюда пулемет не может достать, но и выйти мы не можем. Улица пуста, только лежит на спине тот высокий солдат и смотрит вверх застывшими глазами. Под спиной у него мешок, и я не могу избавиться от ощущения, что солдату неудобно лежать.

Юрка Бойцов вынимает гранату «Ф-1», аккуратную, в рубчатом, будто черепаховом, панцире. Он у нас лучший гранатометчик.

Бойцов бормочет что-то под нос, бросает гранату и стонет:

— Сорвалось!..

Мы видим, как, кувыркаясь, летит граната, ударяется в стену в метре от амбразуры, падает вниз прямо напротив нас и скатывается в водосток. Гремит взрыв. Звенят по стенам осколки. Нам явно повезло.

Нам кажется, что до взрыва граната летела очень долго, а на самом деле все это длилось какие-нибудь четыре секунды.

Из-за угла бегом показываются связисты со своими катушками. Снова точная очередь — он же пристрелялся к этому месту заранее, — один связист падает, остальные скрываются за углом.

Издаലെка доносится беспорядочная стрельба и взрывы.

Бойцов снова берет гранату, снова что-то бормочет и бросает. Вместе со взрывом короткая вспышка освещает изнутри амбразуру.

— Теперь точно! — комментирует Чернев.

Мы движемся дальше.

Армия устремилась в прорыв. Мы чувствовали ежеминутно, какая это огромная сила, мы сами восторгались ею.

И уже ничто не могло остановить эту силу. Десяток бронетанковых дивизий, брошенных навстречу нам, был, выражаясь военным языком, перебит в ожесточенных, но быстрых боях юго-западнее Будапешта, в районе озера Балатон. Давний спор между броней и снарядом был решен в пользу снаряда.

Был опрокинут и последний резерв — эсэсовские дивизии «Викинг», «Мертвая голова». Мы заняли Секешфехервар, Мор, потом город со смешным названием Папа и пошли дальше, на Вену, и еще дальше, до гор. Уже все наши противники, кроме Германии, вышли из войны.

Были сформированы народные армии Румынии и Венгрии, вставшие на борьбу с фашизмом, — они еще были одеты в старую форму.

Во время того нашего стремительного движения на запад, о котором я уже упоминал, когда противник бросил оборону и смешались в погоне наши части и соединения, ехали мы на подводе — Боря Чернев, Юрка Бойцов, бесценно правивший лошадьми, я и еще кто-то.

Лошади измучились и стали ночью посредине длинного темного села. Вдруг нас окликнул голос:

— Вам чего, хлопцы?

Сначала мы думали — солдат. Подошли — штатский парнишка лет земнадцати, в веснушках.

— Нам лошади нужны. А ты кто такой?

— Я с Белгорода, тут работаю.

— Где ж ты тут работаешь?

— У хозяина.

— А кто хозяин?

— Кто? Кулак. Пойдемте, я дам вам коней...

Мы прошли за ним в конюшню — пусто. Он растворил еще одни двери и вывел пару коней. Только утром мы рассмотрели, какие это красавцы: оба золотистые, с белыми гривами и хвостами.

Он помог запрячь, а наших завел в конюшню. «Еще сгодятся!..» Мы закурили с ним.

— Ну, спасибо. Будь здоров.

— Счастливо.

Уже двинулись, когда Боря Чернев спросил:

— А хозяин-то твой где?

Тот полыхнул папироской.

— Да сховался где-то, собака!

Ночью кто-то обстрелял нас из автомата и бросился от дороги так, что затрещали кусты. Мы дали несколько очередей вдогонку, по звуку.

На рассвете ворвались в город Зноймо — это уже Чехословакия.

Валяется на площади сорванный со стены огромнейший портрет Гитлера. И по этой дегенеративной физиономии, по этим выпученным глазкам и дурацким усикам бьют копыта, катятся колеса и гусеницы, втаптывая в мостовую изображение павшего фюрера.

Мы давно ничего не ели и очень голодны. Задаем корм лошадям и поднимаемся в голубой коттедж в глубине сада.

Хозяев нет, но они уехали совсем недавно. Ах, как они торопились! Повсюду разбросана одежда, а на столе валяется фуражка с высокой тульей, с уже знакомым нам черепом и перекрещенными костями — как на банках с ядом или на трансформаторных будках! «Мертвая голова»! Как нельзя лучше подходит к ним сейчас это название.

Рядом лежит разломленный пополам большой круг колбасы. Разсудительный Боря Чернев нюхает его.

— Может быть, отравлена?..

Мы колеблемся несколько мгновений, потом Бойцов отламывает кусок и начинает жевать.

— Ничего не будет!

Мы следуем его примеру.

Выходим. На улицах уже полно народу. Появляется откуда-то майор Губа. Он влезает на танк и читает сообщение о капитуляции Германии и окончании войны.

— Ур-ра-а-а!! — несется отовсюду.

Мы стреляем в воздух.

Майор снимает фуражку и вытирает лоб платком. От фуражки на лбу у него рубчатый красный след.

Обнимаемся и целуемся с чсхами.

И снова движемся на запад.

Ночью остановились ненадолго в маленьком домике около леса. Там жил учитель. Уже год он изучал русский язык и теперь хорошо говорил по-русски. Он угощал нас кофе.

Оставшийся с лошадьми Юрка Бойцов вошел в дом.

— Послушайте, что это?..

Совсем близко, в лесу, раздавался равномерный шум, как будто шла большая воинская колонна.

— Немцы,— объяснил хозяин,— или власовцы, уже три ночи идут..

Ночами, осторожно, шли они по проселочным дорогам, стремясь уйти на запад. А параллельно, по шоссе, непрерывно обгоняя их, двигались наши войска.

Долго ждали мы открытия второго фронта, надеялись в самые критические моменты войны. Напрасно! Они открыли наконец второй фронт менее года назад.

И вот мы встретились с американцами.

Невдалеке от города Писека, над Влтавой, на высоченном мосту-виадуке, встретились мы. Они пришли с запада, мы — с востока.

Мы встретились дружески, как союзники, и недели две стояли бок о бок в Писеке.

Они были рослые как на подбор — что ж, нетрудно подобрать таких, если армия невелика и несла очень мало потерь. Карманы у них были набиты шоколадом и сигаретами, они угощали нас непрерывно. Видя

идушего нашего солдата, они останавливали машину и предлагали подвезти: у них было много автомобилей.

Нам казалась необычной их форма — полувоенная, полустатская, — где трудно было разобрать, кто в каком звании. Держались они крайне небрежно, воротник расстегнут, рукава закатаны. Я видел одного американского солдата — он с самодовольным видом сидел за рулем, на обеих руках от запястья до локтя сверкали браслеты с часами. Они были прекрасно вооружены, но у них был какой-то несерьезный вид туристов. И дисциплина у них была очень относительная, а мы уже понимали, что без этого нет и не может быть настоящей армии. А в общем они были неплохие ребята, эти рослые американские парни.

Иные наши солдаты, плотные, невысокие, в выгоревшей латаной гимнастерке под брезентовым поясом, с котелком, в обмотках, вероятно, проигрывали во внешнем виде — мы об этом не задумывались, — и американцы с некоторым удивлением смотрели на них. Чувствовалось, что они стараются и не могут понять, каким все-таки образом уничтожили мы гитлеровскую военную машину.

Мы мылись, чистились, брились... Еще долго плыли по Влтаве трупы в серых мундирах. Кончилась война. Только сейчас мы по-настоящему осознали это. Как мы изменились! Неужели это те самые мальчики, что стояли когда-то в карантине училища, тоскливо глядя на старшину? Те, да уже иные!

Кончилась война. Теперь уже всерьез можно было подумать и поговорить о своих планах, о будущем. Какова-то она будет, наша гражданская жизнь, как сложится?

Прежде мы представляли себе: кончится война — и по домам. Но так бывает только в кино.

Опубликован Указ о демобилизации старших возрастов, а также военнослужащих, имеющих не менее трех ранений, технических специалистов. А нам надо было еще послужить.

И мы служили. Вместе с новым моим другом Сашей Труниным служили мы в Будапеште, а потом под Будапештом, на острове Чепель.

Началась мирная жизнь. Старшие собирались домой. Наш старшина остался на сверхсрочную службу. Стали давать отпуска. Готовились к выборам в Верховный Совет. Мы должны были голосовать первый раз в жизни.

Кончался победный 1945 год. И страшно хотелось домой — пусть не сразу по домам, но домой, в Россию.

Об этом были все разговоры.

Наконец мы грузимся в эшелоны и едем долго-долго, страшно медленно. Есть время подумать обо всем, все вспомнить. Останавливаемся в Карпатах. Горы, бело. Государственная граница. Все, как положено, все стало на свои места.

Пограничники проходят по вагонам. Соблюдены инструкции. Свисток. Приближающийся, нарастающий стук буферных тарелок. Поезд трогается.

Здравствуй, Родина!

Расформируются части. В разные концы разъезжаются товарищи, появляются новые друзья. Вместе с Серафимом Вихлиным в калужской деревне косим мы сено для южных районов, пострадавших от засухи сорок шестого года, осенью заготавливаем дрова в новгородских лесах, и демобилизовываюсь я вместе с ним с маленького островка на Балтике в звании гвардии сержанта.

Отгремела война. Но еще долго носили мы сапоги и шинели. В институтском общежитии говорили о людях: «он с 4-го Украинского», «с 1-го Белорусского», «артиллерист», «моряк», «сапер»... Мы еще долго будем вспоминать военные годы — вернее, мы их никогда не забудем, потому что в эти годы мы из юношей стали мужчинами, потому что то, что было с нами, было не только с нами, а со всем народом. Такое не забывается.

Недавно в вагоне метро, на новой линии «Спортивная—Университет», я слышал разговор двух маленьких школьников. Они спорили о том, когда началась война.

Один утверждал:

— Великая Отечественная война началась в тысяча девятьсот сорок первом году!..

Второй сомневался, потом согласился. И все, кто слышал это,— пожилая женщина, капитан-летчик, рабочий, опустивший на колени газету,— все переглянулись и задумчиво улыбнулись своим мыслям.

Да, для них это уже история. Они не помнят войны, они родились позже, чем она кончилась. Они будут знать эту войну только по книгам и рассказам. И пусть при их жизни никогда не будет войны.

Мы делаем и сделаем для этого все, что можем.

Когда я смотрю сейчас на семнадцатилетних мальчиков, то думаю: «Неужели мы были такими? Неужели они смогли бы вынести все, что вынесли мы?» И отвечаю себе: «Да, смогли бы!..»

Они тоже идут туда, где трудно, а трудности эти почетны, идут, потому что каждое поколение хочет с гордостью вспоминать свою юность, потому что место юности — не будем говорить «на переднем крае» — в первых рядах.



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ

★

## ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

### БЫВАЕТ ЖЕ ТАКАЯ УДАЧА!

**У**же не помню сейчас точную дату — знаю только, что это было весной, — когда знакомые позвонили мне по моему московскому телефону:

— Послушайте, Иракий! Вас интересует письмо Лермонтова? Подлинное. И, кажется, еще не известное.

Что это — шутка? В трубке слышится дружный хохот, голоса: «Что, молчит?», «Он жив?», «Представляю себе его видик!»

Может быть, розыгрыш?.. Нет! Голос, который произнес эти ошеломившие меня фразы, принадлежит женщине серьезной, уважаемой, умной, немолодой, наконец! Положительной во всех отношениях! Конечно, это чистая правда! Вот радость!

Начинаю выражать восторги, ахать, шумно благодарить собеседницу.

— Чтобы увидеть это письмо, — говорит она уже совершенно серьезно, — вам придется ехать в Актюбинск. Почему в Актюбинск? Потому что письмо находится там! — И снова смеется. — Вот уж правда, что на ловца и зверь бежит! Новая тема для ваших рассказов. Кроме лермонтовского письма, — продолжает она, словно решила меня дразнить, — там, говорят, есть еще кое-что. И, кажется, даже много «кое-чего». У нас сейчас сидит доктор Михаил Николаевич Воскресенский. Он только что из Актюбинска. И расскажет вам все это, конечно, лучше меня. Передаю ему трубку...

То, что я услышал от Михаила Николаевича Воскресенского, заинтриговало меня еще больше.

— Пользуясь любезностью наших общих друзей, обращаюсь к вам за советом, — начал он негромко и осторожно. — Дело в том, что проживающая в Актюбинске Ольга Александровна Бурцева уполномочила меня переговорить в Москве о судьбе принадлежащих ей рукописей. Кроме письма Лермонтова, у нас хранятся письма других писателей. Все это она хотела бы предложить в один из московских архивов. Вы, насколько я знаю, связаны с Государственным литературным архивом, и, если не возражаете, мне хотелось бы подробнее поговорить обо всем этом при личном свидании.

На другой день он приехал ко мне — небольшой, предупредительно-вежливый, скромный, с представительной, прежде, видимо, очень красивой женой — и в доказательство серьезности намерений Бурцевой разложил на скатерти два письма Тургенева, два письма Чехова, два письма Чайковского и маленькую записочку Гоголя. Разложил и взглянул на меня вопросительно и, вместе с тем понимающе.



Увидев все это, я присмирел и в тот же миг углубился в чтение. Да. Конечно. Подлинные автографы. Письма Чехова опубликованные. И никогда еще не появлявшиеся в печати письма Тургенева и Чайковского. Объявление Гоголя об отъезде его за границу в собраниях его сочинений тоже не обнаружилось.

— Если эти рукописи представляют для вас интерес,— заговорил доктор снова,— то Ольга Александровна хотела, чтобы приехали к ней в Актюбинск и познакомились с остальными.

— А сколько их у нее?

— Затрудняюсь сказать: я видел не все — только часть. По моим представлениям, у нее много интересного и, видимо, редкого — автографы музыкантов, писателей, ученых, итальянских певцов. Это не моя область: по специальности я рентгенолог... В прошлом мы с женой — ленинградцы, ну, и, конечно, большие любители музыки, литературы, театра... На наш взгляд, коллекция представляет исключительный интерес.

Жена подтвердила.

Возвращая автографы, присланные в качестве образца, я просил передать Ольге Александровне Бурцевой, что приеду в Актюбинск, предварительно договорившись о передаче принадлежащих ей рукописей в Центральный государственный архив литературы и искусства. А с доктора взял обещание: по возвращении в Актюбинск выслать хотя бы приблизительное описание тех документов, о которых мне следовало вести переговоры в Москве.

#### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Письмо пришло через месяц. Оно состояло из длинного списка фамилий великих деятелей русской культуры. Впрочем, это было еще не все: доктор предупреждал, что многие подписи ему разобрать не удалось и что Ольга Александровна и не очень хотела бы заочного решения вопроса.

Перечитав список бесчисленное число раз, выучив его чуть ли не наизусть, я отправился в Центральный государственный архив литературы и искусства, который сокращенно именуется ЦГАЛИ, а в разговорах просто Гослитархив и даже Литературный архив.

Иные и до сего времени связывают с этим словом представление о какой-то безнадежно серой и нудной работе, с пренебрежением говорят: «сдать в архив», «архивная пыль», а то еще и «архивная крыса»... Деятели архивного дела рисуются им людьми пожилыми, с нездоровым цветом лица, с блеклым взглядом, сторонящимися живой жизни и бегущими от нее в прошлое. Сказка! И притом старая. Нынче в учреждениях подобного рода, особенно в системе Главного архивного управления, работают больше девушки-комсомолки, мужчины в полном выражении здоровья — народ современный, живущий не прошлым, а самым что ни есть настоящим. Они окончили историко-архивный институт (или университет), помышляют о диссертации (или уже защитили ее), одержимы стремлением не только хранить, но прежде всего изучать, разведывать архивные недра, вводить в научную эксплуатацию новые запасы исторического сырья, занумерованного и скрытого в помещениях, недоступных солнцу, огню и воде, сырости, холоду и хищениям. Нынешний архивист не вздохнет над засушенным цветком в старинном альбоме, не загрустит над упакованным в миниатюрный конвертик колечком золотистых волос. Не сувениры прошлого привлекают его, а неизвестные факты этого прошлого. Не в его характере ахать и удивляться. Особенно трудно чем-либо удивить работников ЦГАЛИ — архива, принявшего в себя многое множество старинных рукописей в связках, в папках, в кар-

тонах, коробках и переплетах из музеев Литературного, Исторического, из театров Большого и Малого, из Третьяковской галереи, из Московской консерватории, из Архива древних актов и другие, более близкие к нам по времени акты, договоры, письма и рукописи, которые передали в ЦГАЛИ нынешние наши издательства и творческие организации. Чем удивить работников этого архивного левиафана, насчитывающего около двух тысяч отдельных фондов — фондов родовых и семейных, писателей и ученых, актеров и музыкантов, деятелей политических и общественных?! Станут ли там ахать и удивляться при виде еще одного письма или двух фотографий? Привыкли!

Однако сообщение доктора Воскресенского даже и в ЦГАЛИ произвело впечатление огромное. Зарумянились опытейшие, оживились спокойнейшие. Просто неправдоподобным казалось, что в Актюбинске, в частных руках, может храниться такая удивительная коллекция. Всё задвигалось, заговорило, принялось строить догадки и вносить предложения. Одни считали необходимым немедленно запросить или вызвать, другие — отправить и привезти, третьи — просто доставить. Иные советовали не торопиться, а рассмотреть, обсудить и решить. Но поскольку рассматривать было нечего, то и обсуждать было нечего, а решать могло только вышестоящее Главное архивное управление, ибо даже и предварительные расчеты показывали, что для подобной покупки потребуются ассигнования особые.

Пока писал по начальству я, а потом начальник архива, все пошло своим чередом. И насунулся уже декабрь, и давно установилась зима, когда нужные суммы были отпущены и вышел приказ командировать меня в Актюбинск для изучения коллекции рукописей и переговоров с владелицей.

### СКОРЫЙ «МОСКВА—ТАШКЕНТ»

Ободренный командировочным удостоверением (я замечал, что оно как-то придает человеку энергии), заручившись рекомендательным письмом к О. А. Бурцевой от Союза писателей СССР, я «убыл» с ташкентским поездом.

Теперь, когда медленно заскользили за стеклом составы пустых электричек, потом побежали под мостами убеленные снегом улицы с трамваями, про которые уже давно забыли в центре Москвы; когда затрчали на белых полянах однорукие черные краны, осеняющие кирпичные корпуса, промелькнули вытянувшиеся возле переездов трехтонки и самосвалы, я мог наконец подробно обдумать поручение, которое по желанию моему и ходатайству возложило на меня Главное архивное управление. Что же это за рукописи? Сколько их? Как их оценивать? Автограф автографу рознь. Можно расписаться на визитной карточке, на театральной программе — вот тебе и автограф! Но написанные от руки страницы романа или рассказа, письмо, да и всякая рукопись автора — тоже автограф! Как примет меня Ольга Александровна Бурцева? С чего начинать разговор? Какими глазами буду глядеть я, возвращаясь через несколько дней, на все эти подмосковные дачи и станции?

К исходу второго дня пошли места пугачевские, пушкинские, известные с детства по «Капитанской дочке», — оренбургские степи, где разыгрался буран, когда «всё было мрак и вихорь», ветер выл «с такой свиредей выразительностью», что казался одушевленным, и, переваливаясь с одной стороны на другую, как «судно по бурному морю», плыла среди сугробов кибитка Гринева! Сперва думалось, как поэтично и верно у Пушкина каждое слово, потом мыслями завладел Пугачев, пришли на память сложенные в этих местах песни и плачи о нем, в которых он име-

нуется Емельяном и «рѳдным батюшкой», покинувшим горемычных сирот...

Оренбургские степи перешли в степи казахские. Тогда я еще не мог знать, что передо мною расстилаются те самые земли, подняв которые славный Ленинский комсомол прославит навсегда своим подвигом! Несколько лет спустя, осенним днем, я смотрел на них в круглое окошечко самолета. Черно-бархатные и золотисто-русые квадраты, вычерченные рукой великана, пропадали в стоверстной дали, заваленной дымной мглой. Простроченное пупырышками клепок крыло неподвижно висело, подбирая под себя эти бескрайные земли, а они все текли и текли... Но это было потом, через несколько лет. А тогда я ехал, а не летел. И поезд стучал и покачивался, на окне лежала толстая шуба инея, в окно проникал серебристо-серый морозный свет. Процарапав на стекле шелку, можно было видеть степь в завихрении дыма и вьюги. Ветер катался по крыше и к ночи совсем разошелся: толкал вагон, сбивал с такта колеса. Наконец, вынырнув из темноты, окно засверкало, в купе замелькали тени, остановились, под вагоном стукнуло, скрипнуло, стал слышен храп, в душную спячку ворвался холод.

— Актюбинск!

### СОТРУДНИЦА АКТЮБИНСКОГО ГОРИСПОЛКОМА

Уже к концу первого дня каждый приезжий узнает, что «Актюбе» — «Белый холм», что не так давно здесь было казахское поселение и старые люди помнят, как оно становилось Актюбинском. Теперь это крупный город. В годы пятилеток здесь возникла промышленность — завод ферросплавов, «Актюбрентген», «Актюбуголь», «Актюбнефть» и другие актюбпредприятия, Актюбинский аэропорт. Потом город оказался среди поднятой вековой целины. И пошли на сотнях тысяч конвертов слова «Актюбинск», «Актюбинский»... И стал он городом будущего...

Но это я опять забегаю вперед. В то утро я еще не знал всего этого, а, сдав вещи в гостиницу, торопливо шагал по архивным делам к доктору Воскресенскому.

Буран утих. Актюбинск спешил на работу. Сияли сугробы, в светлое небо поднимались жемчужные дымы, снег под калошами визжал и присвистывал.

Можете поздравить меня! В этот час Михаил Николаевич Воскресенский спешил на работу уже в другом городе. Оказывается, куда я собирался в Актюбинск, Москва утвердила его диссертацию и он принял приглашение в Воронеж.

— Недели три как уехали. Они больше здесь не живут!..

А я так на них полагался, что не узнал даже адреса Бурцевой.

Правда, выяснить это было нетрудно. Но пока я перебегал с тротуара на тротуар, расспрашивал, как пройти в управление милиции, потом искал Красноармейскую улицу, Бурцева уже ушла на работу — в топливный отдел Актюбинского горисполкома, или, короче, в Гортоп. Это заставило меня еще раз пробежаться в хорошем темпе по городу, бросив взгляд на бронзовую фигуру знатного казахского просовода Шиганака Берсиева. Непредвиденные препятствия распалили нетерпение и беспокойство. «Что, — думал я, — если раньше конца дня на автографы поглядеть не удастся? А может быть, и до завтра?.. А вдруг она не сможет показать их до воскресенья?! Хотя бы Лермонтова увидеть сегодня!..»

Но тут я уже читаю на табличке: «Гортоп» — и, обметая веничком обувь на деревянном крыльчке, вступаю в помещение, где за столами вижу пятерых женщин — четырех помоложе, одну постарше других.

Те, что помоложе, подняв головы при моем появлении, не проявили ко мне никакого решительного интереса и снова углубились в работу. Та, что постарше — лет пятидесяти, — с пронзительным темным взглядом, с интересным и тонким лицом, с цветной повязкой на седеющих волосах, проявила ко мне значительный интерес. Наклонив голову и слегка опустив ресницы, она дала понять, что догадывается, кто я и откуда к ней прибыл, но не хотела бы распространяться здесь — в учреждении — на тему, с работой не связанную.

Я представился ей. Она, в свою очередь, познакомила меня с остальными. Зашел разговор о вчерашнем буране, об изобилии снега, о гостеприимстве актюбинцев, о достоинстве актюбинских гусей, продающихся на колхозном базаре.

Проявив повышенный интерес к актюбинской кухне, ибо время завтрака уже миновало, я извинился тем, что у меня к Ольге Александровне неотложное дело и я хотел бы его изложить, не мешая другим.

Ольга Александровна, казалось, находится в затруднении: начальник уехал в район, если только уйти без его разрешения?

Сослуживцы ей возразили: будь начальник на месте, он, конечно, отпустил бы поговорить — человек из Москвы, по делу, потеряет день понапрасну. Два-три часа можно всегда отработать.

Доводы показались Ольге Александровне вескими, и мы вышли.

### ТЫСЯЧА ПЯТЬСОТ ВОСЕМЬ

Бурцева привела меня в комнату на втором этаже, обычную комнату о двух окнах, затопила небольшую плиту, поставила чайник и в нерешительности стала оглядывать стол, диван, подоконники.

— Прямо не представляю себе, — сказала она, — где вы разложите их...

Список я знал. Знал, что бумаг будет много. Тем не менее сердце испуганно ёкнуло, стало жарко.

— На столе? — Сказал и тут же понял, что глупо.

— Ну стола-то вам, конечно, не хватит, — ответила Бурцева, быстро взглянув на меня и улыбувшись любезно и живо. И я — за эти полчаса в который раз! — отметил для себя, что она держится с простотой и свободой человека благовоспитанного и сдержанного.

— Впрочем, — продолжила она, — как-нибудь выйдем из положения. Боюсь только — негде будет поставить чай. А вы у меня голодный...

Сделав шаг по направлению к окну, она сдернула скатерть, какою была накрыта стопка вещей в углу, сняла и отставила в сторону корзиночку, потом чемодан, еще чемодан...

— А этот, — сказала она, указывая на самый большой, — берите! Ставьте его на диван!

Я схватился... Помятый, обшарпанный чемодан в старых ярлыках и наклейках, служивший хозяевам, видимо, с дореволюционных времен... Схватился за ручку — он как утюгами набит! Взбросил его на диван... Бурцева подняла брови.

— Открывайте! Он у меня не заперт...

Раздвинул скобочки, замки щелкнули, крышка взлетела...

Нет! Сколько ни готовился я увидеть эту необыкновенную коллекцию и взглянуть на нее спокойно и деловито — не вышло! Я ахнул. Чемодан доверху набит плотными связками... Письма в конвертах... Нежные голубые листочки. Листы плотной пожелтевшей бумаги из семейных альбомов. Рескрипты. Масонские грамоты. Открытки. Визитные карточки. Аккуратные копии. Черисвики. По-русски. По-французски. По-итальянски...

Задыхаясь, беру письмо... «Лев Толстой»... Фуф!!! Как бы с ума не сойти!..

...Автобиография Блока!

...Стихотворение Шевченко!

...Духовное завещание Кюхельбекера!

...Черновик XII главы «Благонамеренных речей» Щедрина!

...Фотография Тургенева с надписью.

...Рассказ Николая Успенского.

...Стихотворение Есенина...

...Письмо мореплавателя Крузенштерна... Революционера Кропоткина... Кавалерист-девицы Дуровой... Художника Карла Брюллова... Генерала Скобелева... Серафимовича, автора эпопеи «Железный поток»... Академика Павлова...

Читать одни подписи?.. Нет! Надо хотя бы проглядывать!.. Это что? Карамзин?

«...Нашел две харатейные Нестеровы летописи весьма хорошие: одну 14 века у Григория Пушкина, которую уже списал для себя, а другую в библиотеке Троицкой, столь же древнюю. Ни Татищев, ни Щербатов не имели в руках своих таких драгоценных списков... Одним словом, не только единственное мое дело, но и главное удовольствие есть теперь история. Думаю, что бог поможет мне совершить начатое не к стыду века...»

12 сентября 1804 года. Письмо к какому-то Михаилу Никитичу... Муравьеву, должно быть?! «Начатое» — это, конечно, «История государства Российского».

«Дорогой Антон Степанович...»

Это Рахманинов пишет Аренскому!

«...Будь добр... сделай мне одолжение... нечего и говорить, конечно, что я заранее одобряю и доволен твоим выбором... В первый момент, как я прочитал твое письмо, мне пришло в голову, что лучше Земфиры-Сионицкой и Шаляпина-Алеко я никого не найду. Но согласятся ли они? Как бы то ни было, но я прошу тебя подождать назначать кого-нибудь на эти роли дней пять, шесть, когда я сообщу тебе результаты...»

17 апреля 1899 г.»

Речь идет о подборе певцов для постановки оперы Рахманинова «Алеко» в Таврическом дворце в Петербурге...

«...об Грибоедове имеем известия... он здоров, но, говорят, совсем намерен бросить писать стихи, а вдался весь в музыку, что-то серьезное пишет...»

Чья подпись? «Д. Бегичев». Письмо Кюхельбекеру. Март 1825 года — время, когда Грибоедов находится в Петербурге, где с огромным успехом в декабристских кругах ходит по рукам в копиях «Горе от ума». Что Грибоедов сочинял музыку — всем известно! Но это, кажется, свидетельство новое!..

А это?! Шесть, семь... целых восемь писем самого Кюхельбекера. К разным лицам. Из ссылки.

«Позволено ли поэту изображать порок?..»

Ого!.. В печати не появлялось!..

«Изображать поэт всё может и даже должен, иначе он будет односторонним, но представлять порок в привлекательном виде

преступление не перед одною нравственностью, но и перед поэзией...»

Взгляд на роль и назначение литературы, характерный для декабристов, требовавших от нее высокого этического идеала. Письмо 1835 года. Прошло уже десять лет после крушения всех декабристских замыслов; Кюхельбекер, отбывая сибирскую ссылку, проповедует свои прежние взгляды.

А это что же такое — в другом письме Кюхельбекера? «...Пушкина...»?

«Успел прочесть Гусара Пушкина. По моему мнению журналисты с ума сходили, нас уверяя, что Пушкин остановился, даже подался назад. В этом Гусаре Гётевская зрелость таланта...»

Великолепные письма! Каждое!.. Вот еще: о заслугах поэта Гнедича — переводчика «Илиады» Гомера. О его — Кюхельбекера — работе над трагедией «Прокопий Ляпунов»... Это, кажется, менее интересное письмо: «Казань, 21 Января 1832 года...» Чье это?

«Мы были на литературном вечере у Фуксов... Н. И. Лобачевский...»

Нет, тоже важное!

«...Н. И. Лобачевский читал стихи сочинения m-те Фукс и несколько раз чуть не захохотал... Баратынский все время сидел с потупленными глазами...»

Великий математик Н. И. Лобачевский и замечательный поэт Е. А. Баратынский в казанском литературном кругу! Также интересно! Адресовано письмо литератору Ивану Великопольскому!..

Бросаю его, потому что вижу почерк Чайковского ...о «Чародейке»!

«...В глубине души я твердо убежден, что фиаско незаслуженно, что опера написана с большим тщанием, с большой любовью и что она совсем не так плоха, как об ней с единодушной враждебностью отзывались петербургские газеты...»

Гениальнейший композитор оправдывается перед директором императорских театров И. А. Всеволожским после того, как новая его опера провалилась на императорской сцене! Это тоже письмо неизвестное, интереснейшее письмо!.. Где тут у меня композиторы?

Письмо ложится на подоконник, рука тянется к чемодану... И — даже в жар бросило!.. Л е р м о н т о в! Мне ли не знать?

«Милая бабушка, так как время вашего приезда подходит, то я уже ищу квартиру и карету видел да высока...»

Вся кровь в голову!.. Неизвестное!! Упоминается имя Ахвердовой... Много лет стремлюсь доказать, что Лермонтов знал эту женщину. И вот наконец:

«Прасковья Николавна Ахвердова в мае сдает свой дом...»

Подробно изучать буду после: впереди десятки, нет, сотни документов и писем! Неизвестно еще, что найду: Жуковский Василий Андреевич... Сообщает, как идет у него перевод «Одиссеи»... Дельвиг обращается к Кюхельбекеру:

«Ты страшно виноват перед Пушкиным, он поминутно об тебе заботится... Откликнись ему, он усердно будет тебе отвечать...»

1821 год. Пушкин в Кишиневе. Кюхельбекер уехал на службу в Грузию. Дельвиг стремится связать лицейских друзей.

...Полевой: благодарит Маркевича за согласие сотрудничать в «Московском телеграфе»... Станкевич: предлагает Максимовичу «три пьесы» для альманаха «Денница»... Надеждин: просит прислать ему материалы для «Одесского альманаха»... Катенин: поручает свои литературные дела Жандру... Чернышевский: после долгих лет ссылки обращается к Авдотье Панаевой... Шаляпин: сообщает Горькому об успехе в Париже оперы «Борис Годунов»...

Посерел и померк за окнами короткий актюбинский день, наступил и прошел вечер. Бурцева ушла ночевать к дочери. А я все еще, словно фокусник, продолжаю вытаскивать рукописи из этого, кажется, бездонного чемодана.

Да... Ольга Александровна не шутила, сказав, что стакан с чаем некуда будет поставить. Рукописи разложены на столе, на постели, на валиках дивана, на табуретках и просто на полу — на газетах... Здесь подлинные и большей частью неопубликованные автографы: Ломоносова, Державина, Крылова, Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Дениса Давыдова, Катенина, Кюхельбекера, И. И. Козлова, Дельвига, Баратынского, Веневитинова, Языкова, Хомякова, С. Т. Аксакова, Даля, Гоголя, Лермонтова, Герцена, Огарева, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Салтыкова-Щедрина, Курочкина, Тютчева, Полонского, Фета, Майкова, А. К. Толстого, Гончарова, Григоровича, четыре письма А. Н. Островского, четыре письма Льва Толстого, восемь писем Достоевского, тринадцать писем Тургенева, шестнадцать писем Горького, пятьдесят писем Чехова и автограф рассказа его «Великий человек», переименованного потом в «Попрыгунью». Здесь срок два письма журналиста Греча к Фаддею Булгарину, девяносто одно письмо писателя Пальмина к Лейкину, пять писем Лескова, Писемский, Сухово-Кобылин, Гаршин, Глеб Успенский, Мамин-Сибиряк, Андреев, Брюсов, Блок, Есенин; композиторы: Чайковский (пять писем), Кюи, Рубинштейн, Направник (двенадцать), Глазунов, Танеев, Рахманинов; художники Александр Иванов и Карл Брюллов, семнадцать писем В. В. Верещагина; письма актеров Мочалова, Каратыгина, Стрепетовой, Яворской, гастролировавших в России итальянских певцов и других заграничных знаменитостей; грамота за подпись гетмана Мазепы, указы Екатерины II, автографы Потемкина и Суворова, записки Павла I, рескрипты Александра I, письма декабристов, письма генералов: Ермолова, Платова, Барклая де Толли, Дибича-Забалканского, Паскевича-Эриванского и многих других... Если бы я захотел перечислить все документы, мне пришлось бы назвать более пятисот имен великих и прославленных русских людей.

Передо мной лежала знаменитая коллекция Бурцева, которая исчезла из поля зрения исследователей и архивистов в тридцатых годах и считалась безвозвратно утраченной!

Судя по обращениям в письмах, можно было понять, что в основу ее легли документы из архива В. К. Кюхельбекера, из архивов позорно знаменитого Фаддея Булгарина, литераторов М. А. Максимовича и Н. А. Маркевича, писателя-юмориста Н. А. Лейкина, беллетриста А. А. Лугового, певицы П. А. Бартеневой, композитора Н. Ф. Соловьева, из коллекции доктора Л. Б. Бертенсона, а также известного педагога Ф. Ф. Фидлера.

Трое суток я не ложился спать — все раскладывал этот необыкновенный пасьянс.

Наконец, когда работа была закончена и я, стуча зубами от усталости и волнения, зябко потирал руки, Бурцева спросила меня:

— Сколько вы насчитали?

Я отвечал:

— Здесь тысяча пятьсот восемь различных писем и рукописей.

— Да. Я тоже считала, и у меня получилось даже как будто немного меньше. Не откажите, — попросила она, — сообщить ваше мнение о коллекции моего отца, с которой вы познакомились, и охарактеризовать наиболее интересные вещи.

Я начал перечислять имена, называть особо замечательные автографы.

— Вас не затруднит сказать, чего здесь не хватает, по-вашему? — спросила Бурцева, когда я умолк. — Какие имена не встречаются в этой коллекции вовсе? Не возникает ли у вас ощущения пробелов?

Только долгое время спустя я понял, что беспокоило Бурцеву и почему мне был задан этот вопрос, ответить на который не так-то легко. Известно: труднее всего сказать, чего нет!..

— Здесь нет... м-м... сразу не сообразить как-то... автографов... Пестеля, Грибоедова... в копии представлен Рылеев... Кого еще нет?.. Стасова нет... Короленко... Из тех, что лежат возле зеркала, — тут у меня полководцы, — Кутузова и Багратиона. Да, вспомнил! Нет Глинки, Мусоргского, Бородина... А главное, Пушкина нет, к сожалению!

— Пушкин есть. Он у меня отложен!

С этими словами Ольга Александровна вынула из книги маленькую записочку на французском языке, адресованную Катенину, с просьбой одолжить денег. Две строчки.

— Вот. Дата: «1-е апреля». И подпись: «Pouchkin».

Тут мы подошли к самому трудному.

### САМОЕ ТРУДНОЕ

— Если бы я решила уступить этот автограф архиву, — спросила Бурцева, обдумывая и осторожно взвешивая каждое слово, — в какой, по-вашему, сумме могла бы выразиться подобная передача?

Я не менее осторожно ответил:

— Это вам точно скажет закупочная комиссия при Литературном архиве.

— Нет! — мягко произнесла Бурцева. — Мне хочется услышать от вас хотя бы приблизительную оценку.

— Если это действительно окажется Пушкин... (говорить надо было ответственно и по-деловому) ...если это окажется Пушкин, то за это могут заплатить, — стал я размышлять вслух, — чтобы не соврать вам... что-нибудь вроде... рублей, я думаю, пятисот...

— Неужели?

— Конечно, порядка пятисот... Ну, может быть, несколько меньше...

— Автографы Пушкина — величайшая редкость, — сказала Бурцева озабоченно. — Мой отец был крупным специалистом и знал цену таким вещам... Он очень дорожил этим автографом. Поэтому я думаю, что вы ошибаетесь. И как-то, простите, удивлена словами: «если это о к а ж е : с я Пушкин...» Вы, вероятно, уже убедились, что в коллекции, над которой я предоставила вам возможность трудиться, собраны только подлинники автографы. А вы — эксперт государственного архива — начинаете выражать сомнения. Если бы я не была в вас уверена, я могла бы подумать, что вы просто решили ввести меня в заблуждение... И вообще, я не совсем понимаю: если Пушкин идет за пятьсот, то в какой же цене остальные автографы? Лермонтов, скажем? Двести? Или, может быть, сто?

— Не менее тысячи.



— Это что? Ваше пристрастие? — Ольга Александровна говорит иронически. — Или другие тоже посмотрят так?

Ну, конечно, не надо ей объяснять... Она и сама понимает, что содержательное письмо Лермонтова, заключающее в себе новые факты, ценнее незначительной записочки Пушкина. Но... Впрочем, она хотела бы прежде всего выслушать мое мнение о каждой рукописи отдельно.

Дело сложное! Передо мной лежали документы, научное значение которых одному человеку известно быть не могло. Разве я специалист по военной истории? Или, даже и зная литературу, могу ли на память сказать, какие письма Чехова опубликованы полностью, какие с купюрами?

Перед отъездом в Актюбинск я, разумеется, спрашивал в архиве, во сколько оценивать автографы Гоголя, Тургенева, Достоевского, Чайковского, Чехова — те, о существовании которых в коллекции Бурцева знал. Но разве мог я предвидеть, что нападку на такую пропасть бумаг!

Приходилось цены определять приблизительно: «от» — «до». «От» иной раз казались Ольге Александровне маловаты. «До» беспокоили меня. Назову, а сам сомневаюсь: что скажут в Москве? «Наобещал! Увлёкся! Завысил!..»

Впрочем, Ольга Александровна и здесь проявляла сдержанность, разговаривала любезно и просто, сомнения выражала в вопросительной форме, удивленно приподняв брови. Если я начинал убеждать ее, что больше никак не дадут, отвечала, подумав:

— Вам виднее.

— Очевидно, нам будет удобнее разговаривать, — сказала она наконец, — если вы предварительно составите опись. И лучше бы в двух экземплярах. Один возьмете с собой. Другой останется у меня. На случай возможных недоразумений.

Это был дельный совет. В тот же час я принялся за работу.

### НОТАРИАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ

Склонив голову несколько набок, как Чичиков, сгибаясь, прищуриваясь и подмигивая себе самому, словно Акакий Акакиевич, трудился я над составлением первого каталога коллекции, отмечая, где копия, где автограф, а если письмо, то от кого и кому, дату, число страниц.

Время быстро пошло. Москва стала окидываться для меня туманом воспоминаний.

По окончании описи каждое письмо и записку пришлось пробежать глазами, против каждого номера выставить предположительную оценку. После этого Бурцева взяла счеты. И записала итог. Он выражался в солидной сумме из четырех нолей, а впереди стояла хотя и не последняя цифра из девяти, но далеко и не первая.

Предварительное изучение коллекции — на дому у владелицы — можно было считать законченным. Тут Ольга Александровна стала собираться к нотариусу, чтобы оформить доверенность.

— Зачем? Мне неудобно, — возражаю я ей. — Я представляю интересы архива.

— Не отказывайтесь, — советует Бурцева. — Вы возьмете с собой чемодан. И вас и меня это вполне устроит. У меня нет сомнений, — говорит она, улыбаясь, — что вы все равно будете защищать в Москве мои интересы.

— Тем не менее вам следовало бы поехать самой.

— Не могу. Я человек служащий. Ни с того ни с сего — и вдруг еду.

Я предлагаю походатайствовать о предоставлении сй отпуска. Нет, это ее не устраивает. Уехать она не может по разным причинам.

— Кого же уполномочить? — размышляет она. — Знакомых у меня в Москве нет.

— Дайте доверенность дочери. Ей двадцать три года. Она юридически правомочна.

— Рине? Но у Рины ребенок! Мальчику третий годик.

— А свекровь? Мальчик побудет без матери полторы-две недели, — подаю я совет. — Покупка должна быть оформлена до двадцатого декабря. Иначе срежут ассигнования. Двадцать третьего можете Рину встречать.

— Боюсь, ничего не получится!

— Остановится Рина у нас, — продолжаю я уговаривать. — От имени нашей семьи я зову ее в гости. И даже проезд оплачу.

— Только в долг, — решительно ставит условие Бурцева. — Из полученных денег она все вам вернет... Ладно, — сдается она. — Как-нибудь выйдем из положения. Рина! — зовт она дочь. — Тебе придется поехать в Москву. Иди собирайся. Если ты поторопишься, вы успеете к ашхабадскому. А я тем временем пойду оформлю на твое имя доверенность.

Рина согласна. За сыном посмотрит свекровь, по вечерам Ольга Александровна будст брать его к себе в комнату. Все устроилось. Едем.

Но, прежде чем оставить Актюбинск, надо сказать наконец, откуда взялась и как попала туда эта удивительная коллскция.

#### ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ, КАК ПОПАЛА?

Жил в свое время в Петербурге богатый коллекционер из купцов Александр Евгеньевич Бурцев. Собирать он начал давно — еще в конце прошлого века. Собирал все: редкие книги, журналы, газеты, иллюстрированные издания, картины, лубок, литографии, исторические документы, автографы. Малыми тиражами выпускал на свои средства описания этих коллекций. Характер собирательской деятельности А. Е. Бурцева хорошо раскрывает заглавие одного из таких изданий: «Мой журнал для немногих или библиографическое обозрение редких художественных памятников русского искусства, старины, скульптуры, старой и современной живописи, отечественной палеографии и этнографии и других исторических произведений, собираемых А. Е. Бурцевым. СПб., 1914».

Публиковал Бурцев не только «обозрения», но и самые документы, а иногда полностью тексты принадлежавших ему редких книг. Так, скажем, он дважды перепечатал в своих изданиях радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву», которое царская цензура жестоко преследовала со дня выхода в свет этой книги вплоть до 1905 года. Среди бурцевских материалов, которые печатались крохотным тиражом, в сто—сто пятьдесят экземпляров, эти перепечатки прошли, не задержанные цензурой. О них напомнил недавно в своей книге нынешний крупнейший библиофил Николай Павлович Смирнов-Сокольский, народный артист, отметивший также, что издавались «описания» и «обозрения» Бурцева довольно беспорядочно и неряшливо. Это понятно: научная сторона дела не очень интересовала его.

Собирал Бурцев много и широко, не жалел ни времени, ни трудов, чтобы раздобыть уникальную книгу или гравюру, скупал полотна молодых, подававших надежды художников, архивы писателей — знаменитых, незначительных, умерших, живых, — их долговые обязательства, расписки, семейные фотографии... Все шло в дело!

В начале двадцатых годов попал к нему сундук с бумагами Кюхельбекера. Когда в 1925 году вышел в свет роман Юрия Николаевича Тынянова «Кюхля», большая часть содержимого этого сундука перекочевала к Тынянову. Тынянов, занимавшийся Кюхельбекером с юных лет, смог выяснить подлинное его значение, издал его сочинения, впервые открыл его читающей публике как большого поэта. Но перешел архив Кюхельбекера к его страстному исследователю и биографу не весь и не сразу. А переходил по частям в продолжение нескольких лет. Помню, Тынянов приобрел часть кюхельбекеровской тетради, затем — начало ее и, наконец, долго спустя — недостающие в середине листы. Впрочем, прежде в среде коллекционеров дробление рукописей считалось делом обычным. Даже такой известный литератор, как Петр Иванович Бартенов, один из первых биографов и почитателей Пушкина, издатель исторического журнала «Русский архив», отрезал от принадлежавших ему автографов Пушкина узкие ленточки — по несколько строк — и расплачивался ими с сотрудниками. Об этом рассказывал знавший Бартенева лично пушкинист Мстислав Александрович Цявловский. В наше, советское, время все эти обрезки встретились вновь в сейфе Пушкинского дома — Института русской литературы Академии наук СССР. Так что в смысле обращения с рукописями Бурцев, смевший на них, как на предмет продажи или обмена, среди собирателей исключения не составлял. Но по количеству и качеству прошедших через его руки автографов это был коллекционер исключительный, один из крупнейших в России.

Его хорошо знали исследователи литературы, жившие в Ленинграде, знали историки. Мне лично не довелось с ним встретиться. Но в пору, когда я жил в Ленинграде, приходилось много слышать о нем от людей, хорошо с ним знакомых.

В двадцатых годах многие материалы из собрания Бурцева поступили в Пушкинский дом, в Ленинградскую Публичную библиотеку, позже — в Московский литературный музей...

В 1935 году Бурцевы переехали в Астрахань, забрав с собой коллекцию. Три года спустя Бурцев умер. Умерла и жена его. Ольга Александровна, жившая с ними в Астрахани, осталась с двенадцатилетней дочерью Риной одна. Теперь коллекция перешла в ее собственность. Понимая, что это огромная ценность, она, хотя и нуждалась в деньгах, решила во что бы то ни стало ее сохранить. Но в 1941 году, когда гитлеровские войска подходили к Ростову, ей пришлось эвакуироваться. Эшелон шел в Актюбинск. Увезти с собой коллекцию она не могла. И оставила ее в доме, из которого принуждена была выехать. Тут было уже не до рукописей!

Время шло. Живя в Актюбинске, она с тревогой думала о коллекции, брошенной на произвол судьбы. И в 1944 году решила послать за ней Рину, которой к тому времени исполнилось восемнадцать лет.

Рина приехала в Астрахань и сразу пошла туда, где они жили прежде. Хозяева квартиры не претендовали на чужое имущество: коллекция с 1941 года лежала на чердаке, по-астрахански — на «подловке».

Рина поднялась на чердак. В светелке под крышей лежала на полу грудa рукописей. Девушка набила бумагами большой чемодан. Потом занялась ликвидацией кое-какого имущества. Закончив дела, повезла чемодан в Актюбинск. Мать приняла его, поставила в угол, на него поставила еще два чемодана и маленькую корзиночку, накрыла их скатертью и стала подумывать о том, как приступить к реализации этих сокровищ. Актюбинское областное архивное управление с самого начала показалось ей недостаточно мощной организацией. Тогда она решила обратиться с предложением в один из московских архивов. Доктор

Воскресенский собирался в Москву. Она попросила его прощупать почву в столице, а по поводу лермонтовского письма связаться со мной — ей как-то попалась на глаза в «Огоньке» одна из моих работ. Воскресенский в Москве завел разговор в доме одного академика. Там было названо мое имя. Таким образом находка пришла ко мне сама, без всяких с моей стороны поисков и усилий... Остальное вы уже знаете.

### ПАССАЖИР ДАЛЬНОГО СЛЕДОВАНИЯ

Рина оделась, стоит с чемоданчиком, в валенках и в пальтишке, прижимая подбородком запроващенный в ворот белый оренбургский платок. Это заставляет ее, слушая разговор, скашивать глаза попеременно то на меня, то на мать. Взгляд у нее карий, живой. Приятный овал лица, легко розовеющая кожа. У матери лицо спокойнее, строже. У дочери есть что-то остренькое, чуть напряженное, хотя черты правильные, даже красивые. Но выражение лица заключено не в чертах, а в «поведении» лица. А жизнь лица соответствует разговору — в данном случае удивленно-наивному.

Рина прощается с матерью. Я в последний раз заверяю, что это дело недолгое. Можно ехать!

...Пыхтя, переступая криво и мелко, мы с Риной волочим вдоль вагонов тяжеленный чемодан с полутора тысячами рукописей, поминутно перехватывая другой рукой «свои» чемоданы, и наконец останавливаемся возле жесткого бесплацкартного: об удобствах нужно было думать заранее. Места в поездах, проходящих через Актюбинск, бронируются по телеграфу. Напрасно, расстегнувшись, лезу я в глубину пиджака.

— Нет мест, идите в другой... Гражданин, теряете время!

Но тут пассажир, стоящий в лютую стужу возле ступенек без шапки и в кителе, сгорбившись и запустив руки в карманы штанов до самых локтей, — пассажир дрожащий и посиневший, однако верный своей привычке выходить из вагона в чем есть, — вступил в разговор.

Люблю пассажира-общественника — любознательного, дельного, справедливого; пассажира, который первым соскакивает на платформу и последним входит в вагон уже на ходу; который знает всегда, какая впереди станция, который охотно укажет вам на новый завод в степи, обратит внимание на новую марку машин, мелькающих под брезентом на открытых движущихся платформах... Он же — первый в вагоне шутник, балагур и рассказчик. И все-то знают его, все на него смотрят с улыбкой, беспокоятся — не остался ли? А он тут как тут, душа-человек, любимец всего вагона! На коротких дистанциях такому пассажиру не развернуться. И потому встречается он в поездах только дальнего следования.

— Как же в другой, когда в наш вагон? — наставительно обратился он к проводнице. — Давай этих двоих посадим! Тем более, что один пассажир — девушка! Передайте сюда чемоданчик — вон тот, здоровый!

И, схватив заветный — с коллекцией, — поставил его на площадку.

Я сделал попытку вернуть чемодан на платформу.

— Не надо, скоро алма-атинский проходит...

— Не трогай, хозяин, — пригрозил коченеющий. — Девушка, подымайтесь!

Рина взбежала.

— Равняйся на лучших! — И он подпихнул меня на ступеньку.

Подножка поплыла, заскользили колеса... Он некоторое время шел рядом с вагоном, стуча зубами, потом ввинтился на поручне и, вступив на площадку, назвал себя Павлом Василичем. В вагоне быстро обнаружил

резервы площади, Рине уступил вторую полку, сам полез на багажную. А я уселся на краешке скамьи у прохода и стал пасти чемоданы.

Не часто случается, чтобы рукописи великих людей, да еще в несметном количестве, транспортировались в таких неподходящих условиях! Подумать! Чуть не на цыпочках входите вы в помещение архива, шепотом просите выдать для изучения рукопись. Чуть не на цыпочках вам выносят ее — «единицу хранения» — в папке, с инвентарным номером, переложенную тонкой бумагой. Расписавшись в ее получении, затаив дыхание, вы не берете ее, а касаетесь. Пальцы ваши становятся перстами — сухими и легкими. Пролистав со всеми предосторожностями, вы наконец сдаете ее. И понесли ее бережно снова в хранилище, которое в шесть часов вечера запрут, запломбируют и опечатают, придавив сургучом суровую нитку.

Какие там нитки и сургучи! Я поставил бурцевский чемодан «на попа» в проходе между скамейками, ел на нем суп, пил на нем чай да еще приговаривал:

— Ноги затекли из-за этого проклятого чемодана! Хоть бы его укрáли!

Мне казалось, что пренебрежение к нему — лучший способ предохранить его от случайностей, рассказами о которых то и дело угощал меня Павел Василич.

— Вот недавно, — начинал он, свешиваясь с верхней полки, — у одного чемодан обменяли. Ночью подъезжают к Свердловску — сосед схватился: «Мне выходить!» Пошел с чужим чемоданом. А свой — перепутал — оставил. Тот глядит утром: «Не мой!» Открыли — там коробки круглые, с кинокартиной, исключительной ценности. А у него что было? Курица, вещи — это неважно! А главное, диссертация! «Четыре года работал над ней. Всё, — говорит, — мне дальше незачем ехать. В Казани схожу, еду обратно, я этого раззяву найду!» А начальник поезда: «Не советую. Вы его потеряете хуже. А так вас в Москве встречать будут. Ему тоже от вашей диссертации радости мало». И что же вы думаете? Прибывает поезд в Москву — подходят: «Не вы кандидатскую пишете?»

Наслушаюсь я этих рассказов — гляжу... Нет, бурцевские богатства на месте!

### КОНЕЦ БЮДЖЕТНОГО ГОДА

Так, обмениваясь разными «случаями», доехали мы до Москвы, а там и до дома. Звоним. Открывают:

— Наконец-то! Что ты так задержался?

Я радостно:

— Познакомьтесь: это Рина — дочь Ольги Александровны Бурцевой. Она будет теперь жить у нас.

— Так ведь ты же ездил за рукописями?!

— И рукописи привез!

— Ну, молодец! Поздравляю! Здравствуйте! Как ваше отчество?

Передислоцировались. Устроили Рину. После этого я сел разбирать неразборчивое, читать недочитанное. Замелькали короткие серые дни — декабрь, конец года.

Наконец изучение закончилось, и поехали мы с Риной в Литературный архив — повезли знаменитый чемодан на такси.

Если даже предварительный список, сообщенный доктором Воскресенским, — список глухой и неполный, — и тот произвел в архиве, как говорилось, впечатление неслыханное, то появление чемодана следовало отнести к чрезвычайным событиям.

Я поднял крышку... Это сопровождалось покорными просьбами не тянуть; достал первые листки — слышались разные «Ух, ты!..», «Скажите!..», «Шибко!», «Да-а...», «Съездил!..» и прочие глаголы, частицы и междометия, которые куда лучше пространственных речей выражают настроение восклицателей.

Я стал метать на столы автографы самые редкие, называть самые звучные из самых знаменитых фамилий... Исторглись возгласы одобрения, вопросы:

— Это что же? Полная бурцевская коллекция?

— Полная, — горделиво отвечал я. — Вся. До последней бумажки.

Сперва коллекцию смотрел начальник архива. Потом — его заместитель. Потом — начальник начальника. Затем — эксперт по оценке. После него — другой. Наконец они оба вместе. После этого стала известна предварительная оценка, которая выражалась в сумме, заключавшей четыре ноля, а впереди цифру, среднюю между девяткой и единицей. После этого собрали Научный совет. И тут каждый начал интересоваться не только тем, что составляет его специальность и предмет его изучения, но и решительно всем. Так, знаменитый наш пианист профессор А. Б. Гольденвейзер просматривал письма Льва Николаевича Толстого, которого близко знал, и в то же время держал руку на письмах Рахманинова — с ним он вместе учился. Профессор Иван Никанорович Рязанов, собравший в своей библиотеке пять тысяч стихотворных сборников, и тут прежде всего стал интересоваться стихами. И решительно все — музыканты, историки, архивисты — подтверждали ценность коллекции, отдавая должное опыту Бурцева. Только в одном автографе Бурцев ошибся: все подлинно в автографе Пушкина — и бумага, и дата, и подпись «Рочкин». Только Пушкин не тот. Не Александр Сергеевич, а брат его — Лев. Необычайно похожий почерк.

Плохо было, однако, то, что, пока шли ознакомления и обсуждения, оценки, переоценки, бюджетный год подошел к концу. И средства, отпущенные на покупку коллекции, срезали.

Тогда мне сказали:

— Поскольку дочь Бурцевой гостит у вас, передайте ей, что оформление задерживается и что оплатить покупку мы сможем только в новом году, после того как нам утвердят смету. А пока пусть едет в Актюбинск. Мы ее вызовем. Это будет в марте или в апреле.

Я приехал домой и сказал:

— Покупка несколько задержалась, Рина, поэтому пока поезжайте в Актюбинск. Они вас вызовут. Это будет... в январе или в феврале.

Даже и сейчас, по прошествии долгого времени, без всякого удовольствия вспоминаются дни, когда я ходил виноватый в том, что не заплатили, испуганный, что не скоро заплатят. Со дня приезда в Москву прошли две недели, и три... Рина скучала, ходила в кино, беспокоилась о ребенке и о коллекции, напоминала мои обещания: «Двадцать третьего будете дома». Из Актюбинска шли телеграммы.

Все это было невесело!

### НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ СОБЫТИИ

Прошло несколько дней. В ЦГАЛИ опять многолюдно. В вестибюле докуривают, обмениваются рукопожатиями, вежливо уступают — кому первому войти в двери зала. В зале расспросы, приветы, шутки, тут же, на ходу, обсуждение важных дел:

— ...на конференцию в Харьков...

— ...ставьте вопрос — мы поддержим...

— ...продавалась в Академкниге...

— ...почерк очень сомнительный...

— ...такие уже не носят...

Звонок. Начальник архива, упиравшись ладонями в стол, объявляет:

— На повестке — отчет отдела комплектования о поступлениях последнего времени. Докладчик — товарищ Красовский. Юрий Алексанч, прошу...

К трибуне быстро и бодро идет, приосанившись, средних лет человек с внешностью декабриста: серьезное, благодушное выражение лица, бачки, в черной оправе очки.

Говорит интересно и обстоятельно, перечисляет новые рукописи, часть которых в научный оборот или входит или уже вошла. Но о бурцевских материалах — ни слова.

Наклоняюсь к уху начальника:

— Почему он про бурцевские не говорит?

— Да за них еще не заплачено...

— А вы что, хотите от них отказаться?

— Ни в коем случае! Какой может быть разговор?

— Тогда я скажу о них.

— Дело ваше... Может быть, в следующий раз, когда все будет оформлено?

Но какое отношение имеет бухгалтерская помета к самому факту архивной находки? И когда начинается обсуждение доклада, беру слово и объявляю о том, что обнаружилось в актюбинском чемодане.

Не успел кончить — из зала идут записки; поднимается Василий Александрович Киселев — профессор, музыковед, один из деятельнейших работников Музея музыкальной культуры.

— Простите, — обращается он ко мне, — вы не помните, кому адресованы письма Чайковского, обнаруженные в этой коллекции?

— Два из них, — отвечаю, — обращены к какому-то Павлу Леонтьевичу и относятся к 1892 году, другие...

— Спасибо! А письма композитора Львова?

— Письма Львова, насколько мне помнится, адресованы певице Бартеневой.

— О, это важные сведения! Вам, вероятно, будет интересно узнать, что в Астраханской картинной галерее имеются письма Чайковского к тому же Павлу Леонтьевичу (фамилия его Петерсон), а также неизвестные письма Михаила Ивановича Глинки, и — что в данном случае важно! — к той же певице Бартеневой. Очевидно, актюбинские и астраханские материалы как-то связаны между собой! Мне кажется, вам следует это проверить.

— Простите, — обращаюсь в свою очередь я. — А как они попали в Астраханскую галерею — письма, о которых вы говорите?

— Мне объясняли, — отвечает Киселев, — только я уж точно не помню. По-моему, в Астрахани умер какой-то старик, родственники его не то погибли во время войны, не то куда-то уехали — словом, это поступило в Астраханский музей в военное время и куплено чуть ли не на базаре.

#### КОРЗИНА. О КОТОРОЙ НЕ ГОВОРИЛИ

Кончилось заседание. Приезжаю домой. Дверь открывает Рина. Кутается в оренбургский платок, угасающим от долгого ожидания голосом спрашивает:

— По нашему делу ничего нового нет?

— Есть, — говорю. — С вашей помощью попал сегодня в очень неловкое положение.

— В неловкое? А я тут при чем?

— При том, что со слов Ольги Александровны и с ваших я уверяю всех, что коллекция передана вами полностью, а вы, оказывается, продали часть документов в Астрахани.

— Да что вы мне говорите! Никаких документов не продавали! Уж я-то знаю! — Рина возмущена.

— Ну, значит, Ольга Александровна поручила кому-то продать. Чудес не бывает: ваши рукописи попали в Астраханскую картинную галерею.

— Каким же образом? Господи! — Она чуть не плачет. — В первый раз слышу! Рукописи? Это значит — кто-то взял и продал без нас. Подлость какая!..

— Поймите, — прошу. — Давайте говорить по порядку. Я ничего не пойму. Рукописи в Актюбинске, а вы говорите, что кто-то взял их у вас... И что же? Повез продавать в Астрахань?

— Да вы никак не поймете, потому что не знаете толком: у нас половина архива осталась на подложке в Астрахани.

— Так вы же ездили и целый чемодан привезли?

— Ну да... чемодан — привезла. А там еще куча целая оставалась. Я чемодан-то набила, а с этими что делать — не знаю. Взяла корзину — мама раньше белье в ней держала — и туда все! Если с сорок первого, думаю, пролежало три года, что может случиться? Не могла же я еще и корзину забрать! Я и с чемоданом намучилась: вы знаете, какой он тяжелый. Холод! В вагон не протиснешься. Время военное. А у меня две руки только... Как уезжать из Астрахани, я подругам кое-что раздала. Дневник писателя Лейкина Гена один взял читать. А теперь ругать себя готова: надо было передать на хранение людям все, до последней бумажки. Кто бы подумать мог! Глупость такую сделала.

— А что было в корзине, не помните?

— Господи! — Рина взмолилась. — Вы странный какой! Ну откуда я могу помнить, когда мне и посмотреть как следует было некогда! И я же не специалистка. К тому же еще девчонка была — девятнадцатый год. Что там осталось на подложке? Рукописи, ноты от руки переписаны... Письма... Скрябина нет в чемодане?.. Там, значит!.. Петра Первого пачку бумаг, жалею, туда положила. Ноты композитора Чайковского... Вот что точно запомнила: Чехова письма там были.

— Нет, Чехова, — говорю, — вы в чемодан положили, — пятьдесят писем к литераторам Баранцевичу, Лейкину... По-моему, вы ошибаетесь.

— Ошибаюсь? Да вы знаете, сколько у бабушки Чехова было? Связка огромная. Чего же, думаю, я маме одного Чехова повезу? Разделила пачку: что в чемодан, остальное — в корзину: ведь все равно наша. Если б я могла тогда знать... Теперь я очень и очень жалею. И мама расстроится как! Подумать: ценного сколько осталось — и люди посмели распоряжаться чужим! В музей, вы говорите, попало? Да как же они могли взять, когда это наше? Ей-богу, мы на них в суд подадим, если узнаем, кто это! Неужели такое терпеть? Я так взволнована — прямо руки озябли...

Конечно, если представить себе условия, в которых пришлось оставить эту коллекцию в Астрахани, упрекать Бурцевых не за что. Как могли они в 1941 году увезти с собой тяжеленную корзину с бумагами?!

В продолжение всей войны Ольга Александровна беспокоилась о коллекции, при первой возможности послала в Астрахань дочь, чтобы спасти собрание отца. Поручила ей привезти самое ценное. И та привезла, что смогла. Наконец, без всяких с чьей-либо стороны побуждений, владелица сама заявила о желании передать коллекцию в государственное хранилище. Казалось бы, сделано все. И сделано правильно.



И тем не менее нельзя успокоиться при мысли, что уникальные документы остались на чердаке без присмотра и, возможно, частично пропали. Ведь если бы в 1944 году всё, чего нельзя было с собой увезти, Рина передала в картинную галерею, бумаги были бы целы!

— Почему же вы не обратились в музей, когда стало ясно, что всего с собой не увезете? — спрашиваю Рину.

— Как я могла без мамы решать? А если бы нам потом не вернули?

— Ну, не вернули бы — заплатили бы деньги! Но даже если вы опасались, что не вернут, неужели лучше пусть пропадет?! Ведь это же не просто ваша личная собственность — это достояние культуры!..

Но к чему это я говорю? Что она может сделать теперь?

— Право, вы со мной беседуете, как с маленькой, — отвечает Рина с улыбкой обиженно-снисходительной. — Слава богу, сына воспитываю... А поскольку коллекция составляет нашу личную собственность, сами понимаем, куда нам с ней обращаться и кому доверять!..

Сказала и молча смотрит в окно, румяная от волнения.

### ЕЩЕ СОРОК ДЕВЯТЬ

Поехал в Союз писателей, нацарапал письмо с отчетом о поездке в Актюбинск и с просьбой командировать меня в Астрахань.

Генеральным секретарем Союза был в ту пору Александр Александрович Фадеев. Письмо попало к нему. Когда на заседании секретариата дело дошло до меня, Фадеев предложил удовлетворить мою просьбу. Об этом сказал мне Николай Семенович Тихонов — я звонил ему, с тем чтобы повидаться.

Условились. В тот же вечер я отправился к Тихоновым.

У них, как всегда, народ. За чаем зашел разговор об Актюбинске, о решении секретариата; я долго упрашивать себя не заставил и регламентом ограничивать не стал. Только, рассказывая, все удивлялся: Тихонов слушает спокойно, а то вдруг словно спохватится — начинает улыбаться, раскачивается от беззвучного смеха. А я, кажется, ничего смешного не произнес.

Когда же наконец, изрядно наговорившись, добрался я до конца и сообщил, что на днях уезжаю в Астрахань, Тихонов продолжал, уже не скрывая улыбки:

— А прежде чем ехать, позвони Нине Алексеевне Свешниковой. Она сообщит тебе конец этой истории.

— Какой истории?

— Той, что ты рассказывал сейчас.

— А что такое?

— Позвони в Союз художников и узнаешь. Она была сегодня у нас: услышав, что ты вечером будешь и что ты собираешься в Астрахань, она просила тебе передать, чтоб ты не уезжал, не поговорив с ней. Она в курсе всего, что касается картин из коллекции Бурцева.

— Картины? А что с картинами?

— Их там продавали и покупали... Впрочем, она тебе все расскажет. А после этого ты подробно расскажешь нам.

Непостижимо! Если такое написать в повести, скажут: так не бывает. А между тем жизнь, при всей закономерности в ней совершающегося, полна подобных случайностей. Ведь если бы Тихонов не присутствовал на секретариате и Свешникова не зашла бы к нему, а он не упомянул бы о моей предстоящей поездке, — я уехал бы в Астрахань, не выяснив что-то важное. Может быть, не придется и ехать?

— Да, торопиться, во всяком случае, некуда. Картины и рисунки из

коллекции Бурцева еще во время войны растащены какими-то бойкими субъектами, а частично распроданы...

Я в Союзе художников — у Нины Алексеевны Свешниковой. У нее озабоченный вид: приходится сообщать такие скверные новости. Но лучше сперва выяснить обстоятельства здесь, на месте, а потом уже ехать, не правда ли?

— В Москве скоро будет астраханский художник Скоков Николай Николаевич, от которого, собственно, у нас в Союзе художников и узнали эту историю. Подождите его, посоветуетесь. Но, насколько я понимаю, на чердаке уже ничего нет. А что касается автографов, которые поступили в Астраханскую галерею, то это можно выяснить сегодня же; для этого ни в какую Астрахань ездить не надо. Я сейчас позвоню в министерство Антонине Борисовне Зёрновой — это отдел музеев...

Позвонила. В художественную галерею Астрахани переданы в 1944 году хранившиеся в коллекции Бурцева письма:

Стасова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина (три записки), Достоевского, Гончарова, Полонского, Майкова, Мея, Чехова (пять писем), Короленко, французских писателей — Альфонса Доде и Поля Бурже, тринадцать неизданных писем Михаила Ивановича Глинка (о которых говорил мне тогда опубликовавший их вскоре профессор В. А. Киселев); письма композиторов: Варламова, Львова, Балакирева, Кюи, Чайковского (два письма), Рубинштейна, Аренского, Скрябина — целых сорок девять автографов! Немало! Но все же в тридцать раз меньше, чем хранилось в Актюбинске. И — страшно подумать! — какая это малая часть того, что оставалось в злополучной корзине.

Повез я этот список в Гослитархив. Оттуда пошла в министерство бумага с ходатайством о передаче астраханских материалов в Москву. Если не знать про корзину, можно бы радоваться. А тут одни огорчения.

### БУМАЖНЫЙ ДОЖДЬ

Прихожу домой.

— Рина! Кому вы продавали рисунки?

Выясняется, что продавала военному Володе, который приезжал в Астрахань из армии после ранения и снова уехал в часть. Он художник.

— Потом Розе: у нее не то армянская, не то грузинская фамилия. Еще одному художнику — пожилому. И подслеповатый ходил... Первый явился мужчина в летах. Совсем недавно помнила их фамилии, а сейчас... что ты скажешь?!

Число художественных произведений, распроданных с помощью какой-то старухи в сорок четвертом году, Рина называет ужасное: картин сто пятьдесят и тысяча пятьсот рисунков.

— Вы не ошибаетесь, Рина?

— Честное слово, я не пойму вас! Раз говорю — значит знаю... Мне же приятнее было бы меньше сказать... Но вы уже убедились, наверно, что я врать не умею...

...Приехал Скоков — хороший художник-график и человек очень милый. Но сведения, которые он сообщает, ничего хорошего не сулят. Все подтвердилось — и про базар и про расхищенные автографы.

В сорок четвертом году на астраханском базаре стали появляться куски картона, на обороте которых можно было увидеть писанный маслом пейзаж, эскиз фигуры, головку... Приносила картоны старуха. Однажды в картинную галерею притащил с базара пачку рисунков начинавший в ту пору художник Архипов. Директором галереи в то время был старейший астраханский художник Алексей Моисеевич Тока-

рев. Вещи заинтересовали его. Выяснилось, что они попадают на базар с улицы Ногина.

Старый художник пригласил с собой Скокова, и пришли они к Рине. На веранде, где она укладывала вещи, «шел дождь бумажный». Под ногами валялись переплеты без книг, книги без переплетов, старые газеты, автографы... Скоков запомнил: автографы Репина, поэта М. Кузьмина, Григория Распутина, альбомы с рисунками Шишкина, рисунки Брюллова, Афанасьева и Лукомского. Узнав, что картин и рисунков Рина с собой не берет, Токарев предложил принять их на сохранение. Рина не решилась без матери. Сам Скоков корзины не видел, но слышал о том, что объемистая и что Рина сложила туда все то, что не могла увезти.

После ее отъезда Токарев снова побывал в доме, но корзины не обнаружил — только отдельные рисунки и рукописи, которые и попали через него в картинную галерею. По словам Скокова, Рина пользовалась советами компании, с которой ходила в кино. Были там, кажется, неплохие девушки и ребята, но посоветовать дельного они не смогли. А кое-кем руководили и корыстные интересы.

— Какую-то часть бурцевского имущества, — предполагает Скоков, — можно найти. Еще недавно в Товарищество художников приносили рисунки и книги из коллекции Бурцева. Надо ехать вам в Астрахань, не откладывая. Вы у нас не бывали? Нет? Ну, тем более... Город у нас хороший! Ждем...

Благодарю, обещаю.

— Ну, а когда?

— Как только покончу с актюбинскими делами — и к вам.

#### ПО СОВЕТУ КОМСОМОЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ

Тем временем в архивных кругах стали вдруг поговаривать, что Бурцевы не столько сохранили коллекцию, сколько растеряли ее и платить им, собственно, не за что.

Разговоры эти так разговорами и остались. Такой подход к делу не соответствовал интересам нашей архивной политики, а главное — советским законам. При покупке оплачивается, как известно, не хранение, а стоимость вещи.

Прошел Новый год. Рина вернулась в Актюбинск. Но рано или поздно дело должно было окончиться оформлением взаимоотношений между владелицей и архивом. Тем и кончилось.

Это было уже весной. В Москву вместо дочери приехала сама Ольга Александровна Бурцева. По существу вопрос был решен. Через несколько дней она получила сумму, на которой остановилась оценочная комиссия, и, будучи ограничена временем, поспешила воротиться в Актюбинск. Она простилась по телефону. И больше я их не видал.

В руках моих осталась доверенность Бурцевой на случай поездки в Астрахань. В этом документе поименованы шкаф и шкафик, дамский письменный столик, кровать, пуховая перина и лампа на винтовой ножке; все остальное уместилось в двух строчках: «имущество, заключающееся в рукописях, письмах, книгах и картинах из коллекции покойного отца».

На этот раз доверенностью можно было воспользоваться: интересы обеих сторон — владелицы и архива — совпали. Надлежало найти утраченные бумаги.

Но как? Каким способом? Приехать в незнакомый город и начать ходить по квартирам?

Трудно искать даже в том случае, когда знаешь, где надо искать.

Трудно искать, когда знаешь, что ищешь. А как поступить в данном случае, когда я не знаю ни списка бурцевских материалов, ни фамилий людей, которые их покупали? Тут надо было что-то придумать...

Но думать мне не пришлось: это сделали за меня другие. Случилось это вот как.

Когда бурцевские материалы были внесены в описи ЦГАЛИ, «Литературная газета» поместила о них информацию. После этого все меня стали расспрашивать, откуда взялась коллекция, и как попала в Актюбинск, и чьи автографы обнаружены в ней, кроме тех, что перечислены в «Литературной газете».

Выступая с исполнением своих рассказов, я, между прочим, знакомил публику с этой историей. Как-то раз в конце вечера мне передали за кулисы нацарапанную на входном билете записку:

«Мы, трое комсомольских работников, прослушав ваш отчет о командировке в Актюбинск, хотим посоветовать вам при дальнейших поисках в Астрахани обратиться к помощи пионеров».

Этим мудрым советом я и воспользовался.

### В СЛАВНОМ ГОРОДЕ АСТРАХАНИ

Отъезжая в Астрахань, перелистал справочники, библиографии, почитал «литературу предмета» и перебрал в памяти решительно все, начиная с народных песен о том, как «ходил-то гулял всё по Астрахани» Степан Тимофеевич Разин и как «во славном городе Астрахани проявился добрый молодец Емельян Пугач».

Поселившись в Астрахани в «Ново-Московской», вставал на рассвете, «домой» возвращался к ночи: по асфальту обсаженных липами улиц бегал на Кутум, на Канаву, на Паробичев бугор, в район Емгурчев, на улицу Узенькую, на улицу Володарского, которая раньше называлась Индейской. Названия какие! На Индейской в XVI веке стоял караван-сарай индийских купцов. Как не вспоминать тут историю на каждом шагу — Золотую Орду, падение Астраханского ханства перед войском Ивана Грозного, изгнание восставшими астраханцами Заруцкого с Мариною Мнишек, вольницу Разина, приверженцев Пугачева, персидский поход Петра?!. Здесь умер и похоронен грузинский царь Вахтанг VI — поэт и ученый, обретший в петровской России политическое убежище, и другой грузинский царь — Теймураз II. Два года провел здесь А. В. Суворов, родился И. Н. Ульянов — отец В. И. Ленина, побывал Т. Г. Шевченко, прожил пять лет возвращенный из сибирской ссылки Н. Г. Чернышевский. Земляк астраханцев — замечательный русский художник Б. М. Кустодиев. Рассказ «Мальва» Горького связан с его пребыванием в Астрахани. В годы гражданской войны Астрахань выстояла под натиском белых: с гордостью произносится в городе благородное имя Сергея Мироновича Кирова, руководившего героической обороной.

Здесь долго играл актер удивительной силы — П. Н. Орленев. Отсюда родом народные артисты — В. В. Барсова, М. П. Максакова. Л. Н. Свердлин.

В Астрахани ценят искусство. Издавна славилась она художественными коллекциями. Знаменитая картина Леонардо да Винчи в собрании Эрмитажа, известная под названием «Мадонна Бенуа», в свое время была куплена в Астрахани.

Здесь есть чем заняться историку, есть что искать ученому-следопыту: имеются сведения, что именно в окрестностях Астрахани в 1921—1922 годах в последний раз видели древний — XVI века — список

«Слова о полку Игореве», принадлежавший до революции Олонецкой духовной семинарии, а потом находившийся в руках преподавателя семинарии Ягодкина.

Говоря об Астрахани, как не сказать о рыбе, о нефти, о соли: я побывал в порту, на рыбоконсервном комбинате. Но станешь рассказывать — скажут: «Отдалился от темы». Потому обращаюсь к цели своего путешествия.

Прежде всего явился в отдел культуры облисполкома, затем отрекомендовался в редакции газеты «Волга». Посоветовано встретиться с астраханской интеллигенцией, провести беседы с читателями районных библиотек, напечатать статью о бурцевских материалах, выступить в воскресенье по радио. Идея привлечь пионеров одобрена. План архивных поисков разработан самый широкий. Обещана помощь.

Отыскал воспитанницу Саратовского университета — литературоведа Свердлину Софью Владимировну. Вручил письмо от профессора Ю. Г. Оксмана. Выражена готовность помочь. С этого часа по Астрахани начали бегать двое. Задания обсуждали совместно, делили поровну. Разбежимся в разные стороны... Через три часа возвращаюсь на угол Советской и Кирова, еле плетусь — Свердлина битый час дожидается, читает книжку или остановила знакомых.

Дошло дело и до Дворца пионеров. Прихожу — собраны самые маленькие. Как завел я про чемодан, переутомились уже через пять минут: вертятся, мученики, радостно отвлекаются — книжка упала, на улице камера лопнула, зазвенел номер от вешалки. «Эх, — думаю, — надо было комсомольцев привлечь. Посоветовали!»

Но вот произнес слово «Астрахань»... И то, что произошло вслед за этим, можно сравнить только с остановившимся кинокадром: никто не мигнет, позы не переменит — все застыло!

Только закрыл рот — тянут руки:

— Что такое архив?

— Где Актюбинск?

— Пожалуйста, расскажите сначала!

Эх, неопытность моя в педагогике! Надо было начинать с Астрахани!

А руки все тянутся:

— Сколько весил чемодан Бурцевых?

— В какой школе училась Рина?

— Как фамилия человека, у которого Архипов купил картинку?

— Чемодан тоже остался в архиве или только бумаги?

— Что надо искать — продиктуйте.

Редкие молодцы!

Прошу пересказывать эту историю всем астраханцам. Диктую вопросы. Уславливаемся насчет часа, когда буду ждать их в гостинице. Уже попрашались — вопрос:

— К нам мамин дядя приехал из Гурьева. Ему можно сказать про это? Или только таким, кто ходит голосовать?

— Можно и дяде!

Положил на них и вам посоветую: действовали с редким энтузиазмом.

### ОГОРЧАЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ

Сижу в кабинете Токарева. Беседуем. Делаю пометы для памяти: у Рины было несколько писем Шаляпина, альбомы Репина, письма художника Сергея Григорьева к самому А. Е. Бурцеву. Три полотна Саламаткина из бурцевского собрания есть на Кутуме. Художница Нешмонина приобрела в свое время несколько неплохих рисунков. Много вещей находилось в руках Гилёва.

— Кто такой?

— Художник. Бывал у Бурцевых еще до войны. Военные годы провел в Астрахани. Часто навещал дом на улице Ногина, когда приехала Рина и стала распоряжаться коллекцией... У него были Шишкин, Крайский, Крачковский... Федотова как-то показывал здесь... Много других вещей было от Бурцевых: он их хороший знакомый. Как будто разошлось все это по частным коллекциям — в Москве и в Поволжье... Дневник Лейкина? Еще недавно его видели в Астрахани в руках этого... Гены Гендлина! Говорил кто-то, что там есть упоминания про Чехова...

Токареву запомнилось: дочь Бурцевой говорила, что имущество их хранится не только на улице Ногина, но и в других местах. Где? Обо всем этом мог знать Алексей Архипов, который первым тогда прибежал в галерею. Можно ему написать: он в Казани, в художественном училище. Только проще побывать на квартире, где жили Бурцевы, поговорить с Полиной Петровной Горшнёвой — хозяйкой. Она в Хлебпищевом магазине работает. Там разговаривать неловко, а лучше домой...

Я к ней уже заходил — никак не застаю. «А вы приходите, как встанете, — говорят. — Хоть в половине шестого, хоть в пять. Она товар принимает. Уходит — темно на дворе».

И вот наконец я на чердаке этого дома — у входа в светелку с окошечком, с выструганным добела полом, где когда-то стояла корзина. Стоим с хозяйкой, и оба невеселы.

— Здесь у них все и было... Я уже слыхала про вас: мальчонка соседский тут прибежал. «У вас, — говорит, — на подловке ценности сколько лежало, а вы не устерегли. Писатель — из Москвы — приходил, велел сдавать тетрадки писателей али письма, что есть...» Вы мне скажите, — она ждет от меня оправдания, — могла я знать, что сложено тут у Рины? Как я стану вещи ее проверять? Чужое. Мне не доверено. Три года лежало — не трогали. И после не стали брать.

Я ее понимаю!

Рассказывает: Рина приехала тогда — каждый день поднималась сюда, разбирала, приводила с собой компанию.

— Бумаги у них так и веяли... Прощалась — наказывала: «Если кто от меня заходить будет — пускайте, это свои, для них тут отложено». После являюся: «Рина про нас говорила?» — «Идите». Потом, уже когда остатки остались, — пожарник: «Чья бумага?» — «Жильцов старых». — «Оштрафовать бы вас разок для порядка! Хорошо — не сгорели!» Смел в кучу да на сугроб...

Кажется, лучше родиться глухим, чем слышать такое!

### НАХОДКА

Подымаюсь по лестнице в номер. На площадке гостиницы, возле дежурной, дожидается знакомец по Дворцу пионеров, лет десяти.

— Хотите, я вас сведу к одному? У него картины с улицы Ногина куплены.

И повел. Пришли в мастерскую художника. На мольберте большая, еще не законченная работа — астраханская степь, отара овец, чабаны... Трудится над полотном, как потом выяснилось, тот самый военный Володя, имя которого упомянула однажды Рина. Его фамилия Вовченко.

— Вот у него есть картины, какие, вы говорили, пропали на подловке, — зашептал мой вожатый.

Художник обернулся мгновенно.

— Какие тебе картины?.. Вам что? — И поглядывает то на меня, то на мальчика недоуменно и даже недружелюбно. — Чего тебе надо здесь? Ну-ка, сыпся!

— Я с писателем, — пролепетал мой наставник.

— С каким писателем? — И уже помягче: — Это что — вы?

Я назвал, разъяснил причины и обстоятельства. Вовченко заулыбался, сразу же проявил жаркую готовность помочь.

— Рисунков я тогда накупил довольно. Мне попались работы не больно-то интересные, но коллекция раньше была — оёй! Фото, письма, альбомы, книжки в переплетах роскошных... Там до меня народу перебивало порядком. Самое ценное в то время уже ушло, растеклось по частным каналам. Дочка владелицы, Рина, приехала ликвидировать имущество, которое здесь оставалось. В Куйбышев, говорили, попало кое-что, в Казань... Корзину? Видел! Багажная, приличных размеров!

Пригласил меня к себе на квартиру. Помощника моего подергал легонько за ухо.

— Тебя за «языком» посылать...

Дома, на улице Пушкина, вынес целую стопу карандашных рисунков и акварелей: Прянишников, Маковский, Мясоедов, Вахрамеев, Зичи, Григорьев... Наряду с этим много работ малоизвестных художников начала нашего века и просто ремесленные картинки — карикатуры, иллюстрации к дешевым изданиям, оригиналы поздравительных открыток... Как уже было сказано, Бурцев собирал все!..

И вдруг! Среди этих наклеенных на пыльные паспарту рисунков — несколько альбомных листков: переплет оторван, начала и конца нет, по обращениям можно понять, что принадлежал этот альбом в свое время известному переводчику Уманову-Каплуновскому... 1909 год... Запись литератора Тенеромо... Высокопарное изречение об эмансипации женщин — подпись Н. Б. Нордман-Северовой, жены И. Е. Репина... И — запись самого Репина! Страничка, на которой изложен взгляд его на искусство!

«1909.

23 июля.

Куоккала.

Модные эстетики полагают, что в живоисии главное — краски, что краски составляют душу живописи. Это не верно. Душа живописи — идея. Форма — ее тело. Краски — кровь. Рисунок — нервы. Гармония — поэзия дают жизнь искусству — его бессмертную душу.

Илья Репин».

Как передать здесь то внезапное удивление, которое испугало, обожгло, укололо, потом возликовало во мне, возбудило нетерпеливое желание куда-то бежать, чтобы немедленно обнаружить еще что-нибудь, а затем снова вернуло к этой поразительной записи.

Вот она — мысль, в которую уместились часы вдохновения, годы труда, подвиг всей жизни Репина!

Мысль выстраданная и выношенная!

Мысль, бывшая путеводителем в творчестве!

Мысль — убеждение, защита, мерило искусства, оценка художника!..

Вот он — пыльный альбомный листок, без которого мы, сами того не ведая, были бы на один факт беднее, как были бы, не зная того, беднее без собранных Бурцевым документов, отразивших мгновения нашей истории, моменты жизни и творчества наших великих людей, — без писем Ломоносова и Суворова, Лермонтова и Кюхельбекера, Горького

и Чайковского... Да, впрочем, что тут! Одна страничка, исписанная рукой великого Репина, стоила бы упорных поисков!

...Вовченко охотно дает разрешение сфотографировать этот листок. Вообще он полон готовности помогать.

— Куда посоветую вам зайти,— говорит он,— это к Розе Давидян, к художнице... Тут — улица Победы, неподалеку... Идемте, я вас сведу!

И я понимаю, что это и есть та самая «не то с грузинской, не то с армянской фамилией» Роза, о которой я слышал от Рины.

### НЕВЕСЕЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Пришли.

— Мы к тебе на минутку, Роза. Ты Рину Бурцеву помнишь? Тут надо человеку помочь... У тебя каких-нибудь бурцевских нет рисунков?..

— Интересного нет...

К ней попали все больше средней руки иллюстрации к дореволюционным изданиям, оригиналы иллюстраций, которые печатала «Нива», юмористические листки — шаржи, карикатуры...

— Куда бы его еще повести? — советуется с ней общительный Вовченко, покуда я перекладываю листы.— Ты человек живой! Сообрази, Роза!

Сложив на диван рисунки, я разговариваю и смеюсь с ними, как с добрыми друзьями, которых знаю с молодых лет.

— Сейчас, наверно, сменилась с дежурства Лида (Дьяконова, ты знаешь!), она работает сестрой в клинике. Сегодня она должна быть дома. Она говорила — ей Рина давала на хранение письма Багратиона.

Все вместе отправляемся к медсестре Дьяконовой.

Пришли и смутили — высокую, сероглазую, строгую.

— Были Багратиона письма. Но я сама в сорок четвертом году уезжала в деревню, а вернулась — и не нашла.

Вздыхаем. Потом они втроем начинают потихонечку совещаться:

— Куда ему посоветовать зайти? Ты Рининых знакомых не знаешь?

— У Гены был дневник Лейкина — я сейчас его фамилию забыла...

Еще другой — в ТЮЗе работал, — он книги у них покупал.

Начинают всплывать обстоятельства, восстанавливаться подробности...

Но не стану больше перечислять имен, которые ничего вам не скажут. Не буду занимать вас рассказом о том, как я бегал из института рыбной промышленности в медицинский, из педагогического — в Театр юного зрителя, из Товарищества художников — в клинику больницы, в Общество по распространению знаний... Не стану, потому что добывал я уже не автографы, не картины, а только новые доказательства, что они действительно были. Выяснилось, что нет не только бумаг Петра Первого и писем Багратиона, нет писем и донесений Кутузова, писем Чехова к Горькому, — а их видели. Не оказалось того, о чем говорила Рина, что видели Скоков и Токарев...

Устремились мы со Свердлиной на поиски дневника Лейкина. И опять безуспешно! Новый владелец тетрадей переехал в Караганду. Разъехались и другие, кто знал или мог знать, что хранилось в корзине на чердаке, — один ушел в армию, другой учился в Казани... Мне давали адреса: Воткинск, Березники, Новосибирск, Ховрино под Москвой... Двое из тех, что часто бывали на чердаке, не выезжали из Астрахани. Но их же не было в живых.

Каждый день прибегали ко мне пионеры, ждали часами, провожали, объясняя, в какие ворота войти, в какую стучать квартиру и кого там



спросить. Я все знакомился, все расспрашивал и получал от новых людей все новые и новые адреса. С каждым днем становилось все более ясным: если искать бесконечно, можно найти еще один документ, еще два рисунка, может быть десять, двадцать... Но астраханская часть коллекции Бурцева растеклась, разошлась по рукам и как таковая больше не существует.

Тут можно было бы поставить последнюю точку. Но я предвижу вопросы и возражения.

— Какое право было у Бурцевых хранить документы, имеющие общественное значение?

— Надо было изъять у владельцев коллекцию, которую они не сумели сберечь!

— Почему коллекция не была конфискована при жизни самого Бурцева?

— Отчего не привлекли виновных в гибели документов к ответственности?

Такие вопросы уже задавали.

Попробуем разобраться.

### ОБЩЕСТВЕННАЯ СТОРОНА ДЕЛА

История эта вызывает чувство глубокой горечи. Но суть дела вовсе не в том, что коллекцию не конфисковали вовремя, и не в том, что владельцев не привлекли к судебной ответственности. Это дело сложнее. Оно выходит из юридической сферы и касается понятий моральных.

Право личной собственности в нашей стране распространяется на предметы домашнего хозяйства и обихода, личного потребления и удобства — на то, что служит удовлетворению наших материальных и культурных потребностей. Это право незыблемо. Его охраняет закон — десятая статья Конституции.

Вы решили украсить свою комнату — повесили полотна Сергея Герасимова и Сарьяна, этюды Кукрыниксов, рисунки Верейского и Горяева. Вот и коллекция! Кто может изъять ее у вас — полноправного члена советского общества? А завтра вы, может быть, решите собирать на свои сбережения патефонные пластинки, почтовые марки, фарфоровую посуду, редкие книги?! Собираение коллекций — общественно полезное дело: коллекционируя, вы изучаете вещи, сохраняете их от забвения, от распыления. Любая коллекция, собранная на ваши личные сбережения. — ваша личная собственность.

Закон советский охраняет и право наследования. Рано или поздно ваша библиотека, картины, пластинки, фарфор, если только вы не завещали передать их в государственное хранилище, станут собственностью ваших наследников. И они распорядятся ею по своему усмотрению. И, возможно, так же не сумеют ее сохранить, как не сумели полностью сохранить свою коллекцию Бурцевы.

Спрашивают: почему коллекцию, представлявшую ценность общественную, не реквизировали после Октябрьской революции?

Для этого не было оснований: закона об изъятии частных коллекций не существует.

Что же касается предложения привлечь владельцев к ответственности за то, что они не сумели полностью уберечь эти документы, картины и книги, то можно ли возбудить дело против гражданина, повинного в утрате принадлежащего ему лично имущества?

И тем не менее все понимают: бросить на чердаке подушки или посуду — дело одно; оставить без охраны уникальные ценности — дело

другое. Нельзя привлечь к юридической ответственности за то, что человек уничтожил принадлежавшую ему книгу или картину. Но, узнав об этом, мы вправе считать, что личное право он ставит выше общественных интересов, и справедливо осудим такого.

Владеть ценнейшей коллекцией — быть в ответе перед историей. Потомки не станут вникать в обстоятельства, при которых владельцам пришлось расстаться с частью коллекции. Уже не о них — обо всех нас будут говорить они с осуждением: «не могли сохранить», «растеряли», «где были те, кому по роду занятий надлежало проявлять заботу об исторических документах, — люди культуры, историки, музейные работники, архивисты?» Разве мы не говорим так о тех, что жили в прежние времена и не сохранили для нас многих замечательных памятников культуры?

Да, говорим. Сокрушаемся. А чаще всего негодуем!

Советское государство гарантирует нам права, которые не гарантированы ни в одной стране по ту сторону границ мира социализма, — право на труд, на образование, на отдых, на обеспечение по болезни и старости и многие другие права, в том числе гарантировано наше право и на личную собственность.

На заботу государства о нас мы отвечаем заботой о государственных интересах. И ставим их выше личных. Коллекция Бурцевых представляла ценность общественную. А это обязывало их проявлять в отношении ее куда большую меру заботы, чем о всякой другой своей собственности.

#### ПУСТЬ ЭТО ПОСЛУЖИТ УРОКОМ!

Сколько ценнейших рукописей погибло от случайных причин начиная со «Слова о полку Игореве», список которого хранился в Москве в доме собирателя Мусина-Пушкина и сгорел в 1812 году во время пожара!

Владелец не уберег! Тем более не стоит наследникам хранить у себя документы, значение которых большею частью им непонятно. Но если наследник хотя бы слышал, что это ценность, то третьи лица чаще всего не знают даже и этого. Не вникнув в содержание попавших в их руки бумаг, они часто дают им совсем другой ход.

Великий грузинский поэт Давид Гурамишвили, будучи вынужден покинуть Грузию еще юношей, умер в конце XVIII века на Украине. Незадолго до смерти, полуслепым стариком, он вписал все свои сочинения в толстую книгу и, прибыв в Кременчуг, вручил ее грузинскому посланнику при русском дворе, царевичу Мириану, в надежде, что труд всей его жизни — стихи и поэмы, писанные по-грузински в полтавской деревне, — найдет путь на родину и станет известен грузинским читателям.

Все, однако, случилось совсем не так, как рассчитывал поэт. Рукопись его в Грузию не попала. Полвека спустя туда дошли только немногие выписки из нее. А самая рукопись почти сто лет спустя после смерти Гурамишвили была куплена в Петербурге, в антикварном магазине на Литейном проспекте. И то потому, что случайно попала на глаза студенту, который смог прочесть заглавие и первые листы текста и понял значение находки. В ином случае никто не называл бы сейчас Гурамишвили великим. Мы имели бы о нем очень малое представление.

Не менее замечательное событие произошло в наши дни в городе Чехове под Москвой.

На дне клетки, в которой прыгала канарейка, случайно обнаружился лист, исписанный почерком Пушкина. Удивились, стали искать, откуда

он взялся. И набрали на ящик с бумагами Пушкина — это была рукопись о Петре.

В Талдомском районе Калининской области случайно заметили, что стена под обоями в горнице обклеена старыми письмами. Содрали обои, отмочили листки. Это были письма к родным великого сатирика Щедрина.

Если говорить об ответственности, то виноваты наследники тех, кому эти бумаги принадлежали. О чем они думали, оставляя после себя эти рукописи? Кто должен был решать их судьбу? Определить руку Пушкина могут только специалисты. Но даже специалисты по Пушкину щедринский почерк читают с трудом. Человек, не сведущий в этих вопросах, сам разобраться в этом не может. И единственно правильное, что может он сделать, — обратиться к специалисту, в редакцию местной газеты, в библиотеку, в архив...

Учащиеся Красноборской средней школы Архангельской области и поступили именно так — послали в Ленинград, в Пушкинский дом, два рукописных сборника, составленных в XVIII веке. В эти сборники вписаны старинная русская повесть, материалы по истории области и другие ценные тексты.

Ученики одной из московских школ пошли еще дальше. Они решили искать литературные документы. Узнав, что Аркадий Гайдар жил когда-то в подмосковном городе Кунцево, решили проверить, не осталось ли в доме каких-нибудь рукописей, книг или фото. И, роясь на чердаке, обнаружили и командировочные удостоверения Гайдара, и договоры с издательствами, и письма к нему, и даже неопубликованный очерк. Находки свои они передали в Центральный литературный архив.

А возле Мичуринска, во дворе техникума, двое учащихся нашли еще более редкую вещь: дневник чиновника, служившего вместе с Пушкиным в Кишиневе. Автор этого дневника рассказывает, как сосланный Пушкин отзывался о политических порядках тогдашней России: «...Штабские чиновники — подлецы и воры, генералы — скоты большею частью, один класс земледельцев почтенный. На дворян русских особенно нападал Пушкин. Их надобно всех повесить, а если бы это было, то он с удовольствием затягивал бы петли».

Ученики передали находку преподавательнице русского языка. Та, в свою очередь, доставила ее в Москву, в Литературный музей, и вручила пушкинисту М. А. Цявловскому. Дневник опубликовали, а самая тетрадь, обнаруженная во дворе техникума, хранится ныне в сейфе Пушкинского дома Академии наук СССР, куда мало-помалу стекаются все рукописные материалы, имеющие отношение к Пушкину. Много можно рассказать интересного о находках, поступающих в этот сейф!

В 1921 году ленинградский искусствовед Г. И. Гидони, развернув купленный в булочной хлеб, обнаружил, что на обертку были пущены старинные, большого формата письма, в которых шла речь о дуэли и смерти Пушкина. Оказалось, что автор их — сын знаменитого историка Андрей Карамзин, который писал из Баден-Бадена в Петербург матери и сестре — Е. А. и С. Н. Карамзиным — о том впечатлении, которое произвело на него известие о гибели Пушкина.

Гидони передал эти письма в Пушкинский дом.

Прошло около двадцати лет. И вот, разбирая в Нижнем Тагиле книги, оставшиеся после смерти инженера Шамарина, бухгалтер О. Ф. Полякова обнаружила письма о дуэли и смерти Пушкина, писанные из Петербурга в Баден-Баден Е. А. и С. Н. Карамзиными и адресованные Андрею Карамзину. Полякова передала их в Тагильский музей краеведения. А в 1957 году они поступили в Ленинград, в Пушкинский дом, и легли рядом с находкой Гидони.

Совсем недавно туда же поступило подлинное письмо Пушкина к некоей Алымовой и вместе с ним письмо Гоголя к его ученице Балабиной. Их прислал в дар институту известный физиолог — московский профессор И. М. Саркизов-Серазини. В сопроводительной записке его говорится: «Считаю себя не вправе держать эти драгоценные реликвии у себя дома».

Немало таких подарков поступает в наши архивы. И. Н. Заволоко прислал из Риги письмо художника Рериха; А. М. Кулакова из Вельска — пять старинных рукописных книг, в их числе неизвестную повесть «О гишпанском дворянине Карле», сочиненную на основе русской народной сказки. От Т. Е. Бурдина поступил в дар старинный сборник сказаний и поучений; от И. Н. Заборского — десять рукописей XVII—XIX веков: старинные повести, сказки, крестьянские челобитные. А. М. Бебяков подарил старинный «столбец» — свиток длиной в пять метров, в котором сообщается о тяжбе владельцев той самой земли, на которой ныне стоит колхоз «Красный пахарь» Архангельской области. «Столбцу» этому около трехсот лет. В. Г. Зыкин принес в дар государству целых тридцать шесть рукописей, и некоторым из них по пятисот лет.

Кто они — эти люди?

Заволоко — пенсионер. Кулакова — жена краеведа. Бурдин — редактор районной газеты. Заборский — колхозный счетовод. Бебяков — колхозник. Зыкин — преподаватель... Таких людей много. О них можно было бы написать целую книгу. Это они из интереса и уважения к нашей культуре, к нашей истории доставляют в музеи ценные археологические находки, древние клады, сообщают о редких книгах, о старых рукописях. Все больше становится людей, передающих свои находки и материалы в дар, безвозмездно.

Сколько рассеяно по нашей стране — и не только в областных и районных центрах, но и в селах, у частных лиц, — ценнейших материалов: писем, рукописей, документов, революционных листовок, старых альбомов, книг, уникальных портретов, пожелтевших, выцветших фотографий, важных для нашей истории. Пусть печальный опыт с корзиной на чердаке послужит всем нам уроком. Давайте искать, собирать, сохранять архивные ценности! Не для себя, а для всех! Для советского общества! Для культуры!



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Б. ЯКОВЛЕВ

★

## НОВЫЙ ЛЕНИНСКИЙ СБОРНИК

**Д**ва месяца осталось до девяностолетия со дня рождения Владимира Ильича, и, пожалуй, книге, о которой мы хотим здесь рассказать, суждено быть самой значительной в новейшей Лениниане — литературе о Ленине и ленинизме.

В новом Ленинском сборнике — уже тридцать шестом по счету — шестьсот тридцать шесть впервые публикуемых документов ленинского литературного наследия почти за шестидесятилетие: с марта 1917 по январь 1923 года. Среди этих документов широко и многообразно представлены планы и наброски, конспекты и тезисы статей, речей и докладов Владимира Ильича, составленные им проекты постановлений и резолюций партийных и советских органов. В сборник включены его письма, записки, телеграммы и телефонограммы, распоряжения. Читатель знакомится с ленинскими пометками на государственных бумагах, поправками, всевозможными подсчетами, личными карточками и анкетами...

Исключительно широк круг тем, охватываемых этими документами, — внешняя и внутренняя политика Советского государства, разнообразные проблемы советского и партийного строительства, задачи развития народного хозяйства, образования и здравоохранения, науки и культуры. Новые, глубоко поучительные материалы найдут на страницах сборника историки и экономисты, философы и литераторы, юристы и географы, работники самых разнообразных отраслей промышленности, пропагандисты и агитаторы.

Материалы сборника расположены в хронологической последовательности, мозаически складываясь в картину многогранной и неустанной деятельности нашего великого учителя.

1

Характеризуя переписку Маркса с Энгельсом, Ленин писал, что если попытаться одним словом определить ее фокус, центральный пункт, к которому сходится вся сеть ее идей, то слово это будет «диалектика». Если, следуя этому ленинскому примеру, попытаться тоже одним-единственным словом охарактеризовать главное в опубликованных на страницах сборника документах о внешней политике Советского государства, — не найти слова, более точного и веского, чем «мир». Слово это, как говорил Н. С. Хрущев гражданам Сан-Франциско, можно услышать в нашей стране на каждом шагу; оно написано живыми цветами в садах, скверах и парках, выложено белым камнем на откосах железнодорожного полотна, начертано на стенах домов и — главное! — высечено в сердцах советских людей.

Знаменательно, что уже на первой странице сборника, в плане статьи «Революция в России и задачи рабочих всех стран», поставлен главный вопрос тех дней, ставший ныне генеральной политической проблемой современности: «Как добиться мира?» Ответа на вопрос, волновавший еще тогда миллионы людей, а в наши дни самый

---

Ленинский сборник XXXVI. Подготовители: А. А. Панфилова, Е. Ф. Полконова, Н. Н. Суровцева, Н. Г. Севрюгина, Д. Л. Кудрячина, В. А. Чанова. Редакторы: В. Я. Зевин и Г. Д. Обичкин. Госполитиздат. М. 1959.

животрепещущий для всего человечества, пылливо искал ленинский политический гений. И он нашел этот ответ в великой идее мирного сосуществования социалистических и капиталистических стран.

Большое значение Ленин придавал советско-американской дружбе, личным контактам с государственными и деловыми людьми США, правдивой и полной информации американского общественного мнения. Еще весной 1918 года он обязывает Бюро печати при Совете Народных Комиссаров «собрать все материалы (печатные) о нашей революции». «Это дело,— подчеркивает Владимир Ильич,— имеет крупное значение общественное, ибо от этого зависит информация Америки и всего мира».

В борьбе за мирное сосуществование Ленин ясно видел ту роль, которая по праву принадлежит торговле Советского государства с зарубежными капиталистическими странами и прежде всего с самой большой и экономически мощной из них — Соединенными Штатами Америки. Высоко ценил Владимир Ильич пролетарскую солидарность американских рабочих, по-братски помогавших в те годы советскому хозяйственному строительству. В сборнике публикуется много документов, касающихся американских рабочих, приехавших в нашу страну, чтобы заняться созидательным трудом, американских тракторных отрядов в советских хозяйствах...

Всячески поддерживал Ленин непосредственные контакты с американскими деловыми людьми. Среди них одним из первых был Арманд Хаммер, сын доктора Юлиуса Хаммера, владельца крупной фирмы медикаментов и химических препаратов. Владимир Ильич одобрил ряд конкретных предложений Хаммеров, связанных с экономической помощью советской промышленности и сельскому хозяйству, и весной 1922 года писал по этому поводу: «Тут маленькая дорожка к американскому «деловому» миру, и надо всячески использовать эту дорожку». Ленин неустанно инструктировал советских дипломатов, разъясняя, что главная задача нашей внешней политики состоит в том, «чтобы иметь реальную гарантию действительного мира...» Весной 1918 года он пишет руководителям советской миссии в Германии В. Р. Менжинскому и А. А. Иоффе: «Если можно помочь тому, чтобы получить мир с Финляндией... и Турцией (в этом гвоздь), надо всегда и все для этого сделать... За ускорение такого мира я бы много дал».

Ленин непримиримо относился к малейшим попыткам ущемления интересов Советского государства, прикрытия дипломатическими формами всяческих антисоветских интриг и проносов. Когда 31 июля 1918 года английские империалисты начали интервенцию против нашей страны, заняв Онегу, Ленин предложил советским дипломатам решительно изменить характер переговоров с державами Антанты. «Проводить «прежнюю» политику неразрыва с Антантой после Онеги — смешно,— гневно писал он в Берлин А. А. Иоффе.— Нельзя же даму с ребеночком сделать опять невинной».

Осенью 1921 года небезызвестный Нуланс, бывший посол Франции в России и один из самых злобных врагов Советского государства, возглавил Международную комиссию помощи России по борьбе с голодом. Он потребовал, чтобы направляемое ею продовольствие распределялось среди голодающих только под наблюдением специально созданной комиссии экспертов. Ленин разгадал провокационный характер этого требования, имеющего своей подлинной целью направить в Советскую Россию, по его выражению, «комиссию шпиков под названием комиссии экспертов».

Исключительный, далеко не только исторический интерес представляют замечания и пометки, сделанные Лениным 14 марта 1922 года на письме наркома иностранных дел, посвященном принципиальным основам борьбы Советского государства за мир и дружбу между всеми народами, за их полное равноправие, независимость и ничем не ограниченный национальный суверенитет.

По мнению Чичерина, советская внешняя политика была призвана добиваться того, чтобы «негритянские, как и другие колониальные народы, участвовали на равной ноге с европейскими народами в конференциях и комиссиях и имели право не допускать вмешательства в свою внутреннюю жизнь». Ленин энергично, тремя и четырьмя чертами, подчеркивает слова, наиболее четко формулирующие идею равноправия колониальных народов с европейскими, недопустимость какого бы то ни было вмешательства в их внутренние дела, и на полях пишет: «Верно!»

В письме НКВД говорилось также о необходимости «установить принцип невмешательства международных конференций или конгрессов во внутренние дела отдельных народов» и противопоставлялось обанкротившейся империалистической политике непрошеного вмешательства «добровольное сотрудничество и содействие слабым со стороны сильных без подчинения первых воле вторых». Ленин подчеркивает чертой и эти слова, формулирующие принципы, которые и сейчас неизменно отстаивает советская делегация в Организации Объединенных Наций. Кстати сказать, идею именно такой организации советская дипломатия выдвигала еще в 1922 году — за четверть века до создания ООН. В том же письме отмечалось, что советская внешняя политика всячески поддержит «Всемирный Конгресс, с участием всех народов земного шара на почве полного равенства, на основе провозглашения права самоопределения... Конгресс будет иметь целью не принуждение меньшинства, а полное соглашение». Ленин подчеркивает двумя чертами последнее слово приведенного отрывка, а тремя чертами на полях и восклицанием «Правильно!» сопровождает такие строки: «...необходимо совершенно устранить элемент принуждения или карательных экспедиций и оставить за всемирным конгрессом только моральный авторитет, предоставляя ему быть ареной для выступлений с целью соглашения».

Как порадовал бы Ленина блестящий триумф советской внешней политики в наши дни!

Выдвинутая Н. С. Хрущевым на Ассамблее ООН программа разоружения, поразившая даже таких буржуазных идеологов и политиков, как Черчилль, представляет собой творческое развитие ленинских идей. Воплощение в жизнь ленинских заветов представляют собой новые решения Советского правительства о сокращении наших Вооруженных Сил на миллион двести тысяч человек. Сбылось гениальное предвидение Ленина, который еще в двадцатых годах говорил, что новые изобретения в области науки и техники «сделают оборону нашей страны такой мощной, что всякое нападение на нее станет невозможным». В сборнике впервые опубликованы письма Ленина, в которых он предлагает значительно сократить расходы на Военно-Морской Флот, с тем чтобы «повысить расходы на школы». Одновременно Ленин потребовал перевести военные заводы «на металлические изделия, необходимые крестьянству». И как в те годы, так и теперь, когда наша военно-экономическая мощь достигла небывалого уровня, мы всегда исходили из ленинского принципа мирного сосуществования, который Н. С. Хрущев развил в своем докладе на недавней сессии Верховного Совета СССР «Разоружение — путь к упрочению мира и обеспечению дружбы между народами».

## 2

Электрификация всей страны — основа основ развития народного хозяйства, определяющая темп и характер дальнейшего прогресса тяжелой индустрии, транспорта, сельского хозяйства, улучшения нашего быта, составная часть программы строительства коммунизма.

Материалы сборника снова и снова показывают, как Ленин неутомимо руководил разработкой знаменитого плана ГОЭЛРО — Государственной комиссии по электрификации России — и лично наблюдал за ходом строительства первенцев этого плана Волховской, Каширской и Шатурской электростанций.

В плане ГОЭЛРО Ленин видел именно «то, что партии и стране необходимо: деловой и в то же время ставящий широко и увлекательно план работы». Он подчеркивал, что любые планы хозяйственного строительства «без электрификации ничто». ГОЭЛРО он считал плановым органом, который на подлинно научной основе «объединяет электростроительство».

Глава Советского правительства лично контролировал строительство и особенно материально-техническое снабжение первых электростанций. «Ввиду чрезвычайной важности Шатурского строительства» он требовал «без всяких промедлений» решать вопросы о его насущных нуждах. Малому Совету Народных Комиссаров он поручил «проверить исполнение» всех правительственных распоряжений по Кашир-

ской станции, напоминал, что необходимо «обязательно» кончить Каширу в 1921 г. Эту электростанцию он считал «для нас архиважной» и обязывал советских работников добиваться выполнения ее заказов «без малейшей проволочки», помогать ей всячески.

Сообщив Народному комиссариату внешней торговли о задержке с заказом турбин для Волховского строительства, Ленин предложил немедленно — в тот же день, 26 января 1922 года, — выяснить и окончательно разрешить этот вопрос, с тем «чтобы в дальнейшем не происходило ни малейших задержек с этим возмущительно долго затянувшимся делом».

Котлы для Шатуры, импортное оборудование для Каширы, турбины для Волхова... Все это было для Ленина предметом внимания и заботы. Именно тогда зарождались грандиозные планы партии, по которым мы ныне, за одно лишь текущее семилетие, вводим почти столько же мощностей, сколько их нарастили за всю свою историю Англия, Франция и Западная Германия, взятые вместе. Недаром с таким подъемом и воодушевлением Н. С. Хрущев говорил недавно, что «великие идеи Ленина, его гениальный план электрификации страны, план строительства коммунизма живут и будут жить, вдохновляя нашу партию, наш народ на новые героические подвиги во имя достижения нашей конечной цели!»

### 3

Содержит сборник и ряд документов, характеризующих роль Ленина в строительстве советской культуры.

«...Пролетарская культура = коммунизм», — писал Ленин 11 октября 1920 года, в период подготовки известного письма Центрального Комитета партии «О пролеткультуре» — одного из важнейших партийных документов по вопросам культуры и искусства, сжато сформулировавшего важнейший принцип ленинизма — принцип коммунистической идейности и партийности советской культуры.

Строительство советской культуры Ленин неразрывно связывал со всем передовым в культурном наследии. Идеями предшественниками русских коммунистов Ленин считал революционных демократов. Эпоха, во времена которой они действовали, не дала им возможности стать последователями научного социализма — марксизма. Но они, особенно Белинский и Чернышевский, вплотную подошли к нему. Недаром Ленин так глубоко чтит память Чернышевского, так многому у него учился.

26 октября 1920 года Совет Народных Комиссаров принял по предложению Ленина постановление о персональной пенсии сыну Чернышевского — Михаилу Николаевичу, посвятившему всю жизнь популяризации литературных трудов своего великого отца, и о ремонте музея Н. Г. Чернышевского в Саратове. Вот выдержка из этого ленинского декрета, принятого в суровые дни нужды и разрухи, порожденной уже шестилетней к тому времени войной, в которую втянули нашу Родину отечественные и зарубежные империалисты:

«1. Назначить сыну Николая Гавриловича Чернышевского Михаилу Николаевичу Чернышевскому пожизненную пенсию в размере 20 000 р. в месяц и три продовольственных пайка в размере красноармейских тыловых.

2. Предложить Саратовскому губисполкому произвести срочный ремонт дома Чернышевского, в коем помещается музей имени Н. Г. Чернышевского и квартира его сына, М. Н. Чернышевского, и принять меры к охране его и поддержанию в полной исправности».

Ленин высоко ценил все передовое в историческом прошлом. Но жил он всегда настоящим, и гений его был устремлен в будущее. В сборник вошло множество документов, запечатлевших ленинские предвидения.

Весна 1918 года. Немецкие оккупанты уже в Одессе, Чернигове, Николаеве, Херсоне, Кременчуге, Полтаве, Кривом Роге, Екатеринославе, Харькове, Белгороде, Льгове, Мелитополе, Валуйках... Японские и английские интервенты высадились во Владивостоке. Финские белогвардейцы совместно с германскими оккупантами захватывают Гельсингфорс. Многие в панике. А Ленин разрабатывает план статьи об очередных



задачах Советской власти. Он пишет, что ближайшая цель нашего народа «6 час. физической работы + 4 час. управления государством», — то есть общественной и культурной деятельности, учебы, всего того, чему должны посвящать свой досуг советские люди. Тогда же Ленин в качестве ведущего лозунга партии провозгласил переход «от агитатора к организатору» как одно из решающих требований к выдвижению руководящих партийно-советских кадров.

«Двигать вперед организатора», — призвал Ленин и заявил, что советские люди призваны «черпать обеими руками хорошее из-за границы». К тому в зарубежном опыте, что представляет первостепенное значение для социалистического строительства в нашей стране, Ленин тогда отнес одно из важнейших слагаемых: «американская техника и организация трестов».

К числу ленинских произведений, устремленных в будущее, на долгие годы складывающих путь советским людям, относятся известные «Тезисы о производственной пропаганде», содержащие обширную и сегодня еще не осуществленную полностью программу экономического просвещения трудящихся, широчайшей пропаганды передового производственного опыта.

В ноябре 1920 года Ленин закончил черновой набросок «Тезисов». В сборнике опубликованы предварительные планы этой работы. В ряде из них Владимир Ильич предполагал поставить на службу производственной пропаганде не только книги, брошюры, листовки, но и театр, кинофильмы, диаграммы и картограммы в библиотеках, клубах, на улицах, граммофонные пластинки...

Тогда же Ленин наметил и те реформы среднего образования, которые ныне, применительно к новым условиям, осуществляются в нашей стране. Еще в декабре 1920 года Ленин считал в принципе необходимым слияние школ второй ступени с профессионально-техническим образованием при соблюдении двух неперемennых условий:

«1. обязательное расширение в проф. техн. школах предметов общего образования и коммунизма;

2. обеспечение тотчас и на деле перехода к политехническому образованию, используя для этого всякую электрическую станцию и всякий подходящий завод».

Широко известно, какое огромное значение придавал Ленин развитию советской кинематографии. Интересно отметить, что, судя по материалам сборника, Ленин еще в 1921 году поддерживал планы совместной работы советских и зарубежных кинематографистов, опять-таки столь успешно осуществляемые в наши дни. 5 декабря 1921 года Ленин обратился с письмом в ВСНХ и народные комиссариаты финансов, внешней торговли и просвещения, в котором сообщалось:

«В Москву приехал уполномоченный итальянской кинематографической фирмы Чито-Чинема, коммунист т. Кароти, с которым наше итальянское представительство вело предварительные переговоры относительно концессии на съемку и покупку фильмов в России и эксплуатацию этих фильмов в Италии...

По сообщению уполномоченного НКВТ в Италии — фирма Чито-Чинема является солидным итальянским кинематографическим предприятием, которое финансируется Итальянским учетным банком и о котором должна быть справка в Финансово-счетовом управлении Наркомвнешторга. Дело это я считаю чрезвычайно важным и срочным».

Переговоры с итальянской кинематографической фирмой не увенчались тогда успехом, но показательно уже само ленинское внимание к этому делу, настойчивое стремление Владимира Ильича двинуть вперед советское киноискусство.

Дополняет новыми документами сборник и тему «Ленин и Горький». Летом 1921 года Ленин сообщает тогдашнему заместителю народного комиссара земледелия И. А. Теодоровичу, что от Горького поступил проект «Комиссии помощи голодающим», принятый и одобренный вскоре Политическим бюро Центрального Комитета партии. «Мне лично кажется, что можно соединить наш и горьковский проект», — заметил в этой связи Владимир Ильич.

Ленин отечески заботился о здоровье Горького, его материальном положении. 12 декабря 1921 года он писал членам Политбюро: «...Горький выехал из Рнги совсем без денег и строит свои перспективы на получении от Стомякова авторского гоно-

рара за издание своих книг... необходимо включить Горького в число товарищей, лечащихся за границей за счет партии или Совета. Предлагаю провести через Политбюро предложение... включить Горького в число таких товарищей и проверить, чтоб он был вполне обеспечен необходимой для лечения суммой». 21 декабря 1921 года Политбюро утвердило предложение Владимира Ильича, на много лет продлившее жизнь тяжело больному писателю.

Поучительны указания Ленина советской печати. Великий организатор и редактор коммунистической прессы направлял ее деятельность, критиковал ошибки, поддерживал удачные, яркие выступления. Ленин хотел, чтобы газеты стали трибуной передового хозяйственного опыта. 30 мая 1918 года он направляет в редакцию «Известий» представителю Елецкого Совета и пишет в записке: «Очень прошу поместить в газете интервью с ними. Образцовый уезд по порядку, учету культурных имений и хозяйству в них...» 20 декабря 1920 года в связи с созывом очередного пленума Центрального Комитета партии Ленин предлагает обязать редакции «Известий» и «Правды» «превратиться более в производственные, чем в политические органы и учить тому же все газеты РСФСР», а из «Бедноты» создать «производственную газету с обязательным конкретным материалом и с задачей сблизить крестьян с рабочими и земледелие с промышленностью».

Резко и сурово осуждал Ленин непроизводительные издательские расходы, всяческие полиграфические излишества. Когда управление фабрики Гознак помпезно издало брошюру «К вопросу о постройке государственной фабрики особого назначения», Ленин предложил «отдать за эту трату роскошной бумаги и типографских средств под суд, прогнать со службы и арестовать кого следует».

## 4

Документы Ленинского сборника учат большевистской чуткости и требовательности к партийным кадрам.

Зимой 1917 года Ленин в связи с необоснованными личными обвинениями по адресу старого большевика Я. С. Ганецкого пишет: «Недостойно рабочей партии руководиться такой податливостью сплетне. Если поддающиеся сплетне товарищи «взволнованы», «обеспокоены», отчего бы не потрудиться немного? Не лучше ли потрудиться найти истину, чем повторять сплетню?»

Немало искусственно созданных и искусственно раздутых «персональных дел», нередко так осложнявших жизнь и труд активных и полезных работников, не могло бы возникнуть, если бы все партийные организации всегда руководствовались этими мудрыми ленинскими указаниями. Ленинская человечность не имела решительно ничего общего с интеллигентской мягкотелостью. Ленин всегда трезво оценивал людей, видел их личные слабости и недостатки, учитывал их в практической работе.

Весной 1919 года комиссар продовольствия Петроградской трудовой коммуны А. Е. Бадаев подал в отставку, усмотрев личные «происки» против него в требовании строго исполнять все распоряжения Совета Народных Комиссаров. Ленин адресовал «Бадаичу» такую записку: «Не капризничайте — Вы не барышня... Работайте, отставку не принимаем. Вперед исполняйте все распоряжения центра и не говорите неприличного вздора о «происках». Когда один из ответственных работников пожаловался Ленину на то, что его перебрасывают с одной работы на другую, Владимир Ильич, прочитав его «глубоко взволнованное письмо», заявил, что так писать можно «только в состоянии большого нервного раздражения и переутомления». Разъясняя автору письма всю его неправоту, Ленин писал: «Как же объяснить дело? Тем, что Вас бросала судьба. Я это видел на многих рабочих. Пример — Сталин. Уж конечно, он-то бы за себя постоял. Но «судьба» не дала ему ни разу за три с половиной года быть ни наркомом РКри, ни наркомом национальностей. Это факт».

Ленин одновременно и пристыдил не в меру разволновавшегося товарища и разъяснил ему партийную целесообразность его многократных перемещений, вызванных тем, что партии «архинужны опытные, старые, испытанные работники».

Ленин делал все, что только зависело от его огромного морально-политического

авторитета, чтобы вернуть колеблющихся или заблуждающихся на правильный партийный путь. Он, однако, был идейно непримирим ко всем тем, кто упорствовал в своих ошибках, не хотел прислушаться к партийной критике и таким образом все дальше отходил от партии.

Характерно в этом смысле письмо Ю. Лутовинову — одному из лидеров так называемой «рабочей оппозиции», пытавшейся навязать партии свою анархо-синдикалистскую программу, отрицавшую партийное руководство хозяйственным строительством и по-махаевски, высокомерно третировавшую интеллигенцию. Письмо это написано 30 мая 1921 года, почти сорок лет тому назад, но оно кажется написанным в наши дни — столько в нем замечаний и высказываний, поучительных для всех, кто оказался зараженным ревизионизмом.

В ревизионистском «настроении» недовольства Ленин сначала усматривал «нечто почти 'слепое, бессознательное, непродуманное». Он выждал, но и в новом письме Лутовинова не нашел «ни ясности, ни точности, а опять только темное настроение и в придачу «сильные слова» — эту отличительную особенность лексики и фразеологии всех ревизионистов прошлого и настоящего. В ответ на крикливые обвинения, содержащиеся в этом письме и основанные не на фактах, а на «убежденности» автора, Ленин предостерегает: «Если люди составляют себе «убеждения» раньше проверки фактов, кои не трудно проверить, то как это называется?»

Письмо Лутовинова, по ленинской оценке, — это «человеческий документ», показывающий, как один из «основоположников оппозиции» — так аттестовал себя сам Лутовинов! — «дает себя увлечь желанию во что бы то ни стало играть в оппозицию и кричать, ни к селу ни к городу, о протекционизме, о комиссарившихся, о системе и проч.»

В авторе письма Ленин видел персонифицированный «образец размагниченной мелкобуржуазной интеллигенции». Вот как характеризует Ленин этот социальный тип: «Размагниченный мелкобуржуазный интеллигент хныкает, плачется, теряется перед любым проявлением безобразия и зла, лишается самообладания, повторяет любую сплетню, пыжится говорить нечто несвязное о «системе».

Именно этих, как известно, и занимались всевозможные новоявленные ревизионисты.

## 5

Десятки документов, впервые опубликованных на страницах сборника, носят автобиографический характер и непосредственно раскрывают те или иные стороны многогранной ленинской личности.

Осенью 1919 года французский писатель-коммунист Анри Гильбо поделился с Лениным замыслом написать небольшую работу на тему: руководители большевистской революции и строители Российской Советской республики. По плану автора, работа эта должна была «содержать ряд образов людей, деятельность которых проявилась как в революции, так и в деле советского строительства». Ленин отчеркнул приведенный текст двумя чертами на полях и написал на них: «Не стоит о л и н и х».

Со страниц сборника до нас доносится живое слово Владимира Ильича. Вот он просит М. Ф. Андрееву передать Горькому, обеспокоенному арестами «около-кадетской публики», что это делается для предупреждения заговоров. «Лучше, чтобы десятки и сотни интеллигентов посидели деньги и недельки, — пишет Ленин, — чем чтобы 10 000 было перебито. Ей-ей, лучше».

Вот 12 июля 1921 года на заседании Политбюро Ленин отвечает на возражения Н. А. Семашко против создания Всероссийского комитета помощи голодающим, в который вошло немало буржуазных политических деятелей и в их числе Кусков. Семашко опасался, что комитет Кусковой заберет средства, предназначенные для голодающих американскими квакерами. Ленин успокаивает его: «Милая моя Семашко! Не капризничай, душечка! Квакеров оставим за Вами, только за Вами. Не ревните к Кусковой».

Широта, смелость, а порой и неожиданность литературных ассоциаций, ссылок, сравнений, параллелей, уподоблений — такова еще одна особенность ленинского публицистического и ораторского стиля.

Самая последняя строка, завершающая сборник, призывает руководителей партии — членов ее Центрального Комитета — к всемерному укреплению связей с массами. Этот документ был продиктован уже тяжело больным Лениным 13 января 1923 года, за год до кончины. Перед нами как бы политическое завещание Владимира Ильича, верность которому снова и снова доказывает в наши дни ленинский Центральный Комитет.

Документы деятельности великого Ленина — партийной, государственной, военной, научной, публицистической, ораторской, редакторской — многому учат всех нас без исключения — от беспартийных большевиков, рядовых коммунистов до партийных руководителей.

— Равняться на Ленина не всякий может, но всякий должен, — метко сказал А. В. Луначарский.

Материалы XXXVI Ленинского сборника действительно помогают держать это равнение на Ленина.



---

---

А. МАРКИН

★

## СЛОВО БЕРЕТ ЭНЕРГЕТИКА

### МЕЧТА ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТРАНЕ

**Р**абота Всесоюзного совещания по энергетическому строительству уже близилась к концу. В перерыве у макетов новых электростанций я встретил знакомого инженера. Этот совершенно седой человек был одним из пионеров создания советской энергетики. Я спросил о впечатлении.

Он отвел меня в сторону и не сразу, взволнованно заговорил:

— Вы знаете, я был свидетелем и участником многих крупных событий в нашей энергетике. Но теперь я сижу в этом Колонном зале, смотрю эту выставку нового энергостроительства, и мне трудно осознать все, что произошло. Мечты, которые казались страшно далекими, теперь входят в жизнь. Я слушаю, смотрю, и мне кажется, что тень великого Ленина витает над нашими делами...

В декабре текущего года мы будем отмечать сорокалетие плана ГОЭЛРО. Мало, очень мало осталось живых участников Восьмого Всероссийского съезда Советов. Теперь, когда они бывают в ослепительно освещенном зале Большого театра, оглядывают золото и пурпурный бархат ярусом с нарядно одетой публикой, они невольно вспоминают этот зал в зиму 1920 года... Тогда, 22 декабря, сюда пришли красноармейцы с близких фронтов, рабочие с Путиловского и Гужона, крестьяне. В солдатских шинелях, овчинах, плохоньких пальтишках сидели они в темном холодном зале, а их лица были обращены к сцене. Под гром аплодисментов и приветственных возгласов к трибуне быстро прошел Ленин.

Докладывая съезду о деятельности Совнаркома, Владимир Ильич поднял перед собой план ГОЭЛРО и сказал:

— На мой взгляд, это — наша вторая программа партии... Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны... Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно.

Рожденный в суровых условиях хозяйственной разрухи, в огне революционной борьбы, план ГОЭЛРО был любимым детищем Ильича, Коммунистической партии, всего советского народа. Этот план не теряет своего значения и теперь, ибо основные его положения являются живыми истоками коммунистического строительства, а проблемы, поставленные в нем, перекликаются с современностью.

Но были тогда люди, которые считали план ГОЭЛРО фантазией. Разве может вконец разоренная, голодная и холодная, наполовину тифозная, зажатая клещами блокады страна построить за десять—пятнадцать лет тридцать крупных электростанций, сделать прыжок от полумиллиарда до почти девяти миллиардов киловатт-часов электроэнергии?

Колонный зал Дома союзов — немой свидетель многих событий, но одно из них остается малоизвестным.

В 1920 году Г. М. Кржижановский выступил здесь с докладом о плане электрификации. Это было незадолго до открытия исторического Восьмого съезда Советов. Глеб Максимилианович стоял на трибуне в пальто и смотрел на бледные, измученные лица

людей, собравшихся в полутемном зале с роскошными колоннами и люстрами. В середине доклада кто-то с места прокричал высоким голосом:

— Что он говорит! На улицах Москвы валяются дохлые лошади, люди умирают от голода и тифа, а он рисует нам картины того, что будет через пятнадцать лет. Инженер, как барон Мюнхаузен, силится поднять самого себя за волосы!

С тех пор прошло сорок лет.

Ленинские вдохновенные планы об «электрической стране» прошли самую строгую проверку временем. Мы зорко всматриваемся в будущее.

В 1920 году в первом плане великих работ мы рвались на крыльях мечты к электробалансу почти в девять миллиардов киловатт-часов. Теперь стране мало сотен миллиардов, и в своих перспективных расчетах энергетики делают ставку на тысячи миллиардов киловатт-часов. Ленинская идея об «электрических центрах и кругах», охватывающих всю страну, воплощается в жизнь. Пройдут годы, и единая энергетическая система перекроет все гигантские просторы нашей Родины. Это будет могучее единство тысяч электростанций.

Мириады огней озаряют теперь нашу страну. Сотни крупных электроцентралей, тысячи и тысячи километров линий электропередач высокого напряжения, электрифицированная промышленность, растущая электрификация сельского хозяйства, транспорта, быта — все это овеществленная сила идей Ленина и созданной им партии.

И нельзя лучше сказать о великих итогах борьбы советского народа за электрификацию страны, чем это сделал Никита Сергеевич Хрущев на совещании энергетиков:

— Если бы Владимир Ильич Ленин мог посмотреть то, что сделал народ, какие творит чудеса, преобразуя свою свободную страну, он снял бы кепку и низко поклонился!

Мы долго аплодировали этим словам. Никита Сергеевич ярко выражал нашу гордость, наши думы. Ведь то, чем жил Ленин, что он планировал, о чем он мечтал, сейчас наш народ, партия успешно претворяют в жизнь.

### ВЕЛИКАЯ ФОРМУЛА

Глубокая сущность электрификации была охвачена гениальным умом В. И. Ленина и завещана нам в чеканной формуле: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

К сожалению, наши философы, социологи, публицисты не раскрыли еще полностью весь смысл этого ленинского завета. После речи Никиты Сергеевича 28 ноября 1959 года многие инженеры говорили мне, что до них впервые дошла и стала ясной эта формула.

— Чем замечательна эта формула Ленина? — говорил Н. С. Хрущев на совещании по энергетическому строительству. — Прежде всего тем, что она дает конкретное, живое представление о задачах строительства коммунизма, она выводит понимание коммунизма из области кабинетных размышлений и ставит на реальную почву, переводит общее теоретическое положение на язык практических действий миллионов людей, строящих новую жизнь. Иной раз некоторые теоретики умеют давать общие формулы, но как их претворить в жизнь, сделать так, чтобы эти формулы наполнились жизненным содержанием и стали руководством к действию, — этого они часто делать не умеют.

Величие Ленина состоит именно в том, что он гениально сочетал теорию с практикой, развивал теорию, обобщая новые явления в жизни, умел подметить главные тенденции в развитии общества и вооружал партию и рабочий класс ясной программой строительства коммунистического общества. Гениальность ленинской формулы в том, что она дает в неразрывном единстве политическую (Советская власть) и экономическую (электрификация всей страны) стороны строительства коммунизма. Как ленински просто и ясно: Советская власть плюс электрификация!..

И все сидящие в зале, вся эта испытанная в жестоких боях за энергетику гвардия подавалась вперед, к трибуне, когда Никита Сергеевич сказал:

— Товарищи! Проблемы электрификации, строительства мощных энергетических систем, проблемы создания материально-технической базы коммунизма должны быть главными в программе нашей партии.

Эти слова мы, молодые и старые энергетики, приняли с шумным восторгом. Это значит, что каждый коммунист, каждый вступающий в Коммунистическую партию должен знать основы ленинской электрификации, бороться за ее осуществление и пропагандировать ее среди народа. Трудно даже представить себе колоссальный эффект такого массового движения за электрификацию страны.

### ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ?

Этот вопрос возник сам собой. Несколько энергетиков собрались в Академии наук. Через большие окна был виден оживленный Ленинский проспект и расцветенный огнями Нескучный сад.

У нас не было председателя, и мы говорили без протокола, делясь мыслями о семилетнем плане и будущем советской энергетики. Каждый хотел осмыслить значение, масштабы и направление предстоящих великих работ. Речь зашла о том, сколько нужно будет производить различной продукции на душу населения в будущем. Каковы в связи с этим перспективы производства энергии?

С первого взгляда все будто просто: пусть будет у нас всего как можно больше. Потребности уже сейчас огромные, и не снижаться им, а расти да расти. Недаром Маркс видел важнейшее отличие человека от животных в том, что человек обладает свойством неограниченного расширения своих потребностей. Это найдет свое яркое выражение в коммунистическом обществе, где расширению запросов и их удовлетворению будет соответствовать огромное поле труда во всем возможном его разнообразии и многогранности, а также невиданное ускорение производственных процессов. Все это, конечно, так, но мысли ученого и инженера должны уже сегодня работать не только на завтра, на семилетку, а и на более отдаленное грядущее.

В те годы, когда по производству продукции на душу населения мы оставим позади все без исключения капиталистические страны, встанет вопрос о пропорциях дальнейшего развития отраслей экономики. Значит, уже теперь надо серьезно думать о том, каким именно из них необходимо обеспечить наибольшие темпы роста. Глубокому научному изучению нужно подвергнуть размеры и, главное, характер потребления.

Когда речь идет о насыщении страны продуктами питания, жилищами, одеждой, промышленными товарами, мы можем себе ясно представить будущие нормы потребления: они исходят из разумной потребности человека в том или ином предмете. Но есть продукт, потребление которого у нас никогда не будет иметь предела насыщения.

Это — энергия.

Непрерывное развитие экономики и культуры, грандиозные проблемы дальнейшего преобразования природы будут всегда требовать все большего и большего количества энергии. Уже теперь масштабы ее потребления колоссальны. Чтобы выпустить всю массу продукции, произведенную у нас в одном лишь 1959 году, не обладая при этом современной энергетикой, нужно было бы в десятки раз увеличить трудоспособное население нашей страны.

От степени энергетической вооруженности зависят решающие достижения технического прогресса.

Русский адмирал Макаров некогда лелеял мысль об активных методах борьбы со льдами посредством специального судна. «Простой взгляд на карту России показывает, — писал Макаров, — что она своим главным фасадом выходит на Ледовитый океан. Мощный ледокол откроет дверь в этом главном фасаде, он снимет ледяные ставни с окна, которое Петр I прорубил в Европу...» В наши дни вступил в строй первый в истории человечества атомоледоход «Ленин».

Во многих случаях электрический ток выступает как самый революционный, самый совершенный вид энергии.

В настоящее время тепловые электростанции дают стране почти восемьдесят процентов электроэнергии и более девяноста процентов централизованного теплоснабжения. Сооружение их требует значительно меньше средств и времени по сравнению с гидроэлектрическими. В течение семилетия намечено расширить и построить вновь около двухсот тридцати мощных тепловых электростанций. Кроме того, идет проектирование и строительство атомных электростанций.

В будущем значение тепловых электростанций будет все время повышаться, а гидроэлектростанций — снижаться. Это видно из расчета, который мы сделали. Через сорок лет, то есть в 2000 году, выработка электроэнергии у нас достигнет, вероятно, 10 000 миллиардов киловатт-часов. К этому времени будут выбраны и построены каскады самых экономичных гидроэлектростанций в Европейской и Азиатской частях страны. Все они могут дать не более пятисот миллиардов киловатт-часов электроэнергии, заняв в общем электробалансе около пяти процентов. Впрочем, на пути такого бурного роста гидроэнергетики могут встретиться серьезные препятствия со стороны сельского и лесного хозяйства, которые будут терпеть большой ущерб от чрезмерных затоплений земель.

Таким образом, сейчас, как на это неоднократно указывал Н. С. Хрущев, самым важным и неотложным является более широкий фронт строительства мощных дешевых тепловых электростанций и обеспечение их топливной базой. Спор между гидроэнергетиками и теплоэнергетиками о «месте под солнцем» становится бессмысленным в свете этой большой перспективы.

У нас возводится много крупных тепловых станций. Строятся Томь-Усинская ГРЭС мощностью в миллион триста тысяч киловатт, Назаровская — миллион четыреста тысяч киловатт. В Донбассе сооружается Старо-Бешевская ГРЭС на полтора миллиона киловатт. Крупные тепловые электростанции строятся на Урале, в Прибалтике, Приднепровье, Закавказье и других районах. Особое значение приобретает создание открытых ГРЭС — без крыш и стен. Уже начато сооружение такой станции в Азербайджане, запроектировано строительство Невинномысской и Тбилисской. Всего за семилетие намечается возвести пятнадцать тепловых электростанций открытого и полукрытого типа. Выгодность сооружений подобных предприятий очевидна: отпадает нужда в колоссальных зданиях, в тысячах тонн металла, бетона и других материалов.

Колоссальная роль тепловых электростанций в жизни нашей страны очень часто недооценивается. Если сооружается гидроэлектростанция, к этому привлекается внимание всего народа. Обеспечение стройки материалами, оборудованием и многим другим идет в первую очередь. Строительство гидроэлектростанции еще не завершено, а прозаическая и поэтическая литература о ней уже может составить целую библиотеку. Воспеваются труд гидростроителей, красоты нового водохранилища — искусственного моря, его размеры, поражающие воображение поэта, и прочее. Некоторые газеты и сейчас, после решений партии о преимущественном строительстве тепловых электростанций, предпочитают отводить гидроэлектростанциям главное место.

А между тем теплоэнергетика уже в ближайшие годы приобретает грандиозные масштабы, она выходит на просторы восточных районов со сказочными запасами топлива. Строительство гигантов ставится на поток. Множество экономических и технических проблем, человеческих судеб, примеров трудового героизма связывается с теплоэнергетикой. Какое здесь широкое поле деятельности для литератора!

Какими же будут новые тепловые электростанции?

Энергетическая техника теперь в состоянии создавать централи от шестисот тысяч до двух миллионов четырехсот тысяч киловатт. И это не является пределом, так как у нас есть где разместить эти гиганты новой энергетики — у богатейших кладов топлива, вблизи полноводных рек. Ведь электростанция мощностью в 2,4 миллиона киловатт поглощает ежедневно почти двадцать железнодорожных составов топлива и требует для охлаждения конденсаторов и других целей пять—семь таких потоков воды, как Москва-река.



Базой нашей электрификации является энергомашиностроение. Ведется подготовка для серийного выпуска в ближайшие годы паровых турбин в двести, триста и шестьсот тысяч киловатт. Научно обоснована возможность изготовления турбины в один миллион киловатт. Два Днепрогэса в одной компактной машине!

Мы уже отмечали, что подъем теплоэнергетики вовсе не означает прекращения строительства экономичных гидроэлектростанций. Ближайший период времени будет ознаменован пуском в действие серии мировых гигантов. Уже сооружена на полную мощность в 2,3 миллиона киловатт Волжская ГЭС имени Ленина — самая крупная в мире. Однако скоро ей придется уступить это первенство. В 1960 году войдет в строй Сталинградская ГЭС, мощность которой свыше 2,5 миллиона киловатт. А из Падунского каньона на Ангаре поднимается уже новый сибирский колосс — Братская ГЭС мощностью в 4,5 миллиона киловатт. И еще больше — пять миллионов киловатт, — такую силу обретет Красноярская ГЭС, строящаяся на Енисее. Могли ли мы думать, когда с гордостью зажигали в 1926 году огни первой Волховской гидроэлектростанции, что настанет время строительства ГЭС, в восемьдесят раз более мощной!

Уже намечается сооружение и других крупных гидроэлектростанций, таких, как Усть-Илимская на Ангаре, Нурекская на Вахше, Енисейская (шесть миллионов киловатт!). Все эти гидроэлектростанции будут производить очень дешевую электроэнергию. Достаточно сказать, что, например, стоимость двадцати киловатт-часов Братской или Красноярской ГЭС будет равна стоимости коробки спичек. А ведь один киловатт-час способен заменить дневную физическую работу одного человека.

О масштабах предстоящего строительства можно судить по объему земляных, бетонных и других работ: они будут равны двенадцати Панамским каналам!

В 1965 году наши электростанции должны выработать пятьсот — пятьсот двадцать миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Это четвертая часть мирового производства. За семилетие добавится около шестидесяти миллионов киловатт новой электрической мощности — больше, чем было введено за все годы существования Советского государства.

За пределами семилетия энергетика пойдет еще более широкими шагами. Для удовлетворения потребностей страны и обеспечения опережающих темпов развития энергетики необходимо достичь производства электроэнергии в 1970 году 900 миллиардов киловатт-часов, в 1975 году — около 1500 миллиардов киловатт-часов, а в 1980 году — около 2300 миллиардов киловатт-часов. За пятнадцать — двадцать лет надо увеличить мощность электростанций примерно в семь-восемь раз.

В борьбе за ускорение и расширение масштабов энергетического строительства решающее значение будут иметь индустриальные методы сооружений. 1960 год должен стать переломным в переходе на типовые, унифицированные проекты в сборном железобетоне, в ускорении строительства производственных баз, в переводе строительства на полную комплексную механизацию и широкое внедрение автоматизации.

На строительной площадке электростанция не строится, а монтируется, собирается из готовых железобетонных блоков, которые доставляются на площадку с ближайшей производственной базы. В огромном объеме энергостроители в принципе повторяют работу детского «конструктора». И наши ребята, наблюдая монтаж современного энергетического предприятия, вероятно, пришли бы в великий восторг, что взрослые делают это так понятно и просто.

Можно сказать, что главная задача технического прогресса в промышленности заключается в том, чтобы все технологические процессы сделать электротехнологическими. Мы видим, как победно шествуют электролиз, электротермия, электрометаллургия, электросварка, высокочастотная и ультразвуковая обработка металла. Новая техника требует очень электроемких материалов — коррозионноустойчивых и жаропрочных металлов, легких сплавов, полупроводниковых, ферромагнитных. Или возьмем транспорт. Уже к концу семилетки электрифицированный транспорт потребует свыше сорока миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Гигантскому развитию строительства в семилетии нужна мощная электроэнергетическая база. Почти все современные строительные машины работают на электроприводе. Строительством потребляется более пятидесяти тысяч киловатт-часов на каж-

дый миллион рублей годовых капиталовложений. Эта цифра будет расти в связи с дальнейшей механизацией строительных работ.

Электрификация быта превращается сейчас в важную проблему — ведь домашнее хозяйство отнимает у людей много времени. Огромные требования предъявляет к энергетике рост культуры. Чтобы обеспечить в 1965 году энергией одно только телевидение, необходима работа такой ГЭС, как, скажем, Сталинградская.

### ФРОНТ АВТОМАТИЗАЦИИ

Группа ученых и инженеров ехала в Иркутск. Транссибирский экспресс, миновав Свердловск, много часов мчал нас по великой Западно-Сибирской низменности. Степь, плоская, как стол, уходила куда-то далеко за горизонт.

Утром, когда в вагонном окне вновь встала в солнечных лучах золотая долина без конца и края, кто-то сказал, что будущее этих земель для него неясно. Тогда встал со своего места Александр Васильевич Винтер, сутулясь подошел к окну и еще шире раздвинул занавески.

— Можно не сомневаться, — сказал он, — что в будущем к полевым машинам электрический ток будет подаваться без проводов, а управляться они будут на расстоянии. Представьте себе армаду автоматов, которая широким фронтом со скоростью в десятки километров в час движется по этой равнине. Они пашут, сеют и убирают хлеб. А где-то вдаль, у пультов, сидят «хлеборобы» и управляют ими. Сколько может дать эта земля, я не считал, но думаю, что ее продуктов хватит, чтобы прокормить целые народы. Здесь рождается одна из величайших житниц в мире!

— Ну вот, и я уже вижу, как ожил скучный степной великан, приняв на свою грудь эти замечательные машины, — откликнулся, улыбаясь, академик В. М. Родноюз и пожал локоть Винтера.

И все мы разом заговорили — химики, металлурги, электронники, — стали дополнять, картину, нарисованную нашим выдающимся энергетиком.

Долго, очень долго шло человечество к автоматам. Биография их знает много ярких дерзаний, смелых гипотез.

Современная машина, как известно, состоит из трех механизмов: двигательного, который преобразует один вид энергии в другой, удобный для использования; передаточного, передающего движение; рабочего, или исполнительного, с помощью которого человек изменяет форму, свойства, состояние предмета труда.

Карл Маркс считал, что революция в XVIII веке исходила от исполнительного механизма. Она была исходным пунктом переворотов во всех случаях, когда ремесленное или мануфактурное производство превращалось в машинное.

Механический двигатель дисквалифицировал человека как источник механической энергии. Автомат перехватил из его рук исполнительный механизм. Но это лишь пролог грядущих революций. История переоценивает роли. Вместо исполнительного механизма ведущее значение получает двигательный механизм. Его величество пар в XVIII столетии все перевернул вверх дном (Маркс).

Но шли годы, и уже с середины прошлого века все решительнее входит в жизнь человека электричество. Основоположники научного марксизма предвидели, что могучая сила, которая идет на смену пару, принесет с собой революцию во всех сторонах жизни людей. А буржуазные энергетика были зачарованы. Они утверждали, что пар недостоин развязать и ремни обуви у этого вновь надвигающегося колосса, и даже не подозревали о социальном действии электричества, этого, по выражению В. Либкнехта, «современного троянского коня, которого буржуазное общество в самоубийственном ослеплении, как некогда троянцы и троянки, ликуя, вводило в свой Илион и который нес ему с собой верную гибель».

В. И. Ленин еще в дореволюционные годы исчерпывающе точно определил роль электрификации в техническом прогрессе.

Электрификация как бы замыкает круг полезных преобразований энергии. Она ведет лобовую атаку на все основные части машины. Присмотритесь внимательно к тому, как электроэнергетика овладевает царством машин. Сначала она завоевала отправную,

силую, часть машинного механизма. Центральное место в производстве энергии занимают теперь турбо- и гидрогенераторы. Затем в передаточном механизме механический привод был заменен электрическим. Наконец, электричество повело прямое наступление на конструкции машин, вторгаясь уже в исполнительный механизм. Электромоторы врастают в тело машины. Статор и ротор перестают быть только двигательным механизмом, они уже срачиваются с рабочими частями машины, входят в них.

Значение электрификации быстро повышается в связи с задачами широкой комплексной механизации и созданием новых автоматических линий и заводов-автоматов. Электрификация позволяет создать тот тип машины, который Маркс характеризовал так: когда рабочая машина выполняет все движения, необходимые для обработки сырого материала, без содействия человека и нуждается лишь в контроле со стороны рабочего, мы имеем перед собой автоматическую систему машин.

Для производства ныне настали другие времена. Мы вводим небывалые раньше механические скорости, высокие и сверхвысокие давления, напряжения и температуры. В этих условиях человек физически не в состоянии управлять технологическими операциями без автоматики и телемеханики. Пользуясь ими, рабочий настраивает систему, пускает ее в ход и наблюдает за тем, чтобы она действовала бесперебойно. Работа оператора сводится к нажатию кнопок или перемещению легких рукояток, производящих переключения во вспомогательных электрических цепях управления. Новая электронная техника позволяет использовать тепловые и световые эффекты для контроля и управления производством.

Человек теперь может на расстоянии управлять агрегатами любой мощности. Широко автоматизируются и телемеханизируются и электростанции. Впереди — исполнение заветной мечты энергетиков: полная автоматизация использования природных энергетических ресурсов.

Каждый киловатт мощности длительное время заменяет физическую работу двадцати, а в совершенных автоматах — сорока человек. Счетная электронная машина выполняет математические операции, требующие затраты умственного труда тысяч людей. Любопытно, что современный непрерывный автоматический листопрокатный стан имеет около двух тысяч электродвигателей с установленной мощностью восемьдесят тысяч киловатт. Этим станом управляют два оператора.

Широкая механизация и автоматизация всех отраслей народного хозяйства и быта предъявляет к электропромышленности огромные требования. Массово-поточное производство требует создания единых серий машин переменного и постоянного тока. Особое значение приобретают сейчас микромашины разных типов малой мощности — от долей ватта до пятисот ватт. Они нужны и в автоматике, и в телемеханике, и для счетнорешающей техники, в них нуждаются транспорт, связь, медицина, общественное питание.

Заводские конструкторы-технологи и конструкторы-электрики могут многое сделать, чтобы автоматизировать производственные процессы. В этом деле им должны помочь ученые и ведущие конструкторские организации. Было бы очень полезно обобщить опыт автоматизации в разных отраслях народного хозяйства и рекомендовать его предприятиям в виде схем, в зависимости от тех или иных специальных операций. Имея в своих руках такие данные, производственники могли бы сами конструировать схемы механизации и автоматизации, сообразуясь с местными условиями. Вот тогда конструирование средств автоматизации перестанет быть делом одиночек и отдельных учреждений, а станет достоянием широких масс технической интеллигенции.

Последовательное проведение сплошной электрификации, а также автоматизации несет освобождение от тяжелой, изнурительной физической работы и монотонного, шаблонного умственного труда. Но социальная роль их на этом не кончается. Автоматическая система машин снижает необходимое рабочее время в производственном процессе. Телемеханика делает необязательным присутствие человека непосредственно у машины, в целом ряде отраслей народного хозяйства уже не будет рабочего места и привычного понимания этого слова.

Таким образом, глубокая электрификация социалистического народного хозяйства

превращает материальное производство в научно-техническое творчество. Этим ликвидируется существенное различие между умственным и физическим трудом. Работой научного и инженерного характера займутся буквально миллионы способных к этому людей. Какое изобилие материальных и культурных ценностей принесут они своей Родине!

### ЭНЕРГЕТИКА И ХЛЕБ

Выступая на декабрьском Пленуме ЦК партии, Н. С. Хрущев говорил: «Настоящий Пленум ЦК — это Пленум мобилизации резервов сельского хозяйства».

В плане большой перспективы судьбы нашего сельского хозяйства все больше связываются с энергетикой. Именно энергетика открывает такие возможности развития, которые раньше трудно было себе представить. В противоположность капиталистическому обществу Советское государство бережно относится к обоим главным факторам народного богатства — человеческой рабочей силе и земле. Энергетика, снимая с плеч крестьянина ярмо физической работы, освобождает его от «власти земли». Вместе с тем, облагораживая землю, она делает ее более щедрой.

Далеко позади осталась крайне низкая производительность крестьянского труда. Более восьмидесяти миллионов трудоспособного крестьянства в дореволюционное время производило столько же ценностей, сколько восемь миллионов рабочих, занятых в промышленном производстве. Десятикратный разрыв объясняется разной энерговооруженностью.

За годы Советской власти мощность всего энергетического хозяйства советской деревни (стационарные и мобильные двигатели) увеличилась примерно на сто миллионов лошадиных сил. На одного работника, занятого в сельском хозяйстве, сейчас приходится четыре с половиной лошадиных сил.

Намечая последовательные этапы перестройки сельского хозяйства —

«...мелкий крестьянин

колхозы

э л е к т р и ф и к а ц и я», —

В. И. Ленин предвидел возрастающую роль электроэнергетики. Теперь мы уже близки к осуществлению сплошной электрификации сельского хозяйства.

В семилетии будет в основном завершена электрификация всех колхозов, а совхозов и РТС — значительно раньше. На электропривод переводится большинство стационарных процессов сельскохозяйственного производства. Почти двадцать пять миллиардов киловатт-часов электроэнергии потребует в 1955 году наше сельское хозяйство — больше, чем потребляет сейчас сельское хозяйство США.

Рост производительности сельского хозяйства ставит перед энергетикой новые задачи. Разве можно, например, без электрификации переработать массу продукции, которая хлынет из колхозов и совхозов к концу семилетки? Только для всякого рода переработки десяти — одиннадцати миллиардов пудов зерна нужно не менее двадцати миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Электроэнергия будет использоваться не только для производственных целей — необходимо электрифицировать быт колхозника, чтобы всюду в деревне был свет, радио, телефон, кино, телевидение, чтобы больше появилось в домах электрохолодильников, стиральных машин, электроприборов для приготовления пищи. Во многих селениях будут строиться водопроводы, канализация.

А какой будет энергетика сельского хозяйства в 1975 году?

Первые рабочие наброски потребления электроэнергии в сельском хозяйстве через пятнадцать лет приводят нас к цифре сто пятьдесят — двести миллиардов киловатт-часов. Тогда будут полностью электрифицированы все стационарные производственные процессы на животноводческих фермах. Первичная переработка зерна — очистка, сортировка — будет производиться при помощи электричества. Электродвигатели займут главное место в орошении земель. К тому времени в колхозах и совхозах появится много электрифицированных предприятий для первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Широкое применение найдет электроэнергия для непосредственного воздействия на животных и растения. Ультрафиолетовые лучи помогут нам в создании искусственного дня для молодняка на животноводческих и птицеводческих фермах. Инфракрасные лучи будут использоваться для отопления и дезинфекции, токи высокой частоты — для сушки и консервации молочных и мясных продуктов, фруктов, ягод, овощей. Уже теперь хорошие результаты дает стерилизация продуктов ультразвуком. Достаток в электроэнергии позволит шире развивать парниковое и оранжерейное хозяйство.

Проблема резкого повышения производительности сельского хозяйства становится особенно ощутимой, если учесть, что к 2000 году население нашей страны увеличится почти до пятисот миллионов человек. Для того чтобы обеспечить эту громадную семью питанием, нужно ежегодно иметь пять-шесть миллиардов пудов продовольственного зерна, не менее трехсот пятидесяти миллионов тонн молока и молочных продуктов, а мяса и мясопродуктов — более тридцати миллионов тонн. Животноводство потребует трех с половиной миллиардов тонн разнообразных кормов!

В решении задач удовлетворения в 2000 году нужд страны в сельскохозяйственной продукции виднейшую роль должна сыграть энергетика. Надо помнить, что сельское хозяйство — это такая область, где будущее закладывается сегодня.

Как, например, можно привлечь энергетику для расширения посевных площадей?

Главные резервы земель ждут своего часа в Арало-Каспийской впадине (Средняя Азия и Казахстан) и Западно-Сибирской низменности.

Но освоение земель Арало-Каспийской впадины требует грандиозных гидротехнических работ по переброске части стока мощных сибирских рек — Оби и Енисея. Только вода сможет оживить этот огромный массив. По крайней мере сто миллионов гектаров пригодных для сельского хозяйства земель можно взять в Западно-Сибирской низменности. Но этот резерв нельзя получить даром — требуется немало усилий по регулированию паводков и сбросу избыточных вод.

Торфянистые почвы делают долину Оби золотым дном для сельского хозяйства. Климат здесь вполне пригодный, чтобы выращивать многие зерновые культуры, начиная от лучших сортов пшеницы до риса, гречихи и кукурузы включительно. Обилие кормов открывает неограниченные перспективы для развития животноводства.

Но для того, чтобы оживить эту житницу, нужны средства современной энергетики. Никакая живая энергетика миллионов людей не может справиться с объемом предстоящих здесь работ.

Все это должно быть увязано с комплексным использованием наших рек. И в этом комплексе интересы сельского хозяйства необходимо учитывать очень серьезно.

Прежде всего при огромном размахе гидроэнергостроительства нельзя допускать чрезмерных затоплений земель. В погоне за киловаттами проектировщики не всегда щадят земли, рыбу, леса, природу. Строящиеся и проектируемые гидроузлы увеличивают площадь зеркал водохранилищ до тридцати пяти миллионов гектаров, то есть до площади, равной территории, занимаемой Эстонской, Литовской, Латвийской, Армянской и Грузинской республиками. Затоплениями охватываются преимущественно плодородные пойменные земли. На этом деле не кончается. Выше плотины гидроузла земли пропадают в результате обрушений и переработки берегов, высокого подпора грунтовых вод, заблачивания. Ниже плотины — в связи с повышением меженных горизонтов, паводковых затоплений, наносов ила. Например, для Бухтарминской ГЭС ущерб от затоплений в нижнем бьефе в три раза превышает ущерб от затоплений выше плотины. Если при проектировании гидроэлектростанций не будут соблюдены интересы сельского хозяйства, то в будущем потеря земель от затопления, подтопления и ухудшения дойдет до пятидесяти миллионов гектаров. Напомним, что в настоящее время под пахотой в СССР занято около двухсот миллионов гектаров.

Пойменные земли в три-шесть раз продуктивнее земель суходольных. Поэтому совершенно неправильно в проектах считают равноценными гектары пойменных и суходольных земель. Авторы односторонних проектов гидроузлов должны были бы подумать о том, что отнюдь не в интересах нашей страны, освоившей целинные земли и затратившей на это массу труда, техники и десятки миллиардов рублей, топить высокоурожайные земли приречных колхозов и совхозов.

Положение осложняется бактериальным и химическим загрязнением рек, водоемов и грунтовых вод. Чусовая, Кама, Ока, Волга и многие другие реки превращены в ряде мест в открытые сбросные каналы сточных вод химических, целлюлозно-бумажных, нефтеперерабатывающих заводов. Реальна опасность загрязнения Байкала и всего Ангаро-Енисейского бассейна сбросами строящихся целлюлозных и алюминиевого заводов.

Односторонний подход к проектированию волжских гидроузлов и безразличное отношение некоторых руководителей приволжских промышленных предприятий к сохранению рыбных богатств быстро сокращают стадо ценных рыб в Волжско-Каспийском бассейне. Здесь уловы рыбы сократились на два миллиона центнеров в год. По весу это ежегодная потеря полумиллиона голов крупного рогатого скота.

Сельскому хозяйству жизненно необходима все в большем и большем количестве свежая, чистая вода для орошения, животноводства, быта и благоустройства. Известно, что площади орошения и обводнения будут непрерывно возрастать. Ведь один полив увеличивает урожай зерна в два раза. Сейчас орошается около семи миллионов гектаров. Проектируется орошение двадцати пяти, а в дальнейшем пятидесяти миллионов гектаров.

Если сейчас на все нужды народного хозяйства и быта расходуется воды около девяти тысяч кубических метров в секунду, другими словами — целая Волга, то в ближайшие годы потребность в чистой воде увеличится в несколько раз.

Надо покончить с беспорядочным расходом воды. Необходимо разработать генеральный план комплексного использования водных ресурсов страны, рассчитанный до 2000 года. Этот план будет учитывать интересы всех отраслей народного хозяйства, быта, культуры и народного здравоохранения.

### МОГУЧЕЕ СОДРУЖЕСТВО

Новые методы химии и новые процессы в химической технологии основаны на широком применении электрической энергии. Электрификация определяет основные пути развития химии. Более того, можно сказать, что химическая промышленность становится важнейшим разделом промышленной энергетики.

Химия наших дней не может обойтись без мощного и сложного оснащения. Она предъявляет спрос на компрессоры давлением в триста атмосфер, специальное оборудование для синтетических процессов, турбокомпрессоры, парогазодувки, холодильные машины и так далее. Действие мощных механизмов, автоматическое регулирование и самый химизм процесса невозможны без электроэнергии. Все тяжелое оборудование основной химии работает на электроприводе. Электролиз воды для получения водорода и кислорода, электровозгонка фосфора, электролиз раствора с получением хлора, каустика, магния, водорода могут осуществляться лишь в условиях высокой энергооборуженности химической промышленности.

В этой связи важное значение приобретает стоимость электроэнергии. И это понятно, если учесть, что на производство, скажем, тонны фосфора электротермическим путем требуется двадцать одна тысяча киловатт-часов электроэнергии. Для получения тонны аммиака на основе электролитического водорода необходимо до пятнадцати тысяч киловатт-часов. Но дело не только в этом. Нехватка дешевой электроэнергии тормозит широкое внедрение совершенной технологии — электролиза, электротермии. По той же причине химическая промышленность вынуждена держать на складах, перерабатывать в громоздкой аппаратуре и транспортировать сотни миллионов тонн таких видов сырья, как уголь, кокс, фосфорит, апатит. Неэлектрифицированная технология приводит к излишнему спросу на дополнительное оборудование, к строительству лишних производственных и складских помещений, увеличению транспортного хозяйства и дополнительным перевозкам. Всего этого можно будет избежать, когда в нашей стране будет больше электроэнергии.

Химическая промышленность призвана обеспечить удобрениями наше сельское хозяйство. Чтобы сделать решающий скачок в повышении урожайности, к концу семилетки потребуется свыше восьмидесяти миллионов тонн удобрений.

Американские фермеры подсчитали, что внесение в почву одного килограмма азота стоимостью четырнадцать — шестнадцать центов дает такой прирост сельскохозяйственных кормов, который обеспечивает получение дополнительного количества животного масла или свинины стоимостью в два-три доллара. Иными словами, прибыль превышает затраты на удобрения в пятнадцать — двадцать раз. Известный американский фермер Р. Гарст, внося в почву жидкий аммиак, сеет на одном и том же участке кукурузу семнадцать лет, неизменно получая высокие урожаи.

Минимальное требование советских агрономов — пятьдесят килограммов азота на один гектар сельскохозяйственной площади. Значит, нам нужно ежегодно производить восемь миллионов тонн азота. На выработку такого количества методом электролиза воды идет сто двадцать миллионов киловатт-часов. А если использовать для этого природный газ, затраты электроэнергии сокращаются в восемь-девять раз. Казалось бы, дело ясное, но чем же тогда объяснить, что на природном газе у нас работает только один завод азотных удобрений? Ведь вот американцы производят же таким способом восемьдесят процентов азота.

Пожалуй, никакая другая отрасль не дает столь больших результатов (имея в виду развитие новых производств, рационализацию существующих производственных процессов, использование промышленных отходов), как химическая индустрия. Она приносит и наибольшую материальную выгоду народному хозяйству. Проиллюстрируем это хотя бы на таких примерах. Один азотно-туковый завод стоимостью в триста пятьдесят миллионов рублей дает столько удобрений, что это приводит к дополнительному урожаю, оцениваемому в три миллиарда рублей за один год. Затраты на сооружение предприятия производительностью в сто тысяч тонн синтетического аммиака в год окупаются семь раз в год. Все расходы на организацию производства органической массы для выработки искусственного волокна (типа капролактама) перекрываются стоимостью продукции, выпущенной за один-полтора месяца.

Значение широкого проникновения химии во все отрасли народного хозяйства и роль, которую должна сыграть в этом деле электрификация, не требуют многих доказательств. Думается, что решения майского (1958 год) и июньского (1959 год) Пленумов ЦК КПСС должны стать фундаментом для построения генерального плана развития химической промышленности.

### О РАСЧЕТЛИВОСТИ В БОЛЬШОМ И МАЛОМ

Где же искать пути повышения темпов электрификации страны и удешевления электрической энергии?

Решающим является техническая политика в энергостроительстве. Предусмотренное контрольными цифрами преимущественное строительство крупных тепловых электростанций на дешевых видах топлива даст нам в семилетии огромный выигрыш средств — свыше двадцати миллиардов рублей. Долг строителей — добиться максимального сокращения сроков сооружения электростанций. Крупные блоки агрегатов, широкое применение сборного железобетона и поточного метода монтажа оборудования, большая смелость в строительстве открытых электростанций — все это означает экономию времени и средств.

Не замедлят сказаться плоды генерального движения энергетики на Восток. Подсчеты показывают, что если бы производство электроэнергии и добыча угля, намеченные семилетним планом в Сибири, были организованы в Европейской части страны, то пришлось бы дополнительно затратить более тридцати пяти миллиардов рублей.

Нужно улучшить организацию потребления электричества. На электростанциях люди бьются за то, чтобы повысить коэффициент полезного действия хотя бы на какую-то долю процента, а в электрических сетях у потребителя теряются чуть ли не десятки процентов энергии.

«Надо обеспечить рациональное использование каждого киловатт-часа в промышленности, на железнодорожном и городском транспорте, в коммунально-бытовых предприятиях, в освещении промышленных и общественных зданий, улиц, площадей,

жилых помещений. Организация разумного расходования электроэнергии в народном хозяйстве и в быту должна стать задачей огромного общегосударственного значения».

С такими словами обратился ЦК КПСС в своем письме к советскому народу. Поставлена задача, в решении которой должны принимать участие все трудящиеся, все население, начиная от школьника, домашней хозяйки, пенсионера. Сэкономить в нашей стране всего лишь один процент электрической энергии — это значит высвободить за год 2,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а такое количество ее позволяет добыть 130 миллионов тонн угля или 40 миллионов тонн нефти, получить из глинозема 125 тысяч тонн алюминия.

Непроизводительные расходы электроэнергии в промышленности и на транспорте составляют примерно одиннадцать миллиардов киловатт-часов. Это превышает годовую выработку такой крупнейшей станции, как Волжская ГЭС имени В. И. Ленина.

Расширяется фронт борьбы за сплошную электрификацию страны. С одной стороны, усиливаются работы по вводу новых высокоэкономичных электростанций и энергосистем, растет выработка дешевой электроэнергии. С другой стороны, развертывается всенародное движение за экономное, рациональное потребление электроэнергии. Стоит повнимательнее присмотреться к резервам в этой сфере потребления, чтобы понять, чего мы можем здесь достигнуть.

Сотни миллионов ламп накаливания имеют КПД всего лишь четыре процента. Это значит, что пропадает девяносто шесть процентов подведенной к ним электроэнергии. На освещение ежегодно расходуется примерно одиннадцать процентов всей вырабатываемой электроэнергии — двадцать пять миллиардов киловатт-часов. К концу семилетки освещение потребует уже семидесяти пяти — восьмидесяти миллиардов киловатт-часов. Каждый процент повышения КПД осветительных приборов давал бы стране дополнительно четверть миллиарда киловатт-часов электроэнергии. А между тем руководители предприятий электропромышленности старательно уклоняются от массового производства люминесцентных, ртутно-кварцевых и других экономичных ламп. Почему? Что их не устраивает? Надо бы хорошенько разобраться в этом вопросе и устранить все препоны.

Улучшая электротехнические свойства металла в трансформаторах, генераторах, электродвигателях, применяя новые изоляционные материалы и новые системы охлаждения, мы можем сберечь десятки миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Почему мы так упорно держимся за частоту тока 50 герц? — справедливо недоумевает академик В. С. Кулебакин. Повышение частоты, например, до 100 герц экономит массу электроэнергии, качественных сталей, цветных металлов. Значительно был бы уменьшен вес электродвигателей. Трансформаторы, например, стали бы в два раза легче. Почему так долго обсуждается этот вопрос у электротехников?

Огромные резервы кроются в отходах энергии, так называемых вторичных энергоресурсах промышленности. Пройдите по металлургическому комбинату — всюду вы увидите потери энергии. Теряется масса тепла при тушении водой раскаленного кокса, тепла шлака, агломерата, металла, отработанного пара, отходящих газов. Используя все это, мы могли бы только в одной металлургии сэкономить более двадцати пяти миллионов тонн топлива в год.

Наша промышленность потребляет свыше половины всего добываемого в стране топлива, но тратит его крайне непроизводительно: с КПД пятнадцать — двадцать процентов. Неиспользуемые вторичные энергоресурсы промышленности достигают 170 миллионов тонн топлива в год. Этого хватило бы для выработки 300—350 миллиардов киловатт-часов электроэнергии! Используя отбросное тепло, многие промышленные предприятия могут обеспечить не только свои нужды в паре и электроэнергии, но и потребность близлежащих городов и сельского хозяйства.

А почему бы не ввести в практику заводов и фабрик обязательное положение об использовании вторичных энергоресурсов и систему поощрений за лучшие достижения в этой области?

Новый этап электрификации страны неизбежно должен потрясти основы тарифной системы энергоснабжающих организаций. Высокие цены на электроэнергию задерживают внедрение новых электротехнологических процессов и существенно иска-



жают экономику многих предприятий. То же относится к быту. Нельзя, чтобы создавались такие условия, когда в некоторых районах освещение керосиновыми лампами оказывается дешевле электрического, нельзя электробытовые приборы расценивать как предметы роскоши.

### КОРМЧИМ ДОЛЖНА СТАТЬ НАУКА

Соединение производственных процессов «разрешается, — как предвидел Маркс, — посредством технического приложения механики, химии и т. д., причем, разумеется, теоретическое решение должно быть усовершенствовано, как и раньше, накоплением обширного практического опыта».

Известный опыт мы получили от дореволюционного производства и, пользуясь преимуществами социалистической системы, советского общественного и государственного строя, двинули далеко вперед технические науки.

Как уже здесь говорилось, дальнейшее развитие энергостроительства в нашей стране обуславливается курсом технической политики в этой области. Это органически связывается с выбором того направления, по которому в ближайшее время должен пойти технический прогресс в промышленности. А уж поскольку это так, то, пользуясь выражением Маркса, усовершенствование теоретических решений должно осуществляться прежде всего представителями нашей науки в лице учреждений и организаций Академии наук СССР.

Не столь давно со стороны отдельных ученых стали раздаваться голоса о необходимости точнее определить грани между наукой — в строгом понимании этого слова — и техникой, о том, кому суждено вестись «логическим развитием» научной мысли, а кому — технической, и даже вообще следует ли Академии наук и впредь держать в своем составе Отделение технических наук.

Если обратиться к принципиальной стороне этого вопроса, то надо сказать, что он имеет свою примечательную историю. Известно, что В. И. Ленин замыслил план ГОЭЛРО сразу в послеоктябрьские месяцы. Весной 1918 года он пишет набросок плана научно-технических работ Академии наук, где особо подчеркивается роль электрификации.

Некоторое время назад автор этих строк как-то спросил академика Г. М. Кржижановского:

— Как реагировала Академия наук на ленинский набросок плана?

— Никак, — ответил Глеб Максимилианович. — Академия занималась так называемой «чистой наукой» и была совершенно не приспособлена к решению жизненно важных задач в области экономического и технического обновления страны.

Почти два года Владимир Ильич искал, изучал и выбирал людей, нужных для реализации своей идеи, после чего была организована комиссия ГОЭЛРО. Академия наук стояла в стороне от работ этой комиссии.

Но вот началась полоса исторических пятилеток, и партия выдвинула грандиозную программу индустриализации страны. Для выполнения этих задач Академия наук опиралась на старую гвардию русских специалистов, таких, как А. Н. Крылов, С. А. Чаплыгин, Б. Г. Галеркин, И. П. Бардин, Г. М. Кржижановский, А. В. Винтер, И. Г. Александров, Б. Е. Веденеев, Г. О. Графтио, И. В. Гребенщиков, В. Ф. Миткевич, В. С. Кулебакин, А. А. Скочинский и другие. Они, эти создатели технического крыла Академии наук, оказали огромную помощь в решении конкретных задач индустриализации страны.

Большие коллективы ученых и инженеров, объединенных в институты Отделения технических наук Академии, являются участниками сооружения новых электростанций и линий электропередач, автоматических заводов, шахт, мостов, железнодорожных дорог, огромной семьи машин-автоматов — всех наших изумительных достижений в области техники, вплоть до искусственных спутников Земли и космических ракет. Наша партия и правительство не раз оценивали по достоинству самоотверженную работу советских ученых, привлекая их к участию в решении государственных задач, и на это доверие ученые отвечали всегда делом.

В письме к немецкому социалисту Г. Штаркенбургу Ф. Энгельс в 1894 году писал: «Если, как Вы утверждаете, техника в значительной степени зависит от состояния науки, то в гораздо большей мере наука зависит от состояния и потребностей техники. Если у общества появляется техническая потребность, то она продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов. Вся гидростатика (Торичелли и т. д.) вызвана была к жизни потребностью регулировать горные потоки в Италии в XVI и XVII веках. Об электричестве мы узнали кое-что разумное только с тех пор, как была открыта его техническая применимость. В Германии, к сожалению, привыкли писать историю наук так, как будто бы они свалились с неба».

Попытка резко разграничить функции науки и техники вряд ли плодотворна, сомнительно, что она, такая попытка, вообще полезна. Ведь известно немало примеров, когда наши ученые, блестяще владея теорией и экспериментом, умели довести высокую теоретическую идею до инженерного решения.

Вот почему нам показалась странной попытка некоторых газет сделать целую проблему из понятий, всем и без того ясных. Видные ученые привлекались к этому «спору», им предлагалось высказать свое мнение о том, что такое есть наука, о классификации наук, о том, что надо понимать под техническими науками. Как и следовало ожидать, это обсуждение оказалось беспредметным. Примеры конкретной постановки проблем науки дал Н. С. Хрушев на Всесоюзном совещании по энергетическому строительству. Ставя научные задачи перед электриками, Никита Сергеевич указал, что в вопросах техники нужен хороший прожекторный свет, чем по существу и являются исследовательские работы. Кроме того, проблемные вопросы необходимо выносить на широкое обсуждение, привлекать внимание более широких слоев общественности с тем, чтобы развивалась творческая мысль во всех областях науки и техники.

Мы поднимаем сейчас эти вопросы потому, что в ближайшее время предстоит ответственнейшее дело: разработка генерального плана дальнейшего развития народного хозяйства на пятнадцать — двадцать лет.

Серьезную помощь этому делу должна оказать наша наука и в первую голову — академические институты. Однако все ли они сознают ответственность этой помощи?

Как раз напротив Президиума Академии наук СССР в Москве высится здание Энергетического института имени Г. М. Кржижановского. За плечами этого научного учреждения немалые успехи. А теперь...

В полной ли мере оправдывает теперь этот институт свое назначение в области электрификации страны? — такой вопрос все чаще задают наши энергетики. Самоограничение, робость в постановке актуальных проблем привели институт к тому, что это большое научное учреждение перестало влиять на ход развития энергетики страны.

Каковы генеральные пути электрификации? Какие двигатели требуются сейчас транспорту, сельскому хозяйству? Какое топливо использовать в энергетике? Эти и многие другие проблемы, вытекающие непосредственно из практики, остаются вне поля зрения института. Задачи разработки научных основ технической политики в области энергетики страны остаются без внимания. Надо уже сейчас продумать масштабы развития каждого подразделения энергетики.

Электрификация — это не только сооружение электростанций и энергосистем, но главным образом внедрение электроэнергии во все производственные процессы, комплексная механизация и автоматизация. К сожалению, институт этим не занимается.

Учитывая размах предстоящих великих работ в области электрификации, можно смело сказать, что сейчас, как никогда раньше, страна ждет от такого комплексного научного учреждения, каким является Энергетический институт Академии наук СССР, больших дел, основанных на реальных потребностях страны.

Развивая и дальше область производства и передачи электроэнергии, необходимо подтянуть и выправить здесь фронт электрификации отраслей народного хозяйства, определить направление энергетики на много лет вперед.

## СВЕТЛЫЕ ДАЛИ

У нас еще нередко можно встретить людей, пренебрежительно относящихся к перспективным планам. О таких людях В. И. Ленин отзывался так: «И вот, когда появляются большие планы, на много лет рассчитанные, находятся нередко скептики, которые говорят: где уж там нам на много лет рассчитывать, дай бог сделать и то, что нужно сейчас. Товарищи, нужно уметь соединять и то и другое; нельзя работать, не имея плана, рассчитанного на длительный период и на серьезный успех».

С высот семилетнего плана нам лучше видна расстановка экономических сил страны. Это дает возможность уже теперь разработать генеральный план на пятнадцать — двадцать лет и набросать картину преобразовательных работ в стране даже на сорок лет, то есть до 2000 года.

В наше время огромных работ, рассчитанных на будущее, научное предвидение становится неременным условием технической проблематики.

План-гипотеза необходим для того, чтобы увязать в одно гармоничное целое потребности каждой отрасли народного хозяйства, определить место и роль каждого нового сооружения в дальнейшем экономическом развитии страны.

Жизнь требует решения все новых и новых проблем.

Казалось бы, еще так недавно сформировалась мысль о создании единой энергетической системы страны — ЕЭС, а сегодня эта проблема приобретает уже международный характер. На Востоке совместные работы с Китайской Народной Республикой по строительству каскада крупных гидроэлектростанций на Амуре должны в будущем повести к смычке Сибирской энергосистемы с центральной энергосистемой Китая. На Западе ЕЭС Европейской части СССР может установить электрические связи со странами народной демократии. Вполне реален обмен электроэнергией на взаимовыгодных условиях с Финляндией и Норвегией.

Современная энергетическая техника сильно расширяет возможность таких международных связей. В ближайшее время намечается построить соединительные линии электропередач между электросистемами ГДР — Польши — Чехословакии — Венгрии, Румынии — Чехословакии, Венгрии — СССР, Польши — СССР. Этим будет положено начало объединению энергетической системы европейских стран народной демократии и западных районов СССР.

Теперь уже можно мечтать об охвате сверхвысоковольтными электропередачами на переменном и постоянном токе просторов от берегов Тихого океана до Атлантического.

Водохозяйственная система нашей страны может стать прологом грядущей единой водохозяйственной системы Евразии.

Иллюзия о богатстве природных ресурсов Европы постепенно рассеивается. Рано или поздно вопрос об экономических связях Запада с Востоком неизбежно встанет в порядок дня. И вот тогда, чтобы обеспечить громадные потоки сырья и продуктов с одного конца в другой, очевидно, будет сооружена небывалая еще в истории человечества железнодорожная сверхмагистраль.

А разве не назревает нужда в международных трубопроводах нефти, газа, жидкого аммиака?

Совет Экономической Взаимопомощи, как известно, принял решение о совместном строительстве магистрального нефтепровода из Советского Союза в Польшу, ГДР, Чехословакию и Венгрию. Трансевропейская магистраль протяженностью свыше четырех тысяч километров пройдет через большую часть Европы...

Все народы мечтают о здоровой обстановке своего труда и быта. Они хотят работать на создание человеческих благ, а не на их сокрушение. И когда размышляешь об энергетике будущего, она представляется нам в виде огромного чергежа, где запечатлены нити международного сотрудничества, покоящегося на принципах мира и дружбы.



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. КУЗНЕЦОВ

★

## О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОМАНА

I  
Сегодня для литературной жизни многих стран в высшей степени характерны споры о реализме. Весьма примечательно и то, что параллельно, а подчас переплетаясь, перекрещиваясь с дискуссиями о реализме, идут споры о романе.

Мысль о кровном родстве реализма и романа была высказана еще Белинским и затем неоднократно повторялась. Действительно, в этом жанре реализм как-то особенно наглядно «нашел себя». В романе с наибольшей полнотой проявился «типический характер» в «типических обстоятельствах». История убедительно показывает, что расцвет реализма был одновременно расцветом романа. Наибольшие завоевания реализма достигнуты именно в этом жанре.

Существенно и другое — современные нападки на реализм со стороны представителей реакционного модернистского искусства, как правило, ведут к критике реалистического романа. Конечно, нельзя объявить роман исключительной принадлежностью реализма. Но при всем этом родство реализма и романа столь прочно (как было, скажем, родство оды с классицизмом), что все бон вокруг реализма закономерно претворяются в бон вокруг романа. Потому-то они и носят столь ожесточенный и принципиальный характер.

Зарубежные споры о романе идут в самых разных направлениях. Спорят о возможностях и путях современного романа, его целях и задачах, его современной форме, наконец, — что особенно часто — о кризисе современного романа. Если попытаться

определить каким-то общим понятием характер споров нынешних буржуазных литературоведов о романе, пожалуй, короче всего это выразило бы одно слово: тревога. Конечно, в этих спорах множество оттенков мысли, сталкиваются самые различные мнения и концепции, но все они в той или иной степени пронизаны ощущением тревоги, неудовлетворенности современным буржуазным романом.

Нередко встретишь грустные размышления о том, что золотой век романа позади. Так говорят и пишут и американские критики (А. Кейзен) и западногерманские литературоведы (В. Кайзер). Работа последнего «Возникновение и кризис современного романа» весьма показательна в этом отношении. Высоко оценивая опыт классиков, Кайзер приходит к выводу, что современный роман в буржуазных странах (об опыте советской литературы он не говорит ни слова) обнаружил полную несостоятельность перед лицом таких событий, как первая и вторая мировые войны, оказался не в силах найти форму, адекватную эпохальным событиям современности. Что касается известной «школы потока сознания», которую столь усердно превозносили на Западе, то Кайзер дает ей трезво-беспощадную оценку: это распад романной формы, и только. О самих романах этой школы он говорит еще более сурово: «Невольно задаешься вопросом: кого могут заинтересовать эти книги, кроме психиатра и медика? После того как сам материал утратил прелесть новизны, они могут вызвать лишь скуку или то чувство, которое Сартр поставил в заголовок своего романа «Тошнота».

Редакция журнала «Новый мир» приглашает писателей, критиков, читателей принять участие в обсуждении вопросов, поднятых в статье М. Кузнецова.

В этой критике немало справедливого, а главное, весьма примечательно, что исходит она из уст «добропорядочного» буржуазного исследователя. А то, что он таков, явствует из многих его утверждений, но становится особенно наглядным, когда Кайзер пытается обосновать нечто положительное. Он сетует на романистов, которые, на его взгляд, слишком увлечены изображением «кризисности, непрочности современной эпохи». Идеалом современного романа Кайзеру представляется лишь «Чума» Альбера Камю. Да, роман Камю — о войне, об оккупации Франции фашистами... Впрочем, нет, он совершенно о другом: это — небольшое повествование о нашествии чумных крыс на маленький городок Оран в Северной Африке. Сначала этим крысам не придают значения, но вот появляются первые жертвы среди людей, эпидемия разрастается, карантин отрезает городок от внешнего мира... Идет отчаянная борьба с чумой. Во главе ее стоит врач Ръё. Это некий абстрактного толка гуманист, причем гуманист-пессимист; он хотя и борется, но убежден в бессмысленности сопротивления. Даже когда чума отступает, он приходит к мрачному выводу (не только разделяемому, но и всячески прокламируемому автором): «Бацилла чумы не знает смерти, она десятки лет спит в домах. Настает день, когда на муки, на несчастье людей чума вновь разбудит своих крыс и пошлет умирать в счастливый город». Такова философия романа, который действительно о войне, ибо чума означает здесь войну, а крысы — фашистов. Таков вывод: войны вечны, одолеть их нельзя, люди бессильны...

Пессимистической идее «Чумы» соответствует и самый тип романа, где реальность лишь внешняя оболочка жизни. Здесь господствует некий символический реализм, или, точнее, синтез символизма с натурализмом. У Камю — нарочитый отказ от широкого социального полотна, от глубоких классовых характеристик, от завоеваний реалистического психологизма. Условный мир, условные образы, отсутствие классовых противоречий, социального зла; чума сваливается на людей как некий рок... Роман утрачивает и свою демократичность, и качества «зеркала на большой дороге» (Стендаль), свою полифоничность, утрачивает, наконец, социальный характер. И в высшей степени показательно, что Кайзер видит как раз в

этой форме романа единственный выход из кризиса.

В XX веке на Западе не раз уже хоронили реалистический роман за его якобы устарелость. Но что же выдается за новаторство? За последние четыре-пять лет во Франции стал моден так называемый «белый», или «антибальзаковский» (термин от лично говорит за себя!) роман, который представлен такими именами, как А. Роб-Грийе, Н. Саррот. Бернар Дор, характеризуя этот «последний крик» модернизма, пишет, что новый, «белый» роман совершенно «не основывается на связях, существующих между людьми и миром», его цель — «изображение ужасного пространства ночи, области, где царит Некто». Объекты романа не столько «люди, сколько вещи, ибо человек может умереть, а вещь нет».

Если от деклараций обратиться к самим романам, то быстро убедишься, что, во-первых, это действительно антибальзаковский, то есть глубоко антиреалистический роман, а во-вторых, перед нами сознательный отказ от изображения широкой, эпической, а главное, объективной картины мира.

Откроем роман Роб-Грийе «Пляж»... Пересказать его содержание одновременно и трудно и необычайно легко. Светлая полоса прибрежного песка, слева темное море под низким небом, справа волнистая линия дюн, за которой где-то скрыты дома. Оттуда доносится звон колокола. По пляжу идет, взявшись за руки, группа детей. Вот, в сущности говоря, почти весь сюжет. Действие, широкое изображение жизни, типические образы, социальные характеристики и т. д. и т. п. — все это начисто отсутствует. Есть странное, болезненное изображение какого-то ирреального мира, какие-то расплывчатые тени вместо людей, много намеков, символов, странных ассоциаций, много «игры в искусство» и ничтожно мало самого главного — современной жизни. Не столько действительность, сколько воистину «ужасное пространство ночи» — вот что занимает воображение романиста.

Вещи действительно становятся главными героями. Возник даже термин — «шозизм» (от французского слова chose — вещь). Дело доходит до почти пародийных описаний вещей. Характерен такой отрывок из романа Роб-Грийе:

«Правая рука хватает хлеб и несет его ко рту, правая рука опускает хлеб на белую скатерть и хватает нож, левая рука

хватает вилку, вилка втыкается в мясо, нож отрезает кусок мяса, правая рука кладет нож на скатерть, левая рука переносит вилку в правую руку, которая втыкает ее в кусок мяса, которое приближается ко рту, который начинает жевать, производя движения сжатия и разжатия, которые отражаются на всем лице, вплоть до щек, глаз, ушей, в то время как правая рука вновь берет вилку, передает ее левой руке, затем хватает хлеб, потом нож, потом вилку».

Натали Саррот — другая представительница этого нового течения — излагает свое писательское кредо одновременно и энергично и весьма определенно. «Бури в стакане воды,— пишет Саррот,— моя главная специальность».

Еще в тридцатые годы талантливейший Ральф Фокс пронизательно заметил, что из современного буржуазного романа исчезает в качестве главного героя исторический человек, то есть личность, данная во всем богатстве социальных связей и выступающая творцом истории. Растерянность и тревога перед непознаваемым хаосом событий все чаще и чаще звучат в современном буржуазном романе. Не знамение ли времени тот успех, который имеют на Западе романы Франсуазы Саган? И, пожалуй, очень точно сказал о Франсуазе Саган в своей недавней статье в «Юманите» Андре Стиль: «Быть может: один из самых прекрасных образов Франсуазы Саган — образ наиболее отчетливый, хотя не без умысла лишенный содержания: «промокшая сигарета, которую Бернар тщетно пытался разжечь, походила на их жизнь».

Черта времени, характерная для современного западного романа,— это принципиальный отказ от романа широких социальных обобщений.

Для романиста стал всего дороже, как очень точно сказано в «Триумфальной арке» Ремарка, «маленький мирок, ограждающий человека от огромного мира, объятых хаосом».

Именно! Путь (или бегство?) в маленький мирок, тщетная попытка укрыться в нем от жестокостей и хаоса собственнического мира — такова тенденция западного романа. Да, конечно, честные, талантливые романисты Запада пытаются открыть и здесь — в «маленьком мирке» — утраченную человечность, и этот «микрореализм» не бесплоден... Но все отчетливее утраты в «макрореализме», все явственнее отсутствие

романов, вторгающихся в тот «хаос», из которого складывается современный мир.

Мы оставляем сейчас в стороне романистов социалистического реализма в буржуазных странах — творчество Арагона, Стиля, Линдсея... Они требуют особого разговора. Ясно также, что роман в современном капиталистическом обществе — явление сложное, противоречивое, и его трудно, да и невозможно свести к какой-то одной линии. Но выделить тенденцию наиболее характернейшую мы вправе. «Крупный план маленького мира» — это показательно как раз для тех романистов, которые в меру своих сил стремятся продолжить реалистические традиции. Сошли со сцены великие могикане критического реализма середины XX века — Томас и Генрих Манны, Дю Гар, Фейхтвачгер... Кому же передана эстафета критического реализма? Она у Хемингуэя и Ремарка, Леонгарда Франка и Моравиа... А ведь у того же Ремарка в последних романах громко звучат смятение и горечь «микрочеловека» перед непостижимой для него и неотвратимой жесткостью «макромира». «Для чего я живу? Да, для чего я живу?» — с отчаянием восклицает Рудольф, герой «Черного обелиска». И ему как бы отвечает обаятельная, обреченная на смерть героиня «Жизни взаимны» Лилиан: «Мы — люди без будущего».

Цельность картины мира все больше и больше утрачивается. Разорвана связь человека с обществом, «самодействие» героя романа в большинстве произведений развертывается в сфере личной жизни и гораздо реже в области «собственно» истории. Наоборот, в центре романа социалистического реализма — человек и общество в самых живых, активных, острых формах взаимодействия. Этой проблемой началась молодая советская проза; она в нашем романе на всех этапах его развития остается главнейшей. Только так и может быть в литературе социалистического строя, где личность сознательно творит историю, где проблема общественного стала для миллионов одновременно и проблемой личной, проблемой эстетической и этической...

Признавая общественную и эстетическую ценность лучших романов, скажем, Хемингуэя и Ремарка, мы одновременно остро ощущаем некую принципиальную их «инородность» по сравнению с нашим романом, инородность в самом типе романа, в поста-

новке решающих проблем — личности и народа, героя, исторической перспективы. Поэтому монументальная форма социалистического реализма — это прежде всего роман социальный, тяготеющий к широким обобщениям, в сущности к эпическому осмыслению действительности во всей ее широте, ибо проблема «человек и общество» (в революции и гражданской войне, в строительстве нового мира и т. д.) остается первой для самых разных типов нашего советского романа. Сегодня это особенно заметно, причем не только в самих романах, но и в спорах наших критиков и литературоведов вокруг проблем романа. Несколькими словами об этих спорах.

За последние два-три года у нас появилось немало работ о романе. Привлекли внимание и вызвали полемику статьи В. Днепрова по теории романа. Автором создана довольно стройная, хотя далеко не бесспорная концепция. Так, В. Днепров настаивает на выделении романа в особый род литературы наряду с эпосом и драмой. Он утверждает его не только как четвертый род литературы, но и, пожалуй, как главенствующий род литературы, воплотивший в себе наиболее сильные стороны эпоса, драмы и лирики. Можно критиковать Днепрова за чрезмерную апологию романа, за чрезмерную веру в его возможности. Но сколько, так сказать, «исторического оптимизма» у Днепрова по сравнению с работами Кайзера, Кейзена и других буржуазных литературоведов, работами, в которых основной пафос — пессимистические размышления о судьбах романа на Западе...

Показательна вышедшая в 1958 году книга А. Чичерина «Возникновение романа-эпопеи» (хотя автор и расходится в существенных положениях с Диепровым). И здесь исследователя можно упрекнуть в односторонней приверженности к прославлению им жанра, который в его книге как бы «подминает» все другие типы романа. Но трудно не согласиться с автором, когда он пишет:

«Безусловно, в самом маленьком стихотворении и рассказе, в самой сжатой повести можно поэтически и конкретно высказать много нового. Все же душевная сложность современного человека, сложность политической борьбы, постоянное идейное столкновение социалистического и капиталистического миров — все это создает по-

требность подлинного историзма в литературе и приводит к тому, что роман-эпопея выдвигается на особое место.

Задачи и возможности этого жанра в литературе социалистического реализма — огромны».

Ряд интересных работ по теории романа вышел в Белоруссии и на Украине. Появились статьи критиков, в которых сделаны попытки рассмотреть пути развития романа в современной литературе. Так, В. Назаренко в журнале «Звезда» в двух статьях развивал свою концепцию советского многопланового романа (ниже нам еще придется к ней вернуться). В журналах и газетах напечатаны статьи о различных проблемах романа Ю. Константинова, В. Сурвилло, Ю. Суровцева и других.

Явственно оживление споров вокруг проблем романа и прозы вообще. Явственно и другое — успехи в разных родах и видах искусства, в области романа в частности, и, что особенно важно, в области романа о современности «Битва в пути», «Раздумья», «Братья Ершовы», «Сентиментальный роман», «После свадьбы», «Золотое кольцо» — эти книги были встречены с живым интересом, вызвали горячие споры, не утихшие и поныне. В 1959 году появились новые интересные романы и повести: главы из «Поднятой целины» М. Шолохова (пыле роман закончен автором), «Орлиная степь» М. Бубеннова, «За бегущим днем» В. Тендрякова, «Ледовая книга» Ю. Смуула, «Сильнее атома» Г. Березко, «Живые и мертвые» К. Симонова, «Истоки» Г. Коновалова, «Последние залпы» Ю. Бондарева, «Пядь земли» Г. Бакланова... Характерно равнодушие на общественный роман, претендующий на широкие обобщения, историческую перспективу, разрез социальных слоев общества, глубину проникновения в существо характера того самого исторического человека, о котором писал Ральф Фокс. Названные произведения очень различны по характеру, авторской манере, мастерству. Но отчетлива общая линия — на роман, понимаемый как поэтический анализ современной общественной жизни. И с этой точки зрения понятны и острота споров и подчас полемические «запасы» в оценке ряда талантливых произведений, в которых прозаики ограничивались сравнительно узким кругом явлений, не претендовали на создание широкого эпического полотна.

Требование романа широких обобщений,

романа, стоящего с великим «веком наравне», ощущается как веление времени, характернейшее для нашей эпохи развернутого строительства коммунизма.

Есть ряд частных обстоятельств, вызывающих ту остроту и те подчас крайности в спорах, которые возникали и возникают вокруг романов Пановой, Кочетова, Гранина, Николаевой, повестей Бакланова и Бондарева. Но немалую роль играет тут и то обстоятельство, что сегодня вообще от романа о нашей современности ждут очень многого. Мы не имеем, к сожалению, романов о послевоенной действительности, которые могли бы стать в один ряд с «Жизнью Климса Самгина», «Тихим Доном», «Хождением по мукам», «Молодой гвардией»...

Если подойти к оценке наших послевоенных романов с точки зрения только проблематики, в них заключенной, с «подсчетом» тех актуальных вопросов жизни, на которые «откликнулась» литература, то при известных пробелах картина все же будет скорее утешительная. Наша литература откликнулась на события времени то романом о послевоенном восстановлении, то страстными очерками об острейших процессах колхозной жизни, то актуальными, хотя порой не очень глубокими произведениями о нашей школе и ее питомцах и т. д. Таким образом, если судить с точки зрения простого «отражения», то «отражено» немало.

Можно назвать и ряд по-настоящему радующих, талантливых книг. И это — отрадное свидетельство. Оно говорит о связи литературы с жизнью народа, страны, о том, что литература стремится внести свой вклад в строительство коммунизма. Но все мы заинтересованы, чтобы вклад был наибольшим...

Более тридцати лет назад, в середине двадцатых годов, Алексей Толстой, ратуя за создание крупных, монументальных произведений, справедливо упрекал своих собратьев по перу за то, что они хотят быть только летописцами эпохи. Подумайте о том, говорил он, что узнают о нашем великом времени потомки. Они из этих летописных книг узнают лишь факты, факты, факты, а мы, кто вершил историю, будем стоять в углах их комнат лишь немymi свидетелями происходившего. Эти слова представляются нам и сегодня чрезвычайно актуальными: оттенок летописности лежит еще на многих наших романах.

Сегодня мы на таком рубеже в своем бурном развитии, когда все острее и острее ощущается нехватка произведений, в которых были бы собраны не отдельные черты нашего развивающегося бытия, а сделана попытка взглянуть с исторического перевала на пройденный путь, дать панораму преодоленного горного хребта, вершин и долин, ущелий и взнесенных ввысь гордых пиков. Иначе говоря, пришло время, когда читатель ждет писателя-мыслителя, ждет романа, не просто воскрешающего пережитое, но объясняющего и художественно закрепляющего те события, которых мы были и являемся не столько свидетелями, сколько самыми живыми и активными участниками. Ведь каждый, в сущности, заметил, как многообещающе было начало романа Г. Николаевой «Битва в пути», какая глубокая, серьезная заявка была в первых главах и насколько все же мельче было все последующее в этом далеко не худшем, а, пожалуй, скорее даже лучшем из романов о современности.

Словом, мы говорим о максимуме. О максимуме, которого ждем от романа на современную тему. В нашей стране великих планов о литературе тоже следует рассуждать с «заглядом в будущее». Мы ждем романа, где была бы философия нашей жизни, крупные характеры, ставшие типами, романа, где была бы та полнота изображения, та пластичность образов, что отличает лучшие образцы социалистического реализма. Вот с этой точки зрения мы хотим рассмотреть и то, что мешает развитию романа, и то, как складываются уже черты этого нового романа в сегодняшнем творчестве наших писателей. Очевидно, это связано с некоторыми спорными вопросами в развитии нашей прозы.

## II

Мы сказали, что тенденция к социальному роману, с эпической полнотой осмысляющему действительность, — характерная черта нашей современности. Формирование такого романа сегодня происходит далеко не просто. Впрочем, если читать иные критические статьи, то создается впечатление, будто у нас всего благополучнее обстоит дело как раз с монументальной формой романа, что именно здесь достигнуты самые большие успехи нашей прозы «Начало эпопеи», «У истоков эпоса», «Наш советский



многоплановый роман» и т. д. и т. п.— подобно рода оптимистическими заглавиями пестрят статьи, посвященные разбору (или скорее восхвалению) конкретных произведений. Словом, есть критики, начавшие бить в большой барабан по случаю рождения новых форм монументального романа...

В этой связи стоит остановиться на некоторых статьях В. Назаренко. И совсем не потому, что он исповедует здесь наиболее крайние, «экстремистские» взгляды, а потому, что он, не ограничиваясь оценками отдельных произведений, попытался теоретически обосновать рождение новой, на его взгляд, плодотворной тенденции в развитии современного советского романа.

Так, в журнале «Звезда» № 8 за 1958 год опубликована его статья «Наш многоплановый роман». В ней утверждается, что за последние годы у нас сложился новый тип многопланового романа, представляющий определенное завоевание социалистического реализма.

В отличие, скажем, от таких романов, как «Тихий Дон», или «Хождение по мукам», или «Жизнь Клима Самгина», где пропорции «романа строятся так, что «сквозной» сюжет образуются судьбами и взаимоотношениями главных героев», новый многоплановый роман, как полагает В. Назаренко, отличается тем, что: «Историческое движение превращается в главный предмет повествования, исторические события образуют «сквозной» сюжет. А судьбы отдельных героев становятся эпизодическими картинками в движении романа». Критик видит в этом расширение художественных возможностей и даже «новую область литературного творчества». Здесь, по его мнению, «исторические понятия, политические категории становятся образами». Он утверждает, что введен в «практику новый вид романа, где социальные силы воплощаются в особом порядке суммарных образах».

Своеобразным развитием этого была далее статья того же автора «О хорошем вкусе» («Звезда», № 3, 1959). Тут В. Назаренко отстаивал и новый тип сюжета в романе: «...Возникает новая форма современного романа: романа с двумя сюжетами—сюжетом историческим и сюжетом личных судеб; романа, где современная история тесно связана с судьбами изображенных в книге людей, но имеет свой сюжет, существующий и помимо этих именно людей...»

Итак, суммируем: возник новый тип мно-

гопланового романа, где а) история — главное, а судьбы людей — лишь эпизоды, б) два сюжета — личный и исторический, в) политические понятия «стали образами» и, наконец, г) возникли какие-то новые, «суммарные образы». Мы не собираемся высмеивать терминологию В. Назаренко, больше того, мы предполагаем даже, что она в какой-то степени соответствует тем романам, на которые она опирается. Единственно, что требует разъяснения, — действительно ли перед нами новое завоевание социалистического реализма?

Советский многоплановый роман, роман широких социальных обобщений, тяготеющий к эпосе, имеет свою историю. Это история понсков, подчас заблуждений, больших и серьезных завоеваний. Когда мы говорим, что здесь родилось нечто новое, прогрессивное, надо, во избежание ошибки, отчетливо представлять весь многолетний опыт советского романа.

Первые наши романисты искали и новую художественную форму, и новый синтез личного и общественного, бились над созданием коллективного образа народа и образа героя — представителя широких народных масс.

Андрей Белый честно перешел на сторону революции, но его романы — свидетельство трагической, неразрешимой для этого художника антинормы между личностью и обществом. В романах Белого все деформировано в угоду субъективизму личности. Они — юродствующий вариант декадентской школы «потока сознания». Здесь историческое полностью растворилось в субъективном.

В романах другого попутчика революции — Бориса Пильняка — есть ощущение времени, но нет понимания его. Он видит хаос и воспеваает только хаос, а железная поступь революции остается неразличимой за белыми волнами метели. Антиисторизм и иррационализм всей эстетической концепции Пильняка завели его роман в тупик. Пильняк так и не смог создать адекватный эпохе роман о революции. Основу сюжета его романов составляет мелькание исторических событий, среди которых то вспыхивают, то угасают судьбы отдельных героев. Однако это отнюдь не стало завоеванием советского романа.

Романы Белого и Пильняка остались безуспешной попыткой привить советской литературе модернистский роман.

Иным, куда более плодотворным путем шли Малышкин (в «Падении Даира», книге, которую можно рассматривать как один из приступов к эпопее), Вс. Иванов, Артем Веселый, наконец, Серафимович. «Россия, кровью умытая» Артема Веселого — талантливейшие куски так и не сложившейся в одно целое эпопеи. Две вещи не дали Веселому: первое — отчетливое изображение поступательного хода времени, прокладывающего себе дорогу сквозь хаос случайностей, и второе — пластически завершенные характеры, истории индивидуальных судеб. Зато Веселому с необычайной живописной силой удалось дать многоликий образ революционного народа, буйную силу вышедших на бой масс — и это было действительное новаторство, это было действительно, говоря языком В. Назаренко, «суммарный образ». Дальше всех ушел и наибольшего успеха добился в этом направлении Серафимович в «Железном потоке». Он создал классический роман, в котором «суммарный образ» революционного народа полностью подчинил себе историю отдельных характеров. Но здесь нет никакого разрыва на два сюжета — исторический и индивидуальный, тут единый сюжет исторического события и развития главного образа — железного потока закаляющегося в битвах народа.

«Железным потоком» не исчерпывались поиски советских романистов в этом направлении. Наиболее близкий по времени пример — «Народ бессмертен» В. Гроссмана. Но нельзя не заметить, что преобладание «общего» над «индивидуальным», характерное для книг такого типа, не получило в нашей прозе широкого развития. И не потому ли еще, помимо всего прочего, столь великолепно «нашел себе форму» роман Серафимовича, что событие, положенное в основу, было, в сущности, небольшим эпизодом войны (недаром «Железный поток» иной раз называют романом-поэмой).

Шолохов, А. Толстой, Фадеев, Федин, Малышкин (в «Севастополе» и «Людах из захолустья») искали на иных путях — они стремились найти органический синтез «судьбы человеческой» и «судьбы народной», «личного» и «исторического», но именно синтез, а не параллельное «сосуществование». У Шолохова в первоначальном замысле «Тихого Дона» («Донщина»), судя по высказываниям автора, в центре были не личные судьбы героев, а события,

некие «суммарные образы», историческая панорама участия казаков в революции. Однако Шолохов отверг этот путь, отверг не только потому, как часто пишут, что ему хотелось рассказать, кем были казаки в прошлом, показать их пути к революции. Нет, на наш взгляд, он отверг и самую форму романа, где преобладали бы события над историей характеров, и избрал другую, более близкую к классической традиции, — избрал форму романа, где великие исторические события раскрываются через судьбы центральных героев, где индивидуальные истории характеров являются не эпизодом, а главным связующим элементом сюжета.

И у Шолохова и у Толстого нет двух сюжетов, исторического и личного, а есть один сюжет — раскрытие исторического смысла эпохи через судьбу человека. Нет принесения в жертву историческому сюжету личных судеб, а есть органическое их единство. Далось это не сразу. У Толстого после «Сестер» был явный «перекок в историю» в «Восемнадцатом годе» (кстати, в первой редакции романа это чувствовалось сильнее). Нечто схожее произошло и с Шолоховым — в третьем томе «Тихого Дона» история начинает порою брать верх над художником (странным образом это повторилось с С. Герасимовым при экранизации романа — вторая серия явно «перенасыщена» историей). Шолохов впоследствии сказал про это увлечение историей, что для него как художника «область хроникально-историческая — чужеродна». Четвертый же том — это высшая степень органического единства «личного» и «исторического». Можно сказать, что линия развития советского многопланового романа шла на слияние воедино истории и героя.

Есть периоды в развитии советской литературы, когда на первый план выдвигается «роман событийный», тогда как в других исторических условиях первенство переходит к «роману характеров». Несколько огрубляя, можно сказать, что у нас обычно «роман событийный» предшествует «роману характеров». Первые романы о революции и гражданской войне должны быть отнесены к «событийному» типу. Шолоховский же «Тихий Дон» — начало некоего нового этапа. Позднее, в романах об Отечественной войне, происходит тот же процесс: Гроссман сначала создает «Народ бессмертен», а много позднее — «За правое дело»;

этот пример, относящийся к творчеству одного и того же писателя, пожалуй, особенно нагляден... Нечто схожее увидим мы и тогда, когда обратимся к романам о труде. В эпоху первой пятилетки преобладают романы типа «Гидроцентрали», «Большого конвейера», «Время, вперед!»... В них господствует событие, широкая эпическая картина наступления социализма. «Люди из захолустья», «Танкер «Дербент» — книги, где в центре характеры, — появятся позднее.

Все это, повторяю, несколько огрублено, ибо не учитывается переплетение, параллельное развитие разных типов романа. Однако при всем этом нельзя не заметить, что к наибольшим завоеваниям нашей литературы относятся те произведения, где великие события эпохи раскрыты в органическом единстве с историей больших и глубоких характеров современников.

Ну, а книги, о которых пишет В. Назаренко, — являются ли они принципиальным обогащением многопланового романа? «Сотворение мира» В. Закруткина — одно из произведений, на которое опирается Назаренко. Роман действительно претендует на широкие исторические обобщения. В нем не только много героев, но они представляют самые разные социальные слои большинства стран Европы. Наряду с обитателями деревни Огнишанки мы встречаем тут Ленина, Пика, Воровского. Автор сталкивает нас далее с Гитлером, Савинковым, убийцей Воровского — Конради и рядом других деятелей международного лагеря контрреволюции. Действие происходит в Сибири и в Москве, в Женеве и Лондоне, в Мюнхене и Париже. Впрочем, все эти перечисления не передают специфики романа, ибо, в сущности говоря, действие происходит параллельно: в деревне Огнишанке (подробно, обстоятельно, даже неторопливо) и во всем мире (здесь уже бегло, торопливо, поверхностно). Тут действительно два сюжета, как пишет В. Назаренко, два параллельных сюжета, крайне слабо связанных между собой. Больше того — если хотите, тут два произведения: медлительное, художественно наиболее достоверное повествование о деревне периода революции и гражданской войны и параллельно идущий так называемый «исторический сюжет». Читая все эти главы, посвященные «большой истории», не можешь отделаться от ощущения какой-то их вторичности, даже когда речь идет о сравнительно удачных кусках.

Доходим, скажем, до описания похорон Ленина:

«У одного из костров ночью к Долотову подошел высокий военный в кавалерийской шинели, попросил папироску и хрипло заговорил:

— Кого хороним? А? Ленина! Разве ж думал народ, что Ленин может умереть? Я вот на четырех фронтах был, на виселице висел у дроздовцев, петлюровцы жгли меня раскаленными шомполами — звука не проронил, все выдержал. А тут не могу, сил не осталось!»

По содержанию этот отрывок не вызывает сомнений. Да, примерно так и должен был говорить в 1924 году бывший конармеец. И это, конечно, очень благородные, искренние чувства. Но дело в том, что тридцать пять лет назад была написана поэма «Владимир Ильич Ленин», и там было сказано именно о таких чувствах («Если бы выставить в музее плачущего большевика...»). Читая же Закруткина, воспринимаешь это место как прозаическое переложение уже известных нам с детства стихов... И так много раз: об исторических личностях сообщаются сведения общеизвестные, сами эти личности говорят цитатами из собственных статей — все движется на уровне пересказа. Роман распространяется вширь и вглубь, захватывает как будто бы очень большие пласты жизни, исторических событий. Но это мнимая широта. На самом деле перед нами иллюстрации к истории, не поднимающиеся до уровня искусства. Как только речь идет о фактах, событиях, которых автор не видел, — он терпит решительную неудачу. Перед нами вовсе не эпопея, и, право, незачем писать об «открытии новых творческих возможностей».

Нам приходилось слышать весьма высокую оценку нового романа Г. Коновалова «Истоки». Думается, что с такой оценкой можно поспорить, хотя роман и обладает рядом достоинств.

«Истоки» по своему строению несколько напоминают «Сотворение мира». Есть тут «личный сюжет» — история рабочей семьи Крупновых. Среди них и новаторы труда, и партийные работники, и дипломаты, и военные. Изображение семьи Крупновых — это лучшее, что есть в романе. Но он претендует на нечто более широкое. Вместе с отдельными представителями семьи Крупновых мы попадаем и в Москву, и в Берлин, и в Париж, присутствуем на дипломатиче-

ском приеме в имперской канцелярии при свидании Матвея Крупнова с Гитлером и т. д. Описывает автор и момент, когда в августе 1939 года был подписан договор о ненападении между Советским Союзом и Германией. Кстати, об этой сцене.

Матвей Крупнов тут «с глазу на глаз» с историей. Что же запомнил, что увидел герой, а вместе с ним автор? Ведь никто в художественной литературе еще не описал этого. Читаем:

«Сталин был спокоен и ровен, как человек, крепко уверенный в том, ...что правительство ведет политику, необходимую стране и народу. Его спокойствие заражало Матвея тем особенным ощущением полноты и целесообразности действий, которое бессознательно внушают другим творческие натуры, вызывая в человеке самые активные импульсы.

Когда договор был подписан, коленое лицо Риббентропа просияло самодовольством».

Это буквально все. Не будем придирается к штампованной фразе о «коленном лице», спросим о главном: что нового открыл нам писатель? Пожалуй, ничего. Перед нами газетная информация. Но ведь та, появившись впервые, обладает новизной факта. Наш автор многопланового романа только переписывал информационную заметку.

Само стремление к эпопее заслуживает всяческой поддержки. Привлекает в романе тенденция изображения героев в тесной связи с «большой историей», стремление раскрыть громадные внутренние силы советского общества накануне войны. Но ведь мало «благих порывов», нужно полноценное художественное решение.

Иногда встречаешь утверждение: хроникальность — достоинство советского романа. Нет! Глубочайшее заблуждение. «Клим Самгин» совсем не хроникален, так же как и «Дело Артамоновых», хотя историческая основа, строгое следование историческим этапам развития страны, тут выступает более «жестко», чем в других горьковских романах. Не хроникальный ход событий, а судьба героя — вот истинный двигатель шолоховской эпопеи. Исследователи выяснили, что Григорий Мелехов в последней книге, если строго следовать хронологии, может подпасть под амнистию. Шолохов, однако, не интересуется хронологией — он пишет трагедию, а не

летопись. И наоборот, аморфные романы, претендующие на мнимую «широту», — они как раз слепо привержены принципу хроники, они растут, «как трава растет», все движение сюжета их — только хронологическое нанизывание событий, они не имеют никаких границ, не имеют, по сути, художественной целостности, художественной формы. И у Закруткина и у Коновалова история не освоена эстетически, не раскрыта через «магический кристалл» художественного видения. Вряд ли это плодотворный путь для советского романа, вряд ли это движение вперед.

Мы за всемерное развитие романа широких социально-исторических обобщений, за подлинную эпичность в духе лучших образцов социалистического реализма. Но не следует поднимать на шит малоудачные попытки — этим мы можем лишь сбить романистов с верного пути.

Писатели ищут. Поиски эти безуспешны. В связи с этим мы назвали бы «Сильнее атома» Георгия Березко. Автор создал роман о сегодняшней жизни нашей армии, что уже само по себе вызывает большой интерес, ибо это почти не разработанная тема. Произведение умное, остроконфликтное, радующее художественными находками, хотя и неровное. Пожалуй, главная удача романиста — новое и свежее решение проблемы взаимоотношений личности и коллектива. Два героя, стоящие на противоположных концах лестницы армейской субординации, вступают в конфликт с коллективом: рядовой Воронков и генерал Парусов. Они как будто ни в чем не сходны, скорее различны — солдат-первогодок и удачник генерал. И «выламываются» из армейского коллектива они тоже, так сказать, «сугубо индивидуально». Возвращение их в коллектив тоже разное: если Воронков уже начинает «притираться» к товарищам, то «излеченные» Парусова — дело затяжное, быть может и несуществующее. При всем, однако, индивидуальном отличии этих судеб тут две разновидности одной болезни — начальная и конечная стадии индивидуализма в его современном облике. Березко поднял серьезную моральную проблему, и — что главное — ему удалось показать большую духовно-этическую силу социалистического коллектива, его, если можно так выразиться о коллективе, «душевное здоровье», огромные исцеляющие возможности.

«Сильнее атома» интересен и другим. Этот роман, не претендуя на звание эпопеи, в то же время выходит за рамки, так сказать, «гарнизонного повествования», здесь видны попытки найти новые формы для рассказа о времени и эпохе.

Речь идет о набранных курсивом авторских отступлениях в конце главы. Дос Пассос! — слышатся голоса скептиков. Сходство есть. Но внешнее. У Дос Пассоса каждую главу завершал калейдоскоп мировых событий. Мозаика из телеграфных сообщений, газетных заголовков, отрывков и заметок репортеров выглядела хаотическим потоком событий, в которых нельзя уловить логики и закономерности. Скорее даже наоборот — эти отступления Дос Пассоса подчеркивали бессмыслицу и нелепицу жизни, окружающей его героя.

В романе Березко поначалу даже неприятно настораживают эти стихотворения в прозе: о земном шаре, об атомной угрозе, о надеждах людей, о солдатской науке и о многом-многом другом, чем живет великий и суровый двадцатый век. Но постепенно автор начинает побеждать эту нашу настоятельность.

В этих отступлениях не пересказ учебника или газетных информационных, не исторические банальности, здесь — пусть не во всем удачная — попытка художественно осмыслить историю. И нет никакого хаоса, как у Дос Пассоса. Через всю сложную сумятицу мировых явлений — в этих лирических отступлениях видно поступательное движение «большой истории». Весьма просто взять редакторский карандаш и вычеркнуть все эти отступления. Основная сюжетная линия сохранится, все останется, но потеряется, на мой взгляд, поэтическая душа романа, поэтическое видение истории.

В романе думы армейской молодежи и мысли пожилых людей, которые чувствуют ответственность за эту молодежь, переплетены с проблемами, которые волнуют все человечество. Роман Березко, при всех его слабостях (некоторой «пресности» языка, шаблонности отдельных образов), ценен тем, что здесь есть попытка найти некий современный синтез судьбы личной и судьбы исторической. И право же, над этим стоит задуматься.

### III

Серьезнейшая опасность для нашей прозы — преобладание описательности над изобразительностью, некий новоявленный натурализм, выражающийся в неумной страсти к регистрированию всего, что попадает в поле зрения романиста, нездоровая «полнота» многих наших романов, отсутствие контроля над формой.

Пушкин когда-то шутливо заметил: «Роман требует болтовни; высказывай все начисто». Это была шутка гения, в которой, однако, схвачена художественная особенность романа, его обстоятельность и подробность.

Но ужасно, когда шутку начинают понимать всерьез, прямолинейно. Пожалуй, один из наиболее опасных и разъедающих нашу прозу недостатков — это многословие, это ничем не сдерживаемое стремление идти вширь, приводящее к потере чувства формы, чувства художественного целого. Как часто страдаем мы от романов, в сущности не имеющих конца, представляющих собой не стройное архитектурное целое, а некую колбасу, которую можно начинять бесконечным количеством словесного фарша. В подобной мнимой широте произведения привольно чувствуют себя бездарности, они создают некие подобия романа, захламляющие книжный рынок и портящие вкус читателей.

Анекдотическим случаем явился выход книги Б. Иванова «Даль свободного романа». В свое время немало издевались над попытками американских книгоиздателей создать некие вытяжки из книг, превратить «Анну Каренину» в брошюрку сорокастраничного формата, сократить «Мадам Бовари» до тридцати страниц и т. д. Б. Иванов, наоборот, не устраивала краткость «Евгения Онегина». Если Пушкин счел достаточным сказать о юном Онегине: «Сперва Madame за ним ходила, потом Monsieur ее сменил», то Б. Иванов восполнил пробел и отвел мадам уже несколько страниц, а мсье — добрый печатный лист. Фантазия Б. Иванова разыгрывается: мсье обучает юного Онегина многому, в том числе и тому, как поразить сердце четырнадцатилетней девочки. Затем идут советы юноше на тот случай, если зрелая женщина обратила на него свое благосклонное внимание... «Болтовня» романиста не знает никакого удержу. Роман все растет и растет, пушкинское творе-

ние окончательно тонет в мутных водах посредственности. Но по видимости — все как надо:

И все похоже, все подобно  
Тому, что есть или может быть,  
А в целом — вот как несъедобно,  
Что в голос хочется завывать.

Он, этот роман, всецело в русле довольно распространенной и пагубной тенденции описательного натурализма. Существо этой тенденции — рабское копирование событий и фактов действительности, уныло-фотографическое их воспроизведение в утомительной последовательности, примитивно понятый принцип правдоподобия и при этом отказ (а чаще — неспособность) художнически освоить, познать мир. Если, скажем, романист этого толка описывает своего героя в купе поезда, то обязательно перед нами будут обстоятельно-скупные описания всех трех его спутников (хотя они совершенно не нужны для главной идеи), если повествование касается прошлого — сообщается почти вся анкета, если встречаются влюбленные — их диалог полон несущественным, случайным, невыразительным и т. д. и т. п. А за всем этим мелочным «правдоподобием» нет ни свежей мысли, ни собственного, личного художественного обобщения, ни по-настоящему нового характера... И так не только в каких-либо из ряда вон выходящих книгах типа романа Б. Иванова, посвященных прошлому, — так, к сожалению, и в некоторых романах о наших днях.

Раскрываем страницы нового романа Дм. Еремина «Семья» («Нева», №№ 8, 9, 1959) и попадаем не столько в семью замечательных советских тружеников, как уверяет нас автор, сколько в море бесчисленных вялых описаний, на необозримые просторы авторского многословия. Сначала нас поражает тринадцатилетний философ — мальчик с женским именем Тося. Его мать наградили орденом «Мать-героиня», а в больнице лежит больная жена старшего брата. Юный Сократ изрекает: «Такова диалектика жизни. Радость и горе — рядом...» Несколько позднее он покупает матери в подарок книгу «Мать и дитя», и его «процесс мышления» изображен так: «Вот странно! — внимательно разглядывая книгу в магазине у прилавка, впервые в жизни подумал Тося с непривычным, может быть даже несколько снисходительным интересом

к своей многолетней матери. — У меня, например, нет никакого «непреодолимого стремления к материнству». А у мамы — оно есть! Это потому, что она женщина. А я мужчина...»

Не будем коллекционировать подобные анекдотические нелепицы. Роман «Семья» примечателен всей, так сказать, манерой повествования. Автор любит, едва показав нам нового героя, совершить тут же пространственный экскурс в его прошлое. Но до чего же скучны, до чего невыразительны эти справки из авторского «отдела кадров!» «Как боец революционной дружины, созданной на заводе по типу краснопресненских рабочих дружин еще в июле 1917 года, в ночь на двадцать шестое октября Николай Ильич принимал активное участие в очистке Александровского вокзала от охранников Временного правительства, от эсеров и всякого рода чуждых революции людей... Николай Ильич в эти трудные дни много ездил, почти не отдыхал и спал не раздеваясь. Когда наконец он попал на десятые сутки домой, голенища сапог пришлось разрезать ножом, — так сопрели и распухли ноги. Однако в те Октябрьские дни, как и позднее, он испытывал прилив удивительной энергии». Романист превратился в род магнитофона, записывающего все подряд, что слышит, регистрирующего случайные факты. Родилась и своя поэтика. От нее и газетный штамп: «дружины по типу краснопресненских дружин»; «от эсеров и всякого рода чуждых революции людей»... От нее и «соплевые ноги», не угасившие «прилив удивительной энергии»... Вот он, унылый и педантичный, многословный и нехудожественный стиль современного натурализма. И, конечно же, он органически противопоставлен роману социалистического реализма.

О вреде описательности теперь пишут все чаще. Можно только присоединиться к статье Ю. Константинова «Беды описательства» («Новый мир», № 10, 1959). В ней много убедительных примеров. Справедлива мысль автора, что описательство — категория качественного порядка». Ю. Константинов прав и в том случае, когда говорит, что «описательство — всегда ошибка идейного отбора, оно плод пороков отбора, и его результат может сказаться и в замысле, и в фабуле, и в сюжете, и в лирических раздумьях автора...» Конечный вывод критика — «эстетическая почва описательства — натурализм».

Да, натурализм! Он не имеет в нашей литературе, что называется, благоприятных условий для своего развития, немислимо, чтобы у нас кто-то стал разрабатывать и утверждать эстетическую программу натурализма, его принципы, основал бы, скажем, журнал «натуралистов» и т. п. Но подобно тому, как в жизни нашего общества старое, прикинувшись новым, иной раз умудрится просуществовать какой-то отрезок времени, — так и натурализм, загромоздившись под реализм, нет-нет да и прорастет таким сорняком. Надо решительно усилить борьбу с оживлением натуралистических тенденций. Ибо речь идет не только о поэтике романа, о его стиле, наконец, не только об описательстве. Натурализм называется и в другом.

Бескрылое описательство — следствие позиции автора, когда вместо высокой идейной точки зрения он становится на убогую «кочку зрения». Натурализм лежит в основе литературы собственно-мещанской, воистину антиобщественной и исподволь, ползком, нет-нет да и просачивающейся на страницы журналов. Ведь недаром Л. Соболев на Первом учредительном съезде писателей Российской Федерации говорил о том, что «парфюмерный запах будора то и дело пробивается из прошлого в наши романы».

Несколько лет назад скандальную известность приобрел роман Ксении Львовой «Елена». Это было поразительное соединение невообразимо пошлых описаний томлений героини, адюльтерных переживаний, мелодраматических ситуаций с мнимо «идеологическими» страницами, заполненными наивными рассуждениями о диалектическом материализме. Это последнее — слабая надежда загромоздить нечто вербичкообразное под нечто современное... Увы! Если бы этот роман остался единичным «литературным происшествием»!..

Литература подобного типа весьма живуча и при попустительстве критики может распространиться, как сорная трава у нерадивого садовника.

«Семейная тема» в ряде случаев упорно решается самыми разными авторами удивительно убого, мелко, с мещанских позиций. На трехстах пятнадцати страницах тянется нуднейший рассказ о мелких дрызгах, ссорах и драках между мужем и женой, о судебном заседании по делу о разводе и т. д. и т. п. в романе Анатолия Димарова «Его

семья». Герой книги — коммунист, журналист Горбатюк. В перерывах между сценами ревности и т. п. он что-то делает в редакции, но все это несущественный «гарнир» к главному — семейной трагедии кухонного масштаба. Дело даже не в низком художественном уровне произведения. Таких книг, в которых явственно ощутима тенденция ухода в мир «малых» и, точнее, склочных дел, в которых этот склочный мир полностью заслоняет нашу современность, подлинную героиню, «дум высокое стремление» наших современников, появилось, к сожалению, немало.

Особенно огорчительно, когда молодежный журнал отдает дань тому же пагубному поветрию. Мы имеем в виду повесть М. Никулина «Ксения Ильина», напечатанную в «Молодой гвардии» (№ 7, 1958). Читатель получил «жалостную» историю обманутой обольстителем девицы. Автора умиляет благородство его героини. Но она на поверку — существо жалкое, лишенное элементарной гордости. Поистине анекдотичны мучения этого новоявленного Вертера в юбке... И эту-то пустынную мещаночку, чьи желания и помыслы короче воробьиного носа, выставляют как героиню наших дней?!

Иные возражают: стоит ли ломать копыя из-за явно плохих книг?.. Возможно, добавят: это, дескать, не литература... Подобное высокомерие близоруко: оно не дает увидеть тенденций, чуждых нашей литературе, тенденций, которые в этих посредственных произведениях выступают с той законченной отчетливостью, какую не встретишь в других внешне «благополучных» произведениях. Натурализм — антипод социалистического реализма, так же как мещанская литература — антипод нашей коммунистически-гражданственной, глубоко партийной, подлинно народной литературы.

Натурализму, пошлости легче пробиться тогда, когда критики, которые должны стоять на страже высокого уровня литературы, отступают от высоких принципов социалистического реализма, снижают критерии художественности.

Горький рассказывает, как Ленин, весьма положительно оценивший нужность, полезность страстной книги В. Зазубрина «Два мира», счел необходимым добавить: «Конечно, не роман». Эти слова сегодня приобретают особо важный смысл. Ленин отказывал в звании романа книге, где был живой, правдивый, политически очень нужный

рассказ о колчаковщине. Меж тем «Два мйра» куда более «роман», чем иные современные вялые «событиеописания». И не стоит ли нам лишний раз задуматься, прежде чем называть романом то, что находится лишь в троюродном родстве с художественной литературой? Не стоит ли еще и еще раз вспомнить строгий критерий Ленина?

Конечно же, нельзя сводить признаки романа только к объему, хотя порой, вчитываясь в иные статьи, думаешь, что только этот критерий и был на уме у их авторов. Не может быть единственным критерием и только соответствие жизненной правде, хотя это первейшее условие. Недавно вышла волнующая книга генерала Н. Попеля «В тяжкую пору» — правдивый рассказ о первых боях наших танкистов летом сорок первого года. И хотя «В тяжкую пору», равно как и «На западном направлении» маршала А. Еременко, читаются как «романы», но они не являются ими. «...Правда, — писал Добролюбов, — есть необходимое условие, а еще не достоинство произведения. О достоинстве мы судим по широте взгляда автора, верности понимания и живости изображения тех явлений, которых он коснулся». К сожалению, нередко мы довольствуемся тем, что с грехом пополам находим лишь одно это условие...» Меж тем широта взглядов автора, его индивидуальное художественное видение мира, его личное, неповторимое художественное познание жизни делают правдивую запись событий фактом искусства. Не странно ли, больше — не тревожно ли то обстоятельство, что в критических статьях (скажем, у того же В. Назаренко, да и не только у него!) художественное видение мира в «Сентиментальном романе» Пановой рассматривается как достоинство третьестепенное или даже третьесортное. Назаренко так и пишет, что в «Сентиментальном романе» якобы «преобладает элемент развлекательный над элементом художественно-познавательным». Мы ни в малейшей степени не хотим ограждать от критики «Сентиментальный роман». Однако тревожит исходный принцип: произведение ценится только за его познавательное значение, а критерий познавательности (сам по себе чрезвычайно важный) толкуется нередко в высшей степени примитивно — роман, оказывается, тогда удался, если в нем еще раз подтверждены вещи, уже известные. Все мы стоим на том, что первейшее, с чего начи-

нается оценка произведения искусства, — это его соответствие жизни. Но ведь это не правда документа, не моментальная фотография и не правда науки, а опирающаяся на правду жизни правда искусства. Меж тем то, что делает роман искусством, художественным познанием мира, «поэтическим анализом общественной жизни» (анализом, конечно, но ведь поэтически м же!), — все это нередко отсутствует в оценках критиков. Происходит тот отрыв идейности от художественности, о котором столько пишут в последнее время.

В подлинном произведении искусства объективная истина выражается в художественных образах, то есть общее тут раскрывается через неповторимо индивидуальное. Единство картины мира в романе или в произведении другого жанра выступает как единое художественное видение данного писателя. Если романист не обладает таким художественным видением, то нет и романа, — в лучшем случае будет пухлый том, о котором еще Лев Толстой иронически отзывался: диссертация в виде романа. Неплохо было сказано: чтобы сеять солнце, надо носить его в себе. Появление романов-банальностей свидетельствует, что авторы их берутся за непосильное дело, у них нет внутри «солнца» поэзии, и никакие «заменители» тут не помогут.

Первейшим и обязательнейшим достоинством научного эксперимента является его воспроизводимость: если опыт нельзя повторить, значит нет и научного открытия. В противоположность научному эксперименту произведение искусства неповторимо. Нельзя написать второй «Тихий Дон», вторую «Лунную сонату», вторую «Девочку с персиками». Нельзя и просто не нужно. Рабски подражая, усердно и кропотливо работая, можно создать неплохую ремесленную копию. Но ремесло есть ремесло, а не искусство.

И тут снова придется напомнить одну из «Даль свободного романа» Б. Иванова. То, что эта книга получила путевку в жизнь, удостоилась даже одобрения некоторых известных литераторов, — сигнал о том, что теряются четкие критерии искусства, что они подменяются критериями ремесленничества, ибо только с позиции ремесленника (и грубого!) можно додуматься до создания «второго «Евгения Онегина»!

Чтобы успешно двигаться вперед, созда-



вая великую литературу коммунизма, надо подходить к созданному с критерием той высокой цели, что стоит перед нами, надо трезво и по-деловому разобраться в том, что мешает развитию нашего романа. Нельзя мириться с подменой искусства ремеслом, проявлениями натурализма, с плоской, лишенной самостоятельной мысли иллюстративностью. Борьба за высокую идейность и столь же высокое художественное совершенство, их нераздельное и органическое единство — важнейшая задача дня.

#### IV

Где же проходит главная линия развития сегодняшнего советского романа о современности? Она, конечно, в тех книгах, которые вызвали за последние годы наибольшие споры. Она, эта линия, в произведениях, дающих и ответ на вопрос: каков стал советский человек сегодня? Она, эта линия, в романах и повестях, смело преодолевающих иллюстративность и описательность.

Мы не будем снова возвращаться к оценке «Битвы в пути», «Сентиментального романа», «Братьев Ершовых», «После свадьбы» — романов, о которых было сказано столь много, что вряд ли стоит прибавлять к написанному еще одно мнение.

Эта острота споров вокруг названных романов, это обилие критических выступлений, в сущности, глубоко закономерны. Мы находимся на большом историческом перевале перед вступлением в коммунистическое общество. Время, которое мы переживаем, ознаменовано такими крупными вехами, как XX и XXI съезды КПСС, огромнейшими плодотворными изменениями во всех областях советской жизни. Это период интенсивнейшего роста личности строителя коммунизма, дальнейшего усиления его творческой исторической активности. Повышение гражданского самосознания, личного чувства ответственности (коммунистического! партийного!) за общее дело и за свое личное в нем участие, активизация всей общественной жизни, резко возросший интерес к проблемам новой, коммунистической морали — вот неполный перечень тех существенных черт нового, что вошло в нашу жизнь за последнее время.

Современник первых межпланетных полетов, покорения атома, участник развернутого строительства коммунизма ведет борьбу за воспитание человека будущего. Поэтому

так вырос интерес к вопросам морали — в жизни и в литературе. Родается гармонически развитая коммунистическая личность, и писатели призваны всемерно способствовать рождению человека будущего. Страстная, остро полемическая постановка проблем морали отличает самые разные произведения — и те, которые посвящены сегодняшнему дню, и те, которые повествуют о днях отошедших: «Судьбу человека» Шолохова и «Жестокость» Нилина, «Дом на площади» Казакевича и «После свадьбы» Гранина, «Последние залпы» Бондарева и «За бегущим днем» Тендрякова...

Многое в решении этих проблем еще не определилось в жизни, многое только нарождается, вырисовывается, конкретные черты до конца еще не ясны. Отсюда острота споров, отсюда, может быть, поспешность и фрагментарность в тех произведениях, которые находятся на переднем крае борьбы за человека будущего.

Уже стало штампом выражение «очерк — разведчик будущего». Но попробуем до конца расшифровать смысл этого понятия. Разведчик новых пластов жизни? Да! Нового содержания? Да! Но ведь очерк — явление искусства, значит, он разведчик и новой художественной формы, разведчик самого типа художественного повествования!

Те плодотворные явления в нашей литературе, что возникли на рубеже 1954—1955 годов, справедливо связывают с появлением очерков Валентина Овечкина и ряда литераторов, вставших в аналогичном духе. Поэзия большевистского преодоления трудностей составляла главный пафос этих очерков, особый пафос — необычайно конкретный, деловой, с точным адресом в постановке актуальной жизненной проблемы. Герои этих произведений, люди дела, способные преодолеть любые трудности, интересны для читателя, так сказать, «дельной», активной стороной своего характера. Эти большевики, партийные и беспартийные, сталкивались с очень острыми, полчас большими вопросами современности, пытливы, в борьбе, в раздумьях и сомнениях искали и находили пути исправления недостатков. Главная художественная особенность очерков Овечкина, Тендрякова, Залыгина — подчиненность всей образной системы той жизненной проблеме, которой посвящен очерк. Характеры героев должны помочь нам уяснить, так сказать,

психологическую сторону данной проблемы. Мартынов и Борзов у Овечкина, Башлаков у Залыгина, Чупров у Тендрякова — эти персонажи оценивались и раскрывались писателями не столько сами по себе, но главным образом в процессе разрешения злободневной проблемы. Поэтому спор, диспут, пытливое страстное размышление, наконец, даже просто записная книжка героя с его полными острейших вопросов жизни заметками — вот основные «обстоятельства действия» в этих очерках. Тут и сила и слабость этих произведений, но в этом прежде всего их своеобразие.

По пути, проложенному очерком, пошел затем роман. Он стал напоминать этот страстный очерк, помогавший рождению нового в жизни. Всего нагляднее это видно на примере таких произведений, как «Золотое кольцо» М. Жестева — своеобразнейшего романа-очерка. Напрасно очеркисты упрекают Жестева в нарушении «чистоты жанра» — ревнителей канонов всегда посрамляет живое развитие искусства. У Жестева родилась некая «гибридная» форма — роман-исследование. Меж тем тенденция к такому тиду романа характерна для многих произведений последнего времени. Происходит симптоматичнейшее для наших дней «скрещивание» романа и очерка. Оно очень важно, ибо в этом процессе заложены новые возможности.

Весьма своеобразной и в то же время очень показательной для нынешнего дня представляется мне «Ледовая книга» Юхана Смуула. Конечно, это не роман, у нее совершенно конкретный, деловой подзаголовок: «Антарктический путевой дневник». И это действительно дневник, начатый 30 октября 1957 года, когда в порту Калининграда еще стоял дизель-электроход «Кооперация», на котором должен был отправиться в далекий антарктический рейс писатель. Кончен дневник 17 апреля 1958 года на борту теплохода «Победа», плывущего в Бейрут... Но это гораздо больше, нежели честный, талантливый репортаж. В непринужденной, свободной форме, равно далекой и от аморфности «мнимых эпопей» и от железной стройности классических образцов, Смуул ведет повествование «о времени и о себе». Здесь действительно превосходные картины простого, очень будничного и очень героичного повседневного труда наших пионеров Антарктиды. Причем картины-размышления, подчиненные главной проблеме

книги, проблеме, которую можно сформулировать: место советского писателя в сегодняшней жизни советских людей.

«Пройдет год-два. И однажды наступит тот грустный день, когда у тебя не будет ладиться работа, когда на душе станет пасмурно и тоскливо. И тогда вдруг перед твоими глазами возникнет камбуз Комсомольской со своими нарами, медными кастрюлями, дымящимся кофейником, спокойным освещением и этими четырьмя парнями вокруг стола. Ты увидишь задумчивую улыбку Фокина, увидишь Морозова, этого гиганта с детским голосом и замасленными руками, для которого этот дом кажется слишком маленьким, увидишь юное лицо Иванова и, наконец, увидишь Сорокина, который, встав у стола, размахивает ножом и спрашивает, правда ли, что у него фигура Ива Монтана. И удовлетворение на его лице после того, как ему ответят, что он «скорее коротенький и толстый, как Наполеон». Я знаю, что увижу их не такими, как сейчас, и все же это будут все те же сильные люди среди белых снегов, которые прикажут мне по тому же праву, по какому распоряжаются писателем его внутренние резервы:

— Не пищать! Долг есть долг!»

Этот отрывок — словно кристаллик, который, как бы он ни был мал, повторяет своей формой, всем своим строением всю породу. «Ледовая книга» в целом и есть вот такое непосредственное, как в приведенном отрывке, умное, страстное размышление о времени, о героических людях, о месте писателя в общем строю.

У Юхана Смуула есть превосходные мысли о болевом пороге. Емкий медицинский термин, означающий индивидуальную степень восприимчивости боли, эстонский писатель соотносит с литературой: «Это выражение вполне применимо не только в медицине, но и в общественной жизни, оно один из главнейших советчиков и руководителей общественных и государственных деятелей. Порог этот есть у всех нас, но вышина его бывает различной, — у эгоистов и бездушных карьеристов она высока, у людей чутких, отзывчивых — низка».

Дальше у Смуула сказано еще лучше:

«Я считаю, что у писателя может быть тысяча всевозможных недостатков и это еще не мешает ему быть писателем. Но если ему недостает таланта и если у него высокий болевой порог, то дела его безна-

дежны»... Саркастически издевается Смуул над теми, кто отсутствие таланта и ожирение мозга порой очень ловко скрывает нападками на социалистический реализм, якобы сковывающий свободу творчества. Эти люди всю жизнь занимаются процеживанием грязи, и, «если бы случилось чудо и всемогущим декретом были бы ликвидированы однажды все грязные задворки в жизни и в людских душах, этот несчастный остался бы без хлеба и без гонимых, ибо творческая почва под его ногами превратилась бы в прах. И как бы ловко подобный товарищ ни прятался за бородой Маркса, все ж таки видишь, что он смотрит на наши недостатки как на средство существования и что его болевой порог стал угрожающе высоким. У нас, писателей, болевой порог должен быть невысоким по отношению ко всему вокруг, что болит и вызывает боль... Тогда мы, правда, скорее изнашиваемся, раньше седем, тогда в нашей жизни нет подлинного покоя, но жить иначе нет смысла».

Эти прекрасные слова относятся не только к талантливой и глубоко человеческой книге Смуула, они относятся ко всей лучшей части нашей литературы.

Конечно, «Ледовая книга» не роман, но она нечто новое и весьма характерное для современной, исполненной поисков стадии развития нашей прозы, если брать истинно талантливые книги, оставляя в стороне ремесленные. Она в том же ряду, что и замечательный «Поход за Невскую заставу» Ольги Берггольц. В «Ледовой книге» нет обычного «романного» сюжета, обстоятельно выписанных образов, тем более нет в ней историй характеров. И при всем том это очень цельное произведение, оно не столько «событийное», сколько «человеческое», ибо единство достигнуто тем, что в нем присутствует один характер, необычный, привлекательный, очень и очень современный. Этот характер — страстный, партийный, влюбленный в нашу советскую действительность — сам автор.

«Ледовая книга» — это размышления не только о времени, о писателе, но и о будущих путях нашей прозы, пожалуй даже это сборник эскизов для будущего романа, непринужденного, смелого по форме, насыщенного мыслью. Другие книги — больше «собственно» романы по многим признакам, но, быть может, в «Ледовой книге» острее выявилась «походность» нашего современ-

ного романа, который сейчас уже не столько событийен, сколько проблемен.

И в тех книгах, где меньше «от очерка», а больше от «собственно романа», как характернейшая черта времени выступает стремление к проблемности. Более того — одной или нескольким проблемам подчинена вся художественная структура, движение характеров, сюжет. Сложился некий особый тип романа, условно говоря «роман-проблема», «роман-полемика», «роман-исследование».

В последнее время к таким романам прибавились «Орлиная степь» М. Бубеннова и «За бегущим днем» В. Тендрякова. «Орлиная степь» открыто (подчас даже в ущерб художественности) полемизирует с пьесой Н. Погодина «Мы втроем поехали на целину», отстаивая свое более патетическое, хотя и не лишнее подчас риторичности понимание современной героики.

В. Тендряков начинает как будто бы традиционно — с истории характера главного героя. Но только до известного этапа. Написав остро полемическую часть о неудачливом художнике (здесь довольно явственно просвечивает авторская непримиримость ко всякой посредственности и ремесленничеству в литературе), Тендряков, едва доведя своего героя до должности школьного учителя, превращает роман в развернутый диспут о проблемах коммунистического воспитания. И тут писатель гораздо меньше заботится о характере и гораздо больше о проблеме, им поставленной. Если, скажем, появляются в романе старший и младший Поярковы, защитники традиционного взгляда на воспитание, то они интересуют автора только с этой точки зрения, только как рупоры определенных идей, а вовсе не как пластически законченные фигуры.

Но так не только в последнем романе Тендрякова — такова некая общая тенденция современного романа. Самое интересное в «Раздумьях» Ф. Панферова — не сомнительного вкуса любовные «томления» героев, а совсем другое. Как ни парадоксально, но наибольший эмоциональный отзвук в сердце читателя вызывает в «Раздумьях» как раз то, что можно было бы назвать сухим научным термином — «экономические проблемы». Ибо здесь и серьезные размышления о жизни и заботах народных, тут и наиболее впечатляющие картины, тут и истинно гражданский пафос.

«Живые и мертвые» Константина Симоно-

ва — «еще один» роман о минувшей войне. Одни находят в нем стремление к широкому панорамическому изображению событий, в отличие, скажем, от «Пяди земли» Г. Бакланова, другие — историю одного героя на войне, третьи не удовлетворены как раз этим «сквозным» героем... Каждый из спорящих может привести много аргументов в защиту своей позиции, но главное в том, что «Живые и мертвые» — отнюдь не повторение написанного о войне и с этой точки зрения вовсе не «еще один», а свой, пусть спорный, пусть в чем-то и ошибочный, но собственный взгляд на прошедшую войну, на первый ее период. Можно говорить, что те или иные образы не удалось Симонову, упрекать его за язык, за многословие, можно (и нужно!) спорить с отдельными выводами автора, объясняющего причины наших поражений летом сорок первого года, — но совершенно очевидно, что перед нами произведение, где писатель стремится идти непроторенной дорогой. И проблема доверия к людям в условиях нашего социалистического общества, и острый вопрос о недооценке опасности гитлеровского нападения, и проблема соответствия военного руководителя своему положению, проблема, данная у Симонова подчас в трагических обстоятельствах (история генерала Козырева), — это и многое другое как раз и составляет идейно-художественный костяк романа.

Куда больше претензий, чем к «Живым и мертвым», можно предъявить к повести Г. Медынского «Честь» — за растянутость, вялость, нечеткость образов и за многое другое. Однако «Честь», на мой взгляд, выше ряда описательно-иллюстративных книг, ибо в ней есть выстраданная автором жизненная проблема, есть никем до Медынского с такой силой не поставленный конкретный жизненный вопрос, волнующий тысячи людей.

Борьба против описательства, бездумности, против книг, лишенных и намека на первооткрытие, — это важнейшая тенденция развития нашего романа. Она проходит во всех видах и жанрах романа, даже в таком неожиданном, как фантастика.

За последние два года у нас появились буквально десятки фантастических романов. Читатели уже слетали не только на Луну, Венеру и Марс, но и за пределы Солнечной системы — в созвездие Альфы Центавра и даже на окраину Галактики, в неслыхан-

ные дали Туманности Андромеды. Мы прочли и о том, как на Землю прилетели посланцы неведомых миров. Словом, космос освоен «туда и обратно». Мы прочли и о разных неслыханных изобретениях, начиная от замысловатых бытовых приборов из романов В. Немцова до труднодостижимых, в духе теории Козырева, могучих «двигателей времени». Уже даже народился «средний набор» штампов для изображения экзотических «типических» обстоятельств: набежки световых лет, фотоны, всех цветов радуги кожа людей с неведомых планет, любовь в космосе, аварии звездолетов, утечка звездного горючего, неведомое Нечто, хватающее неизвестно чем отважных астронавтов, и т. д. и т. п.

Но, хотя авторы поражают читателя одной «фантазией» за другой, трудно отделаться от ощущения перепева, неких вариаций на уже известную тему. При всей «фантастичности», внешней устремленности в будущее ряд романов — вовсе не «первооткрытия», а своеобразные иллюстрации к давно известным идеям и сюжетам.

Самый «свежий» пример — «Планета бурь» А. Казанцева. Вот это и есть «еще одно» межпланетное путешествие. И все эти очередные похождения героев в борьбе с природой, с чудовищами (странным образом фантазия автора обращена не вперед, а назад: оказывается, на Венере обитают химеры из старинных народных сказок — Змей-Горыныч и пр.), соревнование советской и американской экспедиций, всяческие «ужасы» с роботами, вездеходами и т. п. — все это удивительно не ново, оказывается лишь перелицовкой читанного. Особенно же удручающе изображены там наши современники, первые космонавты. Это на редкость серые, тусклые люди. И уже приходилось слышать грустную шутку: когда на Марс прилетят герои наших фантастических романов, то марсиане будут поражены блеском земной техники и огорчены невыразительностью облика людей Земли, сочиненных нашими фантастами.

А между тем у нас небольшая, но отличная традиция в фантастике В «Аэлите» Алексея Толстого покоряют ярко очерченные характеры Лося и Гусева, наделенные выразительными, резкими чертами времени.

И не случаен успех, выпавший на долю романа И. Ефремова «Туманность Андромеды». Прежде всего перед нами настоящий и редкий талант — талант писателя-фан-

таста. Плодотворен и перспективен избранный им путь. Автор пытается понять психологию человека будущего. И пусть вызывают улыбки забавная терминология автора «Туманности Андромеды», надуманные имена, ряд наивностей, но при всем этом главное в романе — мечты о коммунистическом обществе, проблемы науки, искусства и морали будущего — не может не породить у читателя самого живого интереса. «Туманность Андромеды» говорит нам о человеке в фантастических обстоятельствах, а не только о фантастике самой по себе. Вот почему нам кажется, что «Туманность Андромеды» лежит на основных путях развития советского романа.

Ефремов создал настоящий роман-утопию, запечатлел в нем свои выношенные представления о грядущем. Они, эти представления, опираются, конечно, на предвидения марксизма-ленинизма, на опыт строительства социализма, на сегодняшнюю науку, но это не его, Ефремова, поиски, самостоятельные, творческие, далеко не бесспорные, но в высшей степени плодотворные.

Идущий в самых разных жанрах литературы процесс решительного (подчас запальчивого!) преодоления описательности и иллюстративности — самая обнадеживающая тенденция нашей прозы. Однако надо видеть как положительные, так и отрицательные стороны процесса.

В романах, о которых идет речь, есть и сюжет и характеры, есть история характеров, но главенствующим, определяющим выступает в большинстве случаев конкретная проблема, как то было в очерке. Создается впечатление, что писатели больше заботятся о смысловом, а не об эмоциональном наполнении образа, стремятся скорее придать характерам своих героев определенную идею и столкнуть их с носителями противоположных взглядов. Происходит как бы усиленная «интервенция логики», логическое подменяет эмоциональное, выступает главным связующим звеном, определяет собой все движение действия и развитие характеров и сюжетов. В этом можно видеть и положительное: в подобном кипении мысли, полемических столкновениях, диспутах ощущаешь поступательный ход времени, заботы дня. Отчетливо выступает идея автора, только... быть может, слишком публицистично. Оглядываясь на прочитанное, ощущаешь, что книгам этим часто не

хватает художественной плотности, и порой они кажутся первыми эскизами какого-то будущего совершенного художественного полотна.

## V

Проблема романа — это всегда проблема героя романа.

В последней книге Ремарка «Жизнь взаимы» между главным героем, гонщиком Клерфэ, и его подругой Лилиан происходит такой разговор:

«— А кто же мы? Быки или матадоры?

— Всем приходится быть быками. Но думаешь, что ты — матадор».

Сколько отчаяния в этой философии маленького человека, ощущающего свою полную беспомощность и бессилие перед грубой мощью окружающего его общественного хаоса! Но ведь так рассуждают не только герои Ремарка, но и Хемингуэй, и молодого западногерманского прозаика Бёлля... Ощущение внутреннего надлома — господствующее у подавляющего большинства героев западных романов. И пусть герой пытается бороться за человечность, за благородство отношений, но он сам слабо верит в свою правоту, а главное — в победу. Отсюда — яд пессимизма, цинизм, причудливое соединение отчаяния и мужества.

И здесь — в вопросе о герое — решительнейшее, капитальнейшее расхождение между романами современного критического реализма и советскими романами.

Давняя традиция нашей литературы — создание образа героя активного, наступательного, полного исторического оптимизма, гражданского мужества, пытливого дерзания... Будь то тракторист Леонид Багрянов из «Орлиной степи» Бубеннова или геолог Панышко из «Времени летних отпусков» Рекемчука, учитель Бирюков из «За бегущим днем» Тендрякова или солдат Андрей Воронков из «Сильнее атома» Березко, рабочий Крупнов из «Истоков» Коновалова или конструктор Бережков из «Жизни Бережкова» Бека — каждому из них присуща психология творческой, созидательной личности.

Стремясь к созданию пластичного образа современника, наши романисты, естественно, сталкиваются с различными трудностями.

Ю. Константинов в статье «Передний край литературы. Заметки о советском социальном романе» («Дружба народов»,

№ 1, 1959) говорит, что советская литература уже мновала тот период развития, когда у нас были так называемые «производственные романы и повести». Это не совсем точно. Отошли в прошлое романы старого типа, какой был характерен для эпохи первых пятилеток. Но романы «только о труде» типа «Жизни Бережкова» или «Искателей» развиваются и поныне. В самом деле, трудовая деятельность человека — вот главное типическое обстоятельство, которое выявляет характер нашего современника. В романах «Большой конвейер», «Время, вперед!», «День второй» и других романах этого типа в центре стояло изображение труда как сражения; писатели научились создавать широкие, яркие, эмоционально насыщенные батальные картины трудовых штурмов, трудового героизма. Тот опыт, который давала классическая литература в изображении войны, пригодился, когда жизнь на тысячах и тысячах героических примеров демонстрировала великое трудовое наступление советского народа, вышедшего в поход за социализм. Романтика исторического скачка в эпоху первой пятилетки, романтика беспримерного и самоотверженного подвига в военную страду — все это породило ту своеобразную форму романа, начало которой — «Гидроцентраль» и «Большой конвейер», позднее — «Люди из захолустья» и «Мужество» и, наконец, — «Далеко от Москвы»...

Однако уже Крымов в «Танкере «Дербент» и в «Инженере» идет иным путем. У него нет труда-сражения, он раскрывает поэзию трудовых будней — задача беспримерной сложности. Сегодня она стоит особенно остро перед нашими романистами. Легко было писать о целине, когда там была пресловутая «палаточная романтика» и штурмовые дни «первой борозды». Но через год-два все это ушло в прошлое, настали будни целины. И как резко сократился поток очерков, и как в растерянности остановились романисты перед этим более сложным, требующим большего таланта и больших художественных усилий жизненным материалом!..

Детские болезни технологического натурализма уже позади. Вряд ли возродятся поэмы типа «Как делается электролампочка» Ильи Сельвинского. Прогнозы — дело рискованное. Думается, однако, что развитие романа о труде будет идти в духе общей тенденции нашей прозы — все более

усиливающегося внимания к внутреннему миру человека. Не столько труд-баталья, тем более не поэтизация технологии, а психология творчества, больше — воссоздание психологического процесса творчества — вот, думается, главная «точка приложения сил» нашего романа.

Удачи здесь не часты, тем бережнее надо относиться к каждой из них. Критика справедливо огмечала, что в романе «После свадьбы» Гранин сделал шаг вперед в достижении возросшей «плотности» изображаемых характеров, его герои как бы обрели большую «осязаемость», писатель наделил их рядом точно и верно увиденных в жизни существенных черт определенного типа. Это так, но по сравнению с «Искателями» утратилась пусть и несколько «логизированная», но обаятельнейшая поэзия творчества, поисков мысли, тот интереснейший «психологический сюжет открытия», что так привлекал в этом романе.

Впрочем, не следует переоценивать «Искателей», а равно и «Жизнь Бережкова» Бека, хотя опыт этих двух романов еще не раз помянется в будущем. Переоценивать не следует потому, что и у Гранина и у Бека в обрисовке психологии творчества преобладает логический рассказ над эмоциональной картиной. Нас зажигает, держит в напряжении по преимуществу только ход мысли героя. Мир чувств и мир творчества в этих романах расположены как бы на параллельных, нигде не пересекающихся орбитах.

Ученые говорят, что наибольшие научные открытия ныне происходят на стыках разных наук. Наибольшие открытия в романе, посвященном психологии творчества строителя коммунизма, произойдут вот на таких «стыках» — там, где художник найдет точное решение, как прорвать строй «логического» «эмоциональным», как слить воедино сугубо научное и сугубо личное.

А жизнь тем временем задает все больше и больше загадок романисту. Бесперывно меняется самый строй психологии советского труженика, ибо новые профессии, новые возможности покорения природы вызывают к жизни и людей неизвестного ранее склада характера. Позволю себе один «далеккий» пример. Наши летчики завоевали абсолютный рекорд скорости. Они летают на скоростях двух с лишним тысяч километров в час. Это завтрашний день всей авиации. Известный советский летчик и авиационный специа-

лист, Герой Советского Союза М. Громов пишет в предисловии к книге одного из летчиков-испытателей: «Автор ярко описывает характерные для профессии летчика-испытателя моменты борьбы в аварийном положении... Немногие знают, что в эти секунды, требующие самых продуманных и точных действий, человек не может разговаривать. Взрыв чувств и вихрь мыслей заставляют действовать молниеносно, и мысль едва успевает опережать действие. (Разрядка моя.— М. К.) Сосредоточенность и напряжение так велики, чувства так глубоки и сильны, а развязка приближается с такой неумолимой быстротой, что человек не в состоянии говорить. Чем сложнее и напряженнее работа, чем глубже переживания, тем короче время, необходимое для размышления, тем труднее выражать свои мысли и переживания словами».

Скажут: тут речь о конкретной профессии — как же это относится к литературе? Но подобного рода профессии рождаются непрерывно, а главное — они будут рождаться и дальше. И разве это не новые современные типические обстоятельства, в которых живет наш человек? Пусть это не массовое явление, но этот наш современник — один из людей «переднего края века». А где бы ни был такой человек, литература за ним идет неотступно. Так как же передать облик героя в такие вот новые, никогда не описанные, никогда не изображавшиеся никаким видом искусства моменты? Какое же мастерство современного психологического анализа, какие новые открытия в изображении душевного состояния человека должны сделать художники, чтобы стать «с веком наравне»?

Если часто в романах неплохо пишут о поступках героев, то значительно слабее — об их внутреннем мире. Нередко появляются статьи, авторы которых сетуют на недостаточную психологическую углубленность тех или иных романов, сожалеют, что писатели недостаточно используют опыт Л. Толстого, Стендаля или других классиков.

Опыт, конечно, дело великолепное. Но ведь надо подумать и о том, что от художников требуется открытие новых возможностей в изображении психологии современного человека.

Да и полностью ли мы использовали опыт своих предшественников?

Давно уже известен такой прием в рома-

не, как внутренний монолог. Модернистская школа «потока сознания» сделала этот прием, в сущности, единственным средством раскрытия характера — впрочем, не столько раскрытия, сколько распада характера в потоке бессвязных ассоциаций. Ныне даже буржуазные исследователи вроде Кайзера язвительно пишут, что никого не может заинтересовать хаотический поток мыслей и переживаний какой-либо заурядной личности, как то встречается в романах школы «потока сознания».

Все это верно. Но ведь есть и другие примеры, ничего общего не имеющие с порочной практикой модернистов.

Двадцать лет назад появился роман Томаса Манна «Лотта в Веймаре», написанный в строгой реалистической манере. Описание обывателей Веймара, и камарильи, которая окружает великого Гёте, и самой мешаночки Лотты — все это сделано в духе классических реалистических традиций. Но когда впервые на страницах романа появляется Гёте, то Томас Манн дает нам гениального поэта исключительно через внутренний монолог. И какой это блестящий, напряженный, богатый бесчисленными красками, оттенками мыслей, ассоциаций монолог! Как возвышает он фигуру Гёте над окружающими! Как оправдан он здесь даже с точки зрения самого строгого ревнителя реализма!

Это, повторяю, в сущности, частный пример. Но не говорит ли он о том, что наши романисты подчас мало ищут, мало учатся у тех писателей, чей художественный опыт может оказаться полезным для создания великой литературы коммунизма?

И не опережают ли тут романистов драматурги? В «Иркутской истории» А. Арбузов широко и смело пользуется внутренним монологом. Причем это совсем не тот ставший штампом театральные монолог, когда актер, оставшись один на сцене, декламирует некую «моноречь». Нет, у Арбузова герои в самый разгар диалога вдруг как бы «переключаются» на внутренний монолог, перед читателем и зрителем приоткрывается внутренний напряженный процесс осмысления, раздумий, ассоциаций. А ведь в романе подобное художественное решение сулит еще большие творческие возможности, нежели в драме...

Проблема обстоятельств, в которых раскрывается характер героя романа, важна. Но еще важнее проблема самого героя в

современном советском романе. Поиски этого героя происходят в борьбе мнений, в столкновении различных тенденций.

Существовала в нашей литературе в свое время тенденция ложной романтизации и мнимой монументальности. Нечто сходное и даже более наглядное было, скажем, и в архитектуре, где старались вместо жилищ строить некие храмы или, как остроумно выразился один архитектор, любой ценой (обычно фантастически дорогой) выстроить не простой, а «героический» дом.

Ныне это в известном смысле уже история.

Литература жизненной правды, литература социалистического реализма не могла не отвергнуть ложную монументальность, напыщенность, всяческие риторические ходы, на которые ставился положительный герой. Преодолены и очернительские тенденции, которые проявлялись в творчестве отдельных литераторов, подпавших под влияние ревизионизма. Отброшены попытки выдать за героя индивидуалиста-одиночку, противопоставившего себя коллективу советских людей.

Плодотворные поиски героя современности шли на иных путях.

Еще в «Счастье» Павленко главным героем — в полном соответствии с лучшими традициями советской литературы — выступал человек, неразрывно связанный с народом, «человек для людей». Воропаев игнорировал карьеру в ее обывательско-жизтейском смысле, чтобы быть поближе к истокам народной жизни. Кое-кто из противников Воропаева иронизировал над его «неонародничеством». Меж тем Воропаев победил не только в романе — он победил и в литературе, в спорах о типе героя.

У нас ведь были и такие герои романа, все развитие характера которых составляло по преимуществу их продвижение по служебной лестнице. На первой странице романа они еще были рядовыми, так сказать, «простыми людьми», затем шел более или менее увлекательный рассказ о первом успехе на золотой лестнице славы, о втором и т. д. и т. п. Беда этих книг была не в том, что такой путь героя не отражал жизни, — ведь все наши руководящие кадры, кадры интеллигенции — это труженики, сыны трудового народа. Беда была в том, что в романах этих не происходило никаких изменений в духовном мире героя, хотя он настолько прославился, что даже в театре

шла пьеса про него и он сам смотрел на себя...

Сегодня роман все больше и больше сосредоточивает свое внимание на глубоких процессах, происходящих в духовной жизни народа, жизни тех, кого мы называем простыми людьми. Иногда приходится слышать, что этот термин — простые люди — вызывает сомнение. Оно, на мой взгляд, неосновательно. Вспоминаются замечательные слова Н. С. Хрущева, сказанные им на митинге в станции Вешенской.

«Великое значение творчества Шолохова в том, что он с большой силой, яркостью и душевной проникновенностью создал образы людей труда, показал сложный и богатый духовный мир простого человека».

Действительно, Шолохов подлинно народный писатель и потому, что его творчество связано с народной жизнью, и потому, что ему удалось с невиданной силой воплотить характеры людей, взятых из самой гущи народной жизни. Те плодотворные процессы, которые происходили и происходят сейчас в нашей прозе, в большой степени являются, на мой взгляд, укреплением и упрочением именно шолоховского подхода к герою. Его Давыдов в «Поднятой целине» не возвышается над народом — это человек, который движется вперед вместе с народом, который сам такая же «трудовая косточка», как и «тудяга» Кондрат Майданников. И ведь недаром на дружбе этих двух людей — питерского пролетария Давыдова и потомственного донского хлебороба Майданникова — во многом строится этот замечательный роман.

Шолохов умеет без всякой выпренности, без декларации, без подкраски, глубоко, эмоционально-грамотно, предельно достоверно показать нам самые истоки народного характера, его жизненную сердцевину. Будь то кузнец Ипполит Шалый, или председатель сельсовета Разметнов, или, наконец, герой «Судьбы человека» Андрей Соколов — все эти такие разные, предельно индивидуализированные характеры раскрывают богатый и яркий духовный мир простого советского человека.

Андрей Соколов — фигура до известной степени трагичная. Это человек, которого война опалила, как молния дерево. Однако из всех испытаний он вышел несломленным. Он сохранил в себе огромную силу человечности, мужества, настоящего душевного благородства. И когда слышишь слова



«строитель коммунизма», почему-то прежде всего вспоминается он — труженик и солдат, человек большой души, истинного мужества. И может, главная коммунистическая черта его характера в том, как он щедро отдает себя людям, Родине, своему народу. Как бы ни были горьки личные утраты, Андрей Соколов не беднеет душой. И хотя в данном случае речь идет о герое рассказа, но это именно тот тип героя, который остро нужен нашему роману.

Стремление раскрыть глубинные черты народного характера — вот что определяет лучшие наши романы последнего времени. Каждый романист в меру своих сил старается показать героя простого, естественного, не возвышая его искусственно над окружающими. В ряде романов перед нами встает характер нашего современника, того, чьим трудом воздвигается величественное здание коммунизма, характер простой и скромный и в то же время благородный и героический. Ему в высокой степени присущи преданность делу коммунизма, гражданский пафос, органическая неприязнь к любой несправедливости, умение быть воинном в мирной жизни, стойкость и мужество в преодолении трудностей, бескорыстие, глубокая человечность, чувство товарищества и настоящей любви к своим соратникам по общему делу.

Но это наиболее общее определение. Когда же дело доходит до конкретных образов, то отчетливо видишь различные тенденции. В одних романах и повестях авторы подчеркнута стараются выделить такие черты своего героя, как скромность, незаметность, словом, то, что делает его в большей степени рядовым. В этом можно видеть и своеобразную реакцию на образы мнимо значительные и риторические. Однако нередко результат получается иной — герой подчас «не тянет» на то, чтобы стать главным персонажем романа. Так, скажем, К. Симонов в «Живых и мертвых» в центре повествования поставил политрука Синцова. Этот герой даже совершает, что называется, обратный путь — начав войну офицером, он затем продолжает ее рядовым, ибо в бою потеряны его документы. Есть в Синцове немало обаятельных человеческих качеств, он, можно сказать, честный свидетель всего происходящего. Но, увы, автор все же чересчур упростил этот характер. В романе разворачиваются большие события, ставятся очень серьезные проблемы, однако

духовный мир его главного героя остается, по сути, и неглубоким и мало обогатившимся. Как один из персонажей романа он вполне удовлетворил бы даже строгих критиков, но быть главным героем большого романа об Отечественной войне — задача для него явно непосильная.

В романе «За бегущим днем» Тендрякова тоже есть интересная заявка на образ нашего современника — требовательного к себе, бескомпромиссного, честного, благородного, непримиримого к косности. Но роман явно распадается на две части: вначале молодой Бирюков — главный герой романа — предстает перед нами в кризисный момент, когда, убедившись, что у него нет таланта художника, он твердо решает уйти из художественного вуза, сломать жизнь, переменить профессию. Здесь дана заявка на сильный, волевой характер. Однако в главной части романа, там, где рассказывается о борьбе педагога Бирюкова за новый метод преподавания, герой постепенно разочаровывает читателя. Ему не хватает глубины души, подлинной страсти первооткрывателя, глубоких раздумий, наконец, настоящего мужества в борьбе за свое начинание. Характер мельчает, дробится, а вместе с ним мельчает и роман...

Г. Коновалов и М. Бубеннов идут другим путем. Они как бы сразу заявляют: мы изображаем крупные характеры. И здесь их можно только поддержать — требование больших, окрыленных характеров, в которых воплотились бы лучшие черты нашего великого времени, сейчас на устах у всех.

Странное дело, однако: в романе «Истоки» все время ощущается, что автор как-то искусственно «укрупняет» своих героев. Они и говорят по преимуществу выспренне, с каким-то чрезмерным пафосом. Во всех их речах много декламации, напыщенности. Они не столько делают свои дела, сколько «совершают» их, и т. д. и т. п.

М. Бубеннов поставил в центре своей «Орлиной степи» рядовых тружеников — тракторную бригаду Леонида Багрянова. В романе есть немало по-настоящему поэтичных, отлично написанных страниц, раскрывающих внутренний мир героев. Но наряду с этим, как уже отмечалось в критических статьях, отчетливо видна риторика, немотивированность тех или иных поступков героев, или, точнее говоря, то, о чем неоднократно писал Горький, — недостаточная «эмоциональная грамотность». Так, крайне

надуманно и высокопарно звучит рассказ о том, как во время войны раненый лейтенант Зима декламировал о пшенице. Чем-то ненатуральным, выпреним отдают страницы, посвященные знакомству Багрянова со Светланой. Мало обоснованы действия и поступки директора МТС Краснюка. Эти просчеты складываются в некую линию, которая портит и разбивает единое ощущение от этого интересно задуманного первого романа о целине.

Показательно, что наибольшие успехи в создании образа героя сегодня скорее можно отметить в жанре повести, нежели романа. За последние два-три года повесть явно выдвинулась на первое место. Связано, видимо, это с тем, что мы переживаем период интенсивнейшего развития нашего общества и роста личности советского человека, период, когда очень много нового, передового вошло в нашу жизнь, когда с новых позиций осмыслено пережитое, и потому чуткие, наблюдательные художники стремятся запечатлеть эти черты времени прежде всего в более оперативном, в более подвижном жанре — повести.

Интересно признание одного из наших молодых, талантливых прозаиков — Ю. Бондарева: «Я убежден, что наше стремительное время — это время коротких, строгих по языку романов и повестей размером 10—12 листов. Мы должны запечатлеть правдивые детали жизни, события и «воздух» эпохи. Впоследствии по нашим книгам будут написаны великие эпопеи».

В самом деле, нам кажется, что в самое последнее время образы положительных героев — цельных, самобытных, народных — ярче всего запечатлены именно в повестях, начиная, скажем, с «Жестокости» П. Нилина, а затем в «Трамонтане» П. Сажина, во «Времени летних отпусков» А. Рекемчука, в «Продолжении легенды» А. Кузнецова, в повестях о войне — «Пяди земли» Г. Бакланова и двух произведений Ю. Бондарева: «Батальоны просят огня» и «Последние залпы».

Данилыч, прозванный Тримунтаном, из повести Сажина — это ведь, в сущности говоря, родной брат шолоховского Андрея Соколова, при всей разнице талантов обоих авторов. Жизнь круто обошлась с Данилычем — искалечила, отняла самых дорогих, самых близких людей. Но нет, не сдался этот человек, не угасла в нем огромная душевная сила. Он настоящий беззаветник,

фанатически преданный коммунистической справедливости, щедро, до конца всю силу своей души отдающий людям. И важно подчеркнуть общую тенденцию — такие характеры, как Данилыч, лежат на главной линии поисков советской литературы. Эта тенденция отражает желание художников заглянуть в глубину души простого человека из народа, найти в нем черты одновременно и национальные и глубоко современные, найти то зерно истинно человеческого, истинно коммунистического, что составляет основу основ характера строителей коммунизма.

Есть еще одна примечательная черта. Андрей Соколов, скажем, по глубине и значительности своей вполне мог бы стать героем романа, но Шолохов рассказывает о нем как бы конспективно, стараясь быстрее закрепить этот тип в сознании людей. Сажин поступает так же. История Данилыча, его прошлое — тоже материал для великолепного широкого романа. Но Сажин дает нам историю характера главным образом для того, чтобы мы поняли поведение Данилыча сегодня, его нынешнюю высокую гражданственность, его подлинно коммунистическое, страстное стремление к правде, к утверждению высших нравственных критериев во всем нашем бытии.

И юный геолог Светлана Панышко, которую судьба и начальство неожиданно вознесли на «руководящий пост», — она вовсе не из того отряда «удачников», о которых лет десять назад иные романисты любили сочинять пухлые романы. Нет, с точки зрения «карьеры» Панышко даже терпит неудачу — поработав два месяца начальником промысла, добившись там немалых успехов, она новым приказом возвращена на прежнюю работу. «Карьеры» не получилось. Но сколь много мы узнаем об этом характере настоящего советского человека! Тепло и зримо показал нам Рекемчук, как органично, естественно в характере его героини сочетается личное и общественное, как без всякой риторики и пышных слов Светлана по-настоящему, по-коммунистически заботится о людях, бьется над творческими проблемами, как уверенно идет она по жизни — истинный строитель будущего...

Привлекли внимание читателей, вызвали оживленные споры повести молодых писателей о войне: Г. Бакланова и Ю. Бондарева. Споры идут главным образом вокруг героев этих книг. «Пядь земли» — произве-

денне талантливое, хотя далеко не бесспорное. Там, несомненно, есть за что покритиковать автора. Но нельзя не порадоваться тому, как настойчиво, как углубленно стремится раскрыть писатель характер своего молодого героя, только что вступающего в жизнь. На наш взгляд, мало плодотворны попытки резко противопоставить «Пядь земли» повестям Ю. Бондарева «Батальоны просят огня» и «Последние залпы», ибо это явления родственные.

Бондарева отличает очень точное видение жизни, органическое неприятие всякого рода напыщенности и той патетики, которая стоит где-то на грани риторики. Война в обеих повестях дана во всей ее правде — жестокой, трагичной и героичной. Повесть-повествователь тут не летописец, а художник, который заставляет нас на каждую деталь, изображаемую им, взглянуть его глазами, увидеть ту поэзию, которую он, Бондарев, сам в ней открыл. В обоих случаях Бондарев пишет трагедию. В особенности это относится к повести «Батальоны просят огня». Небольшие эти произведения обладают удивительной емкостью, богатством наблюдений и размышлений автора о жизни.

У Бондарева не только яркие, запоминающиеся характеры, не только предельно точные и в то же время эмоционально окрашенные описания войны. У него достигнуто удивительное единство — единство в развитии внешних событий и внутреннего роста характеров. Ведь, в сущности, в обоих произведениях воспроизведены два небольших фронтовых эпизода. В первом случае — закончившееся трагедией неудачное форсирование Днепра, во втором — трагический бой батареи капитана Новикова, не пропустившей фашистские полчища, рвавшиеся к Чехословакии. Два батальных эпизода, каждый со своей завязкой, кульминацией и развязкой, никакого топтания на месте, ни малейшего многословия и рыхлости. Но — удивительное целое! — за время двух сражений, каждое из которых длится не больше суток, происходят решающие изменения в характерах главных героев — капитана Новикова и лейтенанта Овчинникова, капитана Ермакова и полковника Иверзева.

Бондарев внимательно анализирует психологическую жизнь своих героев, раскрывает нам мельчайшие изменения в душевном строе изображенных им людей. О хорошей прозе обычно говорят, что она «плотно» написана: на небольшом пространстве — на страничке или полстраничке — умещается много мыслей, наблюдений, образов. О прозе Бондарева надо сказать, что она «плотна» и в обычном смысле и, кроме того, здесь большая психологическая «плотность».

Перед нами какое-то новое качество, еще до конца не осознанное критикой, новое качество обрисовки характера нашего современника. Заслуживает внимания мысль А. Борщаговского, что обе повести писателя — это «две главы военной эпопеи, к которой Ю. Бондарев, думается мне, еще не раз вернется, пока все глубокие потрясения и опыт его прошедшей на войне юности не перельются в художественные образы».

Не знаю, будет ли Бондарев писать именно роман-эпопею о войне, но то, что его художественный опыт, проявившийся в этих двух повестях, послужит не только ему, но и другим романистам для создания того большого и емкого романа, которого так ждет вся наша общественность, — несомненно.

Гадать о будущем романа — рискованно. Предписывать ему правила — можно попасть в смешное положение.

Но не обязанность ли наша — разглядеть тенденции развития романа и поддержать те из них, которые прогрессивны?

Не обязанность ли наша поддержать все интересные, яркие, свежие творческие попытки раскрыть богатый духовный мир сегодняшнего советского простого человека, наметить тот искомый характер, который так нужен нашему «большому» роману?

Роман наш тяготеет к произведению больших социальных обобщений. Возможно, что грядущее произведение о наших днях будет иного типа, чем «Жизнь Клима Самгина», «Тихий Дон» или «Хождение по мукам». Черты этого романа только складываются. Верны ли догадки — покажет время.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Е. Старикова.** Новые рассказы В. Пановой.— **И. Соколов-Микитов.** В тихом краю.— **Н. Динушина.** Записные книжки А. Фадеева.— **Юрий Пелетика.** Об одном известном приключенческом романе.— **Ал. Богуславский.** Школа драматургов.— **И. Г. Вмсто** рецензии.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Профессор **М. Баскин.** Великий борец против ревизионизма.— Полковник **Н. Денисов.** На первом плане — человек.— **Л. Лазарев.** Незабываемый сорок первый...— **А. Хавин.** Мысли по поводу одного ежегодника.— Кандидат философских наук **А. Ранитов.** Бывшие священники о религии.

## Литература и искусство

### Новые рассказы В. Пановой

**С** глубокой радостью читаешь два новых рассказа В. Пановой в № 10 журнала «Октябрь». Здесь все до боли знакомо и все трогает удивительной свежестью, вызывая волнение и чувств и мыслей.

В 1946 году В. Панова написала «Спутники» — книгу о буднях войны и людях во время войны. Этой книгой она впервые заняла свое заметное место в советской литературе. В 1959 году В. Панова написала рассказы «Валя» и «Володя» — тоже о буднях войны. Здесь она снова подтвердила свое право на это место, с большой определенностью и зрелостью еще раз обнаружив особенности своего таланта.

Первый из рассказов состоит из двух эпизодов — картины эвакуации из Ленинграда одной семьи летом 1941 года и возвращения осиротевших девочек в родной город в конце войны. Второй рассказ — тоже возвращение из Сибири в Ленинград шестнадцатилетнего мальчика Володи.

Не только тема рассказов больше всего из ранее написанного В. Пановой сближает их со «Спутниками», но и самое построение: рассказы связаны между собой общи-

ми героями, названы по именам этих героев, а их самостоятельные сюжеты в некоторых местах перекрещиваются. Может быть, «Валя» и «Володя» — начало нового романа, два звена большой цепи, которая, возможно, даже свяжет дни войны с нашими днями? Но и без продолжения эти два рассказа вместе не только вполне законченное художественное явление, но и довольно широкая картина памятных нам всем лет, свидетельствующая о верности таланта В. Пановой самому себе и о его глубокой и непосредственной близости к современной жизни.

Потому-то мы не отнесем столь строго к рассказам В. Пановой за необычность их построения, как сделал это Ю. Нагибин в статье «Жанр не условность» («Литературная газета», 22 декабря 1959 года). Сколько знаем мы примеров, когда сильное дарование легко и непринужденно ломало традиционные границы жанра, и сколько иных случаев, когда из маленькой повести вырастала эпопея.

Но, не соглашаясь с общими претензиями Ю. Нагибина, мы зато с удовольствием присоединимся к другим словам из этой же статьи, правда, несколько неожиданным

рядом с категорическими упреками, но зато выражающими ощущение душевного подъема от рассказов В. Пановой: «Пусть «рассказ» — а потому и образ его героя — остался незавершенным, автору сейчас не до того: он справляет самый высокий свой праздник — нежданную встречу с чудом рождения поэзии».

Примем же участие в этом празднике без излишнего педантизма!

В. Пановой близки и дороги ее герои, простые советские люди. Близость писательницы к своим героям выражается даже в чисто формальном приеме — в свободном переходе повествования от третьего лица к первому, когда по-детски свежее восприятие героев как бы совсем сливается с зоркой наблюдательностью автора.

Посадка эвакуирующихся в поезд. «Как щепочку, уносит Валу в душном потоке. Идем, идем. Не остановиться, не оглянуться. Справа мешок, слева мешок; каменные, ударяют больно. Собственный рюкзак давит Вале на позвонки; гнет шею. Идем, идем. Без конца идем, не видно куда. «Сейчас задохнусь», — думает Валя; но с готовностью идет, и без страха: так надо. Так в нашем путешествии полагается. Только крепче держаться за Люськину руку. С другой стороны держит Люську мать, — мы все тут, потеряться не можем...»

«Так надо», «мы все тут, потеряться не можем» — это уже не только про Валину семью, это про всех нас, про всех, кто пережил войну, про наши беды и про нашу веру. И потому, словно током, ударяет волнение при этих внезапных переходах, действующих как призыв к нашей общей памяти. Они не только сближают автора и его героев — они еще больше сближают с ними нас, читателей В. Пановой.

Как немногословны ее герои, как скромны они в выявлении своих чувств! Это ведь очень простые люди, они склонны выражать себя скорее в поступках и мыслях, чем в декларациях. Тетя Дуся, фабричная работница, прирожденный организатор, советчик и подмога всех, кто слабее, отправив в эвакуацию целый поезд, сама остается в Ленинграде. Она не говорит, что любит свой город, что верит в победу, что чувствует себя обязанной работать на оборону. Она говорит это же по-другому, на своем языке: «...Кому-то оставаться надо, не может так тебе все и прекратиться. Мы будем выпускать диагональ, а возможно —

шинельное сукно». А ведь самое главное сказано: потому «все» и не прекратилось, что тети Дуси оставались, голодали, умирали, а шинельное сукно выпускалось.

Новые рассказы В. Пановой написаны с таким живым ощущением бытовых и психологических примет войны, верных и наполовину забытых подробностей, словно все это было вчера. Но, вероятно, самая отчетливость деталей, их лаконичность, значительность есть не только один из признаков зрелости мастерства писательницы, но и результат «работы времени», его отбора. Память сохранила только самое главное, полное внутреннего смысла. Это не значит, что главное — обязательно крупно. Большое — внутри.

Провожая отца на фронт, вся семья ест на платформе мороженое. Плачут и едят эскимо. И даже последний пощелуй, навсегда последний, липок от этого, еще совсем довоенного мороженого. Еще действует инерция мирных привычек, еще не осознаны размеры беды.

А накануне отъезда в эвакуацию мать Вали и Люськи заботливо укутывает старой простыней остающийся висеть в комнате новенький шелковый абажур. Впереди страшная Мга, о которой так настойчиво, так тревожно предупреждает писательница, — там при бомбежке погибла мать девочек, — впереди смерти, голод, разрушенные жилища. Мы-то знаем, что было впереди, знаем то, чего еще не знают эти девочки, отправляющиеся в эвакуацию в наглаженных оборочках и бантиках, чтобы было «прилично». И потому, что мы все знаем, так щемит душу этот уже никому не нужный, заботливо укутанный абажур.

Для матери Вали, для тысяч таких матерей подобный абажур, «веселый, красно-желтый, как апельсин», был воплощением домашнего очага — ими самими созданного и в меру сил украшенного домашнего очага. И потому-то в рассказе В. Пановой упоминание об абажуре это не просто примета домовитости простой женщины — это ее вера в неприкосновенность и нерушимость родного уклада жизни. И если бы не было в рассказе абажура, погибшего вместе с домом, как погибла его хозяйка, нам не было бы так очевидно, какая неудержимая сила тянет осиротевших детей обратно в город отцов, разоренный, мрачный, прекрасный город, переживший страшную трагедию, но устоявший от всех бед.

Эти мелкие подробности, этот «быт» очень красноречивы в емкой прозе В. Пановой. Здесь ни одного слова нет лишнего. Какой уж там «натурализм», когда душа разрывется от этих подробностей.

Ничего не приукрашивая, смотря на жизнь спокойными, широко открытыми глазами, писательница любит ее не только за светлое будущее, славное прошлое, великие идеалы, исторические достижения, она любит ее всю, со всем большим и малым, любит такой, какой она сложилась.

Любя советскую жизнь и в будни и в праздники, как В. Панова умеет внушить это чувство своим читателям! Без всякой навязчивости, без дидактических поучений, словно и не вмешиваясь в нарисованную объективную картину жизни, она заставляет не разумом даже, а сердцем ценить то, что мы склонны иногда не замечать, — ту атмосферу моральной чистоты и товарищеской солидарности, которые, несмотря на все печальные исключения, мы недаром считаем естественным законом нашей жизни.

Володя Якубовский — герой второго рассказа В. Пановой — в свои шестнадцать лет пережил тяжелую семейную драму. Его родители разошлись, когда он был совсем маленьким. У отца другая семья. Мать — легкомысленная, слабая женщина. В эвакуации она заводит роман с каким-то обрюзгшим женатым капитаном, у нее рождается девочка. Больная, измученная, она чувствует себя раздавленной — в чужом городе, без помощи, окруженная всеобщим презрением. Володя едет в Ленинград не только потому, что не представляет своей жизни вне Ленинграда, но и потому, что надо вызволить из беды мать.

Почему в произведении, где погибают от бомб, снарядов, голода хорошие люди, где дети остаются сиротами, почему так волнует нас история Володиной матери? А стоит ли на нее тратить свою жалость, свое снисхождение? Заслужила ли она их? Пустая, слабая женщина сама пожинает то, что посеяла. Может быть, надо было совсем по-другому о ней написать?

Можно, конечно, и «заклеймить», чтобы другим неповадно было. Ну, а дальше?

В рассказе нисколько не скрывается грустная правда об этой женщине. Но вот она в испуге выкрикивает сыну: «Я не хочу жить! Я не хочу жить!» И тут же В. Панова рассказывает: «Томочкины ножки развлекли ее в конце концов. Она стала губа-

ми ловить их и целовать и, целуя, вся еще в слезах, смеялась тихо, чтоб хозяйка не услышала и не осудила за смех. А Володя думал — как же она дальше, что с ними делать...» Замечательная сцена! И как характерно, что задумывается о будущем Володя, а не мать.

Что же все-таки действительно с ними делать? Как ни суди, а человек в беде, слабый человек, но не враг же. И в самой этой слабости столько наивной доверчивости, столько искреннего ожидания счастья, внутренней готовности к радости. А там еще Томочка растет. И выше, человечнее, пронизательнее оказывается тот, кто, преодолевая юношескую брезгливость к этой «грязи», пытается сделать так, чтобы и у этой запутавшейся женщины было «дальше».

Между Володей и его отцом, уже в Ленинграде, происходит следующий разговор:

«— Володя, это всегда был несчастный, безответственный характер!

— Допустим... Скорей всего так. Вот именно несчастный. Что из этого следует? Что ее надо бросить без помощи?

— Слушай!.. Я не по бархатной дорожке шел... А она?! Ни с чем не считалась!..

— Ей так плохо, как только может быть... Ее надо поднять, понимаешь? Поставить на ноги; а то что же это... Я один не справлюсь, понимаешь? Мы вдвоем должны.

— Но почему я должен?! По какому закону я обязан расхлебывать кашу, которую она заварила, мы четырнадцать лет врозь, смешно!

— Вот — потому что тебе смешно, а ей не смешно, вот потому ты и обязан!»

Нет, не случайно этот разговор дважды повторен в рассказе В. Пановой — сначала начат и оборван автором и затем снова начат и доведен уже до конца. Это сделано мастерски: так писательница по-своему, не выходя за пределы своей объективной манеры изображения, подчеркивает главное, направляет на него луч света. Может быть, на первый взгляд отец и прав; в самом деле, почему он должен нести ответственность за ошибки этой женщины? Но правда сына выше рассуждений отца. Тут не может быть двух мнений — на чьей стороне писательница, — хоть она и молчит. Если есть безответственные, я беру их долю ответственности на себя — вот позиция Володи, хотя едва ли этот мальчик отдает себе в ней от-

чет. Вот чему научила Володю окружающая его жизнь.

Почему Володя Якубовский вырос таким хорошим парнем, не озлобился, не отмахнулся от тяжести, на него взваленной?

В рассказах В. Пановой на это дается точный ответ. Как ни тяжела жизнь у этих детей, брошенных в водоворот военных неурядиц, они выросли в атмосфере доброго товарищества и ни разу не почувствовали себя один на один с бедами и горестями.

Осиротевших девочек, прошедших годы войны в детском доме, везет в Ленинград отвоевавшийся солдат, хромой дядя Федя, за спиной которого Валя и Люська — как за каменной стеной. В Ленинграде их встречает та же тетя Дуся, что провожала когда-то в это долгое путешествие, «наше путешествие». И сколько же осиротевших людей льнет к этой тете Дусе! И какой тесной семьей собрались в вечер возвращения все эти люди в ее комнате — грустные разговоры, тяжелые воспоминания, но какое домашнее тепло!

Володе труднее. Он едет в Ленинград без билета, без денег, его никто не встречает. Но и у него нет чувства подавленности — полная уверенность в своем праве на место в жизни, в родном городе. И на всем пути Володе помогают. Особенно запоминаются две проводницы, приютившие мальчика. О, эти бабы совсем не святочные ангелы! Одна из них, с красноватыми деснами, обнажающимися в улыбке, даже неприятна. Но и ей понятно, что стремление этого голодного парня с пустым рюкзаком вернуться в Ленинград выше всяких там формальностей.

Дома — разбитые стекла, нет электричества, нет мебели, только страшная кровать, на которой кто-то незнакомый спал давно уже, может быть здесь он и умер. Жутко. Но, как маленький друг, встречает здесь Володю замочек на дверь, заботливо повешенный верным Ромкой, — скорее в знак участия, чем из реальной необходимости. У Ромки в его натопленной комнате, где и дрова припасены, и угощение нашлось, будет пока жить Володя. И именно после свидания с Ромкой Володю так трогают старые, знакомые липы в Летнем саду, у которых «дупла заплombированы, как зубы». «Человек пломбирует дыру на дереве. Человек везет в поезде человека, у которого нет билета. Человек говорит человеку: «Живи у меня». Трудно удержаться от

соблазна процитировать эти слова, в которых мысль автора находится ближе всего к поверхности.

В рассказах В. Пановой утверждаются гуманистические законы нашего общества, все больше проникающие в плоть и кровь народной жизни, дающие ей силу и крепость. Эти рассказы нравственно активны, они говорят: человек может рассчитывать на помощь другого человека; торжество идеалов справедливости, ради которых и строилось в муках наше общество, происходит не механически, оно осуществляется людьми, простыми людьми, занятыми своими каждодневными обязанностями, но считающими и сочувствие, и душевную щедрость, и помощь друг другу своим каждодневным делом. Чем больше таких людей, как тетя Дуся, как член бюро парткома товарищ Бобров, как Ромка, как, наконец, Володя, тем ближе мы к осуществлению высших гуманистических идеалов нашего общества.

В конце второго рассказа появляется еще один четырнадцатилетний мальчик, Олег Якубовский, сводный брат Володи, с которым они впервые — вопреки желанию родителей — знакомятся на наших глазах. Разговор двух подростков, узнавших друг друга в столь трудных психологических обстоятельствах, написан тонко, с большим тактом. Роль Олега в этих рассказах особая. Его образ, его тоненькая вдохновенная фигурка на фоне прекрасного заснеженного Ленинграда завершает произведение. Он как бы соединяет в себе два главных, сливающихся мотива В. Пановой — обыкновенные дети, возвращающиеся в дом отцов, и Ленинград как воплощение величия и героизма современности.

Ибо все те вещи, о которых мы здесь говорили, — человеческая простота, стойкость, товарищеская солидарность (из них и складывается этический идеал В. Пановой) — выражаются ею прежде всего и ярче всего в образе Ленинграда, единственного персонажа рассказов, о котором, несмотря на всю объективность и сдержанность, писательница так прямо и говорит: «Любимый город». Люди выдержали невозможное и не утратили душевной красоты, потому что были верны этому прекрасному городу, живому воплощению родной культуры. Город выдержал потому, что были эти прекрасные советские люди, связанные между собой глубокой солидарностью: Ромка со своим

трогательным замочком, бойкая красавица Манька, бесстрашно тушившая бомбы, вечная, неизменная тетя Дуся — опора всех нуждающихся в ее стойкости и суровой ласке, — наконец, Володя, готовый взять на себя любую ответственность.

«Любимый город проступал сквозь метель темными линиями своих крыш и вихрящимися пятнами фонарей. Все взвивалось, неслось! — и овладевало Олегом, и он с восторгом давал ему собой овладеть... Он сочинял стихи на ходу, желая увековечить любимый город, не считая, что любимый город достаточно увековечен в стихах». Это сказано и с теплой иронией и серьезно.

Об этом необыкновенном городе писала

вся русская литература от Пушкина до Н. Тихонова. В новых рассказах В. Панова по-своему, не возвышая голоса, не произнося ни одного патетического слова, рассказала о его мужественных и честных чертах.

«Триумфальная арка, и мальчик рядом, он совсем теряется в ее величии; его будто и нет на площади, есть одна триумфальная арка... Но почему звать — а вдруг он действительно увековечит любимый город в своих стихах! Вдруг ему это удастся, как еще никому не удавалось!» В чистой атмосфере рассказов В. Пановой верится: этим детям, может быть, и будет нелегко, но им многое удастся.

Е. СТАРИКОВА.



## В тихом краю

Имя писателя Олега Волкова мало знакомо широкому кругу читателей. Литературные критики не писали о нем журнальных статей. Названия его книг не произносились на литературных дискуссиях и в писательских спорах. Олег Волков не принадлежит к разряду широкоизвестных писателей, имена которых мы привыкли встречать в печати.

Судя по содержанию книг О. Волкова, их автор — бывалый и «видалый» человек со сложной, а быть может, и нелегкой судьбой. Он принадлежит к поколению уже немолодых людей, на долю которых выпало много жизненных испытаний, на глазах у которых в нашей стране происходили великие события и перемены. Тема его повести: русская деревня в годы первой мировой войны и начала революции, переживающая коренную ломку крестьянского и дворянско-помещичьего старого быта.

Описанные в повести события совершаются «в тихом краю» одной из губерний Центральной России, над которой уже занимается пламя пожаров. В те памятные и трагические годы в России навеки погибало прошлое, возникала новая жизнь, вступали в жизнь новые силы и новые люди.

Об этом давнем, уже историческом времени, об отрадных и уродливых событиях, происходивших в деревне, написано мало художественно правдивых книг. Да и по-

мят об этих событиях, решавших нашу судьбу, лишь очень немногие люди, кровно связанные со старой русской деревней.

Несомненно, Олег Волков хорошо знал и знает русскую деревню. Он правдиво и художественно ярко изображает крестьянский и дворянско-помещичий быт, малейшие подробности которого ему хорошо знакомы.

Уже прочитав первые страницы повести, обладающий чутьем и художественным вкусом читатель чувствует поэтическую правдивость, неприкрашенную точность описаний, почти безукоризненную ясность и чистоту авторского языка.

В повести «В тихом краю» рассказывается о судьбах людей различных характеров и положений. Присутствия автора, как бы живого свидетеля описываемых событий, читатель почти не замечает (о себе самом Олег Волков упоминает очень редко, со сдержанным художественным тактом). Особенно выразительно написаны портреты помещиков, дворян, доживающих последние свои дни в деревне. Таков портрет богатой и важной помещицы генеральши Майской и ее преданных слуг — «осколков» крепостных времен: старого господского слуги Александра Семеновича, садовника Николая, после отъезда барыни умирающего в петропленной оранжерее. Очень хорошо изображен брат образованного либерального помещика Баллинского — талантливый спившийся музыкант, которого пожалела и пыталась спасти простая деревенская девушка



телятница Дуня. Образ Дуни Сериковой, полюбившей спившегося барина, погубившей себя в самоотверженной любви к избалованному человеку, особенно трогательна и хороша.

В годы, предшествовавшие революции, в русской деревне происходили значительные сдвиги и перемены, мало заметные интеллигентам-горожанам, уединявшимся в Петербурге и за границей, в конфетно-декоративном Крыму — по-тогдашнему, российской нашей Ривьере. Утратив связь с землей и прежнюю жизнестойкость, многие разорвавшиеся помещики разбегались из своих родовых «дворянских гнезд», покидая их на произвол судьбы или отдавая в руки нарождавшихся денежных дельцов, подчас выходцев из крестьянской деревни, из губернских и уездных мещанских и купеческих городков. Денежных дельцов, новых владельцев покинутых дворянских поместий мало интересовали красоты природы, художественные ансамбли помещичьих хором, переполненных старинными мебелью. В повести Волкова ярко и верно изображен такой хищник-делец Николай Егорыч Буров, в канун революции прибравший к своим цепким рукам богатое имение своей бывшей барыни — генеральши Майской. Новый хозяин по-иному управляет с доставшимся ему богатством, метит в миллионеры. Окрестные мужички, которых Буров знает и «видит насквозь», стоном стонут под тяжелой рукой своего разбогатевшего земляка.

О распаде деревенского дворянства, о разорении дворянских гнезд и новых их хозяевах, разбогатевших хищниках-дельцах, выходцах из «простого» народа, некогда писали Бунин и Чехов. В своей повести, являющейся как бы эпилогом к бунинской дворянской теме, Олег Волков подводит последнюю черту под этой навеки законченной революцией темой.

Автор безукоризненно владеет русской литературной речью, местами напоминающей нам тургеневскую чистую речь. Герои его разговаривают живым, не выдуманным писателем языком. Олег Волков помнит многие яркие народные слова, совсем теперь забытые. Он помнит, как разговаривали между собой деревенские мужики и как беседовали помещики-дворяне, мешавшие подчас русскую речь с французской.

Ясность и чистота языка — одно из основных достоинств повести Волкова. Он не употребляет надуманных выражений и

слов, не прибегает к ложно-напыщенной искусственной речи, которой шеголяют ныне современные литераторы. В повести Волкова почти нет фальшивых сцен и лиц. Правдиво, со знанием дела и сути, изображены люди, их поступки и живая речь. Особенно хорошо удается Волкову изображение дворянско-помещичьего усадебного быта, который, по-видимому, ему пришлось некогда близко наблюдать.

Быть может, менее колоритными получились образы крестьян, ненатуральными кажутся некоторые крестьянские разговоры. Слишком «страшным», надуманным видится мельник-«злодей», вызывает сомнения хитрый сыщик урядник Лешов...

Хороши в повести описания природы. Вот образец (один из многих) подлинно художественного изображения деревенской проселочной дороги, мельничной плотины и русской реки:

«Невзнузданная сивая низкорослая лошадка бежала мелкой, туповатой рысью и так плавно, что дуга плыла над рожью не качаясь и шлея на спине лежала неподвижно. Вившаяся за телегой пыль не взлетала высоко, а, поднявшись до ступиц, сразу оседала на дорогу. Слегка постукивали колеса на хорошо смазанных деревянных осях...

На крутом спуске покатали шибче, и хомут стал налезать на глаза упиравшейся лошаденки. Наконец накатывающаяся телега пересилила, и меринок понесся вскачь.

— Держись, — крикнул Базанов, натягивая что есть силы вожжи и заваливаясь назад...

Справа, почти на уровне моста, виднелась в промежутках длинного строя толстых стоек плотины зеркально гладкая река. Над щитами поверхность ее слегка загибалась вниз, не утрачивая своей гладкости. Лишь небольшие морщинки вокруг стоек показывали, что спокойная на вид вода в действительности стремительно течет под мост. К плотине изредка подплывали травинки, веточки. Движение их постепенно убыстрялось, пока они как-то вдруг не соскальзывали вниз, мгновенно исчезая в ревущей под мостом пучине».

Глубоким знанием быта старой русской деревни, тонкостей русской природы может обладать писатель, сам родившийся и выросший в деревенской России, среди ее полей, лесов и рек, много лет наблюдавший русское, милое нашему сердцу приволье.

**И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ.**

## Записные книжки А. Фадеева

В журнале «Вопросы литературы» помещена большая подборка «Из записных книжек А. Фадеева».

Ценность публикации неоспорима. Читатель найдет здесь заготовки к роману «Последний из удэге» и второму варианту «Молодой гвардии», материалы к так и не написанному, но очень интересным по замыслу произведению — роману «Провинция» и пьесе «Маленький человек».

Не менее важно и другое: перед читателем раскрывается личность художника с его широким кругом интересов, жадным вниманием к жизни. «Записные книжки» Фадеева — это и рабочие тетради с набросками, планами будущих произведений, конспектами прочитанных книг, и всего рода личные дневники.

«Огромный, чудесный, раскрытый солнечный мир» — эта фраза вырвалась у Фадеева при воспоминании о далеких и счастливых днях детства, проведенного в суровом и прекрасном Приморском крае. Зародившаяся в детстве любовь к «солнечному миру» Фадеев пронес через всю свою жизнь. Для него все в этом мире было интересно и значительно. Он слышит журчание весенних ручейков в подмосковных полях, видит весенние «чудесные березы с высыпавшими мелкими, необыкновенно изящного рисунка, воздушными листочками», замечает хорька, неожиданно появившегося в подмосковном поселке, и черных «молодых, новеньких», лоснящихся дроздов. Записи Фадеева исполнены нежной и глубокой любви к природе и порою какого-то радостного удивления и восхищения перед ее тайнами. Но он и наблюдает, исследует, изучает. Фадеева всегда волновало весеннее пробуждение трав и деревьев, но ему нужно увидеть и узнать «движение весны». И вот в Приморье он тщательно отмечает, как одно за другим оживают растения: после цветения вербы и подснежников выпускает почки черемуха, а там появляются синие завязи цветов багульника, за багульником зеленеют осокорь, осина и т. п.

Это неразрывное сплетение в «Записных книжках» непосредственности, сердечности и «ума холодных наблюдений» составляет

одну из самых привлекательных черт Фадеева, человека и художника. Каждое из его произведений — сложный мир больших мыслей, чувств, страстей. В «Молодой гвардии» художник раскрыл перед читателем силу своего лирического дарования. Но и здесь он остался исследователем и аналитиком. Процесс творчества всегда был для Фадеева и глубоким переживанием и процессом познания. Оттого так поэтичны и так жизненно правдивы его романы.

Многие записи Фадеева относятся к прочитанным им книгам. Читал он постоянно и жадно, и отношение его к книгам было такое же активное, как и ко всему в жизни. Вот в сноске к записи 17 мая 1948 года дан перечень книг, прочитанных им «за две недели». Здесь мы найдем статьи В. Белинского, Н. Чернышевского, М. Горького, В. Ленина, И. Сталина, Г. Плеханова, Н. Добролюбова, В. Воровского, С. Кирова и других — всего около пятидесяти названий.

Вместе с книгами по литературе, искусству, политике Фадеев читывал множество специальных книг и исследований, нужных ему для работы.

Раздумывая над одним из образов романа «Провинция», он отмечает (18.I.1927): «Прочесть: Проф. Е. Краснушкин «Что такое преступник?» Делая заготовки к роману «Последний из удэге», он штудирует книги Арсеньева и Пржевальского. Работая над «Черной металлургией», считает необходимым основательно ознакомиться со специальными трудами по металлургии.

И характерно: Фадеев не может читать, оставаясь спокойным, равнодушным, — он радуется, находя интересные и важные, чем-то созвучные ему мысли и наблюдения, негодует по поводу всяческих измышлений. Он примеривает прочитанное к жизни, извлекает из книг опыт, необходимый для современной литературы и искусства. 30 августа 1947 года он записывает: «Подобрать все материалы о Ермоловой М. Н. Как художник и человек она воплощает в себе многое из того самого главного, в чем так нуждается современное искусство — и не только театра...»

Часто Фадеев спорит, не соглашается с авторами. Перечитывая в 1948 году книгу Пржевальского, он отмечает: «Поразительно, что Пржевальский совершенно не по-

Из записных книжек А. Фадеева. Публикация С. Преображенского. «Вопросы литературы», №№ 6, 8, 9, 1959.

нял удэгейцев. Здесь сказался недостаток его социально-экономического и исторического образования — он, конечно, не мог и подозревать, что имеет дело с первобытными коммунистами. Судя по всему, он и мало с ними соприкасался. Во всяком случае у гольдов он эмпирически правильно подметил черты родового строя — некоторые черты, а об удэге написал: «Он забывает всякие человеческие стремления и, как животное, заботится только о насыщении своего желудка». Какая жестокая неправда!..»

Фадеев мог и имел право спорить, потому что книги не закрывали от него живой действительности. Онверял книги практикой. Он постоянно в гуще жизни, среди людей.

Познакомившись с кубанской казачкой Соней Божко, которая рассказала ему о новом в жизни своей станицы, Фадеев записывает 19 сентября 1924 года «И вот, слушая Сою, ...я подумал: «Да! Как изменилась Расея!» Пильняк пишет целые романы о том, как в российских болотах кричат русалки и ухают сычи, как 300 лет тому назад. Но Соня — скромная, молчаливая, типичная, «старая» казачка Соня — почувствовала, как меняют расейский лик все эти комсомолы, фордзоны, дедовы газеты «про войну и про хлиборобов», и сказала мне:

— Саша! Через десять лет нашей Кубани не узнаешь».

В «Записных книжках», будто на карте путешествий, отмечены многие большие и малые города, где побывал Фадеев: Майкоп, Краснодар, Ярославль, Оренбург, Ялта, Киев, Прага, Мадрид, Ленинград, Смоленск, Одесса, Владивосток; список этот легко может быть увеличен. Иные записи о поездках, о встречах коротки, другие более подробны, но каждая из них говорит о пристальном, напряженном внимании Фадеева к людям, к их судьбам, характерам, отношениям. Пытливо всматривается Фадеев в каждого встреченного им человека, стараясь понять и осмыслить происходящий в стране процесс борьбы нового со старым. Большой художник, он хотел проникнуть в глубь этого процесса, понять, как на смену сложившимся веками привычкам, устойчивому быту медленно, трудно, но приходит новое «Разгадай (в смысле раскрытия психологического) этих мужиков! — записывает Фадеев в Яро-

славле в 1927 году.— Вот они — краснолицые, в тертых полушубках, бородатые, со своими разговорными и заботами,— а рядом базар, где на деле смыкается город с деревней. Как? Где те индивидуальные пути, по которым идет эта смычка? Они приехали сюда в город не как труженники, а как купцы. Приехали они в советский город, но этот постоялый двор, и трактир, и хозяин трактира — все это, вероятно, такое же, как 30 и 50 лет тому назад? Сколько старых и новых влияний! Как преломляются они вот в этом конкретном — с мягкой, нечистой, русой бородой, с лицом обветренным, сухим и мужественным,— крестьянине, засыпающем своей силой лошади овса?»

Когда читаешь заметки Фадеева, вдумываешься в них, становится понятным, почему главным героем Фадеева стал «человек в борьбе за коммунизм» (Федип). Именно этот новый человек более всего интересовал и привлекал Фадеева, и от встреченных им в жизни людей тянутся живые нити к литературным героям «Разгрома», «Последнего из удэге», «Молодой гвардии».

Наиболее полное и яркое воплощение типа нового человека Фадеев видел в коммунистах. Коммунисты, строители Советского государства в дальних станицах, маленьких «провинциальных» городках и крупных индустриальных центрах — секретари сельских партийных ячеек, комсомольские вожаки и крупные государственные деятели — Фрунзе, Куйбышев, Киров,— эти люди были особенно дороги и интересны Фадееву.

Побывав на Украине, он записывает 31 июля 1946 года:

«В гостях у Хрущева. Его обаяние в цельности народного характера. Ум его тоже народный — широкий и практический и полный юмора. Все это необыкновенно гармонизирует с его внешним обликом...»

Пристальное внимание Фадеева к новому человеку определило и особенности записей, относящихся к произведениям, над которыми он работал.

В «Записных книжках» более всего отразились раздумья писателя над характерами героев. Мысли о композиции произведения, о развитии действия в нем запечатлены здесь меньше. Так, наброски к роману «Провинция» (1927) — это своего рода психологические этюды и портреты, попы-

ки Фадеева изнутри раскрыть характеры героев, объяснить особенности их поведения.

В тех разделах «Записных книжек», где речь идет о романе «Последний из удэге», разумеется, любопытны наброски и записи, которые помогали художнику передать «местный колорит», воспроизвести подробности жизни и быта удэге. Но, даже работая над «удэгейской» частью романа, Фадеев искал пути создания психологически достоверных характеров.

Размышляя о психологии ребенка, способного воспринимать лишь одну сторону явления, еще не умеющего видеть противоречия жизни, он замечает: «Отчасти здесь ключ к пониманию большей «цельности» и «гармоничности» Ченьювая (так сначала назвал Фадеев своего героя Масенду. — Н. Д.), находящегося по своему интеллектуальному уровню в детской поре человечества... Вместе с тем это и ключ к его творческому изображению (основываясь даже на собственных детских переживаниях, можно лучше показать его — Ченьювая — изнутри)». (Март, 1927).

В этом плане — изображения человека изнутри — идут и записи-заготовки, посвященные Лене, Суркову, Сереже и другим героям романа. И, конечно, особенно интересны записи, относящиеся к самым последним годам работы писателя, потому что они дают возможность представить хо-

тя бы в самой общей форме, как сложатся судьбы Масенды, Мартемьянова, Лангового, как будут развиваться нелегкие отношения Лены, Суркова, Кудрявого и т. д.

Достаточно полно отражен в «Записных книжках» ход работы писателя над вторым вариантом «Молодой гвардии». Читатель видит, как Фадеев заново продумывал сюжет и композицию романа, с тем чтобы не просто произвести какие-то сокращения в нем или сделать какие-то вставки, но ввести новых героев, не нарушая при этом целостности и единства произведения (см., например, его запись 12 ноября 1948 года). Можно проследить, как, нащупывая недостающие звенья повествования, вновь и вновь обращался писатель к образам Лютикова и Проценко.

Трудно, разумеется, в короткой рецензии рассказать сколько-либо полно о богатом содержании «Записных книжек» А. Фадеева, представляющих большой интерес и для писателей, и для исследователей советской литературы, и для широких кругов читателей.

Думается, хорошее дело делает журнал «Вопросы литературы», который за последнее время поместил много интересных и ценных публикаций и выступлений писателей, способствующих более широкому и полному изучению литературного процесса.

Н. ДИКУШИНА.

★

## Об одном известном приключенческом романе

Не принято рецензировать книги, вышедшие несколько лет назад. Мы сознательно нарушаем эту традицию и будем рецензировать роман трехлетней давности. Думается, что мы имеем на это право, так как роман до сих пор не сходит с прилавков книжных магазинов.

Речь идет о приключенческом романе украинского писателя Ю. Дольд-Михайлика «И один в поле воин». Появившись в свет в 1956 году на страницах журнала «Дніпро», он меньше чем за четыре года выдержал пять украинских и семь русских изданий с общим тиражом около двух миллионов экземпляров. На Украине до сих пор

проходят конференции, на которых читатель узнает, что «И один в поле воин» есть выдающееся произведение советской литературы, а его главный персонаж есть тот положительный герой-современник, образ которого далеко не всегда удается воплотить другим писателям.

Высказаться о романе Ю. Дольд-Михайлика необходимо еще и потому, что его оценки в печати были весьма противоречивы: если областные журналы — харьковский «Прапор» (1957, № 5) и особенно ростовский «Дон» (1959, № 1) — подвергли роман жестокой критике, то столичный журнал «Юность» (1958, № 4) поднял его «на щит» как одно из лучших произведений приключенческой литературы.

Чем же отличается эта книга? Каковы ее особенности?

Ю. Дольд-Михайлик. И один в поле воин. Перевод с украинского Е. Росельс.

Роман Ю. Дольд-Михайлика охватывает почти трехлетний период Отечественной войны. Действие его происходит на фронте и в глубоких тылах врага — в Германии, Франции, Италии. Как в панораме, проходят перед читателем немецкие штабы, кабинеты генералов, эсэсовские застенки, офицерские казино, французские городки, кафе и рестораны, фашистское поместье, раздавленный сапогами оккупантов Париж, подземные заводы, укрепления Атлантического вала, замок итальянского аристократа. Мелькают шпики, провокаторы, штабисты, эсэсовцы. Действуют здесь и подпольщики Сопротивления: французские маки, итальянские партизаны. Среди этих разнородных героев подвизается советский разведчик...

На одном из участков Белорусского фронта к немцам перебежал молодой советский лейтенант и потребовал свидания с видным работником штаба корпуса, старым эсэсовцем и другом Гиммлера, полковником Бертгольдом. Доставленный к нему, он объявил изумленному эсэсовцу, что он вовсе не русский, а немец, сын его старого друга, матерого шпиона фон Гольдринга, который в 1928 году был заслан для шпионской работы в СССР и там изобличен и расстрелян. Ожидая провала и ареста, старый шпион успел добыть для сына советские документы и устроить под чужой фамилией в Одесское военное училище, которое тот окончил уже после расстрела отца, а с началом войны попал на фронт. Узнав от пленного немца о пребывании Бертгольда в штабе корпуса, он перебежал, чтобы сражаться за настоящую родину и отомстить за расстрел отца.

Ошеломленному Бертгольду перебежчик предъявил немецкие документы, чековые книжки отца на большие суммы вкладов, выказал хорошее знание самых секретных немецких шифров и семейной обстановки самого Бертгольда. И никто из немцев, даже Бертгольд, не догадался, что под маской перебежчика — барона Генриха фон Гольдринга — к ним заслан советский разведчик Григорий Гончаренко.

Правдоподобна ли такая завязка романа?

Многому поверит читатель в истории молодого барона. Даже в шпиона с ребенком поверит: «Маскировка-то какая! Разве шпион возьмет «на работу» единственного малолетнего сына?» Но одному не поверит и будет прав: невозможно поверить, чтобы

немчик, подкинутый в советское военное училище, остался нерасшифрованным, сохранил здесь свое «кинкогнито»! Если не воспитатели и учителя, то товарищи, спавшие с немчиком рядом, сидевшие на одной скамейке, игравшие в одну игру, должны были заметить в обиходе, привычках, манере держаться, языке отдельные черточки, несвойственные русскому юноше. Человек другой культуры, других навыков, другого образа мышления не может сразу вращаться в чужую, хотя бы и знакомую жизнь. Даже ненаметанный глаз и слух быстро обнаружат в нем «не то», сколько бы он ни прожил в нашей стране, как бы ни знал язык. Обнаружит всякий, кто живет рядом. Тем более это бросится в глаза живым, наблюдательным юношам.

А если не поверит читатель, то почему должен поверить старый эсэсовский волк Бертгольд? Не поверит и он, если он настоящий волк, а не овца в волчьей шкуре! Для правдоподобия завязки следует допустить, что Бертгольд именно таков. А тогда завязка приобретает условный, явно сказочный характер: она повторяет завязку известной русской народной сказки об Иванушке-дурачке, которого глупый царь принял за Ивана-царевича...

Ладно! Пусть Бертгольд, мягко скажем, неумен и с тем большей охотой верит барону, что хочет выдать за него любимую, но некрасивую дочь. Но ведь, помимо Бертгольда, в немецкой армии были другие контрразведчики. Неужели и они поверили сказкам барона? Неужели никто из них не захотел его «поймать»?

— Никто! — утверждает Дольд-Михайлик.

Одни были глупцами, как Бертгольд. Другие боялись Бертгольда, взявшего перебежчика под свое покровительство. Третьи просто завидовали. Но все курили финиам талантам барона и лебезили перед ним.

Сказочность в романе продолжена: не только глупый царь, но и его придворные согласны считать Иванушку-дурачка Иваном-царевичем. Сказочность эта выходит далеко за пределы завязки, она пропитывает весь роман.

Вот свирепые, кровожадные эсэсовцы решили наконец проверить, так сказать, идентичность барона и его преданность обретенному фатерланду. Мудрость их замысла и приемы уловления вопстину грандиозны. Барона заводят в комнату, где

раскрыт шкаф с секретными документами и такие же документы лежат на столе. Заводят и под благовидным предлогом оставляют одного, а сами в тайный глазок смотрят: что будет делать барон? А тот, естественно, делает вид, что никакие документы его не интересуют, только в окно смотрит и сигаретку покуривает!

Ю. Дольд-Михайлик с самым серьезным видом уверяет читателя, что после такой облегченной проверки фашисты стали безусловно доверять барону. Настолько доверять, что даже провал двух серьезнейших военных операций, последовавший вскоре после чудесного явления барона в немецком штабе, даже этот провал не поколебал их веры в его лояльность.

Три года странствует барон «по европам», совершая бесчисленные подвиги. Он рыцарственно спасает гибнущих женщин, покровительствует французским маки, истребляет коллаборационистов-провокаторов, выручает итальянских партизан, взрывает начальников гестапо, строго карает — лично и чужими руками — предателей, искусно срывает карательные экспедиции, спокойно разоблачает (и всегда вовремя!) фашистские козни, выкрадывает чертежи летающих снарядов, фотографирует планы укрепления Атлантического вала. Даже в пресловутом заговоре немецких генералов против Гитлера в июле 1944 года... ах, к несчастью, наш барон в нем не участвовал (а то бы заговор, несомненно, удался!), но знал о нем, имел его, так сказать, в виду и по силе возможностей покровительствовал! Он явный «рычаг» многих и важных событий войны и всегда оказывается в нужном месте в нужный час. Как Фигаро, барон — там, барон — здесь, барон — всюду!

Естественно, что такому герою никто не в силах противостоять. Даже «друг Гиммлера», старый эсэсовский полковник, потом генерал Бертгольд, как уже говорилось, оказывается в руках барона ничтожной пешкой, которой барон вертит по своему усмотрению. Другие фашисты, с которыми автор сталкивает героя, оказываются не только глупыми, но и слабонервными и трусливыми марионетками, которыми барон играет, как хочет. Все! От заслуженного майора барона Штенгеля до безвольного, опустившегося пьянчужки и морфиниста капитана Кубиса, которого барон подкармливает (покупают!) мелкими заплатами, а потом женит на дочери изобретателя

летающих снарядов, чтобы через придурковатого Кубиса получить доступ к их чертежам. Уныло бродят по роману эти простодушные, всегда доверчивые, недалекие и трусливые люди, пока барону не вздумается кого-нибудь из них пристрелить.

А когда барон запутывается в паутине сюжетных ходов и контрходов, на помощь ему немедленно приходит автор. Он изобретает и предоставляет герою разнообразные благодетельные случайности, с помощью которых барон благополучно выбирается из паутины. Как неповторимо везет этому баловню судьбы! Надо же, чтобы у Бертгольда была любимая и некрасивая дочь! Чтобы его подчиненные были сплошь трусами! Чтобы майор Шульц испугался до шока! Чтобы за ранение провокатора получить орден и чин! Чтобы спасенная бароном подпольщица ехала именно к любимой им девушке и т. д. и т. п.

Однако самое интересное в этом романе, изобилующем столькими случайностями и неправдоподобными натяжками, то, что в основу его сюжета положены некоторые реальные факты, кусок действительной биографии советского разведчика.

Судьба человека, ушедшего в тыл врага, мужество и бесстрашие, с какими он по минутно глядел в глаза смерти, его гуманность и благородство, любовь к Родине и народу — что может быть благодарнее этого материала для романа о нашей действительности, о нашем современнике? Перенос в литературу реально существовавших людей и достоверных событий их жизни нередок и оправдывает себя, если личная биография реально существующего лица и взятые из нее события отражают биографию общества, биографию времени, в которых этот человек живет и действует. Они способны «ударить по сердцам с неведомой силой», если являются «исповедью сына века», в судьбе которого, как в зеркале, возникает судьба общества.

Формально в основу романа Ю. Дольд-Михайлика также легли подлинные судьбы и подлинные события. Но только формально! Подвиги героя, возможные в жизни (мы не хотим умалять героизм реально существовавшего разведчика!), утрачивают в книге всякое правдоподобие из-за отсутствия правдоподобных мотивировок, из-за упрощенности и какой-то необыкновенной лихости в изображении тех трудностей, с которыми не мог не сталкиваться герой.

В двойной жизни барона, в тяжелом и сложном его пути Ю. Дольд-Михайлика интересует только самый подвиг, факт его свершения. И даже не столько подвиг, сколько победа. Но так ли легки были эти подвиги, так ли безопасны победы? Конечно, нет! Подвиги эти были и, несомненно, заканчивались победами разведчика — вернулся же он домой по окончании Отечественной войны живым и невредимым! Но они были куплены не такой дешевой ценой, как уверяет Дольд-Михайлик. Они были совершены иначе, были гораздо более сложными и трудными. Рассказать бы читателю, как именно! Но Ю. Дольд-Михайлик нам об этом не рассказывает.

Писателя весьма мало интересуют переживания его героя — советского человека, ощутившегося среди врагов. Не то чтобы этих моментов в романе вовсе не было. Они, конечно, есть — нельзя же написать роман о разведчике в стане противника, совершенно не затронув его психологию! Но они не главное в романе, а своего рода нагрузка, от которой Ю. Дольд-Михайлик поскорее спешит отделаться простым упоминанием, скороговоркой.

Скулой и немногословный в изображении подвига разведчика, писатель весьма пространен в другом.

Герой, как мы помним, выступает в романе под маской барона, породистого аристократа. И вот тут широко и щедро идут «великосветские» сцены — то в будуаре графини, то за табльдотом первоклассной гостиницы, то в аристократическом кабаке. С любовным вниманием живописует автор, как барон находит пужный тон, всюду держится, как того требует его родословная. Он умеет быть нежным и внимательным, но умеет распорядиться и приказать. Он неподражаемо изящен и элегантен, обладает тонким вкусом и отменно стреляет.

Естественно, что «благородные качества» и блестящая внешность барона вызывают настоящее «смятение чувств» у всех женщин, с которыми барон сталкивается в романе у юной обворожительной француженки Монике, у прекрасной, но развратной итальянской графини, у официальной невесты барона — сентиментальной садистки, у ее подружки — демонически жестокой, «ро-

ковой» начальницы женского лагеря. Надо ли упоминать, что отношение барона к женщинам самое безупречное, самое рыцарское! Он питает нежные и тонкие чувства к Монике. Ради нее, рискуя жизнью, спасает Людвину Декок, арестованную гестапо. Дальше он почти раскрывает свое инкогнито, помогая спастись хорошенькой итальянке горничной, которая вот-вот будет арестована гестапо.

При таком «благородстве» прямой, можно сказать, небом предопределенный барону удел — погнбнуть (и погубить порученное ему дело!) не позже чем в третьей главе, но этого, конечно, автор не допускает.

А какой тонкий гастроном наш барон! Как он умеет заказать завтрак! Составить меню изысканного ужина. Создать вкусовую гамму обеда. Подобрать марки вин. Разобраться в коньяках и ликерах. Дегустировать коллекционные вина. Перед читателем, как в калейдоскопе, сменяются различные казино, рестораны, кафе, офицерские столовые. Старательно запечатлевает Дольд-Михайлик марки выпитых бароном вин, букеты коньяков, вкус седла дикой козы, пряность рыбы в вине, остроту послеобеденного сыра, сочность груш, когда-либо съеденных бароном, словно это и есть главное в романе о подвиге советского разведчика. На описание этой «красивой» жизни у Дольд-Михайлика находятся и время и слова, каких не хватило в других, более важных случаях.

Все, что должно было составить душу романа, его идейное содержание, его воспитательную силу, оказались отодвинутым на задний план, ушло в бесконечность. О нем мы только догадываемся.

Так рассказ о подвиге разведчика неожиданно превратился в авантюрный роман «из великосветской жизни», в лубок.

Впрочем, не слишком ли жесток этот вывод? Ведь у автора были «добрые намерения»...

А что от них меняется?

Роман ведь уже живет своей жизнью, независимо от намерений писателя. И судить о нем надо не по тому, что хотел сказать автор, а по тому, что он в нем сказал.

Юрий ПОЛЕТИКА.

## Школа драматургов

Возможно ли успешное развитие советской драматургии и театра вне их самого тесного творческого содружества? История нашего театрального искусства дает на этот вопрос совершенно ясный ответ. Все лучшее, что было им создано, неизменно возникало в результате совместной, внутренней спаянной и взаимообогащающей работы драматических писателей с театрами. Стоило порой ослабеть таким связям, и это сразу же отрицательным образом сказывалось и на драматургии и на театре.

Все это общеизвестно, и, может быть, не было бы нужды повторять подобные истины, если бы время от времени не раздавались голоса, выражающие в них сомнение, а то и начисто их отрицающие. Достаточно сослаться на недавнюю статью Б. Емельянова в «Театре» (1959, № 10). Нельзя отказать в остроумии, с которым высмеяны в этой статье бесцеремонность иных театров в обращении с драматургическим материалом и беспринципность иных драматургов, готовых примириться с любыми манипуляциями над своей пьесой, лишь бы увидеть ее на сцене. Но, обрисовав в пародийных красках «существующую практику работы автора с театром», Б. Емельянов делает довольно сомнительные выводы. По его мнению, самая мысль о том, что «лучшие пьесы создаются в тесном содружестве драматурга и театра», есть не больше чем одна из «крепко укоренившихся иллюзий». Емельянов допускает только два варианта: 1) драматург приносит в театр «шедевр», и тогда театру остается лишь в неприкосновенности перенести его на сцену; 2) театр сам создает пьесу «без автора, силами актерского коллектива», или при помощи автора, но с отведением ему весьма ограниченных функций «сценариста и редактора». При всей своей поляриности оба эти варианта сходятся в том, что подлинное творческое сотрудничество театра и драматурга в создании пьесы и спектакля оказывается излишним.

Как видим, борьба за содружество театра с драматургами, составляющее одну из

благородных традиций нашего театрального искусства и важнейшее условие его нынешнего развития, не сошла с повестки дня. Но эта борьба нуждается не столько в новых декларациях, сколько в углубленном изучении исторического опыта советской драматургии и советского театра, их взаимоотношений, их творческого взаимодействия.

Наиболее благодарный и богатый материал для такого изучения дает, вне всякого сомнения, Московский Художественный театр, давно утвердивший за собой почетную репутацию «творческого университета» советских драматургов. Книга Е. Поляковой «Театр и драматург» — первая попытка систематизировать и обобщить этот материал. В этом ее бесспорное значение, в этом в то же время источник ряда ее пробелов и недостатков. Вслед за ней должны появиться исследования о работе над советскими пьесами, о творческих связях с советскими драматургами и других театров, прежде всего Малого, имени Вахтангова, имени Мейерхольда, имени Моссовета, имени Маяковского, Ленинградского Академического театра драмы, Большого Драматического театра имени Горького.

Самые интересные и увлекательные страницы книги Е. Поляковой те, где автор проникает в творческую лабораторию МХАТа, прослеживает процесс создания, динамику роста пьесы и спектакля, рождаемых (в своем окончательном виде) в дружных совместных усилиях театра и драматурга. Читатель становится здесь как бы спутником исследователя, вместе с ним он «открывает» неопубликованные архивные документы в музее МХАТа, вместе с ним скрупулезно сличает последовательные редакции пьесы (первый вариант, принесенный драматургом в театр, — «суфлерский» экземпляр — печатные издания), вглядывается в изменения, которые произошли в характеристиках, сюжете, композиции, языке. Все это в большей своей части читателю не было известно ранее, и его не покидает ощущение свежести, новизны введенного в книгу материала. Он не посетует на Е. Полякову и в тех случаях, когда в поисках наиболее точного ответа на вопрос о творческой помощи МХАТа драматургу она обращается к ис-

Е. Полякова. Театр и драматург. Из опыта работы Московского Художественного театра над пьесами советских драматургов. 1917—1941 гг. Редактор Н. Калитин. 306 стр. Всероссийское театральное общество. М. 1959.



точникам, уже знакомым из прежних публикаций,—высказываниям писателей, режиссеров, актеров. Эти живые свидетельства непосредственных участников спектакля очень ценны и во многом помогают прояснить и дополнить картину.

Читая книгу Е. Поляковой, отчетливо видишь, что в своей работе с советскими драматургами МХАТ неизменно исходил из двух краеугольных принципов.

Прежде всего Художественный театр всегда ставил правду жизни выше законов сцены и драматургии. Помогая драматургам в работе над пьесами, он сплошь и рядом призывал их поступаться этими законами во имя правды новой действительности. Замечательны слова К. С. Станиславского в разговоре с Вс. Ивановым, который приводится в книге: «Нет законов драматургии, когда есть жизнь... Самый главный закон драматургии — побольше правды, побольше жизненности. Остальное придет само собой».

И второе: утверждение ведущей роли драматургии в театральном искусстве и отсюда — глубокое доверие к драматургу, уважение к его труду, стремление прежде всего возможно точнее постичь его «дух и замысел». «Принимайте самое горячее участие в творчестве драматурга,— говорил Станиславский работникам МХАТа,— но никогда не подменяйте собой автора. Советуйте, подталкивайте, наводите его на то, что нам кажется нужным, полезным для его творчества, но не диктуйте ему текста — не вмешивайтесь в тайники его творческих процессов».

Так рушатся легенды и об эстетическом ригоризме МХАТа и о «деспотизме» этого театра, якобы подминающего под себя драматургов.

Конкретно раскрывая творческую историю пьес и спектаклей, созданных МХАТом в содружестве с современными драматургами, Е. Полякова показывает, что помощь театра авторам принимала различные формы в зависимости от характера драматургического материала, индивидуальных особенностей писателя, его идейной позиции и художественного облика, степени его профессиональной зрелости.

Бывали случаи, когда театру приходилось горячо спорить с драматургом, убеждать его в необходимости перестройки всей первоначальной концепции пьесы, отказа от ошибочных тенденций в изображении рево-

люционной действительности. Это вело автора к решительной переработке образов и сюжетных линий. Так было с «Днями Турбинных», которые в результате совместной работы М. Булгакова с МХАТом в корне отошли не только от своего литературного первоисточника — романа «Белая гвардия», во многом носившего на себе печать «сменовеховщины», — но и от своей первой драматургической редакции, насыщенной мистическими мотивами, идеалистической философией извечно-неизменного жизненного «круговорота» и т. п. Е. Полякова справедливо отмечает, что авторская ограниченность решения темы революции так и не была до конца преодолена в «Днях Турбинных», и все же тесное сотрудничество театра с драматургом принесло свои ощутительные плоды: пьеса в ее окончательном варианте дала основу для яркого, впечатляющего спектакля о конце белогвардейщины.

Гораздо чаще работа МХАТа с драматургами шла по другому, столь же углубленному, но менее «конфликтному» пути. Театр принимал в основном замысел пьесы, не видел нужды в ее коренной ломке, но все же настаивал на внесении в нее ряда существенных коррективов идейного и художественного порядка. Эти коррективы преследовали цель более рельефного раскрытия основной мысли и темы пьесы, иногда некоторой идейной переакцентировки, уточнения социальных характеристик героев, подчинения всех сюжетных мотивов «сквозному действию», освобождения от всего лишнего. В качестве наиболее ярких примеров Е. Полякова приводит здесь рождение таких спектаклей, как «Бронепоезд 14-69» и «Унтиловск». В работе с Вс. Ивановым и Л. Леоновым проявились лучшие черты того метода воспитания молодых драматургов, которому всегда был верен МХАТ. При всей бережности, тактичности, при всем стремлении сохранить индивидуальное своеобразие писателя мхатовцы соблюдали по отношению к нему высокую требовательность, бескомпромиссную принципиальность.

Наконец, в работе над такими пьесами и спектаклями, как «Страх» А. Афиногенова<sup>1</sup>, «Хлеб» В. Киришона, «Земля» Н. Вирты,

<sup>1</sup> В связи с анализом «Страха» Е. Полякова полемизирует с оценкой образов Клары и Кимбаева, данной в моей монографии об

совместные усилия Художественного театра и драматургов были направлены в основном на психологическое углубление образов, на борьбу со схематизмом первоначальных авторских решений, на заострение драматургического конфликта, на достижение целостности и стройности композиции.

Обстоятельно освещая вопросы, связанные с творческой помощью МХАТа отдельным драматургам, с его работой над отдельными пьесами, Е. Полякова несколько ограничивает свою задачу, не поднимаясь до необходимых обобщающих выводов, не пытаясь сказать о роли Художественного театра в становлении и развитии в сей молодой советской драматургии. А между тем в книге собрано такое множество фактов и наблюдений на этот счет, что подобные выводы сами собой напрашиваются.

Книга о творческом содружестве МХАТа с советскими драматургами должна, по самой природе своей темы, своего замысла, говорить об обеих сторонах процесса — не только о влиянии театра на драматурга, но и влиянии драматурга на театр, об их идейном и художественном взаимообогащении. В двадцатых и тридцатых годах — в период, когда происходило глубокое и всестороннее перевооружение интеллигенции и, в частности, ее художественного отряда, — приход в МХАТ передовых деятелей советской драматургии служил очень важным и благотворным фактором, содействовавшим органическому сближению режиссеров и актеров театра с новой действительностью.

Сошлемся лишь на один пример, связанный с появлением в Художественном театре А. Афиногенова. Вот как вспоминают об этом мхатовцы — участники спектакля «Страх».

«С приходом Афиногенова в МХАТ сразу как-то изменилась вся атмосфера в театре. В театр вошли молодость, задор, энергия, энтузиазм. Вошел тот сегодняшний день, которым Афиногенов всегда жил сам,

А. Н. Афиногенов. Возражения Е. Поляковой резонны. Но после книги, вышедшей в свет восемь лет тому назад, много были опубликованы новые работы, в которых я по-иному оценил эти образы. (См. предисловие к сборнику пьес Афиногенова. «Советский писатель». М. 1956; вступительную статью к книге «А. Н. Афиногенов. Статьи. Дневники. Письма. Воспоминания». «Искусство». М. 1957.)

которому он отдавал свои силы, свой талант» (Б. Н. Ливанов).

«А. Н. Афиногенов очень скоро стал другом актеров, которые полюбили его за свежесть мысли, за умную, талантливую пьесу. Полюбили за то, что он через своих героев, написанных выукло, ярко и жизненно убедительно, давал нам возможность осязать, увидеть воочию ту объективную действительность, про которую мы читали в газетах, знали понаслышке, а теперь через талант драматурга эта действительность вошла в стены театра, утвердилась на его сцене» (И. Я. Судаков)<sup>1</sup>.

Фактов и свидетельств подобного рода, относящихся к встрече МХАТа и с другими драматургами, можно было бы привести много, но Е. Полякова в большинстве случаев проходит мимо них, и в результате такой существенный вопрос, как воздействие советской драматургии на идейный и эстетический рост мастеров МХАТа, остается в книге почти без ответа.

Разумеется, особенно интересно было бы проследить влияние, которое оказала на МХАТ горьковская драматургия, занявшая столь видную роль в его репертуаре тридцатых годов. Однако Е. Полякова почему-то сочла, что «разбор и обстоятельный анализ этих (горьковских.—Ал. Б.) спектаклей не входят в задачу данной книги и не вполне совпадают с ее темой...». С подобным «отводом» горьковской драматургии вряд ли можно согласиться, тем более, что, по словам самого автора книги, «проблема воплощения драматургии Горького на сцене МХАТ чрезвычайно важна для понимания всей деятельности советского МХАТ, для развития метода его работы над советскими пьесами». Краткий обзор спектаклей «горьковского цикла» в МХАТе, данный в книге, явно недостаточен для освещения этой проблемы.

Большое место в книге Е. Поляковой отведено окончательному сценическому воплощению замыслов драматургов, характеристике и анализу готовых, сложившихся спектаклей МХАТа. Перед читателем в исторической последовательности проходит длинный ряд мхатовских постановок на материале советской драматургии — от «Пугачевщины» К. Тренева (1925) до «Зем-

<sup>1</sup> Воспоминания Б. Н. Ливанова и И. Я. Судакова опубликованы в книге «А. Н. Афиногенов. Статьи. Дневники. Письма. Воспоминания».

ли» Н. Вирты (1937). Этот рассказ о спектаклях обстоятелен, точен, основан на серьезном изучении критической литературы и во многом оживлен личными впечатлениями автора. Он отмечен вдумчивым проникновением в замыслы режиссуры и актеров, хорошим вкусом. И все же... эта «летописная», описательная часть книги проигрывает в живости, исследовательском огоньке по сравнению с теми страницами, где так динамично даны поиски, самый процесс творчества, ход рождения пьесы и спектакля.

...Книга об опыте работы Московского Художественного театра с советскими драматургами зовет всем своим содержанием к дальнейшему развитию и укреплению традиционной дружбы театров с драматургами. Эта дружба особенно необходима в наши дни, когда современность так властно стучится в двери театров, когда требуется такое сплочение всех творческих сил для достойного воплощения на сцене образа строителя коммунизма и его великих деяний.

Ал. БОГУСЛАВСКИЙ.



### Вместо рецензии

Текст, переписанный из книги в тетрадь, рецензировать нельзя; самое большее, можно отметить: переписано правильно. Когда переписывают из чужой книги в свою, этого тоже рецензировать нельзя. Но если переписчик при этом называет себя автором, его нельзя одобрить, пусть даже копия снята верно. А Евгения Хин переписала страницы из работы Г. Б. Бернандта в общем небрежно. Достаточно сравнить:

**В. Ф. Одоевский.** Повести и рассказы. Подготовка текста, вступительная статья и примечания Е. Ю. Хин. 496 стр. Гослитиздат, М. 1959.

«Бетховен был знаменем борьбы человечества за счастье и свободу. Именно таким воспринимали гениального композитора передовые люди России, начиная с декабристов» (19).

«Известно, что у царского правительства Одоевский имел весьма сомнительную репутацию и много личных врагов. Подозрения в «неблагонадежности» писателя испытывал и сам Николай I» (37).

«В страхе перед растущим революционным движением он клеймит «гражданское безумие нигилистов» и тут же находит для себя возможным оказывать услуги петрашевцам и сотрудничать в демократической «Искре» (37).

«В одном из доносов в Третье отделение «любомудры» характеризуются как «истинно бешеные либералы...» При всей преувеличенности этой характеристики нельзя не отметить, что Одоевский зачислен в число «неблагонадежных», так же как и его друзья Грибоедов и Кюхельбекер. Последний давно уже имел репутацию «крайнего» и «опасного» (8).

«Экземпляр этого словаря имелся у Одоевского и ныне, с пометками писателя, хранится в Гос. Библиотеке СССР им. В. И. Ленина» (457).

**В. Ф. Одоевский.** Музыкально-литературное наследие. Общая редакция, вступительная статья и примечания Г. Б. Бернандта. 724 стр. Музгиз. М. 1956.

Бетховен — «знамя борьбы человечества в его благородных стремлениях к свободе и счастью... Таким всегда воспринимали Бетховена передовые русские люди, начиная с декабристов» (58).

«Не случайно, что и в высших сферах Одоевский пользовался сомнительной репутацией... Он имел не мало врагов. Подозрения в «неблагонадежности» дошли и до самого Николая I...» (25).

«...В страхе перед растущим революционным движением резко осуждает «вредные измышления» и «гражданское безумие нигилистов»... и в то же время... оказывает услуги петрашевцам... находит для себя возможным сотрудничать в «Искре» (25).

«В одном из доносов в третье отделение «любомудры» назывались «истинно бешеными либералами...». Уподобление «любомудров» «истинно бешеным либералам», конечно, преувеличено... Одоевский же мог быть на подозрении... за связи с А. Грибоедовым, А. Одоевским и В. Кюхельбекером. Последний давно уже имел репутацию «крайнего» и «опасного» (8—9).

«У Одоевского имелся этот словарь. Экземпляр с его пометками находится ныне в Гос. Библиотеке СССР им. В. И. Ленина» (646).

«На рукописи одного из ранних музыкальных произведений Одоевского стоит надпись: «Посв Тени Себастьяна Баха»... имеются также фуги и прелюдии Одоевского на темы Баха, и даже изобретенный писателем орган он назвал в честь Баха «Себастьяном» (476).

Зачем нужно было портить текст? Уж лучше бы Е. Ю. Хин придерживалась оригинала ближе, как в других случаях:

«Параллель: Бетховен—Чацкий, которую Одоевский проводит в одной музыкальной статье о «9-й симфонии», отчетливо показывает его понимание... музыки Бетховена. Недаром Одоевский... обличает «Фамусовых музыкального мира», которые почли Бетховена за сумасшедшего» (19).

«Фрагменты незаконченного романа рисуют непоколебимость Бруно в остром столкновении с враждебной средой, с родными и близкими, толкавшими его на отказ от своих убеждений» (14).

Исследователь, когда речь идет о фактах, осторожен. Копист куда отважней. Г. Б. Бернандт, поразмыслив, предполагает: «Одоевский... мог быть на подозрении... за связи с А. Грибоедовым, А. Одоевским и В. Кюхельбекером». Е. Ю. Хин, не обинуясь, утверждает: «...Одоевский зачислен в число «неблагонадежных», так же как и его друзья Грибоедов и Кюхельбекер».

Ученый историк музыки осторожно пишет: «Ни одна статья Одоевского о Бетховене до 1830 года, насколько нам известно, не появлялась ни в «Московском вестнике»... ни в каком-либо другом печатном органе. Можно, следовательно, предположить, что в письме к Погодину Одоевский говорит о замысле работы, воплотившейся в 1830 году в новеллу...» (646). Е. Ю. Хин смешна эта робость. Отбрасывая все сомнения, она говорит: «Так как в период 1827—1830 годов в журналах не было опубликовано ни одной большой теоретической статьи Одоевского о Бетховене, речь идет в этом письме, безусловно, о «Последнем квартете Бетховена» (455).

Очевидно, Е. Ю. Хин опирается на дополнительную исследовательскую работу. Мы вправе, в таком случае, требовать ссылки на вновь открытый или по-новому прочтенный документ. Но ссылки нет, есть перелицовка кафтана, снятого с чужого плеча.

На первый взгляд Евгения Хин выступает во всеоружии учености: сколько источников названо в ее «научном аппарате»! Однако обойденная в нем книга, изданная Г. Бернандтом, дающая богатую библиографию и указания на архивные фонды, сделала «эрудицию» для нашего комментатора легко доступной.

Конечно, работой предшественников все вправе пользоваться. Но выдавать чужие мысли и открытия (пусть частные) за свои?..

Во вступительной статье Е. Ю. Хин имя Бернандта не упомянуто ни разу. А в примечаниях, где взято из него немало, сказано: «О музыкальной деятельности Одоевского см. В. Ф. Одоевский. Музыкально-литературное наследие. Музгиз, М. 1956, под редакцией Г. Б. Бернандта» (стр. 453). Только и всего: «под редакцией»! Ни о статье, представляющей собой серьезную научную работу, ни о примечаниях и библиографии — ни слова. Не названы, следовательно, те источники, откуда Е. Ю. Хин взяла для своей статьи и примечаний и основные сведения об Одоевском-музыканте, и ряд исторических и литературных характеристик, и даже справки о Дюрере (у Е. Ю. Хин он разжалован, правда, из «величайших художников немецкого Ренессанса» в «известные немецкие ху-

«На рукописи одной из ранних фуг Одоевского обращает на себя внимание надпись: «Посв Тени Себастьяна Баха»... Среди музыкальных произведений Одоевского имеются фуги и прелюдии на темы Баха... для изобретенного им органа, названного в честь Баха «Себастьяном» (650).

«Параллель: Бетховен—Чацкий, которую Одоевский проводит в одной из статей о Девятой симфонии, вполне подтверждает это. Недаром Одоевский гневно обличает «Фамусовых музыкального мира», которые отвергали творчество Бетховена, «почли его за сумасшедшего» (60).

«Страницы незаконченного романа рисуют непоколебимость Бруно в остром столкновении с враждебной средой и даже родными и близкими, убеждавшими его отречься от своих убеждений» (58).

дожники»), и о Мемноновой статуе, и о минерале аксините. Мы насчитали семнадцать молчаливо заимствованных мест в статье и восемнадцать — в примечаниях.

Как-то все это неязвочно получилось. И, главное, зачем?

Автор предисловия к массовому изданию не обязан быть первооткрывателем. Вполне достаточно было бы хорошо изложить добытый исследователями материал. Но воздать должное этим исследователям хотя бы простой ссылкой на имя любой автор обязан.

Редактор тома повестей и рассказов, работающий в Гослитиздате, конечно, должен был ознакомиться с литературой, относящейся к предмету его очередной работы, но может ли он читать ее всю, может ли он проделать вслед за автором значительную часть его работы? Вряд ли. В таких вопросах он чаще всего доверяет автору. Е. Ю. Хин этим необходимым доверием издательства злоупотребила.

И цель нашей заметки — предупредить читателя книги В. Ф. Одоевского, чтобы, отдавая свой интерес и симпатию автору повестей и рассказов, он воздержался от благодарности комментатору, ибо, во всяком случае, этой благодарности читателя Е. Ю. Хин не заслужила.

И. Г.

★

### Политика и наука

## Великий борец против ревизионизма

Ленин глубоко, искренне и страстно ненавидел ревизионизм. Ненавидел потому, что ревизионизм сразу же после своего возникновения стал приносить серьезный вред международному рабочему движению, сеял в пролетариате неверие в свои силы, ослаблял его волю к борьбе за социализм и коммунизм.

Но, кроме этих решающих причин, здесь имели место и причины, так сказать, субъективного порядка. Ленин, гениальный вождь трудящихся, основатель большевистской партии, был исключительно честной натурой, человеком огромной моральной силы. Он органически не мог терпеть лжецов и пошляков, торговавших своей совестью, всякого рода Иудушек Головлевых и Тартюфов, а именно таковыми всегда были носители ревизионизма, прикрывающие «радикальными» фразами свою реакционную сущность. В 1916 году Владимир Ильич писал Инессе Арманд: «Вот она, судьба моя. Одна боевая кампания за другой — против политических глупостей, пошлостей, оппортунизма и т. д.

Это с 1893 года. И ненависть пошляков из-за этого. Ну, а я все же не променял бы сей судьбы на «мир» с пошляками».

**А. Ф. Окулов. Борьба В. И. Ленина против философии реформизма и ревизионизма. Редактор Н. Кондаков. 420 стр. Соцэпгиз. М. 1959.**

С особой силой боролся Ленин с пошляками в области философии, в которой видел острейшее оружие в руках революционного пролетариата. Любая попытка подменить марксистскую философию буржуазной философией наносила, по глубокому убеждению Ленина, значительный ущерб рабочему движению.

В наши дни уже нет многих из тех, кого Ленин пригвоздил к позорному столбу, а ленинские строки звучат по-прежнему призывным набатом к беспощадному разоблачению эпигонов буржуазной идеологии. Ленин предвидел, какой острый характер приобретет борьба против ревизионизма в новых исторических условиях. Еще в 1908 году в статье «Марксизм и ревизионизм» Владимир Ильич писал: «То, что теперь мы переживаем зачастую только идейно: споры с теоретическими поправками к Марксу,— то, что теперь прорывается на практике лишь по отдельным частным вопросам рабочего движения, как тактические разногласия с ревизионистами и расколы на этой почве,— это придется еще непременно пережить рабочему классу в несравненно более крупных размерах, когда пролетарская революция обострит все спорные вопросы, сконцентрирует все разногласия на пунктах, имеющих самое непосредственное значение для определения поведения масс, заставит в пылу борьбы отделять

врагов от друзей, выбрасывать плохих союзников для нанесения решительных ударов врагу».

Нет поэтому более благодарной задачи, чем изучать, именно и з у ч а т ь борьбу Ленина против ревизионизма. Она не только помогает наносить решительные удары врагу, но и раскрывает замечательный моральный облик Ленина, вводит нас в лабораторию ленинской творческой мысли.

Разбираемая здесь книга А. Ф. Окулова представляет одну из содержательных попыток дать сводный труд, характеризующий борьбу Ленина против философии реформизма и ревизионизма. Это не просто исторический труд, хотя в книге немало сведений и фактов из истории марксистско-ленинской философии. Автор выдвинул ряд теоретических проблем, в частности, проблему органической связи ревизионизма с буржуазным либерализмом. Опираясь на целый ряд ленинских высказываний, он приходит к выводу, что в условиях империализма либерализму все труднее и труднее выполнять роль двуликого Януса — защитника свободы и верного слуги капитализма. Во всех капиталистических странах растет недовольство народных масс существующим строем, политикой либеральных партий. Этим и объясняется отчаянная попытка правящих буржуазных группировок, пишет автор, «возродить внутренне сгнивший либерализм в виде социалистического оппортунизма внутри рабочего движения».

Философский ревизионизм тщится теоретически обосновать либерально-буржуазные взгляды. В этих целях он прежде всего ополчается против диалектики, которую еще Герцен назвал «алгеброй революции». Беспощадно критикуя ревизионистов за отказ от марксистского диалектического метода, Ленин выдвигает в качестве первой задачи марксистов дальнейшую разработку диалектики. Величайший философ, он сам развивает дальше диалектику как живую душу марксизма, как орудие познания и преобразования действительности.

Таким образом, Ленин — и это хорошо показано в книге А. Окулова — борется с ревизионизмом и негативно и позитивно, то есть не ограничивается показом несостоятельности ревизионистской концепции, но и все время противопоставляет ревизионизму положительную разработку марксистских взглядов.

Желая опровергнуть учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата, ревизионисты выступают против материалистического понимания истории. Автор рецензируемой книги основательно проследживает ленинскую критику социологии ревизионизма и опять-таки показывает, что Ленин делает дальнейший гигантский шаг вперед в разработке научной теории общественного развития.

Другая проблема, выдвинутая в работе А. Окулова, касается тех конкретных направлений философского ревизионизма, с которыми Ленин непосредственно боролся.

В нашей популярной литературе существовала традиция отмечать главным образом борьбу Ленина против неокантианской и махистской ревизии марксистской философии. В разбираемой книге — и в этом ее заслуга — показывается борьба Ленина против проникновения позитивизма в рабочее движение. А. Окулов рассматривает позитивизм как философию компромисса, стремление «примирить» буржуазную и социалистическую идеологии, разумеется, путем приспособления последней. Это означало бы ликвидацию и материализма и диалектики. Автор отмечает, что уже разгром Лениным народничества был одновременно и разгромом позитивизма. «Антинаучным позитивистским теориям общественного развития, направленным на укрепление эксплуататорского строя, — говорится в книге, — Ленин противопоставил великое философское учение, учение марксизма — диалектический и исторический материализм, который указал единственно верный путь рабочему классу в его борьбе за революционное преобразование общества».

Все это имеет особое значение для разоблачения современных ревизионистов, которые, как правило, берут на вооружение неопозитивистские догмы новейших буржуазных философов.

Более знакомый читателю материал содержится в разделах книги, где рассказывается о выступлениях Ленина против неокантианства и махизма. Однако и здесь А. Окулов внес новую струю в исследуемые вопросы. Он прежде всего показал, что не следует ограничиваться критическим изучением неокантианства и махизма только в Германии, Австрии и дореволюционной России — эти течения широко используются буржуазией всех стран. В этой связи автор уточнил и их классовую природу.

И то и другое огнюдь не «левая фракция» буржуазной философии и социологии, как в этом пытались в свое время уверить меньшевики. Прикрывая свою реакционную сущность либеральной, а иногда и псевдосоциалистической фразеологией, отмечает А. Окулов, «неокаптянское течение на самом деле представляло собой реакционную философию капитализма». Точно так же и мелкобуржуазные симпатии многих махистов не делают махистскую философию менее буржуазной или менее реакционной.

Речь шла о классовой, партийной борьбе между двумя противоположными идеологиями — буржуазной и пролетарской, и Ленину принадлежит величайшая историческая заслуга разгрома одной из самых рафинированных атак буржуазной реакции на марксизм, на теоретические основы марксистской партии.

В главе, посвященной ленинской борьбе против ревизионизма в послеоктябрьский период, автор останавливается на проблемах культурного строительства. Обращаясь к таким партийным документам наших дней, как выступление Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа», А. Окулов справедливо видит в них прямую конкретизацию ленинских взглядов на развитие литературы и искусства.

Заканчивается книга большим разделом «Значение ленинской критики ревизионизма для борьбы против современного ревизионизма». Этот раздел как бы логически завершает предшествующий текст. Ведь в том-то и суть, что ленинская критика ревизионизма ничуть не утратила своей актуальности, наоборот, она, как никогда, нужна для борьбы с новейшими фальсификаторами марксистского учения. А. Окулов, основываясь на соответствующих высказываниях Ленина, доказывает несостоятельность ревизионистских выступлений Анри Лефевра, Вальтера Таймера, Джолитти, авторов программы Союза коммунистов Югославии

и так далее. В книге разбирается и концепция французских «социалистических» теоретиков Жоржа Буржена и Пьера Рэмбера, а также американских ревизионистов с Джоном Гейтсом во главе.

В целом А. Окулов критически разбирает три мифа современного ревизионизма: о так называемом «народном капитализме»; о прекращении классовой борьбы в условиях современного капитализма; о надклассовом характере современного буржуазного государства, которое якобы заботится обо всех классах общества. При помощи убедительных иллюстраций автор показывает, что эти мифы не блещут оригинальностью и опровергаются и теоретически и практически.

«Успешное выполнение семилетнего плана,— говорится в книге,— с еще большей силой покажет преимущество социалистической системы над капиталистической, нанесет смертельный удар империалистической идеологии, реформизму и современному ревизионизму, пытающимся всяческим образом сохранить капитализм, приукрашивая его и клеветая против социализма».

Достоинством книги является то, что она снабжена серьезным научным аппаратом и подробно разработанной библиографией к каждой главе как на русском, так и на иностранных языках. Это облегчает читателю дальнейшую работу над темой, а ведь тема — Ленин как борец против ревизионизма,— как и все другие темы, посвященные теоретической и практической деятельности великого вождя пролетариата, поистине неисчерпаема. Ни одна, даже самая обстоятельная работа о Ленине, не может заменить чтение и изучение трудов самого Ленина, и если книга содействует этому изучению и вызывает у читателя желание работать над первоисточниками,— ее выпуск является оправданным.

Думаю, что книга А. Окулова и в этом отношении заслуживает положительной оценки.

*Профессор М. БАСКИН.*

## На первом плане — человек

**В** разгар самых жестоких боев в Сталинграде, когда пылали целые районы города, а разрушенные кварталы под новыми бомбовыми ударами превращались в песок, командующий 62-й армией В. И. Чуйков, обдумывая тактику противника и своих войск, пришел к выводу, что в этих условиях нужно немедленно отказаться от привычного построения боевых порядков. «Надо было,— говорит он в первой книге своих записок «Начало пути»,— сделать так, чтобы каждый воин 62-й армии стал для врага крепостью. Ничего страшного не будет, если солдат, ведя бой в подвале или под лестничной площадкой, зная общую задачу армии, останется один и будет решать ее самостоятельно. В личном бою солдат порой сам себе генерал. Надо дать ему только правильное направление и облечь его «генеральским» доверием».

И, ощутив это доверие со стороны командования, тысячи солдатских умов стали искать и нашли такие тактические приемы, что потом ни один гитлеровский стратег не мог разгадать, что за крепости настроили большевики на берегах Волги. Исход этого сражения известен всему миру. Полный разгром крупнейшей группировки немецко-фашистских войск означал коренной перелом в развитии второй мировой войны в пользу антигитлеровской коалиции. В борьбе под Сталинградом проявились невиданный героизм советских воинов, их несокрушимая стойкость и воля к победе.

Восхищаясь мужеством защитников Сталинграда, зарубежная печать назвала их подвиг «чудом на Волге». И естественно, что чем дальше отдалает от нас время эти легендарные события, тем дороже становятся нам боевые документы и свидетельства участников беспрецедентной борьбы. Среди них, несомненно, видное место займут вышедшие недавно в свет воспоминания Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова.

Сто восемьдесят огневых дней и ночей провел вместе со своими солдатами и офицерами автор книги в сражающемся Сталинграде. И каждые сутки были неизмеримо трудными, полными неожиданностей, требо-

вавшими от всех воинов исключительной выдержки, находчивости, подлинного героизма. В этих небывалых еще в истории военного искусства условиях приходилось управлять войсками армии В. И. Чуйкову и его ближайшим соратникам и помощникам — члену Военного Совета К. А. Гурову, начальнику штаба Н. И. Крылову, заместителю по артиллерии Н. М. Пожарскому, заместителю по бронетанковым войскам М. Г. Вайнрубю и другим офицерам. Зачастую командный пункт армии находился всего в нескольких сотнях метров от передовой позиции, подвергался непрерывной бомбежке с воздуха, минометному обстрелу, а то и огню вражеских автоматчиков.

Однажды гитлеровцы нанесли по командному пункту армии, расположенному в то время на самом берегу Волги, сильный артиллерийский и авиационный удар. Фугасные бомбы разворотили весь берег, разрушили стоявшие на нем нефтяные баки, зажгли нефть. Ее горящая масса хлынула через блиндажи штаба армии к Волге. Командный пункт оказался среди моря огня. «Потоки пламени сжигали все на своем пути,— вспоминает В. И. Чуйков.—...Мы попали в плен огненной стихии, которая будто наступала на нас со всех сторон. Мы стояли в овраге около дымящихся блиндажей. У всех на лицах был один вопрос:

— Что делать?

Начальник штаба Николай Иванович Крылов подал команду:

— Никому никуда не уходить! Все за работу в уцелевшие блиндажи!.. Восстановить с войсками связь и держать ее по радио!

Потом, подойдя ко мне, он шепотом спросил:

— Как, выдержим?

Я ему ответил:

— Да, разумеется! А в случае необходимости будем прочищать свои пистолеты.

— Добро,— сказал он, и мы снова поняли друг друга».

Находясь непосредственно на линии огня, управляли своими частями и командиры дивизий Ф. Н. Батюк, С. С. Гурьев, В. А. Горюнов, В. Г. Жолудев, И. И. Людников, А. И. Родимцев, Ф. И. Смехотворов, В. П. Соколов и командиры других соединений и частей, входивших в состав армии. О каждом из них автор говорит с большой



теплотой и, образно рисуя обстановку, в которой они действовали, показывает, каким напряжением сил, воли защитники Сталинграда выполняли свои боевые задачи.

Большой верой в советского воина, воспитанного Коммунистической партией, всем строем жизни нашего социалистического государства, проникнуты многие страницы мемуаров В. И. Чуйкова. Решая сложнейшие вопросы тактики борьбы с наседавшим врагом, командующий армией на первый план в своих размышлениях ставил солдата. «Нельзя быть командиром, если не веришь в способность солдата,— проникновенно говорит Маршал Советского Союза.— ...Он — главный герой войны. Ему раньше всех приходится сталкиваться с врагом лицом к лицу. Порой он больше знает психологию солдат противника, чем генералы, наблюдающие за боевыми порядками врага с наблюдательного пункта. Он тоже изучает характер врага. Я подчеркиваю — изучает, потому что природа дала ему ум, сердце, способности мыслить и понимать не только волю своего командира, но и оценивать обстановку и замысел противника».

На конкретных примерах автор показывает, как командиры частей и подразделений, политработники, партийные и комсомольские организации своей активной работой ежедневно, ежечасно укрепляли решимость защитников Сталинграда бороться с врагом, не щадя ни крови, ни самой жизни. Партия в те дни бросила на Сталинградский фронт все лучшее, что было в ее рядах. Военный Совет фронта возглавил член Политбюро Центрального Комитета партии Н. С. Хрущев. «Он не скрывал,— пишет автор,— что положение на всех фронтах тяжелое, особо подчеркивал: Сталинград славать мы не можем, отступать дальше некуда и нельзя. Я помню его слова, сказанные мне лично перед отправкой в горящий город:

— Народ верил нам судьбу Родины, и мы должны победить коварного и сильного врага, иначе Отечество постигнет тяжелая трагедия».

В книге приводится немало примеров того, как Н. С. Хрущев в самые ответственные моменты Сталинградского сражения помогал командованию 62-й армии решать боевые задачи, как его оперативное вмешательство направляло ее усилия в нужное русло. Партийные организации частей всего

фронта под руководством Н. С. Хрущева вели широкую и глубокую работу среди воинов.

В 62-й армии образовалось сильное партийное ядро. В записках подчеркивается, что коммунисты в бою были первыми, в рукопашных схватках — самыми злыми, в атаках — самыми решительными, в штурмовых группах — самыми смекалистыми, в обороне — самыми упорными и выносливыми.

Чисто военная сторона всех особенностей боев в Сталинграде, помимо обстоятельных рассуждений и выводов, делаемых автором по ходу повествования, затронута также и в специальном приложении к книге. Как известно, защитниками Сталинграда было применено немало тактических новшеств, весьма своеобразно использованы имеющиеся в их распоряжении оружие и боевая техника, интересно решены многие вопросы взаимодействия родов войск. И, на наш взгляд, автор поступает правильно, останавливая на этом внимание читателя, поясняя ему, почему именно в определенной конкретной обстановке использовался войсками армии тот или иной прием.

Тепло рассказывая о боевых делах защитников Сталинграда, автор в то же время подвергает резкой, нелюбезной критике тех отдельных воинов (независимо от их служебного положения), которые допустили ошибки или — что еще хуже — не оказались достаточно стойкими. И читателю, несомненно, придется по душе эта прямота суждений советского военачальника, вынесшего на себе всю тяжесть руководства частями армии.

Небезынтересно отметить такой факт. Еще до выхода книги В. И. Чуйкова в свет несколько ее глав было опубликовано в издаваемой в Англии газете «Совет уикли». Они были встречены английскими читателями с живейшим интересом. Редакция получила массу похвальных отзывов, пришедших не только от лондонцев, но и от жителей многих британских городов. «Ваш рассказ о Сталинградской битве,— пишет Дейли Батлер из Регби,— ярко показывает тот внутренний дух, который воодушевлял советских солдат не только в боях за Сталинград, но и в последующих сражениях, приведших к окончанию войны». Джордж Хилл из Глазго заканчивает свое письмо так: «Читая отрывки из этой книги, я не переставал восхищаться силой духа советских мужчин, женщин и детей... Они пони-

мали, что защищают, а защищали они МИР». «Эту книгу,— пишет Деннис Маккарти из Хемпшира,— должны прочитать молодые и старые. Эта книга напоминает нам о мужестве и доблести благородного союзника, дружбу с которым мы должны искать в мирное время так же, как и в годы минувшей войны».

Разделяя высказанную многими представителями английской общественности весьма положительную оценку мемуарного труда В. И. Чуйкова, взыскательный советский читатель вместе с тем не может не подметить и некоторые недочеты, имеющиеся в книге.

Автору следовало бы более широко обрисовать общую обстановку, складывавшуюся на всем Сталинградском фронте. Мало, по-моему, рассказано в записках и о том, как 62-я армия осуществляла боевое взаимодействие со своим ближайшим соседом — 64-й армией, с поддерживающими наземные войска авиационными соединениями.

Как известно, за рубежом вышло немало книг, и в том числе принадлежащих перу бывших гитлеровских генералов, в которых делается попытка оправдать поражение немецко-фашистских войск под Сталингра-

дом маниакальным упорством Гитлера. Рецензируемая книга, представляющая собой правдивый и обстоятельный рассказ о том, как шли бои за Сталинград, начисто опровергает эти пустопорожние утверждения фашистского генералитета, убедительно показывает, что победа была достигнута советскими войсками благодаря превосходству их морального духа и более совершенной тактике. Автор высказывает некоторые критические замечания в адрес зарубежных изданий. Однако представляется, что таких замечаний могло бы быть в книге больше и форма их могла бы быть острее, да и круг зарубежных военных псевдоисториков следовало бы расширить, не ограничивая его лишь К. Типпельскирхом, Г. Дерром да еще одним-двумя фальсификаторами истории.

Книгу Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова нельзя читать без волнения. И вызвано это волнение не столько воспоминаниями о пережитом. Все дело в том, что на первом плане записок видишь советского человека. Это и позволило автору создать запоминающиеся картины массового героизма советских воинов.

*Полковник Н. ДЕНИСОВ.*

★

## Незабываемый сорок первый...

Рассказывая в своих мемуарах о горьких дорогах отступления в первом году Отечественной войны, о мужестве и слабодушии, о верности долгу и предательстве, о стратегических успехах и ошибках, генерал-лейтенант Н. Попель обращается к тем, кто обязан извлечь все уроки из сурового опыта минувших дней: «Для всех нас, и живых и павших в бою, погибших в лагерях для военнопленных, нужно, чтобы новые поколения офицеров научились на наших промахах и оплошностях».

Легендарная оборона Брестской крепости, кровавые сражения у Соловьевской переправы, пылающий Смоленск... Все это ушло в прошлое, стало достоянием истории, теоретической школой для офицеров послевоенных выпусков; даже у тех, что начинали войну восемнадцатилетними мальчишками

и кого ныне величают ветеранами, уже посеребрены виски. Но живой, трепетный интерес к событиям тех лет не угасает — то было время великого испытания нашего общественного строя, раскрытия во всей полноте советского характера, жестокой проверки силы духа всего народа и каждого человека в отдельности.

Книгу «В тяжкую пору» с пользой для себя прочтут не только военные историки, уточняя картину боевых операций первого года Отечественной войны, или армейские политработники, стремясь извлечь предметные уроки воинского воспитания. И не только те, кто с отчаянными боями прорывался тогда из вражеского окружения или с бессильной яростью наблюдал, как бесчинствовали над фронтовыми дорогами фашистские летчики,— им всем рассказ Н. Попеля напомнит о пережитом, а может быть, и поможет обратиться в сложных впечатлениях того времени. Нет, книгу эту следует прочитать прежде всего для того,

**Н. К. Попель. В тяжкую пору. Военные мемуары. Литературная записка В. Кардина. Редактор М. М. Зотов. 336 стр. Воениздат. М. 1959.**

чтобы лучше понять душу нашего народа, постигнуть «секрет» одержанной нами великой победы.

О первых неделях Отечественной войны написано — мы имеем в виду произведения документальных жанров — очень немного.

На то есть серьезные причины.

Прежде всего участники событий, кому есть что рассказать об этом трудном времени, были тогда целиком поглощены тревогами и заботам сегодняшнего дня. Они думали не о том, как отчитаться перед потомками, а как завоевать для них будущее. «В ту пору было не до дневников», — пишет в авторском предисловии Н. Попель. Да и разобраться в сложнейшей обстановке тех дней, в калейдоскопе противоречивых впечатлений, даже в собственных переживаниях было, конечно же, не так просто. И что греха таить, мало радости в том, чтобы вспоминать о наших военных неудачах, об оставляемой на поругание врагу родной земле. Можно ли кого-нибудь упрекнуть за то, что он, прежде чем взяться за перо, не раз говорил себе: «Стоит ли?»

И вот перед нами книга о том, «как все это было», книга, где немало той правды, что не зря именуется горькой. Есть там один образ, который очень точно раскрывает смысл происходившего: «Давит беда, к земле гнет, — говорит генерал Рябышев, сослуживец и друг автора книги. — Но одного в лепешку расплющит, а другого, как пружину, кольцо к кольцу прижмет, берегись, коль такая пружина выпрямится...» В этих словах суть того, что переживали советские люди. Автор смело, без утайки, рассказывает, в каком жутком огне закалялись воины, накапливала боевую мощь армия. И оттого, что он не обходит неудач и трудностей, не только не меркнет — вырастает подвиг народа и партии.

Особенно интересна и поучительна первая часть книги, где Н. Попель — в то время заместитель командира 8-го механизированного корпуса по политической части — очень подробно, буквально час за часом, описывает бои отступающего на восток корпуса, а затем шестисотпятидесятикилометровый путь, которым группа Новикова—Попеля выходила из вражеского окружения.

«Первые дни войны, — замечает автор, — если не бояться громких слов, — дни великих открытий на каждом шагу, в каждом деле, в каждом человеке, в себе самом. От-

крытий радостных и горьких, окрылявших и ударявших оземь». Это — верное замечание, к которому следует только добавить, что практические выводы из этих открытий приходилось делать тут же — времени на размышления не оставалось.

Фашистское командование рассчитывало молниеносным ударом разгромить наши войска. Чтобы сорвать этот план, надо было в кратчайший срок, измерявшийся буквально днями, превратить армию необстрелянную, во многом не готовую к встрече с таким сильным противником, в армию, которая сможет остановить фашистское наступление. Н. Попель рассказывает, как это происходило: как преодолевался страх перед фашистской авиацией и танками, как героизм становился всеобщей нормой поведения, как исчезало благодушие и рождалась святая ненависть к фашистским захватчикам, как возникал фронтовой быт — верный признак того, что война становилась делом привычным. И все это в считанные дни.

Вот одна характерная деталь. «Мне нравилось, что в выступлениях командиров и красноармейцев все слабее звучали нотки наивно-ухарского шапокзакладательства, дававшие себя знать 22 июня. На смену им приходила суровая уверенность в победе, которую предстоит добывать ценой большой крови и в длительной борьбе, в невыгодных для нас пока что условиях. Не стану уверять, будто на четвертый день войны мы уже отчетливо различали ее перспективы, были морально подготовлены ко всем ее испытаниям. Но факт остается фактом: осознание реальных сил, своих и противника, началось». Да, это сознание, что война потребует предельного напряжения сил каждого, что победу придется завоевывать большой кровью, выражалось и в том, что сотни людей перед боем подавали заявления с просьбой принять их в партию, и в том, что в трудные минуты раненые возвращались в строй, и в том, что стояли на смерть в неравных боях, и в том, наконец, что учились самостоятельно — без оглядки на начальство, не дожидаясь его указаний, — находить верное решение в сложной обстановке.

В книге воспоминаний не бывает сюжета в обычном смысле этого слова: эпизод следует за эпизодом, событие — за событием, одни герои сменяют других. Повествование как бы цементируется личностью рассказ-

чика. Если человек много видел, многое пережил, передумал, если ему дано умение отделить важное от пустяков, — его записки непременно обогатят нас. Книга «В тяжкую пору» описывает события, не известные широко, но особенно она привлекает тем, что автор ее — старый коммунист, для которого политическая работа — профессия, а воспитание людей — призвание. Чего бы только он ни коснулся — заходит ли речь о пленном гитлеровце или предателе, дезертировавшем во время отступления из армии, о походной кухне или устройстве госпиталя, об агитации среди населения оккупированных гитлеровцами областей или об армейском коллективе, который необходимо сохранить в окружении — иначе гибель, — во всем он видит политическое «зерно» происходящего, потому что идет от жизни, а не от схемы. Н. Попель не боится острых и сложных вопросов, зная, что революционный долг, совесть коммуниста всегда подскажут верное решение. И его воспоминания не только правдивая летопись суровых и героических дней, но и книга о силе нашей правды, о революционном воспитании.

И еще об одном надо сказать.

Павшим героям ставят памятники. В ту тяжкую пору мы подчас даже и не знали о совершенных подвигах — ведь людям при-

ходилось умирать в одиночку или перед лицом врагов, не передав последнего «прости» близким, не написав прощальных строк. Многие становятся известным только сейчас. В последнее время на страницах газет и журналов то и дело стали появляться сообщения и рассказы о подвигах, совершенных в дни Отечественной войны. Это очень хорошо. Немало имен таких неизвестных прежде героев воскрешает в своих воспоминаниях и Н. Попель.

Воениздат, начав выпускать «Военные мемуары», которые, несомненно, оценят по достоинству и военные историки, и писатели, и ветераны войны, и миллионы тех, кого называют широким читателем, делает большое, благородное дело. И что важно — увековечиваются имена героев Отечественной войны. «Долг тех, кто прошел четырехлетний путь боев, — справедливо пишет Н. Попель, — состоит, в частности, и в том, чтобы свято беречь память о павших героях, рассказывать о их славной жизни и бесмертных делах новым поколениям советских людей».

Пусть услышат этот призыв все, кому есть еще что рассказать о незабываемых годах войны, о доблести и самоотверженности людей, отдавших жизнь за счастье народа.

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

## Мысли по поводу одного ежегодника

На книжных полках выстроился длинный ряд статистических сборников различных форматов и листажа. Тут и маленькие, компактные, в изящном переплете издания и большие, солидные тома. Все они вышущены ЦСУ при Совете Министров СССР и республиканскими статистическими управлениями только за три последних года.

Эта библиотечка содержит обильные и незаменимые материалы для экономиста и историка, для публициста и пропагандиста. Такие справочники нужны по существу каждому советскому человеку — ведь, пожалуй, и не найдешь среди нас такого, кому не пришлось бы коснуться цифровых данных о жизни нашей страны, нашего народа.

**Народное хозяйство СССР в 1958 году. Статистический ежегодник. Ответственный за выпуск С. Я. Генин. 960 стр. Госстатиздат. М. 1959.**

И вот теперь на полки встал новый большой ежегодник — в нем шестьдесят печатных листов! — «Народное хозяйство СССР в 1958 году». Надо сказать, содержание ежегодника несравненно шире его названия: наряду со сведениями по всем отраслям народного хозяйства в нем содержатся также материалы, характеризующие демографию, культуру, здравоохранение. Бесстрастный, но убедительный и неопровержимый язык цифр показывает, как Советский Союз из года в год упорно идет вперед, перегоняя во всех областях одну за другой страны капиталистического мира. За колонками сухих таблиц угадывается пафос созидания, строительства нового мира.

Мы не будем сейчас подробно пересказывать богатейшее и разнообразное содержание цифровых таблиц этого издания и остановимся лишь на некоторых, подчас, может быть, даже частных положениях.

Не столь давно журнал «Коммунист» в редакционной статье отмечал, что у нас крайне неудовлетворительно изучены вопросы об изменениях в составе и численности рабочего класса, источниках пополнения его рядов, росте его культурно-технического уровня. Редакция указывала, что одной из причин отставания в разработке этих проблем является недостаток источников по статистике труда. Надо полагать, что приведенные в ежегоднике за 1958 год данные о распределении численности рабочих и служащих по общему стажу работы и есть первый ответ ЦСУ на эти справедливые требования.

А цифры, приводимые в ежегоднике, вводят на серьезные размышления.

Оказывается, что из каждых десяти рабочих и служащих шесть пришли на предприятия позднее 1948 года, когда уже позади были трудности не только довоенных пятилеток и войны, но и послевоенного восстановления. В угольной промышленности, например, рабочие, имеющие стаж меньше десяти лет, составляли в позапрошлом году большинство — семьдесят процентов коллективов. Стаж работы от десяти до пятнадцати лет у нас имеют только девятнадцать процентов всех индустриальных работников, а свыше тридцати лет — всего-навсего два процента рабочих и служащих. И ведь в самом деле, когда бываешь на предприятиях, то видишь вокруг себя главным образом молодые лица. Какой же вывод? А вот какой: впереди много еще упорной работы по воспитанию и производственному обучению этих кадров, по передаче им славных традиций нашего рабочего класса. В полной ли мере уделяем мы внимание этой проблеме на каждом заводе, фабрике, шахте?

Примерно о том же говорит и следующая таблица: среди рабочих, недавно пришедших на предприятия, велика текучесть. В угольной промышленности, например, в 1957 году свыше половины всех горняков имело непрерывный стаж до трех лет.

Как видно, неотложной проблемой наших дней сейчас является наиболее оперативная подготовка рабочих кадров, способных быстро овладеть новейшей техникой. Этого требует уже текущая семилетка.

Большой интерес представляют цифры, отражающие бурный рост кадров советской интеллигенции. В 1958 году в стране насчитывалось специалистов с высшим

образованием свыше трех миллионов — это в двадцать два с лишним раза превышает количество их в 1913 году. Создали свою интеллигенцию все без исключения национальности СССР. Казахский народ, например, имеет сейчас пятьдесят пять тысяч специалистов с высшим и средним специальным образованием, две тысячи научных работников. А до революции девяносто девять процентов (!) казахов не знали грамоты. У малочисленного, прежде забитого чувашского народа есть теперь двадцать девять тысяч специалистов со средним и высшим образованием. Бесспорно, это один из замечательнейших успехов нашего народа, достигнутый под руководством Коммунистической партии.

От материалов, помещенных в большом статистическом сборнике, мы вправе ожидать, что они позволят рассмотреть каждый интересующий нас вопрос в самых разнообразных аспектах. В частности, очень важно отразить географические изменения в размещении производительных сил и первые результаты перестройки управления промышленностью, деятельности вновь созданных совнархозов.

Открываем раздел ежегодника, посвященный сельскому хозяйству. Находим здесь несколько таблиц, в которых данные по Российской Федерации сгруппированы по важнейшим экономическим районам. Правильно сделано! Ведь, скажем, районы Центральной черноземной полосы никак нельзя равнять с районами Восточной Сибири. Но, к сожалению, по всем остальным разделам ежегодника данные приводятся лишь в целом по той или иной союзной республике. Даже в таких решающих отраслях, как черная металлургия, нефтяная промышленность, производство электроэнергии, сведения по РСФСР даются одной суммарной строкой. Тем самым вуальруется одно из важнейших достижений Советского государства — разветвление индустрии Востока, огромная работа, проделанная по индустриализации отсталых прежде районов. Обидно, что в такой содержательной книге выпали интересные и поучительные показатели промышленности по отдельным экономическим районам, таким, например, как Приднепровье и Донбасс — на Украине, Карагандинский экономический район — в Казахстане.

В не меньшей мере это относится к разделам культуры и здравоохранения. Конечно, показателен тот факт, что по РСФСР в целом количество врачей возросло в шестнадцать раз по сравнению с 1913 годом, но ведь первостепенное значение имеет и территориальное распределение работников. Ясно, что организация медицинской помощи в Московской или Ленинградской областях и в Коми АССР, Якутии, на Камчатке далеко не одинакова. Для детального анализа положения, для пропикновения в суть вещей одних лишь общих цифр и средних величин недостаточно.

Следует также сказать, что в ежегоднике ЦСУ и в других ему подобных изданиях не всегда продуман выбор дат, к которым приурочены сопоставления. Так, численность населения отдельных городов воспроизводится по данным переписей 1939 и 1959 годов. Этого явно мало. В 1939 году была уже проделана грандиозная работа по индустриализации страны, поэтому следовало бы также привести сопоставимые данные переписи 1926 года, являющегося началом великих работ по превращению нашей Родины в могучую индустриальную державу.

Как все же развивались города за весь этот период? Мне пришлось перебрать немало статистических сборников, давно ставших библиографической редкостью, пока в одном из них, выпущенном двадцать семь лет назад, не нашлись интересующие меня цифры. Зато они с лихвой компенсировали труд, затраченный на их поиски. Оказывается, за треть века (1926—1959) население Прокопьевска возросло на 2700 процентов, Челябинска — на 1100, Кемерово — на 1200, Новосибирска — на 680 процентов. А за двадцать последних лет население этих городов увеличилось «лишь» в пределах 50—165 процентов.

Не воспроизведя данных за 1926 год, составители сборника лишили читателя возможности проследить рост наших городов и влияние на них процесса индустриализации.

В ежегоднике есть данные о соотношении численности в 1959 году городского и сельского населения по отдельным областям. Жаль, однако, что составители не привели сопоставимых материалов за 1926 год или хотя бы за 1939 год. Отсутствие их затемняет картину великих перемен, происшедших в этих районах.

Нельзя также согласиться с исключитель-

ной скупостью комментариев к таблицам. В ряде случаев это может привести к неправильным выводам. Так, например, цифры свидетельствуют о том, что в 1958 году уменьшилось количество воспитанников детских домов в сравнении с тем, что было восемь лет назад; снизилось в последнее время количество продаваемых на колхозном внедеревенском рынке зерновых продуктов, картофеля, говядины, молока; уменьшилось количество клубов по сравнению с 1940 годом в РСФСР и Казахской ССР.

Естественно, читатель озадачен. Эти факты явно не соответствуют всему строю цифр того же ежегодника. Но оказалось, что за этими сведениями скрываются совсем другие процессы, чем те, о которых они на первый взгляд говорят.

Действительно, в 1950 году на численность воспитанников детских домов сильнее всего влияли тяжкие последствия войны. А в последующие годы — невзирая на бурный рост рождаемости — количество их снизилось. Почему? Да потому, что улучшились жизненные условия населения, в значительной мере сократилась нужда в помощи государства в виде детских домов. Продажа ряда сельскохозяйственных продуктов на колхозном рынке снизилась лишь потому, что теперь колхозникам вследствие повышения заготовительных цен выгоднее продавать их государству прямо у себя в колхозе. Снижение количества клубов по РСФСР и Казахской ССР — результат укрупнения клубов, возникновения на их базе домов культуры.

Итак, цифры, которые как будто бы свидетельствуют о нездоровых тенденциях, в действительности отражают большие и положительные процессы.

Предвижу возражения: если реализовать все эти пожелания, ежегодник слишком бы разбух. Возможно, что его объем и пришлось бы несколько увеличить, но одновременно большое количество таблиц могло быть опущено. Так, например, целых три страницы посвящены динамике запасов в оптовой торговле, излишне детализированы сведения о сети розничной торговли, работе автобусного парка и так далее.

Тщательный отбор, продуманное распределение всех материалов под углом зрения интересов именно широких кругов читателей — прямой долг составителей.

**А. ХАВИН.**

## Бывшие священники о религии

Для того чтобы попасть в святилище, охраняющее великую «тайну тайн», жрецу бога Митры, культ которого был широко распространен в конце существования Римской империи, предстояло перенести много испытаний и лишений. Наконец, пройдя седьмую, высшую ступень испытания, жрец, став к этому времени уже дряхлым стариком, получал право войти в скрытое от непосвященных святилище. С трепетом входил неопит в священную пещеру, чтобы познать наконец «тайну тайн», и, потрясенный, останавливался на пороге: там ничего не было. Великая «тайна», ради достижения которой он отдал всю свою жизнь, оказывалась пустотой.

История с митронским жрецом не только символична, но и поучительна. Она ставит перед каждым человеком, убедившимся в том, что религия не может разрешить волнующие его философские, этические и социальные проблемы, альтернативу с двумя взаимоисключающими решениями: быть искренним и навсегда порвать с религией или продолжать лицемерно курить финиам у алтарей несуществующих богов, как говорится, «не ради Иисуса, а ради хлеба куса».

Среди современных служителей самых различных религиозных культов немало людей, давно переставших верить в чудодейственную силу религии. Вступая в сделку со своей совестью и лицемерно прикрываясь набожностью, они с немалой выгодой для себя превращают sacramentalные формулы религии в разменную монету, загородные виллы, дорогие автомобили и другие не менее «греховные», но привлекательные вещи.

Разумеется, огромное мужество необходимо тому, кто после долгих и тяжелых поисков, убедившись в пустоте и бессмысленности религии, решает с ней порвать. Именно так поступили бывшие крупные религиозные деятели — доктор теологии Алигеро Тонди, епископ Вильям Монтгомери Браун, доктор богословия и естествознания Франц Шахерль и ленинградский митрополит Н. Ф. Платонов, избранные научно-атеистические произведения которых вместе с отрывками из «Завещания» аббата Жана Мелье, составили содержание книги «Прав-

да о религии», выпущенной Госполитиздатом.

Все эти люди жили в разных странах и говорили на различных языках, между ними и старым французским кюре Жаном Мелье лежит целая историческая эпоха. Но, несмотря на это, всех их объединяет общность мировоззрения, являющаяся результатом общности проделанного ими пути.

Жан Мелье (1664—1729) был одним из выдающихся французских материалистически-атеистов начала XVIII века. Не решившись при жизни открыто порвать с церковью, он изложил свои взгляды в рукописи «Из записки мыслей и мнений», более известной под кратким названием «Завещание». Его критика религии и феодализма была настолько решительной и беспощадной, что даже патриарх французского вольнодумства Вольтер решился опубликовать — и то в обработанном (смягченном) виде — лишь часть этого труда, попавшего к нему после смерти автора. Полностью же «Завещание» увидело свет лишь в 1864 году.

Гораздо счастливее была судьба других произведений, включенных в рецензируемый сборник.

В 1920 году шестидесятипятилетний епископ американской епископальной церкви Браун во всеуслышание заявил о своем разрыве с религией, о переходе на позиции марксизма и признании выдающихся завоеваний Октябрьской социалистической революции. Его книга «Коммунизм и христианство» сразу привлекла к себе внимание мировой общественности и была переведена на многие языки. Подвергаясь клевете и преследованиям, осужденный судом епископов, Браун вплоть до конца жизни (он умер в 1937 году) оставался пламенным борцом за научный прогресс, за освобождение людей от власти религиозных предрассудков.

В 1926 году в Чехословакии появилась другая нашумевшая книга — «15 лет за монастырской стеной», написанная бывшим монахом Шахерлем. В судьбе Шахерля и его младшего современника Алигеро Тонди много общего. Оба они росли в нерелигиозных семьях и получили светское воспитание. Оба они, уже будучи взрослыми людьми, увлеклись католицизмом и стали монахами: первый — ордена бенедиктинцев, второй — ордена иезуитов. Франц Шахерль,

порвал с религией, сочувственно относился к идеям марксизма. В годы второй мировой войны он вступил в подпольную антифашистскую организацию, а в 1943 году пал от руки фашистских захватчиков.

Алигеро Тонди, бывший пятнадцать лет католическим монахом, в 1951 году открыто порвал с иезуитами, перешел на позиции марксизма, а вслед за тем вступил в ряды Коммунистической партии. Его книга «Иезуиты», разоблачающая сущность католицизма и реакционную роль Ватикана, была опубликована в 1954 году и в следующем году переведена на русский язык. В настоящем сборнике она печатается со значительными сокращениями.

Объединив в одном переплете отрывки из «Завещания» аббата Жана Мелье и отдельные разделы из произведений упомянутых выше авторов, составитель рецензируемой книги Л. И. Емелях и редакция научного атеизма Госполитиздата как бы наметили историческую преемственность в развитии одного из наиболее интересных направлений научного атеизма.

Атеистические произведения, вышедшие из-под пера бывших крупных религиозных деятелей, примечательны тем, что в них не только содержится критика тех теневых сторон религии, которые обычно ускользают от взоров людей, никогда не веривших в бога, но и подвергаются беспощадному разоблачению скрытые от постороннего наблюдения стороны церковной деятельности, церковного быта. Вместе с тем такие произведения позволяют глубже понять внутреннюю психологию человека, искренне ищущего в религии ответа на наиболее волнующие его вопросы и наконец приходящего к пониманию, что все эти поиски — сплошной самообман.

Вот что пишет в своей книге «Иезуиты» Алигеро Тонди: «Я пытался верить, держась стойко, хотя это и было мучительно. Однако новая и глубокая эволюция отныне началась во мне. Из столкновения между католической доктриной и истиной возник медленный, но неуклонный пересмотр всей моей жизни. Я был глубоко несчастен. Величественное здание, которое мне удалось кирпич за кирпичом возвести ценой несказанных жертв, теперь рушилось под могучими потоками света, исходящими от победоносного светила — светила истины».

Общие черты в судьбах авторов работ, вошедших в книгу «Правда о религии», не

ограничиваются тем, что все они в равной мере проделали мучительную духовную эволюцию от религии к атеизму. Всем им, бывшим церковным деятелям, приходилось преодолевать бешеное сопротивление клерикальных организаций, пытавшихся клеветой, угрозами и уговорами вернуть их на прежний путь. Жрецы американской демократии обливали потоками грязи «епископа большевиков и неверующих» — Брауна, итальянские клерикалы пытались посадить доктора теологии Тонди в сумасшедший дом, чехословацкие католики стремились шантажом и запугиванием вернуть Шахерля за монастырские стены. Только православный митрополит Н. Платонов, в 1938 году сложивший с себя сан и порвавший с религией, не подвергся никаким преследованиям и гонениям. Но это объясняется тем, что он жил в стране, конституция которой гарантирует гражданам полную свободу религиозных и атеистических убеждений.

Из помещенных в сборнике материалов читатель узнает о противоречиях в ветхих и повозветных книгах, о быте современных католических монастырей, о деятельности Ватикана, особенно ордена иезуитов, о пропасти между идеологией христианства и научным коммунизмом. Особый интерес представляют отрывки из «Исповедн» бывшего ленинградского митрополита Платонова, а также части из его фундаментального труда по истории православной церкви.

Жизнь Н. Ф. Платонова протекала в иных условиях, чем жизнь Брауна, Шахерля и Тонди. Современник Октябрьской революции и первых пятилеток, он своими глазами увидел, какую гигантскую энергию, какой творческий размах проявляет народ, освободившийся из-под гнета царизма и избавившийся от разлагающего влияния церковников. Вместе с тем Платонов лучше, чем кто бы то ни было другой, знал, какую реакционную роль играла в годы гражданской войны и следовавшие за ними годы социалистического строительства православная церковь. Шаткость и беспочвенность религиозных доктрин и могучее воздействие социалистической идеологии — вот те факторы, которые побудили одного из старших иерархов православной церкви — митрополита ленинградского Платонова — сложить с себя сан. Став хранителем одного из ленинградских музеев, Платонов часто выступал с научно атеисти-



ческими лекциями и докладами, писал на антирелигиозные темы и принимал самое широкое участие в культурно-воспитательной работе среди трудящихся.

Помещенные в сборнике отрывки из произведений Платонова содержат богатый фактический материал и личные впечатления человека, отдавшего двадцать лет своей жизни церковной деятельности. Значительная часть этих материалов публикуется впервые.

Сборник в целом и каждый из его разделов снабжены обстоятельными предисловиями, знакомящими читателя с биографиями отдельных авторов и дающими общую оценку помещенным здесь произведениям. Автор этих предисловий и составитель сборника Л. И. Емелях проделала

большую работу по подбору материала, по сверке отдельных переводов с их оригиналами. Жаль только, что в отрывках из книги Тонди «Иезуиты» не помещены части, опущенные в отдельном издании, вышедшем в русском переводе.

Хорошо, что в книге дан краткий словарь имен и религиозных терминов. Этот словарь не только облегчает чтение не искушенному в вопросах религии и атеизма читателю, но и имеет самостоятельное значение. Создание подобных словарей в более крупном объеме и выпуск их в свет в виде отдельных изданий были бы чрезвычайно полезны для повышения уровня нашей научно-атеистической пропаганды.

*Кандидат философских наук*  
**А. РАКИТОВ.**



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**В. И. ЛЕНИН О ПРОГРАММЕ ПАРТИИ.** Документы, статьи, речи. Госполитиздат. М. 1959. 528 стр. Цена 9 р. 50 к.

В будущем году состоится очередной, XXII съезд КПСС, который рассмотрит программу партии. «Решение о подготовке новой программы партии,— говорил Н. С. Хрушев в своей речи на Всесоюзном совещании по энергетическому строительству,— было принято еще на XVIII съезде. Но дело затянулось, и это, может быть, даже к лучшему. Сейчас мы имеем возможность шире и дальше видеть. Партия накопила богатый опыт, и на основе его обобщения, на основе успехов в развитии страны теперь можно более глубоко разработать программу, определить главные задачи и пути строительства коммунистического общества».

Очень своевременным является сейчас выход в свет сборника «В. И. Ленин о программе партии», в материалах которого отражен гигантский труд основателя Коммунистической партии в разработке важнейших теоретических вопросов, в создании партийной программы и ее защите от всякого рода оппортунистов.

В сборник включены черновые наброски, проекты, программы, статьи, письма, выступления и замечания В. И. Ленина за 1895—1921 годы по программным вопросам. В конце книги помещены примечания, именной и предметный указатели, а также указатель прессы. В качестве приложений даны тексты программ партии, принятых на II и VIII партийных съездах.

**А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ.** Статьи и речи по вопросам международной политики. Соцэкиз. М. 1959. 452 стр. Цена 6 р. 90 к.

В последние годы своей жизни А. В. Луначарский работал на дипломатическом поприще. В качестве заместителя главы советской делегации он принимал активное и непосредственное участие в работах Подготовительной комиссии и конференции по разоружению, а после отъезда М. М. Литвинова из Женевы в Москву возглавлял советскую делегацию. В 1933 году Луначарский был назначен советским послом в Мадрид и умер в пути к новому месту службы.

Впервые издаваемый сборник его статей и речей по вопросам международной поли-

тики поможет нашему читателю по достоинству оценить и эту пока еще малозвестную сторону многогранной деятельности Анатолия Васильевича. В то же время статьи, доклады, памфлеты Луначарского, написанные в Женеве, где заседали Подготовительная комиссия и конференция по разоружению, раскрывают миролюбивую политику Советского правительства и разоблачают империалистов, срывающих предложения Советского Союза.

Яркие, доходчивые материалы сборника рассказывают, каким выдающимся борцом за мир во всем мире был А. В. Луначарский. «Война для нас,— писал он,— помеха. Нам она не нужна. Нам нужно спокойствие. Нам нужно сосредоточить силы на нашем главном деле. Осуществляя его, мы будем завоевывать десятки и сотни миллионов трудящихся, которые, убедившись в правильности нашего пути, водворят на всей земле тот порядок, который мы считаем разумным».

**ГОВОРЯТ СТРОИТЕЛИ СОЦИАЛИЗМА.** Госполитиздат. М. 1959. 416 стр. Цена 8 р. 50 к.

Авторы книги — новаторы промышленности и сельского хозяйства, ученые и инженеры, руководители строек, заводов и колхозов, партийные работники. Их воспоминания — волнующие человеческие документы о том, как, преодолевая огромные трудности, с исключительным энтузиазмом советские люди строили первое в мире социалистическое общество.

Публикуемые в сборнике воспоминания Г. М. Кржижановского, А. В. Винтера, Я. М. Гаккеля лишний раз показывают, какое большое внимание уделял В. И. Ленин индустриализации и электрификации страны.

Материалы книги рассказывают о создании у нас новых отраслей промышленности, о трудовых достижениях коллективов таких индустриальных гигантов, как Магнитострой и Кузнецкстрой, о колхозном строительстве.

Немало интересного читатель узнает из воспоминаний М. Е. Путьна о том, как среди рабочих ленинградского завода «Красный выборжец» зародилась мысль о заключении договора на социалистическое соревнование,— это был первый в Советском Союзе социалистический договор.

Книга хорошо оформлена.

**И. С. ЕГОРОВ.** Неиспользуемые миллионы. Сельхозгиз. М. 1959. 104 стр. Цена 1 р. 35 к.

Недооценка значения в земледелии многолетних трав приводит к тому, что районы Севера, Северо-Запада и Центра нашей страны ежегодно не добирают около пяти-сот миллионов пудов хлеба. Из-за несвоевременной уборки сеяных трав ежегодно теряется столько белка, что его хватило бы, чтобы прокормить еще два с половиной миллиона коров и дополнительно получать почти семь с половиной миллионов тонн молока...

Об этих и других неиспользуемых резервах, о колоссальных возможностях, какие мы утрачиваем, не по-хозяйски относясь к возделыванию многолетних трав, говорится в книге И. С. Егорова. Автор ее — Герой Социалистического Труда — четверть века бесменно возглавлял известный в Подмоскovie ордена Ленина колхоз «Победа» Дмитровского района. Больших и устойчивых урожаев, высокой продуктивности скота это хозяйство достигло после того, как перешло на травопольные совообороты и стало широко возделывать клевер и другие многолетние травы.

Автор называет свою книгу «всего только советами старого председателя колхоза». Но опыт «Победы» занимает в ней более чем скромное место. Стремясь еще глубже обосновать свои доводы, И. С. Егоров побывал во многих других колхозах и на опытных станциях Московской, Смоленской, Горьковской, Костромской, Ярославской, Кировской, Киевской областей. Он собрал весьма интересный и во многом весьма поучительный материал. «Секреты» достижений, анализу ошибок в травосеянии и посвящена книга «Неиспользуемые миллионы».

**М. И. ЛАЗАРЕВ.** За ликвидацию военных баз США на чужих территориях. Издательство Института международных отношений. М. 1959. 96 стр. Цена 1 р. 90 к.

Одним из главных источников международной напряженности является наличие американских военных баз на чужих территориях. Как заявил сенатор Фулбрайт, США имеют сейчас приблизительно 275 главных комплексов баз; более одного миллиона человек составляет персонал американских вооруженных сил, находящихся в сорока восьми странах.

В книге М. Лазарева описываются различные виды этих баз, указывается их местонахождение, приводится ряд откровенных высказываний видных американских деятелей о том, что конечной целью создания таких баз является не оборона, а нанесение ударов по промышленным и стратегическим центрам социалистических стран. Автор критически рассматривает разного рода американские «доктрины» и «концепции», призванные обосновать политику «с позиции силы» и, в частности, строительство военных баз США на чужих террито-

риях. Книга призывает к бдительности против поджигателей войны.

Надо сказать, что оснащенность книги картами, иллюстративным материалом немного повысила бы доходчивость текста. Жаль, что издательство этого не сделало.

**Б. РЖОНСНИЦКИЙ.** Никола Тесла. «Молодая гвардия». М. 1959. 224 стр. Цена 5 р. 10 к.

В 1943 году в Москве впервые в мире была продемонстрирована возможность беспроводной передачи энергии наземному транспорту при помощи токов высокой частоты. Инициатор этого способа — талантливый сын югославского народа Никола Тесла (1856—1943).

Заслуги этого изобретателя очень значительны. Он создал электродвигатель многофазного переменного тока, оригинальную систему передачи сигналов с помощью электромагнитных волн, построил первое судно, управляемое по радио. Всего у Теслы свыше восьмисот изобретений.

О необычайной судьбе Теслы и его изобретений рассказывает в своей книге Б. Ржонсницкий. Большинство приведенных им сведений советскому читателю неизвестно. Некоторые из них почерпнуты из неопубликованных рукописей Теслы.

Во время второй мировой войны ученый, несмотря на преклонный возраст, страстно и энергично выступал против поработителей своей родины — фашистских захватчиков. В письме, помещенном в газете «Известия» в 1941 году, Тесла писал: «Мы, югославы, с восхищением следим за героической борьбой братского нам русского народа и всех народов Советского Союза и восхищаемся высокими устремлениями ваших великих героев, которые проливают кровь не только в защиту своей родины, но также за свободу и цивилизацию всех поработанных фашизмом народов. Мы твердо уверены в победе».

В следующем году Никола Тесла напечатал свое знаменитое письмо «Моим братьям в Америке», документ, полный высокого гуманизма. Он глубоко верил, что послевоенный мир «будет миром свободных людей и народов».

**СЭН КАТАЯМА.** Статьи и мемуары. Издательство восточной литературы. М. 1959. 344 стр. Цена 9 р.

К столетию со дня рождения (декабрь 1959 года) Сэн Катаяма — основателя Коммунистической партии Японии — Институт востоковедения Академии наук СССР подготовил сборник его статей и мемуаров.

Литературное наследство этого замечательного политического деятеля составляет свыше семисот трудов. Сюда входят выступления по японскому и международному рабочему движению, статьи по национально-колониальным проблемам, по аграрному вопросу, международным отношениям на Дальнем Востоке и т. д.

Со страниц книги встает образ пламенного революционера, человека негнимо-

воли. Когда в 1927 году одна из буржуазных японских газет напечатала провокационное сообщение о том, что Катаяма якобы отошел от революционного движения, он заявил: «Коммунизм — это моя жизнь. Поднять революцию в Японии — это для меня самое важное... Если я не смогу работать для коммунизма, — я предпочту смерть».

В конце книги приведены основные даты жизни Сэн Катаяма и библиография его работ.

**К. БАЗАРБАЕВ.** Кустанайская область. Экономико-географическая характеристика. Издательство Академии наук Казахской ССР. Алма-Ата. 1959. 190 стр. Цена 9 р. 40 к.

До недавнего времени Кустанайская область в основном была сельскохозяйственным районом. Сейчас это не только крупнейшая житница Казахстана, но и район бурного развития промышленности. Здесь обнаружены огромные природные богатства — залежи железных и магнетитовых руд, асбеста, угля, боксита. На их основе строятся мощные предприятия.

Книга рассказывает о быстром развитии производительных сил Кустанайской области, о перспективах роста ее экономики в семилетке. Автор подробно характеризует районы, различающиеся по направлениям хозяйства.

**ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗМА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (Материалы дискуссии о реализме в мировой литературе 12—18 апреля 1957 г.).** Гослитиздат. М. 1959. 635 стр. Цена 15 р. 10 к.

В книге собраны материалы дискуссии о реализме, которая была проведена в Москве весной 1957 года Институтом мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР. С некоторыми из этих материалов читатели уже знакомы: они в свое время печатались на страницах «Литературной газеты», журнала «Вопросы литературы» и других журналов. Дискуссия, вопросы, которые на ней затрагивались, получили отклик и в целом ряде стран, в особенности в ГДР, Китае, Болгарии, Польше, Чехословакии, Японии.

В аннотируемый сборник включены доклады, которые обсуждались на дискуссии: И. Анисимова «Наша задача» (вводное слово), Я. Эльсберга «Спорные вопросы изучения реализма в связи с проблемой классического наследия», В. Щербины «О социалистическом реализме», К. Зелникого «Национальная форма и социалистический реализм», В. Перцова «Реализм и модернистские течения в русской литературе начала XX века», М. Храпченко «Реалистический метод и творческая индивидуальность писателя», В. Виноградова «Реализм и развитие русского литературного языка». Д. Благого «Особенности русского реализма XIX века» и другие.

В материалы сборника вошел также ряд выступлений, освещающих наиболее существенные вопросы развития реалистического

метода, среди них выступления В. Асмуса, Б. Бялика, Б. Бурсова, Т. Мотылевой, А. Мясникова, Г. Недошивина, Г. Фридлендера.

В последнем разделе — «К итогам дискуссии» — опубликованы заключительное слово И. Анисимова и статья Я. Эльсберга «Проблемы реализма и задачи литературной науки», обобщающая некоторые материалы дискуссии.

Сборник готовили к печати научные сотрудники сектора теории литературы и эстетики Института мировой литературы им. Горького АН СССР. Общая редакция — И. Анисимова и Я. Эльсберга.

**Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ.** Саратовское книжное издательство. Том I. 424 стр. Цена 15 р. 15 к. 1958. Том II. 422 стр. Цена 15 р. 1959.

Мемуарной литературы о Чернышевском относительно немного: всего за сто лет накоплено около 180 названий. Но интерес читателя к ней, естественно, очень высок. До сего времени не было сборника, который более или менее полно объединял бы эти материалы. Настоящее издание — первая попытка собрать в одной книге воспоминания и рассказы о Чернышевском.

Расположены они в хронологической последовательности.

В первом томе — три раздела, в которых даны материалы, освещающие детские и юношеские годы писателя, два года его жизни в Саратове после окончания университета и весь петербургский период его литературной и общественно-политической деятельности. Воспоминания современников о годах каторги и ссылки Чернышевского приведены во втором томе, здесь же публикуются мемуарные документы о последних месяцах его жизни в Саратове.

В приложениях к изданию печатаются эпизодические сведения о Чернышевском, сохранившиеся в письмах Герцена, Некрасова, Плещеева, Тургенева, в записях Добролюбова и Никитенко и других источниках.

В подготовке к печати настоящего издания приняла участие большая группа профессоров, преподавателей и аспирантов Саратовского государственного университета, а также научные сотрудники Саратовского Дома-музея Н. Г. Чернышевского. Двухтомник вышел под общей редакцией Ю. Оксманя.

**ИЗ ИСТОРИИ СВЯЗЕЙ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР.** Сборник статей. Издательство Академии наук СССР. М. 1959. 159 стр. Цена 8 руб. 40 коп.

Сборник составлен научными сотрудниками Института мировой литературы имени А. М. Горького и Института славяноведения Академии наук СССР.

Связи славянских литератур рассматриваются в сборнике в различных аспектах. В статьях затрагивается вопрос о непосредственном влиянии русской литературы на литературу славянских народов, об оценке

творчества славянских писателей русской критикой второй половины XIX века, например творчества чешских писателей Галлека, Я. Неруды, Врхлицкого и других, польской писательницы Марии Конопницкой. Авторы статей анализируют процесс отражения в литературных произведениях славянских писателей фактов общественно-политической борьбы, например освободительной борьбы польского народа в творчестве чешского писателя Алонза Ирасека.

Исследователями привлечены архивные материалы, освещающие новые факты культурных и литературных связей славянских народов.

**ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ.** Горная порода. Сказы и легенды. «Советский писатель». М. 1959. 380 стр. Цена 11 р. 70 к.

Народными сказами, легендами Демьян Бедный интересовался и занимался многие годы своей жизни. Особенно ему близок был рабочий фольклор. О сказах уральцев он писал в 1939 году: «Горная порода целой династии уральских горных мастеров создавала эти пленительные сказы, эту чудесную героическую Эпопею о страданиях и борьбе доблестных предков нынешнего счастливого поколения уральцев».

Произведения, вошедшие в этот сборник, — не простая переработка сказов; в них автор в присущей ему манере оригинально решает ряд тем, затронутых в творчестве уральских рабочих. В основу многих из них легли сказы, записанные в свое время Бажовым.

Вся книга «Горная порода», за исключением двух алтайских легенд, посвящена Уралу. Она представляет собой часть литературного наследства Д. Бедного и публикуется впервые.

**М. АЛПАТОВ.** Александр Иванов. «Молодая гвардия». М. 1959. 272 стр. Цена 6 р. 40 к.

С обложки книги смотрит на нас усталый человек с тревожным, вдумчивым взглядом. Это этюд А. Иванова к его картине «Явление Мессии народу», предполагаемый автопортрет художника, человека редкого благородства, чистоты и честности, одного «из лучших людей, которые только украшают землю». — как отзывался о нем Н. Г. Чернышевский.

О трагической судьбе художника рассказывает в своей книге М. Алпатов. Книга эта написана на основе его двухтомной монографии об Александре Иванове, переработанной автором для более широкого круга читателей; она вышла в серии «Жизнь замечательных людей».

Вся жизнь Ал. Иванова — это многолетний труд чрезвычайно требовательного к себе художника, который видел задачу искусства в том, чтобы «соединить рафаэлевскую технику с идеями новой цивилизации».

Около двадцати лет работал Александр Иванов над знаменитой своей картиной «Явление Мессии народу». Картина эта, несмо-

тря на некоторую академичность, оказала огромное влияние на целую плеяду русских художников XIX века. В частности, Репин признавал ее «самой гениальной и самой народной русской картиной», так как «тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы...».

Автор рассказывает об углубленной работе Иванова над картиной, о том, как он шел от библейского сюжета к живой действительности, о его поразительном трудолюбии: только к картине «Явление Мессии народу» он написал более шестисот этюдов, многие из которых являются самостоятельными картинами.

В книге помещены репродукции картин Александра Иванова.

**ЭСФИРЬ ШУБ.** Крупным планом. «Искусство». М. 1959. 256 стр. Цена 21 р. 20 к.

«Наша кинематографическая гордость» — так назвал Владимир Маяковский автора этой книги, Эсфирь Шуб, крупнейшего мастера и одного из создателей советского документального кино. Э. Шуб — режиссер фильмов, получивших широкое признание: «Падение династии Романовых», «Страна Советов», «Россия Николая II и Лев Толстой», «Испания» и других.

«Крупным планом» — это увлекательный рассказ режиссера о своих картинах, о работах товарищей, это хроника (конечно, не всеобъемлющая) советского кино, написанная ярко, талантливо.

Но не только этим привлекательна книга Э. Шуб.

«Я попыталась написать книгу воспоминаний о некоторых замечательных людях, с которыми мне посчастливилось встретиться по своей работе, о людях, которые прошли в моей жизни крупным планом», — пишет Э. Шуб.

Владимир Маяковский, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Вишневский. Им посвящены главы «Крупным планом». Эти портреты замечательны у Э. Шуб потому, что они приближают к знакомому нам свежее краски, личное отношение. Вечера на квартире у Маяковского, первое чтение им поэмы «Хорошо», рассказ о большой дружбе с Эйзенштейном, Вишневым... Много встреч с прекрасным было в жизни Эсфири Шуб.

Максим Горький и Ромен Роллан, Апри Барбюс, захвативший на киностудию; Луначарский, слушающий Маяковского, Блок, Фадеев, Юрий Тынянов, Немирович-Данченко, Мейерхольд, Ната Вачнадзе, Николай Шенгелая... Одни только комментарии к именам и произведениям искусства, которые «крупным планом» проходят в книге Э. Шуб, занимают около сорока страниц убогистого текста.

Эсфирь Шуб обо всем писала интересно, с любовью, обнаруживая не только литературный талант, не только острый, меткий взгляд кинематографиста, но и талант человека. И благородный, обаятельный

образ автора «Крупным планом», предельно скромного, даже невнимательного к себе от полноты любви к людям, товарищам, искусству, встает со страниц этой книги.

**АНТ. ЛАДИНСКИЙ.** Когда пал Херсонес... Роман. «Советский писатель». М. 1959. 264 стр. Цена 4 р. 70 к.

Это роман о России и Византии X века, о выходе русского государства на мировую арену и его международном значении. Книга воскрешает малоосвещенную в художественной литературе страницу нашей истории, когда одна из самых мощных и культурных стран средневековья — Византия, — переживавшая тяжелый кризис из-за восстания феодалов, обратилась к русскому князю за помощью.

Повесть ведется от имени Ираклия Метафраста, византийского аристократа, с презрением относящегося к другим народам, особенно к далекой, «дикой» Руси. Метафраст вынужден сопровождать горячо любимую им византийскую принцессу Анну в осажденный князем Владимиром Херсонес и передать ее от имени императора «скифскому» вождю в награду за помощь.

Под влиянием близкого знакомства с русскими умный государственный деятель, мыслитель и поэт Метафраст из яркого врага «варварской» Скифии становится ее доброжелателем и другом.

Хорошо зная исторические источники, автор увлекательно и поэтично описал один из интереснейших периодов в жизни русского народа. Интересна и биография автора. А. Ладинский в 1921 году оставил родину, после чего несколько лет жил в Александрии (Египет), а затем поселился во Франции, где стал заниматься журналистской и литературной деятельностью. А. Ладинский активно выступал со ста-

тьями, выражающими симпатии и интерес к жизни советского народа, был за это в 1950 году выслан из Франции и до 1955 года жил в Дрездене. Несколько лет тому назад А. Ладинский вернулся на родину. Роман «Когда пал Херсонес...», написанный еще в тридцатых годах, вышел сейчас в новой авторской редакции с учетом последних работ советских историков и археологов.

**И. МУРАВЬЕВА.** Андерсен. «Молодая гвардия». М. 1959. 272 стр. Цена 6 р. 5 к.

Несмотря на огромную популярность андерсеновских сказок (Андерсен — один из самых распространенных в СССР зарубежных авторов), у нас не было до сих пор более или менее подробной его биографии. Книга И. Муравьевой, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей», — первая на русском языке большая биография Ханса Кристиана Андерсена. Используя письма и дневники Андерсена, его сказки и романы, в которых много автобиографических черт, а также труды датских исследователей, И. Муравьева написала по существу увлекательную повесть о жизни писателя.

История жизни Андерсена дается в книге на широком фоне политической и литературной борьбы того времени.

«Итак, главные черты облика сказочника выступают перед нами, когда мы читаем его произведения, — пишет автор, завершая свой рассказ, — ведь человека судят по его делам, а что же с большим правом может называться делами Андерсена, если не его сказки? Но знакомство с жизнью писателя и его эпохой позволяет нам понять, как сложился этот своеобразный талант». Вот о том, как сложился писатель, признанный еще при жизни «королем сказки», и рассказывает нам его советский биограф.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Конспект «Переписки К. Маркса и Ф. Энгельса 1844—1883 гг.», 452 стр. Цена 7 р.

**В. И. Ленин о трудовом законодательстве.** 520 стр. Цена 9 р. 30 к.

**Второй съезд РСДРП.** Июль — август 1903 года. Протоколы. 852 стр. Цена 14 р. 80 к.

**Третий съезд РСДРП.** Апрель — май 1905 года. Протоколы. 784 стр. Цена 13 р. 40 к.

**Восьмой съезд РКП(б).** Март 1919 года. Протоколы. 602 стр. Цена 11 р. 30 к.

**Декреты Советской власти.** Том II. 17 марта — 10 июля, 1918 г. 688 стр. Цена 12 р.

**О дальнейшем развитии сельского хозяйства.** Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 25 декабря 1959 года. 24 стр. Цена 25 к.

**Н. С. Хрущев.** Полнее используем резервы для дальнейшего подъема сельского хозяйства. Речь на Пленуме ЦК КПСС 25 декабря 1959 года. 56 стр. Цена 60 к.

**Н. С. Хрущев.** Претворение в жизнь ленинских идей электрификации страны — верный путь к победе коммунизма. Речь на Всесоюзном совещании по энергетическому строительству 28 ноября 1959 г. 32 стр. Цена 35 к.

**Н. С. Хрущев.** Речь на VII съезде Венгерской социалистической рабочей партии 1 декабря 1959 года. 32 стр. Цена 30 к.

**И. Белов.** Высокие скорости приходят на поля. 32 стр. Цена 30 к.

**Отто Бухвиц.** 50 лет функционером германского рабочего движения. 144 стр. Цена 2 р.

**Э. Э. Вейс, В. К. Ситчихин.** Семилетка Латвии. 64 стр. Цена 75 к.

**Б. Г. Гафуров.** Некоторые вопросы национальной политики КПСС. 88 стр. Цена 1 р.

**Владислав Гомулка.** Статьи и речи. 376 стр. Цена 7 р.

**А. Н. Красильников.** Политика Англии в отношении СССР. 1929—1932 гг. 308 стр. Цена 8 р.

**А. Д. Курский.** Экономические основы народнохозяйственного планирования в СССР. 368 стр. Цена 10 р.

**В. А. Кучеренко.** План великих работ. Капитальное строительство в 1959—1965 гг. 96 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Лицом к лицу с Америкой.** Рассказ о поездке Н. С. Хрущева в США 15—27 сентября 1959 года. 680 стр. Цена 11 р.

**Н. Н. Молчанов.** Внешняя политика Франции. 1944—1954. 404 стр. Цена 8 р.

**Л. И. Нарочницкая.** Россия и войны Пруссии в 60-х годах XIX в. за объединение Германии «сверху». 288 стр. Цена 9 р.

**Н. Петров.** Большевики на Западном фронте в 1917 году. Воспоминания. 120 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Проблемы политической экономии социализма.** Сборник статей. Выпуск 1959 г. 344 стр. Цена 7 р.

**Федор Селиванов.** Панфиловцы. 144 стр. Цена 1 р. 35 к.

**С. Сердитова.** Большевики в борьбе за женские пролетарские массы (1903 г.— февраль 1917 г.). 136 стр. Цена 1 р. 65 к.

**Спутник атеиста.** 544 стр. Цена 14 р.

**III съезд Польской объединенной рабочей партии** (Варшава, 10—19 марта 1959 г.). 500 стр. Цена 8 р. 50 к.

**Фын Дин.** Некоторые вопросы, касающиеся китайской национальной буржуазии. 132 стр. Цена 2 р.

**Федор Чирва.** Земля золотых плодов. 64 стр. Цена 75 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**М. Агашина.** Сорок трав. Стихи. 80 стр. Цена 90 к.

**А. Антонов.** Повесть о былом. 420 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Н. Асанов.** Пологая радуга. Стихи и поэмы. 164 стр. Цена 3 р. 30 к.

**В. Бахтин.** Александр Прокофьев. Критико-биографический очерк. 240 стр. Цена 4 р.

**А. Белевич.** Поэмы. Перевод с белорусского. 112 стр. Цена 2 р. 50 к.

**О. Берггольд.** Дневные звезды. 164 стр. Цена 3 р. 90 к.

**П. Бляхин.** Дни мятежные. Повесть о днях моей жизни. 324 стр. Цена 5 р. 70 к.

**П. Воронько.** Щедрая земля. Стихи. Перевод с украинского. 208 стр. Цена 2 р. 85 к.

**А. Воскерчан.** Степан Шаумян и вопросы литературы. 232 стр. Цена 6 р.

**В борьбе за социалистический реализм.** Литературно-критические статьи. 552 стр. Цена 13 р. 20 к.

**М. Годенко.** Людское счастье. Цветет акация. Поэмы. 76 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Е. Горбань.** Земля бесстрашных. Стихи. 104 стр. Цена 3 р. 35 к.

**Н. Давыдова.** Только одна удача. Рассказы. 120 стр. Цена 2 р. 70 к.

**С. Зорьян.** Рассказы. Перевод с армянского. 420 стр. Цена 6 р. 85 к.

**В. Каверин.** Пьесы. 252 стр. Цена 6 р. 75 к.

**Б. Кербабаев.** Небит-Даг. Роман. Перевод с туркменского. 472 стр. Цена 7 р. 75 к.

**В. Кулемин.** Ожидание. Лирика. 100 стр. Цена 1 р. 15 к.

**Ю. Левитанский.** Стороны света. Стихи. 104 стр. Цена 2 р.

**К. Лорджипанидзе.** Клинок без ржавчины. Рассказы. Перевод с грузинского. 240 стр. Цена 4 р. 35 к.

**А. Лупан.** Про нас. Стихи. Перевод с молдавского. 216 стр. Цена 3 р. 25 к.

**С. Маршак.** Сатирические стихи. 240 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Н. Мацуев.** Советская художественная литература и критика 1956—1957 гг. Библиография. 548 стр. Цена 21 р. 80 к.

**В. Михайлов.** День и вечер. Документальная повесть. 232 стр. Цена 3 р.

**Ф. Оржеховская.** Шопен. Роман. 576 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Ян Райнис.** Избранные произведения. 640 стр. Цена 6 р. 5 к.

**Г. Рамазанов.** Зори молодости. Стихи и поэмы. Перевод с башкирского. 136 стр. Цена 2 р. 45 к.

**Рассказы 1958 года.** 500 стр. Цена 8 р. 35 к.

**А. Рекемчук.** Время летних отпусков. Повести и рассказы. 272 стр. Цена 5 р. 25 к.

**В. Розов.** В поисках радости. Страницы жизни. В добрый час! Вечно живые. Пьесы. 408 стр. Цена 8 р. 55 к.

**А. Сагьян.** Зеленый тополь. Наирн. Стихи. Перевод с армянского. 124 стр. Цена 1 р. 35 к.

**И. Серебряный.** Шолом-Алейхем. Критико-биографический очерк. 220 стр. Цена 5 р. 55 к.

**Юхан Смуул.** Ледовая книга. Антарктический путевой дневник. Перевод с эстонского. 300 стр. Цена 5 р. 45 к.

**П. Тычина.** Мы совесть человечества. Стихи. Перевод с украинского. 104 стр. Цена 3 р. 10 к.

**А. Твардовский.** Родина и чужбина. Задумки, очерки, рассказы. 480 стр. Цена 6 р. 70 к.

**Фурманов в воспоминаниях современников.** 252 стр. Цена 5 р. 90 к.

**В. Чичеров.** Вопросы теории и истории народного творчества. 312 стр. Цена 7 р. 60 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Фатих Амирхан.** Татарка. Избранные произведения. Перевод с татарского. 271 стр. Цена 5 р.

**Ялмар Бергман.** Маркуреллы из Вадчпинга. Роман. Перевод со шведского. 319 стр. Цена 7 р. 20 к.

**М. Богданова.** Гоктогул Сатылганов. Критико-биографический очерк. 111 стр. Цена 4 р. 25 к.

**Арсен Коцоев.** Саломн Избранные рассказы. Перевод с осетинского. 207 стр. Цена 4 р. 70 к.

**Святослав Минков.** Рассказы. Фельетоны. Сказки. Очерки. Перевод с болгарского. 431 стр. Цена 7 р. 90 к.

**Ян Неруда.** Избранное. В двух томах. Перевод с чешского. Том I. 463 стр. Цена 6 р. Том II. 526 стр. Цена 8 р.

**Ричард Олдингтон.** Все люди — враги. Роман. Перевод с английского. 551 стр. Цена 14 р. 40 к.

**Харитон Плиев.** Песни гор. Стихотворения и поэмы. Перевод с осетинского. 151 стр. Цена 3 р.

**Против буржуазных концепций и ревизионизма в зарубежном литературоведении.** 215 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Раушан.** Узбекская народная эпическая поэма. Перевод с узбекского. 135 стр. Цена 10 р.

**Джон Рид.** Восставшая Мексика. Рассказы и очерки. Переводы с английского. 503 стр. Цена 14 р. 50 к.

**Осип Юрий Федькович.** Любовь-погибель. Повести и рассказы. Перевод с украинского. 167 стр. Цена 3 р. 65 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Ай У.** В огне рождается сталь. Роман. 288 стр. Цена 7 р. 35 к.

**Василь Большак.** За Десной-рекой. 176 стр. Цена 2 р. 60 к.

**А. Виршулис.** Путь героев. Документальный очерк. 192 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Голубые ели.** Сборник стихов молодых поэтов Балкаррии. 48 стр. Цена 2 р. 30 к.

**В. Захарченко.** На пороге великого века. 272 стр. Цена 5 р.

**Иван Кожевников.** Утро моей жизни. Повесть. 240 стр. Цена 5 р. 10 к.

**Михаил Коршунов.** Наша компания. Юмористические рассказы. 272 стр. Цена 5 р. 25 к.

**Степан Макивка.** Непокоренные окраины. Перевод с украинского. 160 стр. Цена 2 р. 25 к.

**В. Пальман.** Река выходит из берегов. Роман. 221 стр. Цена 4 р. 70 к.

**Бруно Саулит.** Сыновья профессора. Повесть. Перевод с латышского. 176 стр. Цена 2 р. 65 к.

**Стихи за колючей проволокой.** Документальная повесть. 160 стр. Цена 2 р. 40 к.

**В. Тропачинская-Огаркова.** Лесные доли. Роман. 357 стр. Цена 8 р. 35 к.

### ДЕТГИЗ

**А. Гавеман.** Лес. Беседы лесоводов. 160 стр. Цена 4 р. 80 к.

**Б. Гребнев, С. Гребнев.** Крылатые корабли. 136 стр. Цена 3 р.

**В. Дитякин.** Леонардо да Винчи. 224 стр. Цена 6 р.

**Л. Дроздов.** Советы пионерам и школьникам по сельскому хозяйству. 160 стр. Цена 3 р. 50 к.



**В. Елагин.** Заглянем в завтра. 256 стр. Цена 4 р. 95 к.

**Золотой фонарик.** Рассказы, стихи, сказки китайских писателей. 176 стр. Цена 15 р. 50 к.

**М. Ильин.** Воспоминания юнги Захара Загадкина. 168 стр. Цена 4 р. 50 к.

**А. Кардашова.** Маленькие товарищи. Стихи и поэмы. 96 стр. Цена 3 р. 10 к.

**А. Кононов.** Рассказы и повести. 272 стр. Цена 6 р. 50 к.

**А. Копыленко.** Десятиклассники. Роман. Перевод с украинского. 192 стр. Цена 3 р. 90 к.

**А. Линдгрэн.** Приключение Калле Блюмквиста. Перевод со шведского. 224 стр. Цена 4 р. 95 к.

**П. Макрушенко.** Школьники. Очерки. 120 стр. Цена 2 р. 85 к.

**Мир приключений.** Книга пятая. 444 стр. Цена 15 р. 20 к.

**Ю. Нагибин и Я. Рыкачев.** Великое поольство. Историческая повесть. 184 стр. Цена 3 р. 40 к.

**Наш Коста.** Рассказы о народном поэте Осетии. 112 стр. Цена 2 р. 60 к.

**В. Осеева.** Динка. Повесть. 480 стр. Цена 11 р.

**Т. Паккала.** Маленькие люди. Рассказы. Перевод с финского. 144 стр. Цена 3 р. 45 к.

**А. Петров-Дубровский.** Мастер торжествующего света. Повесть о Рембрандте. 96 стр. Цена 4 р. 60 к.

**Н. Тихонов.** Первый самолет. Автобиографические рассказы. 112 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Г. Р. Хадгард.** Хозяйка Блосхолма. Роман. Перевод с английского. 296 стр. Цена 7 р. 25 к.

**М. Циммеринг.** Вокруг света поневоле. Повесть. Перевод с немецкого. 312 стр. Цена 5 р. 95 к.

**Е. Чеповецкий.** Непоседа. Мякиш и Нетак. Повесть-сказка. 120 стр. Цена 4 р.

**О. Черный.** Римский-Корсаков. Повесть. 312 стр. Цена 7 р. 65 к.

#### ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**А. И. Верховский.** На трудном перевале. 448 стр. Цена 8 р. 70 к.

**Г. Гайдовский.** Возвращение. Повесть в письмах. 312 стр. Цена 5 р. 75 к.

**Я. К. Иосселиани.** В битвах под водой. 270 стр. Цена 6 р. 30 к.

**С. Н. Максимов.** Оборона Севастополя. 1941—1942 гг. 139 стр. Цена 3 р.

**На Южном Урале.** Воспоминания участников гражданской войны. 334 стр. Цена 6 р. 15 к.

**С. Н. Ракша.** Днепровцы. 131 стр. Цена 3 р. 55 к.

**И. П. Толмачев.** В степях донских. 182 стр. Цена 4 р. 70 к.

**И. В. Травкин.** В водах седой Балтики. 134 стр. Цена 3 р. 55 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**А. А. Бабаев.** Очерки современной турецкой литературы. 241 стр. Цена 8 р.

**А. П. Баранников.** Индийская филология, литературоведение. 333 стр. Цена 14 р.

**И. М. Дьяконов.** Общественный и государственный строй древнего Двуречья (Шумер). 299 стр. Цена 14 р.

**В. А. Мартынов.** Конго под гнетом империализма. 233 стр. Цена 7 р. 50 к.

**С. М. Мельман.** Иностраный монополистический капитал в экономике Индии. 235 стр. Цена 8 р.

**Г. Д. Санжеев.** Современный монгольский язык. 102 стр. Цена 3 р. 70 к.

**Япония.** Вопросы истории. Сборник. 334 стр. Цена 12 р.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 24/XII 1959 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 26/I 1960 г.  
А 00318. Формат бумаги 70 × 108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 90.000.  
Зак. № 2551.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Свирцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.